

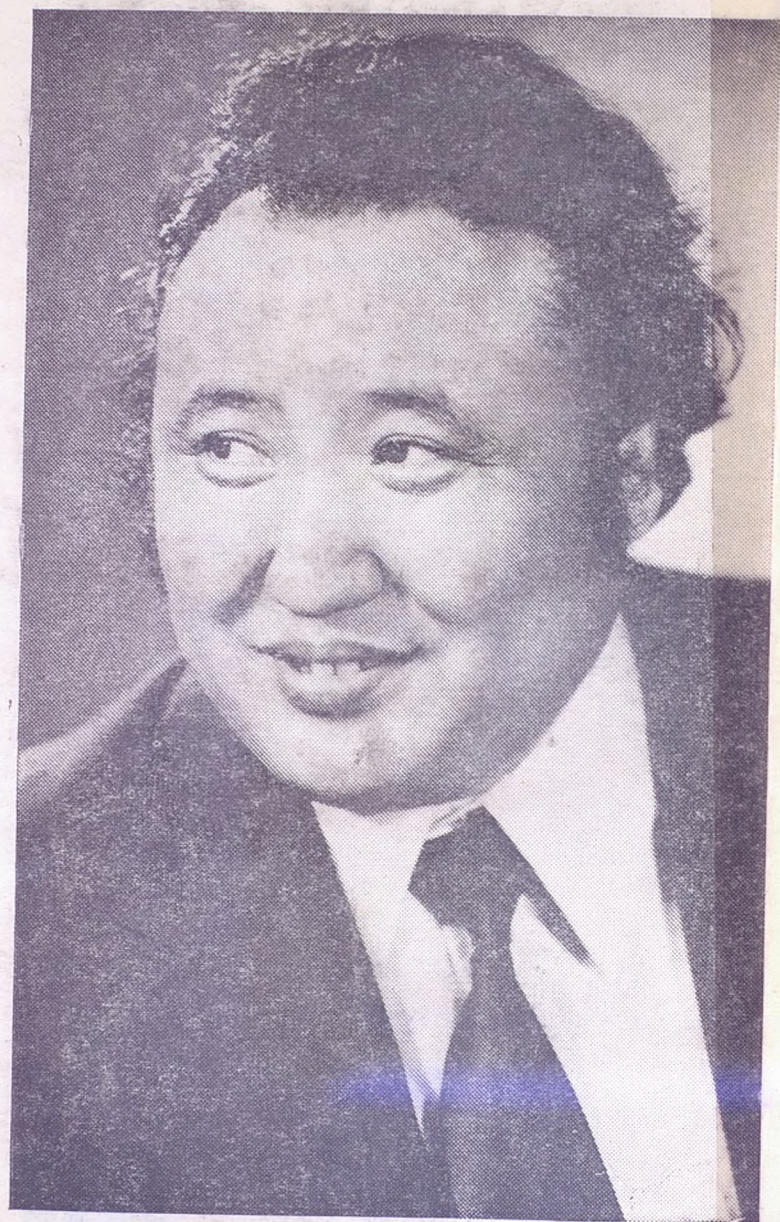
А 2013

6013

АБИШ
КЕКИЛБАЕВ



баллады забытых лет



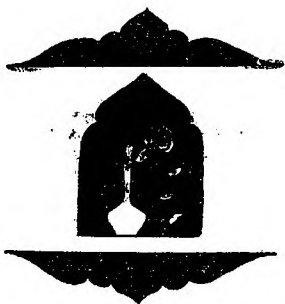
БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

АБИШ
КЕКИЛЬБАЕВ

баллады забытых лет

С (казахск.) 2
К 339

Художник И. УРМАНЧЕ



КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ

РОМАН





● ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КРАСНОЕ ЯБЛОКО

Нрошечные воронки, появляющиеся под копытами устало бредущих коней, тут же вновь заполняются песком. И мгновенно исчезают бесчисленные следы на склонах вздыбленной гряды барханов, оставленные отрядом угрюмо взирающих окрест телохранителей, едущих на отборных скакунах саврасой масти вперед, на расстоянии пущенной стрелы. Зыбучий песок, безмолвный и бездушный, издревле привыкший к непостоянству и тщетности бытия, мигом стирает малейший отпечаток на бескровном лице этого безбрежного серо-пепельного мертвого пространства.

Как бы ни старался Повелитель, вступив в Великую пустыню, отвести взгляд от всепожирающего сыпучего песка вокруг, однако никак не мог избавиться от густого ощущения его беспредельной ненасытности. И каждый раз, когда он, утомленный однообразным, удручающе монотонным сухим хлясканием копыт увязающих в песке по самые щетки лошадей, досадливо откидывает занавеску у окна своей крытой повозки, перед глазами его простирается все то же унылое песчаное море.

Ранняя, чахлая весна. Скудная, убогая равнина и нынешней зимой обделенная снегом, утомляла глаз. На кривых сучьях саксаула и жузгена еще не развернулись почки. Все вокруг погрузилось в дрему. Горбатые барханы, невзрачные, раскорячившиеся кусты точно застыли в извечной неподвижности, прижавшись к убитой земле.

На стыке зимы и весны здесь всегда бушуют бури. Самая свирепая и затяжная из них, именуемая в народе «черепашьей», отшумела лишь недавно. Пять суток кряду, словно из преисподней, бил им в лицо раскаленный докрасна зной пустыни. Пыльный смерч смешал землю и небо. Казалось, какая-то чудовищная сила, распаяв себя, в пепел, в прах истолкла всю твердь земли и проеивала ее на жестоком ветру. Несметное войско, ничего не видя и не слыша в этой черной кутерьме, с тупым увер-

ством брело, тащилось, грудью налегая на валивший с ног коней упругий шквал. Точно вздыбился весь мир и белый свет померк... Где земля, где небо — не разобрать... Ломило уши от рева ветра... Смерч, возбуждаясь, крепчая, гулял-свистел по всей вселенной... И казалось, не угомонится он никогда, не уймется, пока не разнесет, не развеет всю землю в прах. Вконец осатаневший ветер шквалом набрасывался на крытую ханскую повозку, порывая зашвырнуть ее в пучину мрака.

Кони вымотались, хрипели; песок забивался в ноздри, в уши, в глаза, и изнуренные воины с трудом двигались против ветра. Но Повелитель велел продолжать поход. Какой смысл в привале, если в голой пустыне нет ни куста, где бы можно было укрыться?

Наоборот, очень даже возможно, что разбушевавшаяся буря играючи разметет-расшвыряет по пустыне все повозки и тюки. Ведь не один караван бесследно исчезал под этими безмолвными барханами.

Не в правилах Повелителя было отправляться в походы в весеннюю распутицу или по чернотропу. На этот раз, стремясь вернуться в родные края к началу весны, он поневоле изменил обычаю. Однако, чувствуя какое-либо сопротивление, он становился упрямее, ожесточеннее и сильнее стискивал зубы. В самом деле, кто могущественнее на этом свете: этот шальной, безумный ветер, лишь дважды — в весеннюю и осеннюю пору — обрушивающийся на землю, или он, владыка, способный при желании перевернуть вверх тормашками весь этот бренный мир?!

И все же, все же зло брало, что он, всемогущий, перед которым трепетало все живое, не в силах был укротить — ни копьём, ни саблей — вздорный нрав разгульного ветра. Тысячники, темники то и дело кружили вокруг его повозки, как бы умоляя о привале, но Повелитель был непроницаем. Он сидел неподвижный, угрюмый и, казалось, не слышал, не замечал вовсе надсадного воя бури.

Пять дней и ночей ярилась буря — предвестница благодатной весны. Потом весь мир враз утишился, словно обессиленный после камлания баксы-шаман. Повсюду вокруг — кучками и поодиночке — валялись вылезшие, должно быть, на свет божий из трещин черепахи. Ветер расшвырял их как попало. Иные лежали брюхом кверху и беспомощно сучили уродливыми ножками.

В тот день, когда улеглась буря, к полудню войско добрело до барханов. Склоны песчаных дюн, исхлестанные ветром, напоминали иссохший остов диковинных ископаемых чудовищ. Глубоко увязая в серый сыпучий песок, брели воины уже несколько дней. Еще недавно, всего несколько дней тому назад, они терпели великие муки из-за шквального ветра, теперь их изводила, угнетала глухая непробиваемая тишь. В груди сжимался, щемил беспокойно-горячий, с кулачок, комочек, точно опасаясь умолкнуть, остановиться невзначай в этом оглохшем от тишины и неподвижности выморочном пространстве.

Вокруг, куда ни посмотри, горбатились бурые барханы, и как бы ни спешило войско преодолеть их один за другим, пока еще и намек не было на надежную твердь. Пустыня, изборожденная тяжелыми песчаными складками-морщинами, простиралась во все стороны. Сколько бы ты ни всматривался в затейливую и таинственную, как сура корана, вязь, начертанную ветром-каллиграфом на податливо-мягком песке, не вычитаешь ничего, что бы могло взбодрить онемевшую мысль. Наоборот, эти причудливые письмена поневоле навевали тягостные думы о том, что сама жизнь не что иное, как бессмысленные, беспорядочные знаки на песке, как случайные, постоянно меняющиеся, призрачные следы в этом однообразно тусклом и безбрежном мире. Ведь так же, как весенняя буря, которая после многодневного буйства, вдруг разом обессилев, смиряется сама по себе, все, что человек привычно называет жизнью, со всеми ее страстями и суетой, остается завтра безжалостно стертým и погребенным сыпучим песком по имени Время.

Четыре долгих года провел он в походах, сто тысяч коней истоптали, истыкали копытами немало чужих земель. Неужели когда-нибудь и это точно так же бесследно развеет ветер и проглотит песок? Если человеческая жизнь — нечто мимолетное, как шальной степной ветер, что просвистел и унесся прочь, значит, и прожитые годы, старательно напизывающие подряд и без разбора все ничтожное и сокровенное, так же призрачны и бесплодны, как этот зыбкий, шуршащий песок под ногами. Выходит, между небом и землей нет ничего, кроме изменчивой суеты и бессмысленности? Выходит, все-все проходит, и только непостоянство постоянно, вечно?

Кто знает... может, так оно и есть. Разве мало униженный испытал он в прошлом? Разве не мыкался вот в этой

недоброй пустыне с женой и сынишкой, спасаясь от гонений? Разве не эти проклятые пески, отупляющие даже сейчас, когда он смотрит на них из расшитой золотом повозки, обжигали ему тогда пятки до кровавых волдырей? Даже чахлого кустика не мог он найти в те черные дни, чтобы пальцами разгребать под ним песок в надежде коснуться истресканными от жажды губами желанной прохлады и влаги, и тогда в отчаянии казалось, что никогда уже не суждено ему выбраться из ненавистой скряги-пустыни, иссушившей его тело и душу, и никогда не дожить ему до того счастливого мгновения, когда он может или мог бы ополоснуть рот глотком живительной воды. Но кто о том знает теперь? Ведь даже он — он сам! — вспоминает о том разве что в безысходной тоске. Прошлые унижения стерло нынешнее могущество. Прошлые муки искупилась нынешним счастьем. Но ведь так может забыться и сегодняшнее. Тогда что собой представляет Завтра, о котором беспрестанно твердит жалкий человеческий род? Что оно? Безумный разрушитель всего сущего на земле, равнодушный губитель всего, что живет сегодня, или карающий меч судьбы, бессмысленности и непостоянства, одинаково беспощадный ко всему и ко всем? Что оно, это Завтра?

Если оно и впрямь меч карающий, то к чему тогда Сегодня, олицетворяющее неминуемую смерть с хищно разинутой пастью?! А если Сегодня — вечно, бессмертно, то где — Вчера? Где оно, что было вчера? Где они, что жили вчера? Как случилось, что те, кто еще вчера сражался с ним, сегодня погребены песком забвения? Неужели их сразила лишь его пощады не знающая сабля? Нет, конечно! В своей гибели они повинны сами. Вернее, слабость их повинна. Выходит, Вчера — попросту разновидность слабости. Точнее, другое ее название. Лишь ослабев, обессилев, Сегодня превращается в Вчера. А неуемная, все сокрушающая сила способна дерзко схлестнуться не только с сегодняшним, с Сегодня, но и бросить вызов самому Завтра... Истинное имя силы — Вечность. Только необузданная сила, мощь в состоянии находить с нею общий язык. Гибель слабого предопределена уже Сегодня; кару для посредственности, для середняка готовит Завтра; и только сильный, не признающий никого и ничего, бессмертен, как сама Вечность.

Сегодня — это еще неопределенность, какая-то зыбкая серединная межа между страхом и надеждой. Это доля

презренного большинства. Это плавание на утлой лодочке в ограбленном, строго очерченном пространстве. И только. Лишь в таком шатком положении — между явью и забвением — жалкий люд способен постичь и признать волю сильного. А без него тьма-тьмушая слабых — сброд. Лишь тот, кто наделен такой могучей волей и в состоянии держать чернь между Страхом и Надеждой, может превратить ничтожных в реальную силу. В руках такого Сегодня оборачивается грозным оружием в борьбе с Завтра... Каждому своему военачальнику он неустанно внушает: «Какие бы напасти ни подстерегали тебя, не попадайся в тупик, из которого нет выхода. Заранее позаботься о лазейке для спасения...» Слабость — тот же тупик... Надо иметь в запасе уйму уловок, чтобы не очутиться в ее тенетах.

Разве не о том же говорится в священном писании?

Спросил однажды муравей у пророка Соломона: «Всегда ли, отчего всеблагий подчинил себе ветер?» Соломон не нашелся, что ответить. «В том заключен намек, что царство и могущество твое когда-нибудь ветер же и развеет». Поблуднел мудрый Соломон, услышав это. «Ибо сказано: устами ничтожного аллах сообщает свою волю великим», — сказал муравей и уполз восвояси. Если уж от самого Соломона отвернулось счастье, то что говорить о других. Но, лишившись счастья, он ведь не лишился славы. И потому не следует ли из этого, что счастье — призрачное благо брэнной жизни, а слава — достойное величия и вечности?

Разве славу Соломона сберегли до нынешних дней не все те же бедные дехкане — безымянные труженики муравьи, которым несть числа? И разве не они, не те же самые ничтожные, чьими устами аллах сообщает свою волю великим, воздают им славу и почести по всей земле? Не случайно любое деяние великих черни всегда кажется исполненным смысла и значения. Ведь именно толпа вознесет тебя до небес, глядя на твои, недоступные ее разумению свершения. Скакуи, на котором скачет слава, — людская молва. Пока нерасторопная истина в устах разумного взберется в седло, пустозвонная молва в устах горлопана уже поскачет, развевая полы, по низовьям и верховьям.

Пустобай, распространяющий молву, шалеет от одного звона. Он воспринимает лишь грохот славы. И не станет надрывать плотку в надежде отвоевать от славы тихой

и скромной. Главное: что бы ни делал, пужно делать так, чтобы удивить, ошеломить этого ничтожного маленького человечка. Ошеломленный, он не в состоянии отличить хорошее от плохого, добро от зла. Ну, вот, к примеру, идет вперед, тяжело переваливаясь, ногами-бревнами вспарывая хрусткую гладь песчаных холмов, неуклюжий верзила слон, груженный золотом и драгоценностями поверженных южных стран, и тот, кому этот слон в диковинку, отнюдь не станет рассуждать, хорошее это животное или плохое. Глядя на его чудовищную громадность, несуразно длинный хобот, человек, вероятно, не испытывает в первый момент ни страха, ни ужаса, ни отвращения даже, а только и прежде всего — удивление.

Размеры твоих деяний — все равно во имя добра или зла — должны быть непременно больше, внушительней, чем в силах охватить их маленький глаз маленького человека. Малым твоим добром он так и так не удовлетворяется, а за малое твое зло начнет тебя же ругать и склонять на все лады. Разобьешь кому-нибудь нос в кровь, тебя осудят и поднимут галдеж; если же утопишь в крови половину вселенной, тобой начнут восхищаться и говорить о тебе с благоговением и страхом.

Пока ты жив, старайся удивлять всех, кто тебя окружает. Те, кого ты сумел удивить при жизни, будут удивлены и после твоей смерти. И, прислушиваясь к их рассказам, начнут удивляться потом и те, кто тебя и в глаза не видел. Важно только сохранить кое-где приметы своей славы и верноподданных потомков — живой отголосок былого твоего могущества, которые не дадут угаснуть восторженной молве, подбрасывая изредка в костер легенды хворост воспоминаний.

Не всякому такое дано. Это удел избранных. Но тебе это вполне доступно, пока владеешь несметным богатством и держишь в руках тумены послушного войска. Только не прозевай своего часа, не дряхлей... И не облепись от пресыщения... Иначе уподобишься незадачливому любовнику неверной, похотливой бабенки: едва выскользишь из ее опустошающих объятий, как на твое место уже метит другой, более удачливый и сильный. Таков он, этот лживый, изменчивый мир. Разве сам ты не достиг могущества и славы, ловко воспользовавшись слабикой других? Теперь старайся, чтобы они ни за что не догадывались о твоей слабости... Пусть о том знает всевышний. И только.

Одни всевышний... Да-а... ранее, бывало, возвращаясь с победой, он не ломал себе голову, размышляя о том о сем. Все эти мысли сохранялись в глубокой тайне в самом закоулочке сердца. И оберегал он ее, эту сокровенную тайну, не только от чужих, словно какую-нибудь святыню, которую хранят в потайном местечке за семью замками, но и от самого себя, подалее, в глубине души, радуясь тому, что она есть, всегда при нем, и одновременно боясь даже лишний раз о ней подумать. Тогда зачем, по какой причине теперь вдруг всколыхнулось, всплыло наверх все сокровенное, многожды раз передуманное до мелочей, взвешенное до крупинцы, тщательно оберегаемой от всех живых? Зачем он вновь и вновь жует свою жвачку, давясь отрыжкой, словно старый, шелудивый верблюд? Ведь если уж хранить тайну тайн своих, то следует ее хранить, как верную дамасскую саблю. Если без толку размахивать ею, не мудрено ненароком и выронить из рук. А став добычей врага, твоя сабля тебя же и обезглавит.

Потому-то он и не позволял себе передумывать то, что было им однажды решено. А сегодня с ним творилось что-то непонятное. Прежде, как бы он ни уставал от изнурительных походов, в душе не чувствовал подобного смятения. Или, может, его вконец истомила многодневная свирепая буря великой пустыни, особенно опасная в эту пору — на стыке зимы и весны?.. С чего бы это? Ведь немало стран покорено, немало тронов опрокинуто. Он наконец-то на этот раз свел счеты и в прах разнес двух давних, коварных, немало крови ему попортивших соперников, не говоря уже о карликовых правителях, которых без труда поработил попутно.

Раньше, глядя на то, как падали к его ногам чужие короны, он испытывал сладостное и грозное удовлетворение. На этот раз все в нем точно онемело. Может, причиной тому непрошенная, незванная гостья — старость, подстерегающая его с некоторых пор на каждом шагу? Она, пожалуй, похуже любого врага. Ее никаким войском не одолеешь. И сабля не берет, и златом не откупишься, и хитростью не упредишь. Она, словно кровный твой враг, незаметно берет в осаду и не обрушивается врасплох, а изводит, изморит постепенно, подтачивая силу и веру, вселяя тайный страх.

И вот теперь она же, старость, крепко напоминает, что дальние и долгие походы отныне не для него.

И, думая об этом, он почувствовал, как сердце точно каленой иглой кольнуло.

Когда-то, давным-давно, добившись трона и короны, он явственно понял, что, покоряя одного за другим своих бесчисленных врагов, проведет свою жизнь не на золотом троне, а в походном седле.

Так оно и случилось. Так он и жил до сих пор. Многие народы и страны покорил. В краях, доступных копытам коней, осталась неподвластной ему лишь одна-единственная страна. Народу в ней видимо-невидимо, как муравьев в муравейнике, и, должно быть, потому не трепещут перед ним, как другие. Более того, время от времени подсылают к нему своих редкобородых, узкоглазых послов, и они то угодливо припадают к его стопам, то горделиво-полусонно взирают на него, важно плетут словеса с подчеркнутым достоинством на каменно-непроницаемых лицах. Давно на них он точит зубы, но, кажется, пробил час судьбы, дошел и до них черед. Остальные три стороны света он подмял под себя, да так, что не поднять им больше головы. И потому, чтобы в будущих походах не думать о покоренных уже странах и не тратить силы на подавление возможных мятежей, он приказал заблаговременно истребить поголовно всех побежденных воинов. Теперь уж можно не оглядываться.

Сейчас и победоносное войско его, сокрушившее немало врагов и наводящее ужас на чужеземцев, как никогда в славе и силе. И пока оно не растеряло грозного военного духа, он намерен после недолгой передышки вновь отправиться в далекий поход.

По пути он пополнил свое войско успешными подрасти воинами ранее покоренных стран. Песок повизгивал-шуршал под копытами тысячи и тысячи коней, голубые копыя, ошестинившись, сверкали в лучах солнца, из-за барханов и дюн все шли-текли, словно черные тучи из-за ущелий, грозные тумены, и казалось, не из похода возвращается великое войско, а, наоборот, выступает в кровавый поход. Воины веселы, бодры, точно джигиты после жарких девичьих объятий. Боевые знамена и бунчуки сотников и темников горделиво развевались на пустынном ветру.

И лишь по тяжело навьюченным караванам и по множеству рабов, закованных в кандалы, и пленниц можно было догадаться, что войско возвращается из победного похода. Да-а, что бы там ни было, он решил вступить в

столичный город всем войском, многочисленным, как ко-
маринная туча. Пусть народ лицезрит своего властелина,
завоевавшего три стороны света, во всем могуществе и
блеске, пусть полюбуется его мощью, шалея от гордости и
спеси...

Вдали над белым песчаным холмом Повелитель не-
ожиданно увидел странный силуэт, похожий на тонкий
шест. Он был голубее самого прозрачного неба и вливал-
ся своим острием в окутанный дымкой марева горизонт.

Пораженный властелин хотел было позвать немед-
ленно провидца из свиты, чтобы узнать, не божий ли то
знак, но, заметив, что šest все явственнее обозначался
на фоне неба, обретая темно-синюю окраску, решил пов-
ременить.

Наконец-то кончились могучие барханы и дюны и
пошли мелкие, разрозненные холмики. Чувствовалось,
что пустыня на исходе и скоро нога коснется желанной
тверди. Все чаще попадались островки с чахлыми кусты-
ками.

Когда песчаные увалы остались позади, горизонт, за-
жатый ими, вдруг сразу раздвинулся, расширился.

И вместе с горизонтом, по-весеннему зыбким, смут-
ным, с просинью, медленно, по-кошачьи отступавшим на-
зад, туда, к неотвратно удалявшимся, точно в страхе
от несметного полчища, барханам, отодвигался, уплывал
и таинственный голубеющий шест.

Вот тумены обогнули дикие заросли саксаула и жуз-
гена, поднялись на суглинистый перевал и выбрались на
твердь долгожданного плоскогорья. Впереди, далеко-да-
леко, в дымчатом мареве дрожала, зыбнулась гряда пест-
рых гор.

Еще некоторое время спустя в урочище, значительно
ближе от пестроголовых гор, в сплошной дымке, показы-
лись силуэты больших и малых строений. Голубой шест
особняком, загадочно завис над ними, постепенно погру-
жаясь в густую синеву неба.

Вскоре четко вырисовался город в долине. Точно выпы-
лки из голубого марева войску навстречу со своими го-
лубыми, будто воздушно-невесомыми, минаретами. Пря-
мой как стрела голубой шест, упирившийся вершиной
в небо, обернулся — и Повелитель увидел теперь это
ясно — величественной башней. Раньше ее не было в его
столице. Стройная, округлая, чем ближе, тем причудли-
вей переливавшаяся всеми красками башня напоминала

молодую, нежную женщину в голубом шелковом платье, истосковавшуюся по далекому, измученному дорогой возлюбленному и машущую ему рукой. Здесь, на равнине, широко раскинувшейся во впадине, земля обрела вдруг рыжеватый оттенок. Вокруг — то здесь, то там — шевелились, суетились крохотные черные точки. Весна властно преобразила ровное поле в окрестностях города. Многочисленные сохи, запряженные лошадьми, волами, а то и людьми, вспарывали, бороздили упругую, с едва заметным, еще блеклым покровом пашню, будто вырезали тесьму на могучем теле земли. На равнине за городом войско, под которым стонала и прогибалась земля, в честь возвращения с победой двинулось торжественным строем. В первых рядах, натянув до звона тетиву, шли лучники; за ними, грозно вскинув стальные сабли и острые копыта, — сабельные и копьеносцы. Дальше, гремя кандалами, тащились пленники-рабы и брели тяжело груженные добычей караваны верблюдов. За караваном, покорно опустив головы, прошли юные красавицы, пленницы из разных племен и народов.

И лишь в конце, замыкая шествие, в окружении десяти тысяч верных нукеров, проплыла под тягучий рык кернаев ханская повозка.

Караульные отряды, обступив торжественный строй с двух сторон, сопровождали войско до главных городских ворот. Поля, вспаханные под бахчу, хлопчатник, овощ, перешли вскоре в тщательно ухоженные фруктовые сады. На деревьях недавно, видно, лопнули клейкие почки. Все вокруг точно в сиренево-белых прозрачных платьицах. Под раскидистыми ветвями виднелись бурые глиняные дувалы вокруг маленьких двориков. Здесь начиналась окраина города. На широких лавках, протянувшихся по обе стороны улиц, сверкал, сиял, переливался, притягивая невольный взор, диковинный товар со всех концов света — китайские шелка, драгоценности, изделия из золота и серебра, сукно, замша, дубленая кожа, меха, пушнина, всякая утварь, поделки; в воздухе плыл густой, пряный дух сушеного урюка, сочной, крепко поперченной самсы, сладкого и жирного, паром исходившего плова, хрустко поджаренного на саксаульных углях кебаба.

Неожиданно кончились сады, окутанные дымчатой кисеей, все плотнее, выше становились дувалы и все многочисленней улицы. Едва головные части войска хлынули в город, точно пенный резвый ручей — в мутную лужу,

как за крепостной стеной на холме, опоясанном глубоким ровом с водой, зычно затрубили кернан. И тут же откликнулись в ответ разом все кернансты под войсковыми знаменами и бунчуками и посыпалась оглушительная дробь походных барабанов — даулпазов. От раскатисто-ликующего гула, взметнувшегося над городом со всех минаретов и круглых куполов, от утробного рева тысячи надрывавшихся кернаев и мощного цокота несметных копыт задрожала, застонала земля.

Жители столицы, потрясенные невиданным зрелищем, пугливо озираясь на сурово ошестинившиеся копыта, смотрели во все глаза с дувалов, из щелей и окон на торжественное шествие победителей.

Все внимание Повелителя было поглощено новым минаретом, вызывающе гордо устремившимся к бескрайней шпире неба...

2

Пир в честь победы и окончания похода длился два месяца. Шумная, многолюдная равнина после торжеств сразу же опустела. Столичный город вернулся к обыденной привычной жизни. Народ казался бодрым, оживленным после длительного отдыха, веселья и гульбы.

И только одного Повелителя усталость не покидала. На другой день после окончания пира он перебрался в тихий загородный дворец на вершине холма, окруженного тенистым, недоступным солнцу и зною садом. По величию и богатому убранству дворец не уступал другим, однако в нем Повелитель никого не принимал. И сад на холме был запущенный, дикий, как и все непроходимые леса вокруг урочища. В нем обитали косули-елики, водились павлины, фазаны, и не были они прирученными, как в других садах. В этом дворце Повелитель не устраивал пиров и не принимал послов. Он предпочитал уединенную прогулку по саду, куда пробирался по мостикку, перекинутому через ров с водой вокруг дворца. Гулял он один, без свиты, без спутника. В сад вообще никто не допускался, кроме членов ханской семьи. Но и они не осмеливались приходить сюда без личного его позволения. По воле Повелителя, бывало, привозили к нему маленьких внуков, с которыми он весь день проводил в саду, а вечером, посадив их в повозку, отправлял назад к Старшей Ханше.

На этот раз он и за внуками не посылал. Старшая Ханша через гонца передала просьбу поговорить по одному неотложному делу, но хан и его не принял, передав, что ему сейчас не до разговоров. Долгий, нелегкий поход и двухмесячное разгульное пиршество вконец утомили его. Никого не хотелось сейчас видеть.

Он забирался в укромный прохладный уголок сада и подолгу сидел на валунах у звонкого, говорливого родника. Только вот здесь, на крохотном клочке земли, рядом с вечным родником, он не чувствовал себя могущественным властелином. Здесь он мог не повелевать, и были ему непослушны, неподвластны и неустанно журчавший прозрачный родник, и бесчисленные птахи, безмятежно щебетавшие в густой зеленой листве, и лупоглазые стрекозы, трепетавшие тонюсенькими крылышками над самой водой. Здесь никто его не боялся. Пожалуй, одни только чуткие косули, невзначай наткнувшись на него, ошалело мчались прочь в густые заросли. Но пугались они его не потому, что был он властелином, а лишь потому, что принадлежал к многочисленному недоброму племени двуногих.

Когда он направлялся к любимому роднику, вооруженные телохранители и дворцовые слуги, избегая с ним встречи, мгновенно убирались восвояси.

Часами в глубокой задумчивости сиживал Повелитель возле одинокого родника. Здесь вызревало окончательное решение о далеких и опасных походах. Здесь, на сонной поляночке, в райском уголке, под переливчатый говорок ручейка, решались судьбы тронов и коронованных владык.

Мысли роились в голове Повелителя, текли непрерывной вереницей, как эта родниковая вода, сочившаяся из глубины земли. Но вода текла ровно, размеренно по одному и тому же извечному руслу. А мысли Повелителя, едва зародившись в глубине души, неизменно путались, мешались, растекались беспорядочными ручейками во все стороны.

Вот и сегодня он пришел к роднику, чтобы обстоятельно обдумать предстоящий вскорости нелегкий поход, но думы неожиданно-негаданно набрали на загадочный случай с яблоком. Красное наливное яблоко, с едва заметным, тоненьким надрезом сбоку он вернул вчера, не дотронувшись, а сегодня во время трапезы служанка вновь поднесла его на золотом подносе.

Он его сразу узнал среди других яблок, схватил и разломил: из середины, извиваясь, выполз червь. Он не имел привычки выказывать гнев перед слугами. Положил яблоко обратно, будто ничего не заметил.

Служанка убрала поднос. Повелитель сурово сдвинул брови, но сделал вид, что прощает оплошность прислуги, подавил нарастающую ярость.

Он устремил все подмечающий, сверлящий взгляд на служанку, но не усмотрел в ее движениях, походке ни тени робости или смущения, кроме того, что она чуть-чуть прикусила нижнюю тонкую губу.

Но разве не все служанки испокон веку прикусывают губы и заученно улыбаются, выказывая подобострастие перед властелином? Выходит, эта, что унесла сейчас с ханского стола червивое яблоко, не почувствовала никакой вины перед ним? Или, занятая делом, ставя и убирая посуду с яствами, она и впрямь ничего не видела? Но... подмечать, ловить каждое движение на лице Повелителя и удовлетворять любую его прихоть разве не обязанность челяди? Однако ведь может быть и так, что поджатые губы служанок не просто дань вежливости или учтивости, а искреннее смущение перед мужчиной-повелителем? Теряются же перед ним, испытывая невольный трепет, не только слуги, но и визири, полководцы и даже родные дети. Что уж говорить о бедной, незащищенной женщине? Она не то что за выражением лица Повелителя, а за собственными поступками от страха не уследит. Где уж ей все вокруг подмечать?..

Порой Повелитель поневоле поражался непонятливости своих приближенных, тому, что их разумению оказывались недоступными самые простые вещи. Потом, размышляя об этом наедине с собой, приходил к выводу, что поражается напрасно. Ведь ему-то легко: у него нет необходимости кому-либо угождать или стараться понравиться, а его подчиненным, угодливо ловящим каждое его слово, постоянно смотрящим ему в рот, следящим за каждым движением бровей, не мудрено, разумеется, споткнуться на ровном месте.

Во время беседы с приближенными он искусно заставлял их высказываться без утайки, а сам между тем лишь молча слушал. Даже не перебивал собеседника. И тот чувствовал себя робким учеником, плохо выучившим урок, перед строгим, педантичным до угрюмости наставником. Повелитель, точно окаменев, смотрел собеседни-

ку в глаза, не выказывая ни единым движением своего осуждения или одобрения. Не простое искусство — умение слушать. Иной верткий, пропыранный льстец, угадав настроение Повелителя, начинает ловчить, подстраиваться, подлаживаться, как заурядная шлюха, скрывая свои подлинные мысли и побуждения. А Повелителю совершенно ни к чему, чтобы его подчиненные что-то утаивали, скрывали. Ему выгоднее, чтобы перед ним все выворачивали наизнанку свои душонки, с покорностью выкладывали все свои тайные тайны. Ибо в подвластном ему мире только один-единственный человек имеет право на какие-то тайны — большие и малые, все равно. Это он сам, властелин! А всем остальным, готовым ради него пролить кровь и пожертвовать жизнью, какой смысл иметь еще какие-либо секреты?! Да, да... он должен, обязан знать, что думает и делает каждый, кто находится под его властью. Нет покоя его душе, пока он не выяснит до донышка все, что в сердце и помыслах приближенных. Здравый человек не садится на коня, чьи повадки ему не знакомы. Точно так же неразумно окружать себя людьми, которые не отвечают за свои слова и поступки, не знают своих возможностей и не ведают, где свернут себе шею. К тому же следует помнить, что твоя тайна, пока она при тебе, — твое оружие, но с того дня, как ты однажды кому-то ее доверил, она уже оружие чужое. И Повелитель исконно стремился прежде всего обезоружить своих приближенных, раз и навсегда лишив их сокровенной тайны. Потому в беседе он позволяет им говорить свободно, без стеснения, без оглядки. Боже упаси, чтобы он обрывал чью-нибудь речь неуместным словом. Наоборот, прикидывался незнающим, задавал нарочито наивные вопросы. И тогда собеседник, не чувствуя подвоха, с долей приятного превосходства отмечал про себя, что всемогущий и всевидящий властелин не такой уж всемогущий и всевидящий, как о нем говорят, коли не догадывается о простых вещах, и начинал с детским простодушием и откровенностью выкладывать все подробности, о которых еще минуту назад был склонен умолчать.

Таким образом, заставив собеседника распахнуть перед ним душу до последнего закоулочка, вызвав его на чистосердечную исповедь, Повелитель потом без сострадания давал понять, что он отнюдь не такой простак, как тому, собеседнику, на мгновение почудилось, что он, как

истинный провидец, наделенный к тому же верховной властью, все-все знал и видел давным-давно. Бедняга, пустившийся в откровенность, тут спохватывается и подавленно умолкает, вдруг сразу ощутив всю пропасть своего ничтожества. После этого он становится покорным, послушным, точно годовалый верблюжонок, которому пробили ноздрю, чтобы было сподручней вести его на поводу...

В конечном счете, разве не в этом заключается превосходство всех владык, всех сильных мира над остальным человеком — в том, что, имея власть выведать тайну каждого, они сами никого в свою тайну не посвящают и никогда о ней не разглашают? Ведь с самого сотворения мира когда и где бывало, чтобы кто-то осмеливался выпрашивать тайну самого правителя?

Властелин должен быть не только немногословным, но и уши свои он не позволит осквернять какими-либо недостойными слухами. Если он опустился до чьих-либо нашептываний, то уж поистине впору снять с головы золотую корону и поставить ее плевательницей перед сплетником с поганым хайлом.

Тех, кто охотно и подленько наговаривал на других, он ненавидел люто, точно бешеных собак. Кос-кто из несправимых холуев, тайком сообщавших ему, что о нем говорят за глаза, нашел успокоение на виселице. С тех пор никто не совался к нему с подозрительными слухами. Визирь и родные сыновья без его просьбы или поручения никогда ни о ком не заикались. Чрезвычайной важности события сообщались ему — с ведома и согласия членов его семьи или высокопоставленных служителей дворца — только предсказателями из личной свиты. При этом недобрая весть доводилась до него намеками. И если ему требовалось знать все подробности, скрывающиеся за инсказанием, он вызывал к себе гадателей и приказывал истолковать донесение. Те известную им недобрую весть тоже не сообщали открыто, а преподносили лишь разные ее толкования, которые он мог понимать, как ему угодно было. На основе намеков и их толкований Повелитель сам выносил решение и определял меру наказания виновнику. Находить истинную суть каждого инсказания, а также единственно правильный выход из создавшегося положения и точно определить степень вины — нелегкое занятие даже для властелина. Ибо, как нигде больше, здесь всякая несвещенность и очевидная

всем несправедливость, несомненно, наносят непоправимый урон даже безмерному ханскому престижу. И в этом вопросе он свято придерживался своего излюбленного правила: «При любой напасти опасайся тупика, на всякий случай всегда оставляй себе лазейку». Он стремился не связывать самому себе руки. Известно, что жалобы и сплетни чаще всего касаются отдельных личностей. Повелитель, способный без угрызения совести утопить в крови тысячи людей и уложить на поле брани тысячи воинов, однако крайне осторожен и щепетилен в вынесении приговора одному человеку. В этом сказывается одна из кощунственных несуразностей презренного бытия. В самом деле, в бою чем больше загубишь невинных душ, чем больше перебежишь воинов-сыновей, взлелеянных горемычными матерями, — тем громче слава предводителя хана, и — наоборот — малейшая несправедливость, допущенная им в мирной жизни хотя бы в отношении к последнему нищему, накладывает несмываемое пятно на его честь. Милость, милосердие, проявленные повелителем к какому-нибудь ничтожному смерду, способны вытравить из сознания толпы жуткую славу кровопийцы, повинного в гибели тысячи и тысячи невинных, и посеять молву о мудром, человечном и справедливом хане — таком справедливом, что может мечом правосудия, как говорится, повдоль расцечь волосок.

В этом он окончательно убедился много лет назад во время южного похода.

...После многомесячного изнурительного пути войско остановилось на широкой равнине неподалеку от чужестранной столицы на берегу могучей реки, по которой с рокотом катились гривастые волны. На противоположной стороне копошились голоногие, до блеска загоревшие дехкане. Они цепочкой шли по пахоте и что-то сеяли. Долгую подковообразно окружали горы. По склонам густо росли смешанные леса. Оттуда, за рекой, со стороны гор, струились густые, вязкие запахи наливающихся соком фруктов, от которых приятно кружилась голова.

Запестрели шатры по всей равнине. Затрубили керчан, посыпалась раскатистая дробь походных барабанов. Погруженные в ленивую дрему равнина и горы точно ожили и откликнулись гулким, многократным эхом. Из курчавых зарослей тугая ошалело выскочили лоси и косули и понеслись в открытую степь. Разом и со всех сто-

роп со свистом полетели им вдогонку тучи стрел. Несметное войско мигом раздобыло себе мясо.

Дехкане на том берегу разбежались врассыпную, побросав на пашню деревянные сохи, мотыги, кетмени, мешки с семенами. Но ни одна стрела не полетела им вслед.

Топот, треск все явственнее доносились со склонов гор: встревоженные звери косяками пробирались сквозь непроходимые заросли тугаев в безопасные ущелья за увалами.

Вонны парубили дров, натаскали на холмы хворост. И когда опустилась черная южная ночь, по всем склонам и увалам враз ярко вспыхнули бесчисленные костры. Казалось, все звезды с летнего неба спустились на землю. Черный горизонт зловеще полыхал зарницами.

И на следующий день вонны отдыхали на зеленой равнине. И опять наступила ночь. И вновь запылали костры, охватив пожаром все окрестности. Костров было больше, чем звезд на небе, и жители осажденного города перепугались насмерть. Уже на третий день ранним утром они толпами вышли из крепости, сдаваясь врагу на милость.

Повелитель приказал не допускать беженцев к равнине, где расположилось войско, а загнать на узкий длинный мыс между цепью гор и буйной рекой. Потом, решил он про себя, когда враг начнет метать камни из камней, он погонит их против своих же в первых рядах.

В тот же день после обеда старший сын Повелителя, не утанв страха, заявил с порога:

— Их уже почти сто тысяч!

— К вечеру беженцев станет больше, чем наших воинов,— высказал опасение кто-то из эмиров.

Полководцы, сидевшие чинным рядом по обе стороны золотистого шатра, переглянулись. Повелитель сразу догадался о сомнениях, закравшихся при этой вести в души его военачальников. Серолицый хазрет, положив увесистый, в кожаном переплете, коран на серебряную подставку и отрешенно перебирая коралловые четки, деревянным голосом изрек:

— Уа, мой повелитель! Да будет вам известно, что истребление богомерзкого племени иноверцев, погрязших в пороках, пакостях, есть очищение души во имя всеблагого. Я, покорный слуга всемогущего творца, готов собственноручно перерезать им глотки. Если мы их сейчас, еще до наступления ночи, не перерубим поголовно, совершим роковую ошибку.

Старший сын и главный визирь в два голоса поддерживали святого хазрета.

— Да, да, ошибка может стать роковой.

— Хазрет говорит истину.

После полудня огромное войско двинулось к мысу. Беженцы нестройно приветствовали его. Лучники вышли вперед и встали цепью. Через мгновение туча стрел обрушилась на безоружную толпу. Истошные вопли взметнулись к ясному и равнодушному небу; страшный вой, стон, крики, визг прокатились эхом по ущельям, и река тоже, точно обезумев, загрохотала еще яростней. Крайние ряды беженцев падали, будто скошенные. Кольцо лучников сжималось все плотнее. Живые, защищаясь, спешно складывали мертвых штабелями, сооружали укрытие. И тут в побойще ринулись копыеносцы...

Вскоре был смят непрочный заслон из трупов, и тогда над головами обреченных засверкали сабли. Сам святой хазрет, не порешивший в жизни даже паршивого ягненка, не удержался от соблазна: ринулся, размахивая сабелькой, на безоружных иноверцев.

Беженцы сопротивлялись, как львы. Никто уже не вопил от страха и ужаса, никто уже не молил о пощаде; охваченные безумной яростью, кто отбивался кулаками, кто впивался зубами в глотку насильника, кто, уже падая, цеплялся за ноги. Скрежет зубов, свист сабель, гулкие удары кулаков, предсмертный хрип, стоны — все перемешалось, сливаясь в гул побойща.

К закату дня беженцы на узком перешейке были истреблены до последнего человека. Бредя по щиколотку в крови, воины сложили трупы штабелями и подожгли их. Всю ночь пылали зловещие костры, распространяя зловонный чад, и аспидно-черное низкое небо чудилось законченным дном гигантского котла, в котором на том свете поджаривают грешников.

На следующий день, совершив утренний намаз, Повелитель вызвал белобородого хазрета почитать священную книгу. Хазрет гусаво-монотонным голосом нараспев прочитал суру и истолковал ее как доброе предзнаменование, благословляющее предстоящую битву — газават за веру во имя всемогущего. По его словам выходило, что бог создал иноверцев низкородными, презренными рабами, а правоверных — избранниками судьбы, достойными радости, наслаждений и счастья на том и этом свете, и потому им, обласканным самим пророком, предоставля-

ется право безнаказанно вытравливать человеческую нечисть. Благочестивый хазрет, воздев руки, благословил священный газават: да водрузится над страной гяуров зеленое знамя пайгамбара-пророка. Повелитель переправил войско на противоположный берег буйной реки. Он сам сел на коня, определил левый и правый фланги, ударную группу, резервные полки, объехал войско перед приступом.

Противник выставил конницу в двадцать тысяч сабель, тридцать тысяч пеших воинов и сто двадцать боевых слонов. Связанные друг с другом, слоны выстроились в ряд. К спине каждого был пристегнут открытый паланкин, в котором сидело по шесть метких лучников. Между слонами на специальном устройстве громоздились камнеметы и огнеметы, изрыгавшие пламя. Рядом с огромными и неповоротливыми слонами ханские воины на малорослых гривастых конях казались смешными и беспомощными.

На широкой равнине медленно сходились две армии. И когда головные части уже сошлись лоб в лоб, Повелитель поднялся на холм в середине войска, расстелил молитвенный коврики и, обратив лицо в сторону священной Мекки, сотворил намаз.

Бормоча заученные слова молитвы, он покосился краешком глаза на поле брани и увидел, что передовые части его войска понемногу, по-кошачьи отступают под градом камней и неумолимым натиском боевых слонов.

Повелитель встал, свернул молитвенный коврики и распорядился немедленно бросить на фланги отборные полки из резервной части. Неприятель, увлекшись наступлением по центру, не заметил, как его с двух сторон стремительно сжимают в тиски. Застигнутые врасплох фланги начали лихорадочно перестраиваться на ходу, готовясь к отпору, а головная часть, ведомая боевыми слонами, все глубже увязала в ловушке. Вскоре фланги оказались отрезанными от центра, и сто двадцать боевых слонов очутились сразу в окружении. Неприятель отчаянно бился, старался сомкнуть ряды, вырваться из тисков, но было уже поздно. Силы его несякали с каждым мгновением.

Лучники теперь легко сбивали стрелков на паланкине. Разъяренные воины, обнажив клинки, набрасывались на слонов. Громадные, неуклюжие животные, связанные к тому же между собой, сбивались в круг, беспомощно пере-

бирали толстыми ногами, подставляя крутые бока под пики и сабли неприятеля. Оказалось, боевые слоны страшны лишь с виду. Даже четырнадцатилетний внук властелина захватил одного слона и привел его на поводу к грозному деду. Приятно пораженный храбростью внука властелин обнюхал ему лоб.

К тому времени воины успели порубить врага, очутившегося в кольце. Все поле было усеяно трупами. Коня спотыкались о них, косили глазами, испуганно пофыркивали.

Победители, точно ошалев от крови и предчувствия богатой добычи, ринулись лавиной в раскрытые настежь городские ворота.

И пока Повелитель отдыхал в богатом дворце поверженного противника, его воины, разнуздавшись, чинили разбой и насилие.

Дикий грабеж продолжался две недели. За это время и похоть потешили, и корджуны добром набили. У иных награбленное имущество на двух лошадях не умещалось. Некоторые гнали перед собой до ста рабов и рабынь. Повелитель еще раз убедился, что алчности человеческой нет предела.

Особенно поразил его тогда один случай. Однажды, проезжая в сопровождении свиты по центру захваченного города, он натолкнулся среди бела дня на драку. В стороне стояла пара лошадей, а рядом — десяток пленных, мужчин и женщин, в наручниках и связанных между собой. Драчуны дубасили друг друга с такой яростью и увлечением, что не заметили подъехавшего Повелителя. Узкоглазый, поджарый, чернолицый вцепился обеими руками в горло молодого, пышноусого крепыша-слепца. Узкоглазый был пьян, голова его под ударами слепца моталась во все стороны, словно ботало на шее ишака. Однако хваткие руки не отпускали жертву.

Унизительная сцена вывела Повелителя из себя. Теряя самообладание, он выскочил из повозки, кинулся к драчунам и с размаха ударил саблей узкоглазого по правому плечу. Тот, охнув, мешком плюхнулся оземь. Почувствовав неожиданную помощь, слепец ухватил подол Повелителя.

— О, кто вы, мой избавитель, добрый, милостивый человек?! Единственная память осталась от матери — бриллиантовое ожерелье. Буду молиться за вас, назовите свое имя...

— Имя мое после узнаешь. А тебе скажу: если бы каждый дрался так истово, никто бы не мог вас победить. Ты истинный воин, слепец!

Повелитель приказал отобрать у узкоглазого корджун, набитый драгоценностями, и высыпать их на голову слепца. Пленников, стоявших связанными в стороне, отпустил тоже.

— О аллах! — все восторгался, выстанывал слепец. — Кто это — сей великий из великих, справедливый из справедливых?

— Сам непобедимый Повелитель, — ответил кто-то из свиты.

С тех пор, в какой бы город и в какую бы страну он ни вступал, его всюду и неизменно опережала легконогая молва-слава не о сотнях тысяч невинно загубленных, а о несчастном слепце, которого защитил от грабителя добрый и справедливый Повелитель.

С тех пор он дал себе зарок, что отныне облагодетельствует каждого смертного, чья мольба дойдет до него.

Именно тогда, после этого случая, Повелитель, вернувшись из похода, издал приказ обезглавить каждого, кто клеветает на ближнего.

Поэтому и поныне никто не осмелится приходить к нему с жалобой или наветом, ибо если выяснится ложь, шептуну не сносить головы. Подлую беду, которую Повелитель обязан знать, сообщают ему только предсказатели и шейхи-дервиши, и то лишь осторожными намеками.

Не исключено, что и красное наливное яблоко, поднесенное ему на подносе, — определенный намек. Но что может означать червь, выползший из сердцевины? Опасность, нависшую над ним? Однако кто и что может угрожать ему в своей стране, на своей земле?! Поблизости не осталось ни одного достойного врага, способного посягнуть на его могущество. Чванливому и коварному послу с востока он сам дал понять, что скоро двинется на них с копьем и мечом, и дабы тот собственными глазами убедился в мощи и боевитости ханского войска, продержал его два месяца на пиру и ристалище и лишь потом отпустил домой. Пусть расскажет там, с кем предстанет иметь дело. Пока он доберется, здесь ханские тумены уже оседлают боевых коней.

Вчера Повелитель беседовал с лазутчиками и сыщиками, разосланными по всем улусам под маской бродяг-дервишей и юродивых-дивана. По сведениям, в окрест-

ностях царит порядок и благодать, и никакая опасность ниоткуда не угрожает.

В самых отдаленных уголках и на больших караванных дорогах вдоль границ он содержит многотысячную тайную армию осведомителей среди дервишей, купцов, пастухов, погонщиков, но и они не ведают о каком-либо мятежном духе.

От сборщиков налогов и податей, наместников городов, тайных агентов и соглядатаев, расставленных повсюду, тоже не поступило тревожных сведений.

Так зачем подобным образом понадобилось намекать на какие-то неурядицы в дальних, за тридевять земель, краях?.. Неужели, пока он находился в далеком походе, здесь, в его дворце, что-нибудь случилось?

Каждого из приближенных, кого Повелитель подозревал хоть в чем-нибудь, он старался — где бы ни находился — неотлучно держать при себе. В последний раз, зная, что поход продлится долго, он оставил во дворце главного визиря. Если тот запустил руку в казну, беда небольшая. Из-за этого вряд ли стоит прибегать к тайным намекам. Каждый раз перед походом и после возвращения Повелитель лично сам проверяет казну. Так что воровство, если оно и впрямь имело место, обнаружится само по себе. К тому же главный визирь — человек степенный и трезвый, которому в равной мере присущи ум и хитрость, вспыльчивость и самообладание. Не мог он проявить алчность и покушаться на ханскую казну. Разное поговаривали о главном визире, но Повелитель не придавал значения этим рассказам. Кому неизвестно, что у государственных мужей недостатка в недругах не бывает...

На что же тогда намекает червивое яблоко?.. Родной очаг в сохранности, семья — в добром здравии. На пиру в честь победы присутствовали все. Немыслимо, чтобы за это время что-то круто переменилось и земля вдруг перевернулась вверх дном. Скорее всего служанка допустила оплошность...

Но... заметив, что яблоко с червоточинной, его должны были просто-напросто выкинуть. Почему же его второй раз принесли на подносе? Выходит, это делалось сознательно, с умыслом. В чем тогда тайна? Может, немедленно пригласить гадателя? И к сенду¹ своему он зашел после

¹ Сенд (точнее — пир) — духовный учитель, наставник.

похода второпях. Не поговорили толком, по душам, как бывало прежде...

Повелитель сперва сам тщательно, не спеша, обдумывал свой сон или чье-нибудь иносказание, а потом уже прибегал к услугам предсказателей и толкователей. Итак, красное наливное яблоко с червяком в сердцевине... Это ведь, должно быть, намек не на злодейство, а на... измену, предательство. Да, да, понетипе так! Но чья измена? Какое предательство?

Какой безумец в пору ханского всемогущества дерзнул на измену? Разве не на гибель обрекает себя тот, кто осмелился предать властелина?

Он в уме перебрал всех предводителей войска. Ни у одного, по разумению Повелителя, не было сейчас причины-повода для такого шага. После очередного удачного похода — и особенно в канун новых — он щедро одаривал полководцев, с головы до ног осыпая золотом. Так он поступил, присвоив себе несметные богатства южных стран. Так он поступил и после покорения земель, где заходит солнце. Не скупясь, роздал он огромную долю добычи верным предводителям и храбрым воинам. Ибо знал: благоразумно баловать их щедрыми подачками, воздавать сторицей за все заслуги. Тогда они с готовностью ринутся в любую кровавую бойню.

Лет десять тому назад, когда решалась судьба похода на южные страны, на верховном совете-диване возникли разногласия. Старший сын пылко настаивал на походе: «Если мы захватим золото того края, покорим весь мир!» Советники и эмиры осторожничали: «Народу в тех краях больше, чем мух. Если мы их и одолеем, то потом сами растворимся в них. Они проглотят нас, как море песчинку. Потомки нашей родной язык забудут».

Тогда хан приказал раскрыть коран. Наткнулись на суру, гласившую: «О, великий пророк! Иди войной против неверцев, истребляй без пощады нечестивцев!»

Золото южных стран переубедило боязливых ханских эмиров, выправило им, как говорится, искривившийся было рот. В том походе стало им ясно, что можно победить и покорить народы, если их даже больше навозных мух. Ну, а в стране, где восходит светило, богатства должны быть и вовсе без счета. Уж кто-кто, а его соплеменники, вкушавшие соблазны земных благ, это прекрасно сознают.

Кто же именно теперь усомнился в удаче предстоящего похода?

Всякий раз на этом месте мысли Повелителя обрывались. Родник монотонно бормотал свой бесконечный сказ. Чуткая листва на высоких деревьях непостижимым образом улавливала дуновение в этом безветренном уголке и о чем-то перешептывалась. «Думай, думай», — казалось, советовали листья и родник.

В этом земном эдеме надеялся он найти отдохновение, но неугомонные сплетники — шуршащие листья и журчащий родник — назойливо нашептывали что-то, смущали душу, и раздосадованный Повелитель встал и пошел по узкой тропинке. Она, извилистая, как сама ложь, повела его вновь ко дворцу.

Недавнюю дремотную садовую тишь вдруг словно ветром сдуло. Все вокруг наполнилось беспорядочными звуками. Белорудые, с кулачок, сипички заполошенно металась по веткам, верещали без умолку, раздувая зобы, будто им тоже не терпелось сообщить Повелителю важную весть.

По обочине дороги пронеслась дикая коза. Казалось, она с утра, затаившись, подстерегала Повелителя и теперь понеслась вовсе не с испугу, а поддразнивая его тугими гладкими ляжками.

Извилистая тропинка пролежала под урючиной. Перезрелые плоды, сорвавшись, усеяли землю. Прелый запах гнили струился в воздухе. Жирные зеленые мухи роились, кружились над кучей опавшего, истлевшего урюка, справляя обильную трапезу.

Что еще может быть противнее гниющих фруктов? Еще недавно это были девственно нежные, белые соцветия. Потом появилась завязь, плотная, темно-зеленая, гладкая. Ее лелеяла листва и бережно качало, баюкало кряжистое, раскидистое дерево. Она впитывала живительный сок, сосала солнечную грудь неба. Вот завязь обернулась плодом. Он заметно созревал, наливался, покрывался позолотой, маня взор своей красотой. И вот дозрел. А перезрев, сорвался, начал подгнивать и стал добычей мерзких зеленых мух — суетливых спутниц тлена. Вот и все... Прелестен, пригож плод, пока красуется на ветвях... А сорвется с вышины — и превратится в прах, в позор и унижение, как этот урюк, гниющий под ногами. Ни жалости, ни сострадания к нему не будет. Одно отвращение... Кому есть дело до того, что вчера еще это был



прекрасный плод, даровавший прохладный сок и медовую сладость...

Создатель не наделил плода на дереве разумом, достоинством, гордым желанием всегда и неизменно оказаться на высоте. А вот человеку доступна простая истина: падение с вышины, куда так долго и упорно лез, — смерть. И потому владыка, подстерегаемый злорадством и завистью врагов, постарается не падать, а взбираться все выше и выше.

Тропинка вывела его к мостнику, перекинутому через ров с водой вокруг дворца. Повелитель весь подобрался, посуровел; взгляд, затуманенный зыбкими думами, вновь обрел колючий, жесткий блеск. Холодный, неприступный, он вошел во дворец.

Когда служанка внесла обед, он — по-прежнему мрачный — восседал на широком возвышении, укрытом тигриной шкурой, у выложенного мозанкой хауза в середине зала.

Молодая служанка смущенно прикусила губу, точно невинная девочка на ложе у пожилого мужчины, и осталась рядом. Маленький поднос поставила на круглый дастархан. Как бы старательно ни прикусывала она губы, однако на лице не было и намек на стыдливый румянец. Овальное лицо, густо покрытое пудрой, белело непроницаемо, длинные ресницы, не в меру насурьмленные, ловко прикрывали многоопытную осведомленность и подспудное упрямство, придавая лицу выражение лживой покорности и простодушия.

Обычно Повелитель не удостаивал своих слуг взглядом, но на этот раз посмотрел пристально и ощупывающе. Служанка ничуть не оробела.

Что же получается? Неужели она до сих пор не обратила внимания на червивое яблоко? Неужели все еще ни о чем не догадывается? А если, допустим, ей все известно, как она может при этом не смущаться перед ним?

Нет, служанка и лицом не дрогнула. Накрыла, как положено, дастархан, сдержанно и учтиво поклонилась и, не полностью разгибая стан, неслышной, волнуемой походкой, свойственной одному только женскому племени, направилась к выходу. Пышные чресла упруго подрагивали под яркой шелковой накидкой.

Лишь когда закрылась за нею дверь, он посмотрел на дастархан. Взгляд тут же споткнулся о красное наливное яблоко. На этот раз надрез был шире, заметней. Да и яблоко лежало чуть в сторонке, отдельно!

Ясно: служанка знает все!

Рука хана невольно потянулась к колокольнику под подушкой.

Тотчас в дверях показалась и поклонилась служанка.

Повелитель изо всех сил старался не поддаться приступу бешеного гнева. В злобе он даже не сразу смекнул, что хотел сказать покорно застывшей у порога служанке.

— Яблоко это... в здешнем саду сорвали?

— Нет, милостивый Повелитель, вам его прислала Великая Ханша.

— Ступай.

Служанка послушно повернулась, и он успел заметить легкую ухмылку в уголке прикушенных губ...

...Скользкая ухмылка, мелькнувшая в уголке тонких губ служанки, мерещилась теперь ему и на поверхности мерно журчащего родника. Вода, робко сочась из груди земли, образовала ручеек, и по нему изредка пробегала легкая зыбь, точно чистая улыбка младенца. Даже в серебристо-нежном бульканье ручейка чудились ему искреннее сочувствие и печаль...

Отныне и этот укромный уголок, скрытый от пронзительного взгляда света, омрачен смятением неумного духа. Казалось, даже серый валун под Повелителем ворочался, выражая непокорность. Может, и трепетные листья на верхушках деревьев шепотом передавали друг другу тайну, которую тщетно все эти дни пытался разгадать Повелитель.

Раньше здесь, у родника, как-то сами по себе разрешались все его тревоги и сомнения и просветлялась, оттаивала заскорузлая, очерствевшая от хлопот и дум душа. На этот раз облегчение не приходило.

«...прислала Великая Ханша...»

В последний поход он забрал с собой Старшую Ханшу и подростков внуков. Однако походная жизнь и лишения вскоре надоели им, и он — это было два года назад — отправил их обратно.

Весной, возвращаясь из длительного похода, он выслал вперед нарочного с доброй вестью, и тот, вернувшись в войско, ничего существенного не доложил.

Потом, до начала грандиозного пира в честь победы, он почти полтора месяца отдыхал во дворце старшей жены и внуков, находившемся в полудневном пути от столицы. И за это время Великая Ханша даже не заикалась о какой-либо напасти.

Ни тени досады или озабоченности на лице ханши не заметил он и во время пира. Как же следует понимать этот знак неблагополучия, поданный ею теперь? Выходит, если бы это произошло раньше, то с какой стати молчала она столько времени?

Сыновья часто навещали мать. Но ездили они во дворец ханши не потому, что были больше привязаны к матери, а потому, что тосковали по своим детям.

Может, сыновья что-нибудь натворили? Но... с какой стати стала бы вдруг жаловаться на них ханша? Ведь они беспрекословно подчиняются ее воле.

Повелитель заблаговременно позаботился о том, чтобы пресечь возможные распри между сыновьями. Неспроста говорится: о хуе не думаешь, добра не жди... Так вот, на случай, если всевышний призовет его к себе, Повелитель давно уже собственными устами объявил законного наследника. И у того пока не должно быть подлых намерений. Наоборот, может, братья против наследника что-то замышляют? Однако и такое вроде исключено. Они ведь все единоутробные. Одной пуповиной связаны. Самый старший, рожденный от другой матери, остался наместником одной из покоренных южных стран. Остальные трое слишком молоды и еще не познали вкус власти. Что же тогда могло случиться?.. Или в канун далекого и опасного похода нашлись смутьяны, подло сбивающие ханских сыновей с праведного пути? Не мудрено. Ведь, встретившись с женами и детьми после семилетней разлуки, многие отнюдь не горят желанием вновь оседлать боевых коней и пуститься в неведомые края, где можно сложить голову. Зная это, Повелитель в последнем походе щедро одарил всех, кто отличился отвагой и верностью. Не поспешил ли он со своим даром? Не разумней ли было повременить? Не раздавать добычу, а только посулить?

Когда-то одному из своих эмиров он дал совет: «Насколько узки глаза у тюрков, настолько же скупа и алчна их душа. Единственный способ заставить служить их верой и правдой — тешить их глаза золотом, а душу — хвальбой. У других отними, а своих — подкупай».

Разве не этой мудрости следует он сам? Разве, завоевав много стран и отняв их золото, он не потратил его на подкуп своих приближенных? Иначе чем еще, кроме золота, можно вырвать из бабьих объятий этих обленевшихся похотливых самцов, называемых мужчинами?

И чтобы ублажить их алчные души и заткнуть ненасытные глотки, он швырнул живоглотам добычу, а честолюбцам роздал чины. Пусть подавятся!

Казалось, все предусмотрено, и ничего не должно было случиться. После, прибывшего из страны, где восходит солнце, он не подпустил ни к своим эмирам и предводителям войск, ни к родным сыновьям. Неужели тот

пройдоха нашел-таки муравьиную лазейку в его искусно расставленных тенетах и сумел каким-то образом нанакостить?

Да-а... как бы там ни было, знак тревоги подаи неспроста. Ведь когда Великая Ханша прислала нарочного с просьбой поговорить по важному делу, он не принял его. Но ханша высказала явное нетерпение, с намекком передав красное червивое яблоко. Может, следует срочно вызвать всех сыновей? А вдруг кого-то из них и впрямь охватил бес единовластья? Тогда неожиданный и срочный вызов отца может только насторожить возжаждавшего высшей власти нечестивца и ускорить развязку его черных помыслов. Нет, нет, о срочном сборе сыновей сейчас не может быть и речи. Тут, видно, что-то другое. Если даже допустить, что кого-то из сыновей и поразила подлая страсть, то вряд ли раньше всех так встревожилась бы Великая Ханша, толкая в муках рожденное чадо под толпор палача.

Между тем Великая Ханша оттолкнула от себя только старшего его сына, рожденного от другой, покойной ныне жены. Ханша настояла на том, чтобы отослать его подальше, на край земли, наместником завоеванной страны.

По совету святого сенда она добилась того, что наследником трона был объявлен старший сын, рожденный от нее. Повелитель долго оттягивал решение о наследнике, потому что не хотел обидеть своего первенца, но тот — то ли боялся козней честолюбивых братьев, то ли пожалел отца, очутившегося меж двух огней, — сам вдруг отказался от наследного права и попросил только отправить его правителем южной страны.

И, вспоминая великодушный поступок своего любимого сына-первенца, Повелитель испытывал каждый раз неловкость, перемешанную с болью и жалостью, и как-то весь сникал, сжимался, точно от непомерной тяжести вины. Вот и сейчас, едва вспомнилось о старшем сыне, разом схлынули изнуравшие его за эти дни сомнения и думы, и мысли вернулись к тем годам, полным мытарства и лишений.

Прежде его до седьмого колена были предводителями войска. Прадэд, к примеру, возглавлял войско старшего сына Великого Хана. Эта традиция по наследству от поколения к поколению дошла и до него. И он служил предводителем войска у эмира — престарелого правителя этого края. Старый эмир любил и почитал его пуще родного

сына. Выдал за него дочь. И когда тесть пал жертвой вражеских интриг, на трон его сел Он.

В то время жители Двуречья разделялись на сорок племен, раздираемых смутой и междоусобицей. Все они были тогда подвластны потомкам Великого Хана, обитавшим за тридевять земель. Усевшись на трон, он первым делом попытался объединить множество мелких ханств. Каждому из кичливых ханов-марионеток было отправлено тайное послание: «Предлагаю объединиться и прогнать всех остальных. Управлять Двуречьем будем вдвоем». И от каждого от этих марионеток, шалеющих от неумеренного желания большей власти, он вскоре получил горячее согласие. Так он ловко подлил масло в костер и без того не затухающих распрей. Награвив друг против друга спесивых правительшек, он терпеливо выжидал в стороне, по-прежнему суля дружбу и помощь тому, кто наголову победит всех остальных.

В это время с огромным войском приближался сюда сам Верховный правитель. Узнав об этом, Он опередил всех соперников и первым встретил — с поклоном и почестями — Великого Хана. Руководила им при этом единственная цель: добиться признания и преимущества в глазах потомков великого Повелителя. Однако на этот раз судьба отвернулась от него: потомки Великого Хана почему-то не поверили ему, лишили его трона и вновь назначили предводителем местного войска. А позже пустили слух, что он замышляет покушение на своих правителей, и решили его умертвить. Но всевышний миловал: наказ об убийстве попал ему в руки. Он успел бежать. Несколько лет провел он в мытарствах, хоронясь в тех самых гибельных песках, по которым нынешней весной он возвратился с войском из похода. Вместе с женой, как затравленный, метался по барханам. На склонах бесчисленных дюн, на раскаленном песке остались их следы. Ноги, изнеженные теперь ворсистыми коврами и пуховыми подушками, были тогда несечены колючками, изранены занозами. Те следы на песках давно уже стер ветер пустыни. Раны давно уже вылечило время. И о тех горестных днях он вспоминает теперь лишь при виде старшего сына или думая о нем. Потому он и дороже, роднее всех остальных сыновей. Не будь его, первенца, кто знает, достиг бы он нынешней славы и могущества.

Скитаясь в пустыне, находясь на грани жизни и смерти, он попался в лапы бека-правителя какого-то племени,

обитающего в песках. Вместе с женой швырнули его в темницу-зندان глубиной в сорок кулаш¹. В этот сырой затхлый колодец днем не проникал луч солнца, ночью — луч луны. Высоко-высоко над их головой, у узкого отверстия, слабо брезжил свет, точно насмехаясь над обреченными супругами. Изредка в колодец, склонившись, заглядывал страж, заслоня блеклый свет своей лохматой бараньей шапкой и ввергая пленников в густой мрак.

Тихо. Только изредка негромко, точно ржанье жеребенка, позванивали железные оковы на руках жены, когда она, измученная пронизывающей сыростью, ворочалась на дне зндана.

Супруги все эти дни не проронили ни слова, будто не желая беречь изъедавшие душу раны от досады и гнева. Лишь время от времени тяжко вздыхали.

Так прошло сорок девять дней и ночей. Пятидесятая ночь выдалась лунной. Пленники заметили это по мерцающей белизне струящегося у отверстия света, похожего на отблеск серебряного подноса.

Молодая жена, с ожесточенным упрямством сносившая все муки в смрадном подземелье, вдруг забилась и беспомощно заскулила. Жар охватил ее тело. По лбу струился липкий пот. Закованный, он мог только подставить ей плечо. Надсадный плач-стон становился все громче. Неведомая боль, казалось, рвала ее на части, ломала кости, выматывала душу, и женщина, не зная, как унять, утишить эти адские муки, обезумело билась головой о глухие стены зндана.

Потом... потом она вдруг обмякла, потеряв сознание. И в этот самый миг откуда-то прорвался — сначала тускло, как бы захлебываясь, потом вдруг во всю мощь — возмущенно-резкий, незнакомый крик, от которого у него зазвенело в ушах.

Молочно-белый свет над головой на мгновение погас и вновь забрезжил.

Тут же что-то, скользнув, упало ему на грудь. Он подбородком нащупал ключ, ухватил зубами и, изловчившись, отомкнул оковы на руках жены.

Она очнулась от крика и снова вся зашлась в знобкой дрожи.

— Бери ключ — отомкни оковы! Живо! — прикрикнул он.

¹ Мера длины, расстояние между вытянутыми в стороны руками.

Она послушно зашарила вокруг.

— Быстрее! Ну!..

Раздирающий душу плач не умолкал.

Наконец ей удалось отомкнуть и снять оковы. Руки его коснулись чего-то скользкого, теплого. Ребенок, еще соединенный пуповиной с матерью, надрылся изо всех сил.

Он склонился к скрюченному тельцу, зубами перегрыз теплую пуповину и, вырвав у жены прядь волос, крепко перевязал ее.

Потом осторожно прижал беспомощное существо к груди, стараясь согреть его своим теплом, своим дыханием и, чувствуя, как оно доверчиво прикикло к нему, успокаиваясь, он вдруг ощутил неведомую, торжествующую радость, отчего сразу исчезли все напряжение, вся боль, унижение и горечь, выпавшие ему за последние месяцы.

Сперва он обвязал арканом жену и помог ей выбраться, потом, придерживая одной рукой ребенка, вылез сам. Чернобородому спасителю в мохнатой бараньей шапке он сунул, сорвав с шеи жены, яхонтовое ожерелье и, выхватив из его рук саблю, направился к шатру бека.

Сбежалась, услышав возню у зиндана, вооруженная стража, но, пораженная зрелищем, остановилась: босоногий, простоволосый мужчина решительно шел на них, держа в одной руке голенького ребенка, в другой — обнаженную стальную саблю.

У входа в шатер два привратника преградили ему дорогу, но сабля в руке пленника дважды ослепительно блеснула при свете луны. Так отбиваются плеткой от злых собак. На порог, обливаясь кровью, рухнули два труп.

Ведя за собой жену, ворвался он к беку. Теперь бросились наперерез телохранители. Бек повел подбородком. Занесенные сабли послушно опустились.

Кто знает, что пришло в голову бека? Он приказал отвести пленников в отдельную юрту и содержать сорок дней — пока окрепнет новорожденный и очистится от скверны роженница. После этого срока, определенного самим шариадом, бек подарил супругам по скакуну и отпустил восвояси.

Позже, через много лет, когда он — с благословения адлаха — беспощадно расквитался со своими врагами и обидчиками и стал единоличным правителем этого края, направил он свое тысячекопытное войско в пустыню, про-

тив того племени, чьим пленником был когда-то. Оставалась еще неделя пути, когда вдруг увидел на берегу бурной реки отряд: воины в мохнатых бараньих шапках в знак покорности спешились и вонзили пикн в песок.

Когда ханское войско приблизилось, трое из отряда вышли навстречу. В том, остробородом посередке, Повелитель признал бека.

Остановившись в пяти шагах, бек твердо произнес:

— Вот — коран, а вот — сабля. Воля твоя. Хочешь — мы на коране поклянемся в верности тебе. Нет — так бери саблю и руби наши головы. Мы против тебя оружия не поднимем.

До самой смерти бек остался одним из преданнейших и почтеннейших эмиров.

Первая жена покинула юдоль печали тридцати девяти лет от роду. В честь любимой и верной спутницы суровой жизни, без ропота разделившей все неимоверные тяготы, лишения, унижения и опасности, согревавшей его ожесточившееся сердце своей тихой и светлой любовью, одарившей его первенцем-сыном, он потом построил величественную мечеть.

Каждый раз при виде старшего сына Повелитель теплел душой. Вспоминались далекая, невозвратная молодость и незабвенная жена, так и не познавшая безмятежной жизни ханши. И отправил-то он любимого сына правителем в далекий край скрепя сердце. До сих пор, когда он представляет судьбу сына, томящегося, точно в изгнании, на чужбине под постоянным прицелом ненавидящего вражеского взора, холодная оторопь охватывает все его существо. С отъездом старшего сына он неизменно чувствовал себя одиноким и осиротевшим, все равно, находился ли среди многотысячного войска, или восседал на шумном, знатном пире, или отдыхал в кругу остальных сыновей и ватаги внуков. И, кажется, только теперь он убедился в том, что у каждого — кто бы он ни был, — живущего под этим бездонным и равнодушным небом, есть только один-единственный неизменный вечный спутник — одиночество.

Помнится, в предсмертный час мать, преодолевая недуг и немощь, сказала ему:

— Сын мой... ты достиг своего желанья. Я же уйду из этого мира в печали и горести. Ты был моим единственным сыном, как одинокое священное дерево в голой пустыне. Таким же одиноким я тебя и покидаю. Так вот,

слушай. Не почитай трона своего выше своих башмаков. От холода и сырости он не спасет. Не думай, что роскошный дворец твой надежнее твоей кольчуги. И его стрела пронзит. Не считай, что твое войско неуязвимее твоего щита. И его глаз совертит. Не полагайся особенно на отпрысков своих, народившихся от разных баб. И они тебя предадут. Да будет тебе известно: много баб и наложниц не заменят одной жены. А ее-то у тебя и нет, сын мой. Бабы, с которыми ты делишь постель,— все равно что кобылицы в одном табуне. Ребенок в утробе им ближе, чем ты на их чреслах. Сам знаешь: стригунок, окрепнув, начнет кусать табунного жеребца. Вот и берегись. Множеством сыновей не кичись. А то у матерого волка было много волчат, да выкусили они его из собственного логова, и околет он, старый, на холодном ветру. Не трать понапрасну силы, желая угодить всем своим бабам, а почитай одну и заслужи ее веру и любовь. У отца ты был единственным сыном, потому он и передал так рано повод правления тебе. У тебя же сыновей много, и если ты не хочешь, чтобы твои щенки перегрызли друг другу глотки, не уступай трона никому из них до самой своей смерти. И лишившись власти, не околачивайся возле бабы, у которой от тебя много детей. Опираясь на них, она обесчестит тебя, унижит твое достоинство. Держись за бездетную. Униженная своей бездетностью, она сможет защититься от соперниц только тобой и потому будет преданно любить и почитать до последнего часа...

Мать говорила эти слова шепотом, будто опасаясь, что кто-нибудь может их подслушать, говорила очень четко, убедительно, крепко стискивая при этом руку сына, и он, вслушиваясь в мудрую речь, почувствовал оторопь. Высказав все, что находилось на душе, мать плотно сложила бледные дряблые губы, отвернулась лицом, и в тусклых глазах ее, казалось, угасал, постепенно удаляясь в неведомое, теплый жизненный свет. И когда иссушенная хворью и старостью мелко дрожавшая рука ее безжизненно упала на пышную перицу, суровый властелин, покоривший половину мира, вдруг ужаснулся и растерялся, как осиротевший, сильно отлученный от матери.

С тех пор каждый раз, возвращаясь из далекого похода, он вспоминал предсмертные слова матери.

Таким образом, теперешняя Великая Ханша — вторая жена, занявшая место первой. Она из влиятельного

богатого спесивого рода. Он к тому времени был ханом, на гребне власти и удачи, забавлялся прекраснейшими наложницами со всего света, но чтобы обуздать гордыню и приторочить к своему седлу древний могущественный род, косившийся на него за то, что он не принадлежал ни к белой, ни к черной кости, а был как бы пегим, с расчетом взял себе ее в жены.

Дочь кичливого, честолюбивого племени, видя, как к ногам Повелителя падают одно за другим знамена разных стран, все более привязывалась к нему. На слухи-кривотолки, исходившие от ее сородичей, она перестала обращать внимание. И сородичи, заметив крутые перемены в настрое единокровной дочери, также понемногу охладевали к ней. Отныне они охотнее обращались к самому Повелителю — своему зятю. Тот бесчисленные тяжбы и неукротимые прихоти чванливого рода разрешал и удовлетворял быстро и легко. Теперь же, когда само солнце и луна на небе с опаской взирают на его все сокрушающее копьё, сородичи жены не осмеливаются задирать носы и предпочитают помалкивать о своем знатном происхождении, об исконной причастности к избранной белой кости.

Со временем они вовсе перестали упоминать своих досточтимых предков, а восславляли всюду и везде только своего зятя. Потом подросли ханские сыновья, стали участвовать в походах и выказывать удаль и отвагу, и хвастливые родичи жены превозносили уже не столько самого Повелителя, сколько его сыновей, говоря: «В жилах наших племянников все же течет кровь славных предков. Вот увидите, они и своего родного отца превзойдут!»

Великая Ханша, народившая ему трех сыновей, с годами обрела достоинство счастливой матери и уже не смотрела, как прежде, лъстиво в рот крутоправому супругу. Более того, в последнее время она всех внуков держала при себе и проживала безвыездно в своем дворце, полагая, что Повелитель должен сам приезжать к ней, если, конечно, чувствует в том потребность.

Несколько лет назад, следуя наставлениям покойной матери, он женился на девочке шестнадцати лет. Поведением и статью она напоминала ему первую жену. Нежная, кроткая, небалованная, не познавшая отравы власти.

В последний поход он — по обыкновению — забрал Старшую Жену, оставив здесь, на родине, Младшую. И вот она, юная ханша, в честь супруга построила баш-

ню. Самую видную и высокую из всех, что вознеслись над столичным городом.

Этот тихий, уединенный дворец, в котором хан проводил сейчас свой недолгий отдых перед новым походом, он подарил Младшей Ханше. На склоне лет он решил не разъезжать, как прежде, из дворца в дворец, а обосноваться здесь до конца своих дней.

Может быть, именно это возбудило ревность Великой Ханши? Над его носом пронеслась пчела. «Неуж-жели не мог об этом сразу догадаться?» Листья над головой зашуршали, перешептываясь громче.

Он сам поразился своей неожиданной и такой простой догадке. В молодости мысли его были, пожалуй, резвей; они настигали цель мгновенно, точно молодая гончая, а не плутали, будто вслепую, вокруг да около.

Ну, конечно, самодовольная гордычка-ханша, державшая мужа при себе, никак не одобряет теперь его уединения с юной женой. Даже, когда он ставил мечеть в память умершей жены, Великая Ханша, помнится, долго хмурила брови. Если раньше ее постоянно терзала ревность из-за мечети, то теперь ее и вовсе сводит с ума новая величественная башня, сооруженная по воле молодой соперницы.

Чем еще, кроме сплетен о близких, может привлечь внимание к себе стареющая ханша? Она хоть рассказками пытается обратить на себя благосклонность мужа. Значит, и красное наливное яблоко — всего лишь черныи знак ее душевной скарденности. А коли так, то нечего напрасно ломать голову. И, подумав так, он сразу почувствовал громадное облегчение, словно раздавил червя сомнения, точившего все эти дни его душу.

В эту ночь впервые за долгое время он спал спокойно. И проснулся бодрым. После завтрака велел заложить повозку.

В золотисто-пестрой повозке, в сопровождении конной свиты, выехал Поселитель из дворцовых ворот в сторону новой, невиданной башни.

В душе он испытывал неприязнь, если не сказать — ненависть, ко всем дворцам и башням покоренных им стран, как, впрочем, и к золотым тронам и коронам врагов. Ему мало было сознавать себя могущественнее всех правителей на свете, он хотел, чтобы и столица его была краше и богаче всех столиц. И потому он из каждого похода привозил тысячи пленных мастеров-умельцев.

Каждый раз, возвращаясь из дальних стран, он придирчиво осматривал свою столицу. Сейчас он мог быть спокоен: город вырос, могуч и прекрасен, и из виденных Повелителем городов нет ему равных.

Особенно довольным он остался в последний раз, когда Младшая Жена, чутко угадав настрой его души, построила в честь супруга башню, дерзко и гордо устремившуюся ввысь, к небу.

И место для нее выбрано удачно: издалека и со всех сторон сразу бросается в глаза. Открытая взору местность. И все другие минареты, достойные соперничать красотой, находятся на расстоянии.

Вот она, вся голубая, приветливо улыбнулась ему. Душа светлеет, радуется при одном ее виде. Даже бесцветному, вылинявшему в знойную пору небу башня придает необыкновенную голубизну, и над ней небесный купол кажется чище и прозрачнее.

Чем ближе, тем заметнее возвышалась башня. И уже не такой улыбочкой она становилась, а строгой, замкнутой. Вблизи, у подножья, это впечатление усилилось: башня отрешенно и сурово подпирала небо.

Противоречивые чувства, все эти дни попеременно овладевавшие ханом, вдруг разом умолкли. Гордая башня, во всем своем блеске возвышавшаяся перед ним, словно подавила и развеяла все сомнения. То, что такого чуда не было ни в одном другом городе мира, приятно тешило самолюбие. Будь оно в чужом, вражеском городе, многочисленная услужливая свита с топорами и ломami давно бы уже набросилась крошчить, рушить каменное чудовище, надменно взирающее на грозного владыку вселенной. На этот раз все пукеры застыли с разинутыми от изумления ртами.

Отныне этой башне суждено глядеть свысока на весь необъятный покоренный мир, точно гордый ханский стяг — символ его всемогущества.

Великий Повелитель углядел в этом минарете нечто свойственное ему самому: башню видать на краю земли, и она милостиво манит, влечет к себе всех, но — когда окажешься рядом — становится строгой и недоступной, как сам Повелитель.

Невозможно оторваться от башни. Он стоял перед ней замороженный, точно пылкий юноша перед прелестной и загадочной в своей красе женщиной.

Сейчас он испытывал необыкновенную радость, близ-

кую к восторгу, и признательность ко всему миру, достойно восславившему его имя и честь, — к голубой башне, придавшей блеска его могуществу, к прозрачному небу, чистым куполом нависавшему над ней, к мастеру, в течение семи лет изо дня в день по кирпичику, по кирпичику без усталости воздвигавшему такую махину, к юной супруге, преданным женским сердцем догадавшейся о подавленности и усталости его души после изнурительного похода и подготовившей дивный подарок, глядя на который дряхлый дух обретал вдруг орлиную мощь и порыв.

Стояло немного отдалиться, как лик башни постепенно теплел. Голубые плиты, вблизи холодно и даже сурово мерцающие глазурью, на расстоянии начинали улыбаться. Чем дальше, тем труднее было оторваться от этого чуда. Гордая красавица, вблизи не устаивавшая тебя даже взглядом, вдруг — издали — таинственно-завлекающе посмеивалась и властно притягивала к себе. Зачарованный, поневоле кружишься вокруг.

При внимательном взгляде можно было убедиться в том, что в башне преобладают не мужская доблесть и достоинство, а сдержанная гордость, скромная благосклонность и душевная ласка, свойственные женщине. Сколько их — сказочных дворцов и минаретов — видел, перевидел он за долгие годы близких и дальних походов, но такой таинственной красоты, сотворенной чудодеем, встречать не приходилось. Необычное обаяние башни как бы околдовало взор и душу Повелителя, и он никак не мог понять рассудком тайну такой магической красоты.

Башня воплотила в себе тоску по возлюбленному женщины, которая оставалась неприступно-глухой к тем, кто жаждал ее близости и благосклонности, и кротко улыбалась единственному, желанному, находившемуся вдалеке, звала его с мольбой и тоскою, суля радость и ласку.

Зодчий, выстроивший эту башню, проникновенно передал неизбывную тоску и любовь юной ханши к своему возлюбленному, так долго не возвращавшемуся из далекого похода...

Вблизи башня ослепляла яркой, броской красотой, а постепенно удаляясь, окутывалась голубым маревом, точно погружалась в печаль, от которой щемило сердце.

Она выражала немую мольбу: «Неужто покидаешь меня?... Не уходи... Останься... Ради всего святого останься... побудь со мной... со мной...»

«Стой! Вернись!»

Неожиданный, как окрик, властный зов грубо оборвал все думы, точно поразил его в самое сердце. Повелитель вдруг резко выпрямился, оттолкнувшись спиной от мягкой подушки сиденья, но промолчал...

До самого дворца он старался больше не смотреть в сторону башни. Он не мог сейчас предположить, на какие лады истолкуют завтра праздные нукеры его неожиданный порыв, и потому поспешно откинул голову на спинную подушку и прикрыл глаза.

Неспокойно было на душе, отчего-то мутило, и он не притронулся к обеду. Только отведал ломтик дыни, охлажденной в меде, и от приятного холодка тошнота исчезла. На этот раз яблока не было. У служанки — он это сразу заметил за легкой накидкой на ее лице — глаза были подчеркнуты вежливо опущены dolu...

Когда служанка вышла, он уставился на монотонно сочившуюся прозрачную воду в хаузе, выложенном посередине дворцового зала из бурых, розовых, голубых мраморных плит, и задумался... Глядя на капли, похожие на слезинки и бесследно исчезающие где-то в глубине бассейна, он чувствовал, что сердце его смягчается, оттаивает. Плотный наст суровости и жестокости, намерзший в душе за долгие-долгие годы, вроде рыхлел, крошился от каких-то неведомых ему нежных чувств, напоминавших ласковый весенний ветерок, и Повелитель весь обмяк, поддавшись печали одиночества. В нем вдруг неожиданно проснулась жалость. Он и сам еще не мог понять, чего ему стало жаль: то ли этой воды, зажатой в каменные тиски и потому исходившей безутешными слезами, то ли сироту-башню, оставшуюся там, в зыбком голубом мареве... Что-то чистое и нежное, охватившее всю его душу, напомнило вдруг снова Младшую Ханшу. Да, да... она, бедная, в облике этой башни передала ведь не только свою многолетнюю тоску по любимому, нетерпеливое желание скорой встречи и неумную страсть, обжигавшую ее невинное существо, но и намекала на свое безысходное одиночество в среде чуждых ей людей, на обиды, которые приходилось терпеливо сносить, на подавленный дух, на отчаяние, вырывавшееся в безмолвном крике: «Приди же... услышь меня... пойми... защити!» Разве сочетание надменной холодности и кроткой нежности, гордости и покорности, тоски и страсти не означает всеобъемлющего понятия — любовь?!

Уж кто-кто, а он прекрасно знает, что это такое... Когда в те далекие годы скитаний измученная жена, стыдясь опереться на него, бывало, лишь робко, по-девчьи прикасалась к его плечу и невинно просила: «Сил моих больше нет... поддержи чуть-чуть...», он ясно видел в ее усталых глазах причудливый клубок всех этих человеческих чувств.

Это же сокровенное выражение — точь-в-точь как у матери — он заметил в глазах старшего сына, смущенно скрывааемых под густыми бровями, когда тот перед отъездом в далекую страну едва ли не тайком зашел проститься с отцом.

И вот сегодня, отъезжая от голубой башни, он вдруг на мгновение ощутил все то же редкое, не определимое человеческой речью священное чувство, которое приходилось ему видеть в глазах двух самых дорогих на свете людей. Казалось, теперь он догадывался о тайне, заключенной в красоте той башни. Ему неодолимо захотелось увидеть молодую ханшу, увидеть сейчас же и заглянуть... нет, смотреть долго-долго в ее безгрешные, по-детски преданные глаза.

Он почувствовал вдруг дрожь в сердце. Давно уже не испытывал он такого трепета, такого приятного волнения. И он был сейчас поражен — то ли этим необыкновенным своим состоянием, то ли тем, что мог столько лет прожить так глухо, так немо, не испытывая ничего подобного. Одно лишь желание властно охватило его — скорее, тотчас увидеть Младшую Ханшу. Он даже не мог сейчас отчетливо представить себе ее. Не так уж и часто удавалось оставаться с ней наедине. А на людях, понятно, Повелителю не положено заглядываться на собственную жену... Кажется, большие, черные, как смородина, с влажным блеском глаза придавали ее худощавому личику выражение кротости и печали: нос точеный, маленький, с чуткими ноздрями; подбородок круглый, нежный, и губы не тонкие, которые обычно не в состоянии скрывать горячее желание, и не толстые, чувственные, а в меру полные, пухлые, податливые. Словом, она обладала внешнестью, как принято считать, женщины стыдливой, сдержанной, скромной и верной в любви, которая не обжигает, не ошеломляет дикой, несбужданной страстью, а ласкает и согревает ровным душевным огнем, не пьянит колдовскими чарами и дразнящим смехом, а завораживает темной, благосклонной улыбкой.

Именно любовь такой женщины воплотила в себе грандиозная башня. Неспроста, видать, сам пророк Соломон, нашедший путь к людским сердцам через сердце возлюбленной, зная толк в любви и многоликой женской красе, называл ангелоподобными тех, кто невинной нежностью и кроткой женственностью умел без зримых путей связывать мужчин.

И еще говорят: пророк Соломон имел обыкновение наслаждаться вкусом и ароматом сладкого вина, лишь прикасаясь к нему губами. Мудрец понимал, что сладость чувств в их умеренности. А он, Повелитель, в своих бесконечных походах не об услаждении плоти и духа заботился, а довольствовался случайными и грубыми утехами.

Выходит, прожив жизнь, он так и не познал радости выпавших на его долю власти и могущества. Сердце остыло рано и не искало других удовольствий, кроме лицезрения падавших к его ногам вражеских знамен и золотых корон покоренных им владык.

Выходит, власть и могущество, к которым он стремился, корона на голове и трон под ним лишили его многих человеческих радостей, связав по рукам и ногам. Такова тяжкая участь властелина. Сейчас он не может даже вызвать к себе Младшую Жену, которая находится с ним рядом, в одном дворце. Изведавший за свою жизнь немало обид и унижений, уже привыкший к суровости, он не подпускал особенно к себе даже членов своей семьи, а жен навещал только ночью. Вообще, встречи с женами в дневное время не были приняты, за исключением отдельных случаев, вроде приема послов, совещания с советниками или семейных бесед с участием всех детей и внуков.

Теперь этот обычай, введенный им, невидимыми путями связывал его самого. При всем своем желании он был лишен возможности вызвать ханшу к себе или навестить в ее покоях. Сейчас, когда Старшая Ханша подала ему явно предупреждающий знак, а слуги, наверняка осведомленные обо всем, подстерегают каждый его шаг, нетрудно себе представить, какие вспыхнут кривотолки, если он посреди белого дня отправится вдруг на свидание с Младшей Женой...

Он нетерпеливо дожидался вечера. Время, обычно такое скоротечное, вдруг, как назло, поползло улиткой. И солнце неподвижно застряло в зените.

Не находя себе места в одиноком зале, Повелитель снова отправился на прогулку в сад. Он добрел до любимого родника, однако не усидел и здесь, чувствуя, что в мыслях разброд и смятение. Он долго ходил взад-вперед по кривой тропинке и все чаще поглядывал на солнце.

Бесстрашный в бою, на ратном поле, он сейчас не решился подходить к постели собственной жены и, точно неопытный жених, смутно предвкушающий радость первой брачной ночи, с нетерпением и тайной боязнью ждал, ждал, когда, наконец, закатится солнце и наступят желанные сумерки.

Тени от деревьев постепенно удлинялись и уже начали сливаться. Ранние сумерки поплыли по саду. Повелитель вернулся во дворец. От долгого ожидания, должно быть, в сердце опять закрались тревоги и сомнения. В непомерно огромном зале, так ослепительно ярко освещенном светильниками, он вдруг вновь затосковал, остро ощутив свое полное одиночество в этом безбрежном мире. Будь он на поле брани в окружении грозно ощерившихся копьев, не почувствовал бы страха даже при виде летящей на него вражеской конницы. Будь он молодым и пылким джигитом, бросился бы, не раздумывая, в опочивальню ханши. А теперь он вышел из того возраста, когда слепо идут на поводу бесшабашного порыва. К тому же не к старой спутнице своей он стремился, чтобы поговорить по душам, развеять тоску и печаль, а к почти незнакомой — хотя и жена — юной особе. Ведь Младшая Ханша, точно одна из многих безымянных наложниц, с которыми он лишь поспешно удовлетворял мужскую потребность, не говорила ему еще ни единого слова. И вообще, кажется, уже тридцать лет прошло с тех пор, как Повелитель ни с кем не делится сердечной тайной. И о чем он может сейчас говорить с Младшей Ханшей? Что они скажут друг другу — по существу чужие — мужчина и женщина? Верно: совсем еще молоденькая ханша — его жена. Верно: она не посмест перечить ни одному его слову, ни одной его прихоти; как и весь этот город, как каждый дом и каждый человек в его столице. Вся страна падает перед ним ниц. Половина мира в его власти. Но ни с одной живой душой, обитающей в этой половине мира, он не может поговорить искренне и откровенно. И Младшая Ханша — всего-навсего одна из этих многих безголосых его подданных. Оба они, точно пленники, уже несколько дней томятся в этом одиноком дворце. Однако

она, жена, не может решиться и прийти к нему, мужу! Разве не сущий ад — этот мир?! И телом, и душой принадлежат ему все живые существа половины вселенной, как говорится, они и на его ладони, и в его кулаке, однако все, все, как один, — чужие, чужие... Все ждут от него только высочайшего повеления. Он и раньше хорошо знал, что все в покоренном им мире, — кроме, конечно, его самого, — живут с невидимой петлей на шее, имсущей властью, и покорно барахтаются в тенетах его могущества. Самого-то себя он считал свободным от этих тенет. Но сегодня с горечью убедился: невидимая петля, захлестнувшая горло других, спутала незаметно и его руки-ноги. Раньше люди боялись его взгляда и его слова, теперь и он стал бояться людского глаза и людской молвы...

Вот он, крадучись; точно кот, выбрался из своей опочивальни. Тайнственные пути, удерживавшие его до полночи, и теперь еще не развязались, а как бы продолжали болтаться на ногах.

И узорчатые мраморные плиты на потолке, и сурово молчавшие глухие стены по сторонам, и стылые тени, укрывшиеся за колоннами, и тугой ворс ковров, податливо стелившийся под ногами, и даже светильник в его руке — все-все, казалось, пристально выслеживало каждый шаг Повелителя; тысячи жадно шныряющих из-за углов глаз и неистощимых на сплетни, но пока лишь невольны и выжидающе прикушенных губ с великим нетерпением — так мерещилось ему — ждали, когда он переступит порог опочивальни Младшей Ханши, чтобы тут же с тайным злорадством и холопским усердием растрезвонить об этом по всему свету.

Тьма тем людских голов принадлежат ему, но только не их мысли. Тьма тем языков в его власти, но только не их речи. Один он не в состоянии уследить за каждым из этой тьмы, но все они вместе не спускают с него — одного — глаз. Каждое движение, каждый шаг толпы ему неведомы, но его каждое движение, каждый шаг на виду у всех.

Вот и сейчас в этом одиноком дворце, не смыкая глаз до полуночи, неустанно следят за ним.

Вот два евнуха-привратника — белобородые, красноглазые, одряхлевшие, — приложив руки к груди и сломившись в поклоне, молча расступились перед ним. Похожие на живые мощи, они всем своим обликом выражают по-

корность и отрешенность и глаза опустили долу, но едва он пройдет мимо, они посмотрят друг на друга с двусмысленной ухмылкой.

Повелитель весь напрягся и резко, точно кинжалом ударил, обернулся: и впрямь — оба евнуха за его спиной уже подняли было головы, но, обожженные ледяным взглядом Повелителя, поспешно склонились и вновь установились в пол.

Тяжелая дверь упруго отворилась и, захлопнувшись за ним, будто что-то пробурчала дубовым косякам.

Повелитель вступил в еще одну просторную и освещенную посередине комнату. В углу, где зыбился сонный сумрак, кто-то закопошился, скользнул тенью. Распрямляя затекшую поясницу, неторопливо поднялась старая служанка, приставленная к Младшей Ханше. Все ханские жены, поступая к нему во дворец, проходили через ее руки. Она была неизменной служанкой поочередно всех его Младших Жен. И не только служанкой, а советницей, пестуньей... Эта старая женщина, близко не подходившая за свою жизнь к ханскому ложу, обучала неопытных таинствам любви и искусству нравиться Повелителю. Хорошо сознавая исключительность своего ремесла, она держалась, не в пример другой прислуге, вызывающе гордо. Ходила с достоинством, говорила важно. И сейчас, заметив влостеллина, не засуетилась, не засеменила угодливо навстречу, а пошла степенно, стараясь унять старческую дрожь в коленях. Пожалуй, и казначей, верный страж всех ханских драгоценностей, не позволял себе такой вольности. Старуха свысока смотрела не только на всех дворцовых слуг, но покровительственно обращалась с ханшами и даже с самим Повелителем. Старая образина, должно быть, вообразила себе, что без ее услуг он не найдет пути к своим женам. Особенно спесивой становилась она, когда он возвращался из далекого похода. Вот и сейчас поплыла она навстречу, волоча по полу подол серого атласного платья, плыла через весь длинный зал, словно считая в уме каждый шаг.

Все заметнее вырисовывались черты ее серого, в тяжелых складках лица. Сначала четко обозначались кустистые бурые брови. Потом — длинный, с горбинкой нос, хитро спускавшийся на дряблые, истонченные губы. водянистые, точно пеленой подернутые дремуче-клейкие глаза, испытывающе долго, будто не узнавая, выставились на Повелителя и отвернулись лишь тогда, когда он

нахмурился. Путаясь в длинных, пышных рукавах, она открыла перед ним дверь.

Повелитель, стараясь скорее избавиться от липучего взора старухи, вошел в опочивальню Младшей Ханши.

Здесь царил сушемень. Он не сразу разглядел ложе ханши. Оно темнело, чуть возвышаясь, в правом углу. Он сделал шаг вперед. На истерзанной постели, среди помятых подушек, вдруг что-то шевельнулось, и одеяло странно взбурилось в двух местах.

Властелин вздрогнул. Бугры под одеялами замерли. Глаза Повелителя лишились прежней зоркости, и чем пристальнее вглядывался он сквозь сумрак в угол, где находилось ложе ханши, тем заметнее кружилось, мельтешило все вокруг. Шевеление под одеялом возобновилось; в непристойных содроганиях что-то вздымалось посреди развороченной постели и тут же опадало, вдавливалось в пышные перины. Он ступил еще немного вперед. Под одеялом ни признака жизни. Будто сама ханша куда-то бесследно исчезла.

Сумрак натекал вокруг широкого ложа, становился гуще. Здесь струились причудливые запахи цветов, духов, розового масла и молодого разгоряченного женского тела, возбуждая угасшие в дремучих уголках заскорузлой души упительные чувства. Повелитель явственно ощутил, как напряженные, будто стальная струна, жилы его от этого дурмана приятно ослабевали, смягчались, точно засохшая шкура на теплом пару. Слабость ударила в ноги, прокатилась по животу, и он, боясь упасть, не двинулся с места.

Перед затуманившимся взором опять промелькнуло что-то белое над изголовьем. Сердце его сжалось, а сладкий дурман, охвативший его расслабленную плоть, мигом исчез, испарился. Из-под подушек и одеял с края ложа вскинулись, словно в безумии, тонкие оголенные руки. Они изломанно заметались в сумраке, что-то ловили в воздухе и, точно подбитые, упали вдруг на скомканное одеяло и лихорадочно, до боли, до хруста сиделись пальцами. Потом с какой-то непроизвольной страстью руки сграбастали мягкое, точно невесомое, одеяло, скомкав, притянули его к себе, стиснули, и пышный сугроб постели, сдавленный в тисках объятий, осел, подтаял. Из-под края одеяла он увидел ее лицо, пылавшее, как в жару. Пуховая подушка громоздилась в стороне у изголовья.

Голова ханши неестественно завалилась набок, тонкая шея напряженно вытянулась. Густые волосы рассыпались, наполовину закрыв чистый широкий лоб. Веки смежились. Опухшие губы горели, разлепились. Рот болезненно скривился, жадно ловил воздух. Зубы хищно оскалились, и когда она их стискивала, казалось, слышался скрежет. Эти руки, сдавившие в беспамятстве одеяло, этот пересохший, скошенный рот говорили о неодолимой и ненасытной страсти, охватившей юную ханшу. Прерывистое дыхание женщины, до наступления доведенной низменным желанием даже во сне, больно кольнуло слух Повелителя. Этот хриплый, непристойный стон он слышал впервые подростком. Уже тогда избегавший шумные мальчишеские ватаги, он однажды оседлал коня и поехал к лошине под крутым горным увалом, где ставил силки на ловчих птиц. В это время от небольшого зимовья у подножия увала направилась в лошину женщина. Она шла за водой, и кувшин на ее плече размеренно покачивался, и колыхалась на ее лице легкая просторная паранджа. Едва женщина скрылась за ущельем, на тропинке, круто спускавшейся по каменистому склону, показался густобородый всадник на гривастом вороном коне.

Мальчик заметил и женщину, и всадника, но они его совсем не интересовали. Он был всецело поглощен ястребком, чертившим замысловатые круги над склоном увала. Вдруг снизу, из лошины, донесся сильный женский крик. Мальчик схватил лук и, прыгая по камням, с выступа на выступ, понесся к ущелью. Раза два он споткнулся, упал, больно ушибся, содрал кожу на ладонях. Голос женщины слабел, доносился все реже, и мальчик, перепуганный, бежал из последних сил. Наконец он добрался до крутого обрыва, под которым находилось ущелье, изготовился прыгнуть, как чутким слухом уловил не крик, зовущий на помощь, не отчаяние, не жалобный плач, а неслышанное доселе, глухое, вразяжку, с придыханием, стенание. Так стонут не от боли, а от неведомой сладостной муки, от наслаждения, так истомленно выстывает, перхает овца, от избытка нежности к ягненок-сосунку спуская молоко... Мальчик брезгливо шнул камень, скатил его вниз, в ущелье, и побрел назад к своим силкам.

Некоторое время спустя он увидел, как верзила-всадник проехал ручей на дне лошины и поднялся по крутизне на противоположный берег.

А потом из ущелья показалась женщина и пошла по белеющей излучистой тропинке легкой, танцующей походкой, играя упругими бедрами. Кувшин, наполненный водой, мерно покачивался на ее плече.

Над одиноким зимовьем на краю лощины висел к полинявшему летнему небу еле заметный сизый дымок...

Мальчик почувствовал досаду. Пораненные ладони горели. Непонятная зудящая дрожь, щемящая боль, сильнее осязаемые, чем в кровь содранные ладони, охватывали его всего, когда он вспоминал тот поразивший его случай. То давнишнее ощущение вдруг овладело сейчас Повелителем. Такая же щемящая боль в груди.

Он с отвращением отвернулся от истерзанного ложа ханши, точно увидел что-то омерзительное, гадкое.

Он не помнил, как выскочил из опочивальни. Не обратил внимания ни на старуху, медленно поднимавшуюся в углу, ни на евнухов-привратников. И только пройдя через все комнаты ханши, спохватился: а ведь теперь прислуга начнет бог весть что болтать по поводу его излишне короткого ночного свидания с юной женой. От этой догадки в груди его запыло, будто бешеные псы рвали ее на части. Он пошел еще быстрее, и чудилось ему сейчас, будто собственная опочивальня находится чуть ли не на краю света.

Усталый, взмокший, добрался он до постели. Ему все продолжало казаться, что за ним из всех углов неслучайно огромного зала со злорадством следят сотни невидимых глаз. Вокруг ни звука, кроме тихого бульканья воды, тонкой струйкой сочившейся в хаузе. И воздух будто загустел от духоты и мрака. Повелителю стало трудно дышать. Он направился к хаузу, но было нестерпимо больно смотреть сейчас на покорную воду, заключенную в камни, все чудилось, что гнев, сковавший грудь железным обручем, вдруг обернется непрошеной, ненужной жалостью. Повелитель подошел к окну, выходившему в сад. Посредине круглого дворца были разбиты пышные цветочные клубмы, а в хаузе был фонтанчик. Едва Повелитель подошел к окну, как под бледными лучами заходящей луны — то здесь, то там — суетливо скользили в укромные углы сада какие-то тени. То были сарбазы из охраны и ночные сторожа, собравшиеся вместе и придумывавшие себе какую-то забаву от скуки, но при виде в неурочный час властелина у окна поспешно разбежавшиеся по своим местам.

Луна склонилась к горизонту. Неверный свет ее освещал лишь хауз на дворцовой площади и противоположные окна. Та сторона дворца, где находились хаанские покои, погрузилась в густой мрак.

Тихо-тихо. Царила ночь, лукавая, полная тайн. Ночь, сомкнувшая уста, закрывшая глаза. Все бесконечные дневные хлопоты и суета сгинули разом, и наступила власть тишины и мрака. Пора воровских дум, воровских поступков, воровских чувств. Пора дьявольского наваждения, когда весь мир точно забирается под душное покрывало. Пора сокровенных желаний, буйства плоти и похоти, торопливо сбрасывающей непрочные путы дневного отдыха. В эту пору каждой живой душой правит искустель-шайтан. Бесчисленные невидимые твари, порождение неистребимой человеческой скверны, хоронящиеся от дневного божьего света и строгого людского глаза, под покровом ночи ликующе выползают из всех щелей. Человек ведь только днем человек, а ночью его трудно отличить от обыкновенного животного. Ночью он хранит или предается неизменным утехам. И только утром, с первыми лучами солнца, с пробуждением души в нем вновь умирает животное и просыпается двуногое существо, именуемое человеком и обладающее свойством стыдиться дневного света и бояться взора и молвы себе подобных. Но каждое из этих двуногих существ спасительной ночью может отключиться от осточертевшей дневной суеты, сбросить тягостные путы напряжения и предаться одиночеству и покою, не видя чужих глаз и не слыша чужих речей. У него, Повелителя, и таких ночей нет. словно при свете ярко пылающего костра сидит он один-одинешенек даже темной ночью. Воровские глаза, затаившиеся по углам тьмы, видят его отовсюду; ему же совершенно неизвестно, что происходит вокруг него за черной завесой ночи. Дневных человеческих забот на нем ничуть не меньше, чем у других, однако он напроочь лишен коротких ночных наслаждений.

Какая все-таки это мука — бодрствовать душей ночью в одинокой пустой опочивальне в окружении ползучих тварей и двуногих скотов, испаряющих вонючий дух похотливой плоти?! Разве не рай по сравнению с этим — тревожные походные ночи, пропитанные запахом изопревших портянок? Разве не ангелы — безмятежно храпящие в обнимку с копьём и с седлом у изголовья храбрые воины в ночь перед боем, не ведающие

о том, суждено ли им завтра остаться в живых или лежать на поле брани? Разве не истинное наслаждение — чуткая дремь или напряженные, ночь напролет, думы о предстоящей сече? Отчего же эти безумцы так спешили домой?! Что они нашли здесь, у родного очага?!

Мысли Повелителя неожиданно оборвались. Так полая вода, вырвавшись вдруг из привычного русла, в стремительном разбеге ударяется о крутой берег. Вспомнились ему опочивальня жены, откуда он только что вернулся, и непристойное выставывание шайтаном похоти терзаемой ханши. И в тот же миг отвратительная дрожь вновь охватила его, будто все эти бесчисленные ночные твари и ползучие гады, только что мерещившиеся ему во всех углах, поползли по нему от ног к груди.

Он тут же отвернулся от окна, подошел к хаузу. Начал пристально вглядываться в знакомые вещи, словно желая удостовериться, не во сне ли все это с ним происходит. Он увидел свое пустовавшее ложе. Почувствовал на лице прохладу воды в хаузе. Поднес к позолоченной трубочке, торчавшей из глыбы мрамора, палец, и прозрачная ледяная вода, сочившаяся из неведомых недр земли, точно ужалила его.

Он вздрогнул, весь подобрался.

— Боже милостивый... выходит, это красное яблоко...

Он вслух проговорил эту фразу и осекся, словно испугавшись, что кто-то мог его подслушать. Жуткая догадка вдруг мелькнула в голове, и он испугался, старался не додумывать ее, однако рой навязчивых подозрений и тревог обрушился на него со всех сторон, не давая увернуться пугливой мысли. И она, бедняга-мысль, словно кляча с истершимися копытами, робко побрела по каменной тропе, выщербленной бесконечными вопросами, и окунулась в густой клубящийся туман сомнений.

Совершенно очевидно, Старшая Жена намекает на Младшую Ханшу. Бабы-соперницы, ослепленные взаимной неприязнью... Мысль резвой рысцей выбралась на привычную колею, однако неожиданный вопрос встал ей поперек дороги и схватил за повод... «Ну, конечно, так... Именно так! Разве не собственными глазами я видел только что, как она, раскинув объятия, страстно звала кого-то и даже отдавалась в безумии? От чего еще, как не от бурных мужских ласк, от истомы млеет молодая, еще не познавшая материнства женщина?..»

Но кто он, этот мужчина, возбудивший в ней сладострастие? Может, он сам, ее супруг? Нет, не-е-т... это исключено. Он не мог в ней, наивной девочке, растравить неуемную жажду любви. За две-три ночи, проведенные на ханском ложе, он, опытный мужчина, не заметил в ней, робкой и стыдливой, ни малейшего намека на ненасытность, необузданность желаний. Значит, во сне она так страстно возжелала другого. Другого! Сердце Повелителя больно кольнуло. Он опять явственно ощутил свое полное одиночество в этом недобром мире, и от мимолетной жалости к самому себе паст на душе, смерзшийся камнем, точно стронулся. Но тотчас подумалось: кто перед кем в обиде? Кто кому сделал больнее? И утихшийся было глухой гнев вновь всколыхнулся.

Какой наглец осмелился переступить через его могущественный дух и позариться на священное ханское ложе?! Разве кто-нибудь в подвластном ему мире может посягнуть на то, что принадлежит одному Повелителю? Разве не сопровождают его в походах все мужчины, достойные женской благосклонности? Разве оставался здесь хоть кто-нибудь, кого бы могла удостоить вниманием юная ханша?

Он с усилием укротил нетерпеливое, мстительное желание — так голодный беркут набрасывается на добычу — и принялся спокойно обдумывать ответ.

Кого же могла встретить молодая ханша, пока ее супруг находился в походе? Те, что оставались в ханском дворце, были примерно в его же летах. Вряд ли среди них кто-то способен так распалить молодую женщину. Он перебрал в уме всех придворных мужчин. Каждого оценил, взвесил и так, и эдак, и выходило по нему, что ни один не обладал необходимыми достоинствами, чтобы вскружить голову юной ханши.

Но кто он, кто, этот счастливый безумец, сумевший найти дорожку к сердцу его Младшей Жены и заронить в ней такую страсть, что она грезит им и наяву, и во сне?

Мысли, растревоженные, взбаламученные, ревниво обшарили всю округу и опять вернулись на исходный круг. От этих назойливых и неуловимых тревог закололо в висках. Тело медленно наливалось тяжелой, равнодушной усталостью, и не было уже желания следовать за верткой, все время ускользающей мыслью... В самом деле, стоит ли из-за любовных томлений спать молодой женщины изнурять себя ревнивыми догадками? Мало ли

что может померещиться во сне или в бреду? А может, приснился ей не кто-нибудь, а именно он, ее Повелитель? Могла же она просто соскучиться по нему за эти долгие годы разлуки и истомиться по сладким ночам на опостылевшем от одиночества ханском ложе? Сколько дней они живут рядом, в одном дворце, сколько ночей она, должно быть, напрасно ждет его, исходя слезами от тоски и обиды?! И вот, наверное, вконец извелась, пострадалась и забылась в тяжелом, как больной бред, сне. И почудилась желанная любовь, явилось ей, возбужденной постоянными думами о нем, видение...

Если бы она не истомилась по нему, разве приказала бы построить башню, которая привела его сегодня, при осмотре, в восторг и умиление? Разве она, горделивая голубая башня, не воплощение возвышенной любви?.. Любовь...

Счастливая и легкая догадка, только что сбросившая путы сомнения, тут словно вновь ударилась и разбилась об острую скалу, именуемую любовью.

Да, да, совершенно нетрудно разглядеть в голубой башне выражение яркой, неистребимой любви. Это видно сразу и в каждом кирпичике. Но чья это любовь? И к кому она обращена? То ли преданной жены, с мольбой зовущей запропастившегося в походах возлюбленного супруга, то ли любвеобильной неверной красотки, издалека манящей любовника?

Разве не смотрел он сегодня долго-долго на нее, не в силах отвернуть взор? И разве не звала чудо-башня его к себе? Чью же любовь воплотил зодчий в своем творении? Что он хотел показать? Если тоску женщины по далекому мужу, то почему при приближении башня обретает надменный и холодный вид? И почему она вновь манит, не отпускает, едва от нее удалишься? Выходит... выходит, зодчий изобразил вовсе не тоску ханши по отсутствующему мужу, а жар своего сердца, свой порыв, свою душевную тягу к ней!.. Свою неодолимую страсть, свою любовь! Да, да, поистине так! В этом и заключена вся тайна тайн голубой башни.

Повелитель еще не знал, радоваться или огорчаться так внезапно и просто возникшему разрешению всех его мучительных сомнений и вопросов. Пелена точно спала с его глаз. Страшная тяжесть, разливавшаяся по всем жилам, сразу исчезла.

Он вновь и вновь, словно боясь потерять нить, повто-

рил про себя поразительное откровение, посетившее его явственно и отчетливо, как действительность. Он был совершенно убежден, что нашел отгадку присланного Старшей Ханшей красного наливного яблока с червячком в сердцевине.

Отгадка найдена, теперь нужен бесспорный свидетель, очевидец. И его найти нетрудно. Достаточно расспросить Старшую Жену: все без утайки выложит. Достаточно заговорить с той же служанкой: ничего не утаит. Даже свнухи-привратники и те наверняка кое о чем осведомлены. А уж кто определенно и безошибочно знает все — это старший зодчий. Весь вопрос теперь в одном: кого из них следует вызвать и допросить?

Повелитель приложил ладонь ко лбу и задумался. Но теперь мысли его текли не вяло, не вразброд, как до сих пор, а стремительно, окрыленно. И опасливые сомнения о возможном уроне ханскому достоинству и чести в случае необдуманных и скоропалительных поступков он сейчас развеял решительно и без труда. Он ведь прекрасно знает слабые места всех подозрений, так к чему же о том еще расспрашивать и говорить во всеуслышание?! К чему искать каких-то очевидцев? Следует сразу хватать за руку подозреваемого! А те, до которых и дошли кое-какие сомнительные слухи, уж сумеют, опасаясь ханской кары, держать язык за зубами. Промолчат, будто им глотки песком забили. Один только он, Повелитель, властен развязать им язык. Значит, он вызовет к себе самого мастера, построившего голубую башню, и допросит его. Из его собственных уст услышит, таким образом, доподлинную правду — подтверждение или отрицание своих домыслов и подозрений. Пусть только наступит рассвет, и Повелитель отправит гонца за мастером. А может, лучше всего отправить за ним старшего зодчего? Наверняка это самое верное... Ведь еще неизвестно, что откроется на том допросе. В случае чего старший зодчий весьма может пригодиться...

Повелитель встал. Он только сейчас заметил: в окно струился зыбкий свет. Занимался новый день. Сизая пыльца мерцала в зале. Казалось, и хауз перед ним, и сонная вода застыли, густо покрывшись золотисто-серым налетом, словно кучкой холодного, невесомого пепла под таганом. Чуть-чуть коснись только, и все рассылетя, разлетится в прах.

В глубокой задумчивости стоял Повелитель...

● ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МИНАРЕТ

1

Надо же было такому случиться!.. Сумей он себя в тот миг пересилить и подавить неуместный кашель, чинная ханская свита, на почтительном расстоянии осматривавшая мечеть, наверняка прошла бы мимо. Но попутал черт: ни с того ни с сего вдруг запершило в горле.

О нет... отнюдь не «вдруг»... Поджилки его затряслись, когда до него дошла весть о том, что сам Повелитель со-благоволит сотворить намаз в новой мечети. Еще больше растерявшись от того, что, словно мальчишка, выдал свой тайный страх, он покосился на обступивших его мастеровых и заметил на их обычно хмурых лицах неопределенное, зыбкое выражение — нечто размыченно-среднее между радостью и боязнью. И только немногим, кто был уже в годах мудрости, удавалось сохранить сдержанность и достоинство. Они принялись закручивать кончики усов, как бы говоря: «Что ж... так да и будет!» И при этом в глубине их зрачков вспыхивали затаенно-лукавые искорки. Молодым же было неизвестно, как следует относиться к подобной вести — то ли ликовать, то ли огорчаться, — на побледневших лицах застыло замешательство. Он, зодчий, испытывал странный ошнб каждый раз, когда по утрам во двор медресе неподалеку въезжала пестро-золотистая повозка. В то мгновение из сотен плоток рабочего люда, копотившегося на стропильных лесах от подножья до самого верхнего купола, дружным вздохом неизменно и разом вырывались одни и те же слова: «Зон сам приехал!»

И тогда зодчему чудилось, что эти три слова, исторгавшиеся одновременно из стольких грудей, раскалывая утреннюю прозрачную тишь, докатывались до ушей властелина, степенно выбиравшегося из крытой повозки. И весь день он невольно взглядывал на медресе. «А вон и сам смотрит!..» Этот благоговейный шепот, неходивший от крохотных фигурок на голубом покато куполе, явственно доходил до зодчего, стоявшего на вершине минарета. От одного упоминания о властелине зодчий зябко вздрагивал, будто в затылок вонзилась стрела, и испуганно озирался в сторону медресе, где, взметнув острые копыя, кольцом стояла отборная охрана. Но, убедившись, что ни один воин не шелхнулся, он понемногу успокаи-

вался. Однако покада солнце не клонилось к закату и пестро-золотистая повозка в сопровождении вооруженной свиты на вороных скакунах не возвращалась в ханский дворец, зодчий не находил себе места.

На четвертый день месяца рамазан на этом месте властелин сам наблюдал, как закладывался фундамент под мечеть. Однако тогда у зодчего не хватило смелости поднять глаза на Повелителя, молча стоявшего среди огромной свиты. Два человека попеременно подавали зодчему маленькие, плотные кирпичики, и он их сосредоточенно укладывал ряд за рядом, от волнения даже не следя за строгостью линий.

С того дня прошло четыре месяца. Пятьсот человек в горах тесали камни. Двести человек шлифовали их до блеска. Десятью пять слонов доставляли их на стройку... Изю дня в день в течение четырех месяцев с восходом солнца пестро-золотистая повозка въезжала в просторный двор медресе, а в предвечерний час, сопровождаемая вышколенной свитой, возвращалась во дворец. В течение четырех месяцев зодчий бесчисленное число раз слышал: «Вон сам смотрит!»

Три дня назад мечеть закончили. Четыреста восьмидесяти колонн — каждая высотой более семи кулаш — поддерживали ее внушительный остов. В этой мечети, построенной сплошь из мрамора и отделанной золотом, правоверные должны молиться за здоровье властелина и благословлять его на священные походы.

Нежно-голубой купол мечети, казалось, придавал голубизны самому небу. Выжженный нещадным летним солнцем до тускло-серой безликости, весь в каких-то белесых пятнах и подтеках, он сегодня, благодаря стараниям умельцев-чудодеев, засиял ровно, прозрачно.

Лишь сегодня, на третий день истерпеливых ожиданий, грянул, растекаясь с вышины, гортанный голос муэдзина, взывавший правоверных к намазу священной пятницы. После намаза торжественно-благодостный Повелитель вышел из новой мечети и полюбовался снаружи ее красотой. Вокруг мечети величественно возвышались четыре минарета. У подножья одного из них застыл в волнении и молодой зодчий.

Повелитель приблизился. Зодчего охватило смятение. Он даже не поднимал головы, словно боясь, что голубой, прямым шестом устремившийся к небу минарет за его спиной вдруг обрушится ему на голову. В горле пересох-

ло, дыхание сперло, в груди стало тесно. Он будто окаменел и был готов в эти мгновения стойко вынести любые муки. И тут как назло, точно божье наказание, запершило в горле, что-то нехотати зашевелилось там, ища выхода, и он, уже задыхаясь, судорожно повел раза два кадыком и захлебнулся кашлем. Потом еще... и еще. Лицо побагровело, надулось.

Пестрая ханская свита, проплывавшая мимо, круто остановилась. В тот же миг унялся и злополучный кашель. Слезящиеся глаза ненароком скользнули по нераслому человеку в середине свиты. Он, запрокинув голову, смотрел на вершину минарета. Что-то подсказало зодчему, что этот невысокого роста человек и есть всемогущий Повелитель. И зодчий поспешно отвел глаза, еще ниже опустил голову.

— Чей мастер построил? — послышался тихий, ровный голос.

— Из дальнего рода Ор-тюбе, — твердо и спокойно ответил старший мастер.

Выждав, пока удалилась роскошная свита и улегся серебристый перезвон их украшений, он осторожно устремил взгляд вслед и наткнулся на встречные любопытные взоры. Многие рассматривали уже не минарет, а застывшего в трепетном волнении его творца.

Наутро следующего дня перед огромными воротами, украшенными причудливой мозаикой из драгоценных камней, среди шестидесяти мастеров стоял и юный зодчий из Ор-тюбе — Жаппар.

Привратники, вооруженные секирами, провели их внутрь. Приятным ароматом повеяло в лицо, словно из укромного уголка вдруг дохнул свежий запашистый ветерок. То было прохладное дуновение от бесчисленных фонтанчиков в хаузах, искусно расположенных в придворцовом саду. Крупным красным песком посыпанные тропинки были влажны, будто после недавнего дождя.

По обе стороны аллеи на каждом аккуратно подстриженном дереве сидело по одному заморскому павлину, и на их переливающимся многоцветьем перьях, точно бриллианты, поблескивали прозрачные капли.

Шесть индийских слонов, покрытых розовыми атласными попонами и с ярко-пестрыми паланкинами на широких спинах, покоряясь воле дрессировщиков, неторопливо и неуклюже опускались один за другим на колени и, грузно раскачиваясь, вновь не в лад поднимались. Ше-

стеро ловких и поджарых пышноусых дрессировщиков в белоснежно белых и высоких чалмах, сидя в паланкинах, размахивали короткими дротиками и что-то отрывисто выкрикивали.

Тонконогие косули с любопытством взирали из-за деревьев на это диво, но, едва почуяв приближавшихся людей, разбегались врассыпную.

Шестьдесят прославленных умельцев со всего света подошли сначала к трем мальчикам, смиренно восседавшим на пышном персидском ковре под легким шатром возле могучего тутового дерева, и, спустившись на одно колено, молча поклонились. Приняв поклон, мальчики встали и повели мастеров в глубину сада к тенистой лужайке перед дворцом, где на вышитой плотной подстилке возлежал, подмыв две пуховые подушки под бок, сам Повелитель. Он задумчиво смотрел на выложенный мрамором синий хауз, в котором плавали румяные наливные яблоки, а посредине, вскипая и всыхивая радужными искрами, взмывал тугой струей белопенный фонтан. Когда до Повелителя осталось шагов двадцать, все опускались на колени и, сложив руки на груди, принимались отвешивать поклоны.

Повелитель едва высунул руку из-под широкого рукава и сделал какой-то знак семерым визирям, почтительно сидевшим в сторонке.

Главный vizирь приложил обе руки к груди и направился в угол тенистого навеса.

Вскоре он появился вновь. За ним несколько джигитов несли небольшие плоские чаши на длинных, до земли, шелковых полотенцах.

Главный vizирь что-то сказал, но юный зодчий от удивления и волнения ничего не расслышал и не понял.

Джигиты с чашами на вытянутых руках подошли к коленопреклоненным мастерам и со звоном просыпали на их опущенные головы по горсти мелких золотых и серебряных монет. Потом, наклонившись, протянули с подноса каждому небольшой, с кулак, тугий мешочек, завязанный шелковым шнурком.

Главный vizирь дернул подбородком. Обласканные ханской щедростью мастера разом встали, отступили на несколько шагов и, отойдя к тутовому дереву на обочине тропинки, расположились в его тени.

Повелитель приступил к приему чужеземных послов. Они также сначала отвесили поклон трем мальчикам —

любимым внукам властелина. Потом мальчики приняли из их рук свернутые трубочкой грамоты и направились к Повелителю. В трех шагах от него они преклонили колени и с низким поклоном протянули свитки. Дворцовые слуги подвели послов под руки, за ними цепью тянулись слуги с подарками. В десяти шагах от Повелителя послы опустились на правое колено, сложили ладони и уронили головы на грудь. Слуги замерли рядом. К послам направились теперь визири и так же под руку подвели их еще ближе.

Послы робко сделали несколько шажков и, не размыкая ладоней, присели на пятки.

Повелитель обменялся с ними несколькими фразами. Мастера под тутовым деревом ничего не расслышали. Многие были впервые допущены в ханский сад и теперь глазели на все это пышное великолепие с разинутыми ртами.

Послов усадили на возвышение через тропинку напротив визирей.

На почтительном расстоянии от ханской свиты слуги поставили плоские кожаные чаши с дымящимися кусками мяса и, поклонившись, бесшумно удалились. Явившиеся вместо них мужчины в кожаных фартуках, как по команде, вытащили из ножен кривые ножи и с необыкновенной ловкостью начали крошить мясо на мелкие кусочки.

В тенистом ханском саду к струящимся запахам цветов и свежести прозрачных фонтанов примешался густой сытый дух копченой конины, брюшного конского сала, вяленого огузка и нежной сладковатой баранины. Покрошив мясо, джигиты искусно разложили его по золотым, серебряным и глиняным чашкам.

Показалась новая группа слуг с расписными деревянными мисками. Не расплескав ни капли жирного бульона, они поставили миски на землю, добавили какую-то приправу, подготовили тузлук. Потом, перемешав его, разлили половником по плоским чашам с мясом, поверх горки, сложив вчетверо, положили тоненькую лепешку и тоже удалились.

Распорядители дворцовых церемоний поднесли чаши с блюдом Повелителю, послам, визирям, а менее именитых гостей, тех, кто сидел поодаль и пониже, принялась обслуживать дворцовая челядь.

После мяса угощали фруктами. А завершили трапезу хмельным кумысом, настоящим на меду.

Потом в круг вступили посольские свиты, учтиво стоявшие все это время в сторонке. Они несли подарки для властелина и шли медленно, степенно, с поклонами, позволяя насладиться взору диковинными и дорогими дарами — алмазными саблями, инкрустированными драгоценными камнями, шубами из редчайшего меха с вышитым орнаментом, иранскими коврами, слитками золота, жемчугом, рубином, сапфиром, сверкавшими на подносах, шкурами неслыханных зверей. Подойдя к Повелителю, они на мгновение опускались на колено, замирали. Повелитель знаком показывал, что благосклонно принимает подарки. Послы сгибались в подобострастном поклоне.

Посольские свиты чинной цепью потянулись к ханскому дворцу.

Повелитель встал. Высочайший прием был окончен.

Шесть гигантских слонов, опускаясь на колени и касаясь длинными хоботами земли, воздавали честь гостям, возвращающимся с ханского приема.

Стража у ворот опустила копья и склонила головы. В тот же день Повелитель объявил, что в честь окончания строительства мечети устроит большой пир.

На открытой, зимой и летом пустующей равнине за дворцовым садом темной ночью запылали костры, один за другим вырастали шатры. Здесь на площади и раньше проводились многочисленные торжества; всем жителям города были отведены определенные, заранее размеченные улицы-ряды в соответствии с их состоянием, общественным положением, чином и ремеслом. По обе стороны «улиц» протекает звонкий арык. Каждый заблаговременно знал место, где ему полагалось ставить свой шатер.

Уже на следующее утро огромное пространство за садом заперестрело разноцветными шатрами. С самого края лепились небольшие, невзрачные шатры сапожников, портных, мелких ремесленников; ближе к середине заметно возвышались более просторные и красочные; а в самой середине торжественно раскинулись пышные шатры честолюбивых и спесивых богачей.

Бесчисленные шатры, заполнившие широкую равнину и словно по ступенькам поднимавшиеся к середине все выше и выше, казались издалика сказочно-пестрой многокрылой и многоярусной ордой-ставкой, горделиво устремившейся к поднебесью. И, как завершение необыкновенного ансамбля, в самом его центре за огромным четырех-

угольным пологом, высотой в полтора человеческого роста, возвышался величественный ханский шатер. Его венчал купол на двенадцати жердях-шестах в двадцать человеческих ростов. С вершины каждого шеста спадали, словно струясь, разноцветные шелковые ленты. В глазах рябило от этих гигантских ярких гирлянд, точно сплетенных из живых цветов. С четырех углов непомерно огромного шатра тянулись к середине четыре столба, крест-накрест связанные волосяными арканами и с полумесяцем на верхушках, а на их стыке была сооружена крохотная башенка.

Изнутри шатер был отделан ярко-красным сукном с золотой вышивкой. По четырем углам, у основания купола, были нарисованы орлы, взметнувшие перед полетом крылья. В доме с шатром Повелителя расположились одиннадцать юрт его жен. Каждую из юрт окружал туго натянутый шелковый полог разных цветов. Шатер властелина связывали с юртами причудливые, как лабиринт, проходы.

Одиннадцать юрт и шатер находились за общей оградой, вокруг которой выстроились дубовые бочонки с вином.

Шесть вооруженных отрядов, днем и ночью не смыкая глаз, сторожили ханскую ставку. Без особого разрешения главного визиря никто не смел приблизиться к ней. Перед гостями Повелителя охрана опускала отточенные копы, холодно сверкающие на солнце.

Между склоненными копыями прошел в ханскую ставку и зодчий из Ор-тюбе. Повелитель оказал ему великую честь, пригласив его в первый день пира, чтобы в своем шатре угостить вином.

Трон Повелителя был установлен в середине шатра, а за ним тянулись ступеньками возвышения для многочисленной ханской семьи.

Едва гости чинно расположились по своим местам, как в шатер, звеня подвесками и кувыркаясь, вбежали придворные шуты. На площадке перед троном они показали шутовское представление, высмеивающее ничтожных правителей-шахов, побежденных великим Повелителем в последнем походе.

Гости, однако, не осмеливались смеяться в присутствии властелина; не смеялся и Повелитель, соблюдая достоинство. Выходило, будто шуты забавляли самих себя.

Наконец представление кончилось, и казначей швыр-

нул на поднос главного шута вышитый мешочек с монетами.

Шуты, склонив головы до земли и мелко перебирая ножками, отступили к выходу.

В этот миг из-за соседнего полога показалась Великая Ханша. Она была в пышном красном платье, вышитом драгоценными нитями. На груди притягивало взор ожерелье, в котором симметрично перемежались рубин и жемчуг. Длинный подол несли сзади на вытянутых руках пятнадцать молодых женщин. Лицо ханши было густо покрыто белыми, брови насурьмлены. Воздушная вуаль слегка скрывала увядающие черты. На голове возвышался в форме минарета безукоризненный тюрбан, щедро усеянный драгоценными камнями. Края его волной спадали на плечи. Макушку тюрбана украшала золотая коронка с тремя крупными пламеневшими рубинами. Пышные перья филина обрамляли голову ханши, мягко свисая к ее ушам. Сложный головной убор ханши тяжело колыхался при каждом ее шаге, и несколько женщин придерживали его с боков. Черные волосы ханши были распущены на плечи. Огромная свита из ста разнаряженных женщин сопровождала старшую жену Повелителя.

Шествие ханши и ее свиты возглавляла группа евнухов. Они шли размеренной, тяжелой поступью, раздуваясь от важности и спеси, и на многочисленную толпу, низким поклоном приветствовавшую ханшу, глядели свысока, с едва скрываемым презрением.

Ханша уселась чуть позади властелина.

Через мгновение из-за другого полога вышла Младшая Ханша в сопровождении не менее пышной и величественной свиты. Она заняла место чуть пониже Старшей Ханши. А уже за нею расселись семь снох Повелителя.

Ханский шатер мгновенно преобразился, стал похож на сад эдема, по которому разгуливают вечные девственницы-гурни.

Молодой зодчий чувствовал себя как во сне и, замирая сердцем, все глядел и глядел на прелестных женщин, разнаряженных в шелка и атлас, увешанных золотыми, серебряными, бриллиантовыми украшениями, и в глазах его рябило, и слегка кружилась голова от буйства бесчисленных ярких красок.

Когда ханши и их свита, шурша одеяниями, позванная подвесками, наконец-то расселись, всем поднесли вино и кумыс. Сначала вышли ханские отпрыски-ханза-

ды — с белоснежными полотенцами в руках, за ними — статные, ловкие, как на подбор, юноши-слуги, неся на золотых подносах маленькие золотые чашки с напитками. На полпути ханзады преклонили правые колени. Потом шелковым полотенцем осторожно обхватили чашки, поданные слугами, и, подойдя к ханшам, с поклоном протянули им напиток. Как только ханши приняли из их рук чашки, ханзады отступили на шаг и, опустившись на колени и потупив взор, ждали, пока им вернут пустую посуду. Потом все так же, полотенцем обхватив опустошенные чашки, передали их слугам и, вновь поклонившись, вышли из шатра. Среди гостей, на отдельном деревянном возвышении сидели и шестьдесят мастеров. Испить ханскую чашу до дна являлось непреложным законом. К заходу солнца, заметно пошатываясь, уже плохо соображая, что к чему, гости покинули ханский шатер и разбрелись по своим улицам.

Надвигалась летняя ночь; на черном южном небе перемигивались звезды. Дневная духота растворилась во мраке. Между бесчисленными шатрами, как бы перемигиваясь, запылали яркие костры. Вокруг костров толпились возбужденный весельем люд. Вечернюю тишь распарывал могучий рев длинных, как шест, кернаев; им вторили несмолкаемая дробь барабанов, перезвон дутаров, выражавших хмельную радость и восторг жадной до зрелищ толпы, тягучий, глухой напев гыжаков, тонкая трель рожка и других диковинных инструментов. В круг костра то врывались тонкостанные юноши в тюбетейках, в легких легких халатах, туго перепоясанных ярким кушаком, и, загораясь от собственной удалы, пускались в заливистки-огненный пляс; то врывались, кружась в истоме, легконогие красавицы, шелестя шелковыми нарядами, мелькая черными, туго заплетенными косичками и белыми, как серебристая рыба в воде, руками.

Разморенные вином и обильной пищей мужчины располагались группами по несколько человек возле медного самовара, с наслаждением потягивали чай и, похихатывая, отпускали двусмысленные шутки.

Ровно потрескивал огонь под огромными казанами, и, когда повара приоткрывали плотные деревянные крышки, сладкий аромат доспевающего плова струился над землей, наполняя сытным духом всю округу. Чернорусые гладкие шашлычники, засучив рукава по локоть, сноровисто вращали шампуры над саксаульным огнем, и

от кебабов, покрывающихся румяной корочкой, сочился жир, с шипением капая на уголья... С усов и молодых, и старых стекало вино.

Слух ласкали сладкие напевы, ноздри щекотали приятные запахи.

Под черным небом причудливо выплясывали над тысячью костров багровые язычки пламени.

Все сильнее разгоралось веселье. Все громче звучал смех под покровом ночи.

На ханском пиру гулял-веселился народ.

Во время таких торжеств строго запрещались козни, интриги, взаимные упреки и обиды. В час веселья человеку надлежит быть выше мелких недоразумений. Важно не переступить границы приличия. Ну, а для драчунов и смутьянов, дерзко нарушающих заведенные порядки, на всякий случай было поставлено на холме поодаль несколько виселиц.

После пира Повелитель отправился в новую мечеть, сотворил намаз, получил благословение святого сеида и выступил в поход на запад.

2

Богач Ахмет, у которого жил зодчий Жаппар, выдавал дочку замуж.

Три недели продолжалась суматоха на тихой улице, где в вечернюю пору обычно слышалось одно лишь сонное бормотание арыка. И больше всех суетился, раздуваясь от спеси, сам бай Ахмет.

Падкий до шумных торжеств, торговец еще за неделю до свадьбы приказал достать из заветного сундука давно приготовленные праздничные одежды и с утра до полудня вертелся у зеркала.

— Эй, жена, подойди-ка.

А жена в это время то ли сад поливала, то ли лепешки в печке-тандыре пекла — не расслышала сразу зов мужа.

— Оу, жена, оглохла, что ли?

Со двора, словно из-под земли донесся заполошенный голос:

— Что случилось, бай-ака?!

Торговец возмущился:

— Да иди же, тебе говорят!

Жена, торопливо вытирая о подол руки, тотчас присемила.

- Посмотри-ка на меня.
- Ну...
- Не нукай! Не видишь разве?
- Вижу, бай-ака...
- Что, дура, видишь?
- Вас вижу, бай-ака...

Бестолковость благоверной вывела Ахмета из себя. Сорвав с головы огромную чалму, замахнулся на жену, застывшую в недоумении, и вытолкнул вон.

Молодой зодчий отдыхал на глиняном возвышении у входа, прислушивался к их перепалке и тихо смеялся. Сколько раз приходилось ему быть свидетелем причуд хозяина. Он был неизменен в своих привычках...

Обычно возмущение бая Ахмета проходит не скоро. Но постепенно его ворчание утихает, глядишь — и через часок-другой он торжественно появляется в дверях. На голове — искусно закрученная десятиметровая чалма, на плечах — багрово-красный бархатный чапан, на ногах — синие сафьяновые кебисы. Тугое брюхо крепко-накрепко затянуто широченным ремнем в серебряных пластинках. На груди чапан расстегнут, чтобы виднелась ослепительно белая шелковая рубашка.

— Как я выгляжу, почтенный устод?

— Отменно, бай-ака!

Бай Ахмет, самодовольно ухмыляясь, спускается по ступенькам беседки и кричит жене, хлопчущей в углу двора:

— Эй, жена... скажи всем: сегодня лавка закрыта.

И, размахивая руками, точно стреноженный, мелко-мелко перебирая короткими ножками, он направляется к воротам.

Возвращается торговец при вечерних сумерках. Едва войдя в ворота, вопит:

— Жена! Осталась у тебя вода в кумгане?

Потом, опустив ноги в теплую воду в медном тазу, он громко рассказывает, желая, чтобы слышали его все — и жена, подливающая из чугунного кумгана кипятка, и Жаппар, учтиво вышедший навстречу хозяину, и дочь, готовящая ужин у тандыра, и ишак, сосредоточенно хрумкающий сено в углу двора, и арба-двуколка, задравшая оглобли кверху, и глиняный дувал, местами обвалившийся и почерневший от времени, и редкие звезды, тускло мерцающие на еще белесом небе, и тихая улица, убаюканная монотонным бормотанием арыка, и любопытные

соседи, и темнеющие вдалеке таинственными силуэтами ханские дворцы и сад, и даже весь необъятный мир — услышали длинный и восторженный рассказ бая Ахмета о том, чьи купеческие магазины он посетил сегодня, кому показал свой торжественный наряд, с кем поспорил, пошутил, поругался, кого задел за живое, на чьего перепела делал ставку, сколько чайников зеленого чая выпил в чайхане — все, все до самых мельчайших подробностей. Закончив рассказ, он сбрасывает на руки жены чалму, чапан, шальвары, рубаху, кушак, сафьяновые остроносые кебисы, нагружая ее до самого подбородка, и, вспомнив вдруг что-то очень важное, неожиданно спрашивает:

— Кстати, сколько приготовила стеганых одеял?

И, выслушав ответ жены, строго наставляет:

— Смотри, свадьба на носу... не оплошай...

Бай Ахмет придает лицу озабоченное выражение и, достав табакерку, долго нюхает душистый табак. Потом два раза кряду оглушительно чихает, отчего вздрагивает все подворье и, словно избавившись с этим чихом разом от всех забот и тревог, а заодно и от всех слов, он удовлетворенно молчит. После обильного ужина он валкой походочкой, точно раскормленный селезень, отправляется на мужскую половину, плюхается в постель рядом с Жаппаром и, едва коснувшись головой подушки, могуче всхрапывает. Молодой зодчий, невольно прислушиваясь к «ночному пению» своего хозяина в два голоса — туда и сюда, то понемногу затихающему, то вновь нарастающему с необыкновенной силой, долго не смыкает глаз.

Тихо-тихо в большом городе великого Повелителя. Огни под треногами за глиняными дувалами давно погасли.

Все спят. Один Жаппар бодрствует. Ворочается с боку на бок, изводит себя бесконечными думами и лишь к утру погружается в забытие.

Просыпается он от неожиданной тишины. Еще не соображая, в чем дело, оглядывается вокруг: постель бая Ахмета пуста. Но тут доносится до слуха зодчего тихий скрип двери на женской половине, и Жаппар, улыбнувшись в полусне, поворачивается на другой бок.

Наконец пришел день свадьбы, которого едва ли не больше всех других ждал сам бай Ахмет. В четырех местах во дворе раскалили казаны для плова; на длинных шампурах над саксаульными углями доспел кебаб. В тандырах-печках жарко пылал огонь.

Причудливая смесь запахов струилась вокруг: во дворе — запах блюд, на мужской половине — запах вина и пота, на женской половине — запах фруктов и духов.

Пиршество продолжалось весь день. Время от времени взывали над гулом людских голосов звуки дутара и треск барабанов. На мужской половине в кругу, под четкую дробь бубна, плясал, прищелкивая пальцами, тонкий подросток, а мужчины, плотным кольцом обступившие его, гулко били в такт кулаками по потной, волосатой груди; на женской половине, извиваясь, танцевала девушка, а женщины дружно и восторженно хлопали в ладоши.

С заходом солнца в комнату мужчин кази, специально приглашенный по случаю бракосочетания, позвал жениха и свидетеля со стороны невесты. В расписную чашу с освященной водой он бросил серебряное кольцо. Прочитав молитву-благословение, кази попросил жениха выпить глоток из чаши, которую тут же через свидетелей передал на женскую половину. Когда и невеста отпила глоток, чаша вернулась к кази. В присутствии сватов и свидетелей с обеих сторон он благословил священный брак.

Вновь расстелили дастарханы. Веселье продолжалось. А в полночь жених передал на женскую половину весть: он горит желанием увидеть невесту.

Женщины забегали, засуетились. Все взяли в руки зажженные свечи и приготовились встретить жениха. В комнате за шелковой шторой-занавесом невеста осталась одна.

В сопровождении ватаги джигитов жених направился на женскую половину. И только распахнулась дверь перед ними, как началась суматоха, поднялся гвалт. Женщины с криками набросились на джигитов, стараясь отбить от них жениха. Джигиты, ухмыляясь, защищались. Запахло горелым. На ком-то загорелась одежда, кто-то опалил невзначай бороду и спешно прикладывал к ней подол чапана. Все же, как и положено по обряду, женщинам удалось завладеть женихом. Его подхватили с двух сторон, повели к невесте, остальные стайкой кинулись за ним.

Потеряв жениха, джигиты вернулись на мужскую половину, вновь подсели к дастархану.

Жених в это время щедро одаривал женщин, чтобы они смиростивились над ним и показали невесту. Девушки пели и танцевали, веселя и подбадривая жениха.

А невеста, притихшая, задумчивая, терпеливо восседала одна-одиношенька на пышной горке из сорока сложенных одеял-корпе — приданое, которое она завтра увезет с собой. Лишь вдосталь одарив и утешив бойких подружек невесты, взволнованный жених получил возможность пройти за занавес. Молодым принесли чашу плова и свежие фрукты.

Наступила глубокая ночь. В комнате, заставленной тюками, увешанной коврами, всюду валялись одежки невесты, на полу стояли ее кебисы. Молодых уложили на брачную постель. Игривые молодки, выходя из комнаты, загасили свечи и прильнули к окну и двери, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Некоторое время они стояли молча, затаив дыхание, потом вдруг пришли в радостное возбуждение и принялись понимающе переглядываться, хихикать. Вскоре шорохи и возня в комнате улеглись, и смех сразу слетел с лукавых губ молодоаек. Пошептавшись, одной поручили постучаться к новобрачным.

На стук вышел жених, молодайка ловко скользнула внутрь и скоро вернулась с подарком. Что-то шепнула сверстницам, застывшим в великом нетерпении, и те радостно и облегченно рассмеялись, всей ватагой заспешили к матерям жениха и невесты, чтобы обрадовать их доброй вестью и получить от них положенный подарок.

На другой день, с утра, изрядно утомленный жених направился на мужскую половину, чтобы в последний раз попить с друзьями. Отныне он хозяин дома, глава семьи и не пристало ему возиться с холостяками.

Джигиты, как это обычно бывает, начали подтрунивать над молодым супругом, намекать на его любовные подвиги на брачном ложе. Один Жаппар угрюмо молчал, а вскоре и вовсе покинул расшумевшихся сверстников-зубоскалов.

У него раскалывалась голова от гвалта и суматохи со вчерашнего дня. До тенистого тутового дерева у ворот он еле доплелся.

Пир кончился в середине второго дня. Жених, по обычаю, уехал к себе, невеста осталась пока в отчем доме. Бай Ахмет, словно не решаясь расстаться с праздничным одеянием, слонялся без дела из дома во двор и назад. Невеста, как взаперти, сидела в комнате с ширмой-занавесом. Соседки, наперебой обсуждая подробности прошедшей свадьбы, перемывали посуду.

Жаппар чувствовал себя разбитым. На людей, сует-

тившихся перед его глазами, смотрел с удивлением, словно не понимая, зачем они тут.

И ночь почудилась ему невыносимо душной, он метался в постели на мужской половине, потом не выдержал, встал, сунул босые ноги в кебисы и выбрался во двор. Полная луна заливала мир молочным светом. Казалось, даже ветхий глиняный дувал выбелила чья-то волшебная рука. Выморочная тишина стояла вокруг. Только однообразный сухой хруст доносился из угла двора: серый ишак отрешенно хрумкал сено.

Жаппар прислонился к деревянной опоре навеса, подставил грудь ночной прохладе. Вдруг что-то глухо шмякнулось неподалеку. Жаппар посмотрел в сторону ворот, но ничего не увидел. Неужели померещилось? Он прислушался. Ни звука. Только ишак в угловом загоне с треском жевал свое сено. Странно: звук был такой, будто грузный мешок ударился оземь. Шлепая просторными кебисами, Жаппар вышел из-под навеса. И опять показалось, что кто-то воровски шмыгнул в тень за домом. Зодчий остановился, затаил дыхание. Сердце гулко заколотилось. Наконец, решившись, он стремительно шагнул в тень, и тут же кто-то выскочил из-за угла и кинулся к дувалу. Хлюпая кебисами, Жаппар бросился следом. Беглец затравленно оглянулся, потом полез на дувал, но сорвался и прижался к стене. И, когда Жаппар настиг его, вдруг с облегчением сказал:

— Э, так это ты, оказывается... А я-то думал, Ахмет-агай.

Жаппар по голосу узнал жениха. Тот, встопорщив черные кустистые брови, как-то странно осклабился, то ли с неприязнью, то ли с жалостью, посмотрел на зодчего и спокойно, уверенно, широкой развалочкой направился к дому. За ним по земле волочилась несуразно длинная тень.

У угла длинная, как шест, тень переломилась, метнулась напоследок, точно хвост собаки, и исчезла.

Жаппар застыл, как в полусне, и растерянно смотрел на пустынный под зыбким светом луны хозяйский двор.

С той ночи в течение еще недели продолжались посещения жениха. В полночь раздавался под окном глухой звук, а через мгновение — скрип двери на женской половине.

Однако через неделю жениху почему-то расхотелось придерживаться исконного обычая, по которому полага-

лось посещать невесту тайком, под покровом ночи, не попадаясь на глаза ее родителям, и так в течение целого года, лишь после чего он вправе забрать богом данную супругу к себе. То ли он что-то заподозрил, то ли паскучило каждую ночь лезть через дувал — кто знает. Через неделю он посреди белого дня увез невесту из родительского дома.

Теперь, возвращаясь вечером, после работы, домой, зодчий Жаппар чувствовал какую-то непонятную тревогу и пустоту. Вокруг дома гянулся все тот же старый, обшарпанный, местами обвалившийся дувал. В одном углу громоздилась арба-двуколка, задрав длинные оглобли. В угловом загоне все так же отрешенно и монотонно хрумкала сеном серый ишачок. И все же словно опустел двор, обезлюдел, потускнел. Бай Ахмет, хотя и по-прежнему поглаживал тугой живот, однако уже не говорил так громко и восторженно. Остепенился Ахмет, поскутился Ахмет. Жена и вовсе бессловесной стала. Лишь по едва заметному колыханию черной паранджи и длинного, до пят, коричневого чанана можно было догадаться, что душа еще не покинула ее иссохшего, покорного тела.

Комнату, в которой во время свадьбы находилась ширма-запавес, теперь предоставили Жаппару. Здесь юная байская дочка проводила первые брачные ночи. Здесь еще не успели выветриться запахи духов, мазей, сурьмы, белыл и нежного женского тела. Ложась к ночи в постель, Жаппар, обуреваемый тревожной истомой, жадно ловил эти запахи, такие непонятные и одновременно знакомые и приятные ему, и рисовал в своем воспаленном воображении сладостно-желанные картины. Едва он закрывал глаза, как из угла крохотной комнатки неслышно приближалась к нему, точно плывя по воздуху, трепетная красавица в легкой, почти прозрачной накидке и с распущенными шелковистыми волосами; но стоило только чуть приоткрыть веки, как ничего не было, кроме тусклого и зыбкого лунного света, струящегося в маленькое окошко. Так он лежал долго, то открывая, то вновь закрывая глаза, наслаждаясь дивным видением, пока не тяжелели веки, пока не наваливалась на него усталая дрема. Но и во сне не покидали его неясные грезы. Легкая тень полуобнаженной девы совсем рядом, на расстоянии протянутой руки, будто стелила себе постель. Вот она, таинственная дева, невесомо легла на

белоснежную перину и замерла в ожидании. Он весь охвачен неумной истомой, то жар, то холод прокатывается по телу, но отчего-то не в силах он шелохнуться и только изводит себя страхом, желанием, сомнениями. Он хочет подняться, но неведомая сила придавила его к постели. Он даже не в состоянии повернуть голову, она словно выросла в подушку. Он уже не видит прикорнувшую рядом деву, но чувствует, каждой частицей своего жаждущего любви тела чувствует ее. Он пересиливает себя, онемевшей рукой осторожно тянется к затаившейся деве; вот рука дотянулась до пуховой подушки и вдруг коснулась чего-то жесткого и ледяного. Жаппар просыпается в испуге. После таких тревожных, мучительных ночей он и на работе чувствовал себя разбитым, квелым. Все валилось из рук. С тех пор, как бай Ахмет выдал дочку замуж, молодой зодчий стал замкнутым, молчаливым, мнительным.

Отправляясь в поход, Повелитель строго наказал не торговать на открытых городских площадях, в садах и на улицах, ибо нетерпимо, чтобы в лучшей в мире столице надрывал глотки торговый люд и из-под копыт лошадей, ишаков пыль поднималась до небес; по распоряжению Повелителя для торговли должна быть построена длинная, на несколько верст, крытая улица с купеческими лавками и магазинами по обе стороны и с хаузами, в которых днем и ночью бьют фонтаны.

С тех пор круглые сутки кипела работа на стройке; рабы из крепости разрушали дома и дувалы на пути будущей крытой улицы; ночь напролет расчищали площадки, а утром приходили мастера со строителями-рабочими и продолжали тянуть длинный ряд купеческих лавок. Крытая улица для будущего базара дошла уже до центра города. Зимой промерзшая земля серьезно мешала грунтовым работам. То ли безмерно уставал Жаппар от неслыханного грохота сотен каменотесов и бесконечной суеты на стройке, то ли очерствел душой и успокоился, только в последнее время он уже не метался во сне. Облик таинственной девы, преследовавший его, тоже заметно померк, поблек. Юная дочка купца Ахмета, которой пылкий зодчий втайне любовался каждый день, теперь навсегда, должно быть, исчезла, упрятанная за одним из бесчисленных дувалов-лабиринтов большого города, и со временем чудилось, что это милое, улыбчивое создание все больше и больше удаляется, как бы раство-

ряясь в мираже далеких воспоминаний. И все же нет-нет, да и вспоминалась она, прелестная Зухра, так явственно, так живо, что у Жаппара больно сжималось сердце, словно касался его невзначай ледяной холод. Раньше постоянно в нем боролись тоска и страсть, попеременно одолевая друг дружку, теперь они обе точно обессилели.

Что-то изменилось в молодом зодчем. В его жестах, движениях, взгляде, манере хмурить брови чувствовались внутренняя решимость, затаенная печаль, сдержанность. Казалось, он весь сосредоточился на работе и отныне ничего не желает видеть, кроме поднимающихся на его глазах кирпичных стен.

Под его руками ряд в ряд бесконечной цепью ровно и прочно укладывались кирпичи, словно очищенные от его смутных надежд, туманной печали, удушливой тоски. Изю дня в день росла, удлинялась крытая улица. Уже скоро два года, как отправился Повелитель в далекий поход. Главный мастер покоя лишился, подгонял, поторапливал стронтелей, старался во что бы то ни стало исполнить наказ властелина к его возвращению. Спозаранок приезжал главный мастер на стройку, внимательно и придирчиво следил за работой. Вот и сейчас оставил он легкую повозку у ворот и торопливо вошел под навес, где трудились каменотесы. Однако на этот раз он не задержался возле них, не обмолвился ни единым словом, а стремительно направился вглубь, где воздвигались стены. Может, опять поступил какой-нибудь срочный заказ? Мимо него шныряли носильщики, но и им главный мастер не сделал замечания. Отчего он такой озабоченный и серьезный? К кому он спешит? Какое дело гонит его спозаранку? Вот он повернулся и направился прямо к нему, молодому зодчему. Подошел, поставил ногу на груды кирпичей, задрал голову.

— Жаппар, бросай все...

Что это значит? Жаппар недоуменно уставился ему в лицо.

— Собирайся! Идем во дворец. Тебя вызывает старший визирь.

Легкая повозка главного мастера быстро доставила их к белому дворцу старшего визиря. Охранники открыли ворота, расступились. Жаппар послушно последовал за главным мастером. Они прошли несколько прохладных, гулких, просторных залов дворца, вступили наконец в огромную голубую комнату, где в середине, на возвы-

шении возле фонтана, восседал старший визирь. Он великодушно принял их поклон, пристально оглядел Жаппара с ног до головы; потом задумчиво пожевал губами, словно решившись сказать что-то необычайно важное, открыл рот и опять устремил на молодого зодчего пытливый взгляд.

— Ты сказал ему, зачем я его позвал? — спросил он у главного мастера.

— Нет, господин, — ответил тот, сгибаясь в низком поклоне.

— Тогда выслушай меня, устод Жаппар. Младшая Ханша решила обрадовать великого Повелителя и в честь его возвращения из далекого похода построить минарет. Мы решили вам доверить эту честь...

Старший визирь со значением выкатил большие умные глаза. Видно, это было в его манере — предельно лаконично высказать важное решение, а потом исподлобья наблюдать, какое впечатление это произведет на собеседника.

Жаппар, словно не в силах выдержать тяжелый взгляд пучеглазого визиря, низко склонил голову.

Старший визирь покосился поверх Жаппара в сторону входной двери и лениво, врасстяжку, без всякого выражения проронил:

— Надеюсь, вы все поняли...

Жаппар взглянул на главного мастера, как бы спрашивая, что и как следует в таких случаях сказать, однако тот сидел безучастно, с непроницаемым лицом, будто ничего не слышал.

Жаппар молчал, соображая про себя, что могло бы означать странное поведение главного мастера, но тут вдруг вспомнил, что старший визирь, сидящий перед ним, дожидается его ответа и молчание становится уже неприличным, и торопливо и смущенно промолвил:

— Да... все понял...

Целый месяц выбирал Жаппар место для будущего минарета. Не осталось такого уголка в большой столице, где бы он ни побывал, пробуя грунт под ногами и внимательно оглядывая окрестность.

Наконец двуколка, на которой разъезжал молодой мастер, остановилась на открытом холме неподалеку от сада, где находился дворец Младшей Ханши.

Казалось, более удачного места для минарета не найти. Холм заметно возвышался над основанием равнины.

ного города. И грунт был плотный, надежный, не супесь и не суглинок. Осадка в будущем должна быть незначительная. Здесь был не шумный, пестро застроенный центр, но и не слишком отдаленная окраина. А самое главное — на виду. Все открыто, всюду простор. Знаменитые мечети, медресе и ханские дворцы находились отсюда на почтительном расстоянии. Вокруг ничего примечательного, что могло бы привлекать взор. К северу от холма стоял лишь единственный дворец Младшей Ханши. Но и его не видно было из-за густо разросшегося, диковинного сада.

Здесь, на этом холме, после долгих колебаний и раздумий, собственными руками вбил молодой мастер кол.

И сразу ожил холм, весь изрытый сусликами. Со всех сторон, вздымая пыль, потянулись сюда груженные арбы. Горы жженого кирпича выросли вокруг подножья. Могучие рабы, раздетые по пояс, поблескивая бронзовыми, потными спинами под ослепительным солнцем, копали землю, шаг за шагом, взмах за взмахом, пядь за пядью вгрызаясь в ее чрево. С каждым днем на глазах рос вал вынутаго грунта, и вскоре уже не видно стало черных от загара плеч рабов-землекопов. Жаппар от волнения был сам не свой. Целыми днями ходил и разъезжал он вокруг холма, разглядывая со всех сторон место, где предстояло постронть взлелеянный в душе минарет.

И настал тот день, когда сорок землекопов, вырыв котлован, вышли на божий свет. Теперь в котлован опустился сам Жаппар. И хотя здесь, под землей, было удивительно прохладно по сравнению с поверхностью, где пекло нещадное солнце, Жаппару уже через день-другой стало скучно и неудобно. Он спешил подняться наверх, рвался к свету. Порой чудилось, что если он вскоре не выберется туда, на белый свет, обрамленный синим небосводом, то здесь его навсегда заполонит какое-нибудь подземное чудище. И он с нетерпением ждал кожаные носилки, на которых спускали к нему сверху кирпич и раствор.

Наконец он выложил основание минарета и выбрался наверх. Казалось, из-под земли вырастал могучий каменный ствол, которым поневоле любовались все прохожие. Молодой мастер испытывал приятное волнение и гордость от этих восторженных взглядов. И когда он видел, что кто-нибудь из многочисленной толпы, хлопочущей там, внизу, всецело поглощен созерцанием его

рождающегося творения, все его однообразные движения, привычная монотонная работа искусного каменщика, тяжелый труд, утомлявший мышцы и оуплявший разум, вдруг сразу обретали особый смысл и значение. В такие мгновения усталость как рукой снимало.

Упорно, день за днем растил он стены минарета и с каждым новым рядом все заметнее удалялся от земли, от рабов, месивших внизу глину. Теперь рабы доставляли ему камни и кирпичи на носилках, поднимаясь по внутренним шатким лестницам. В узком, как труба, минарете он целыми днями пребывал в одиночестве. Поредели ряды любопытных зевак, с нескрываемым восторгом наблюдавших за растущей на глазах башней и ее строителем-чудодеем. Правда, от них теперь и толку никакого не было. С высоты крутых и круглых стен люди внизу казались игрушечными, точно нарисованными, с нелепо растопыренными руками и ногами, и мастер уже не мог видеть восторга в их глазах и не мог услышать лестной похвалы из их уст. И кирпичи снова не в меру отяжелели. И усталость, как прежде, сковывала мышцы. Размеренная, бесконечная кладка кирпича к кирпичу чем-то напоминала шажки стреноженного скакуна и утомляла, надоедала своим однообразием. Теперь он с особым нетерпением ждал, когда рабы поднимутся к нему и вывалят с носилок кирпичи к его ногам. Он обостренно прислушивался к каждому звуку. Сначала снизу докатывался глухой, раскатистый гул, как из пустой бочки, потом все яснее, резче, четче слышались шаги. Рабы были из далеких, неведомых стран. Он не понимал их, они — его. Но когда где-то рядом чувствовался крепкий, острый запах соленого мужского пота, обычно ему неприятный, молодой мастер говорил рабам что-то радостное. И они, невольники, сверкая зубами, приветливо улыбались в ответ, хотя и не понимали его.

Башня между тем уже возвышалась над ближайшими домами и строениями. Узкие улочки близ лежащих махалля и суэта в крохотных двориках — все было видно, как на ладони. По узким щелям меж приземистых мазанок взад-вперед двигались, копошились, точно какие-то чудные существа, пешие и верховые на ишаках. Их странный, неуклюжий с вышины птичьего полета облик и бестолковая, беспорядочная возня на земле вызывали невольную улыбку. Особенно базар ничуть не отличался от муравейника. Даже многокрасочные, яркие то-

вары, всегда радующие глаз, отсюда, с вершины, казались бесцветными и незначительными.

Странно: люди вроде бы себе назло придумали эту мелочную, бессмысленную суету. Словно мало им необъятного божьего пространства, будто бояться они простора, еще при жизни добровольно замуровали себя в душные каменные мешки, в тесные расщелины, где изо дня в день толкуются, как в ступе. Совершенно непостижимо, почему эти беспокойные двуногие смертные, копошащиеся в гигантском сером муравейнике, так восторгаются и дорожат своей мнимой жизнью, где, сшибаясь, как льдины в половодье, бьются и хватают друг друга за глотки ради богатства, чинов, положения, славы и прочей мишуры. Мудрено ли не свихнуться в эдаком котле, постоянно сталкиваясь друг с другом?! Какая злая сила, смешав, сгрудила их в одну кучу, когда столько безлюдной, вольной шири вокруг?! Живн они вразброс по беспредельной степи, какой вражина позарился бы на них? И, наоборот, разве не велик соблазн растоптать, расшвырять, развеять кишащий муравейник? Великий властелин, разрушивший за свой век не один подобный муравейник, из года в год расширяет свой собственный. Для чего, к примеру, понадобилась вот эта строящаяся башня? Для того, чтобы ласкать взор всякого встречного-поперечного? Или привлечь внимание врага, намекая, что здесь, у подножия минарета, раскинулся еще один человеческий муравейник? Или, наоборот, в знак предостережения, чтобы никто не приблизился к этой смрадной свалке, чтобы оставались на вольной воле?.. Для чего?.. Какой смысл?.. Он, мастер, во всяком случае, не знает. Он просто получил еще в прошлом году задание от пучеглазого старшего визиря и принялся за дело. Говорят, такова воля Младшей Ханши, которая там, в густом саду, из какого-то уголка наблюдает за ним. И зачем ей понадобился этот каменный столб — шайтан знает. Когда посещали его подобные непрощенные мысли, ему вдруг нестерпимо хотелось на простор, чтобы избавиться и от этого шумного, многолюдного города, и от бесконечных и путаных, как улочки его, дум. Его неодолимо тянуло в великую степь, чьи причудливые миражи зыбились, играя, под боком неприглядных глиняных окраин. Однако в какую бы сторону он ни повернулся, куда бы ни посмотрел, всюду перед его глазами тянулись невзрачные, унылые, как непролазная осенняя грязь,

глиняные дувалы и стены, похожие на огромный, наводящий тоску своим однообразием серый полог. И чтобы не задохнуться в этой смрадной житейской грязи, он отчаянно карабкается, лезет вверх по крутой каменной башне, туда, к синему, прозрачному поднебесью.

И только теперь Жанпар понял, почему нужны минареты. Оказывается, они выражают высокое и гордое стремление рода человеческого отрешиться хотя бы на мгновения от всего привычного и низменного, бескрылого, что притягивает, придавливает, клонит neodолжимо и со всех сторон к земле, где на уровне ослиного хвоста незначительное кажется значительным, а ничтожное — великим, где повседневную мелочную недостойную суету зачастую выдают за подлинную жизнь, отрешиться от всего мнимого и подняться, взлететь, может быть, даже наперекор судьбе, на высоту, встрепетаться непокорным духом, чтобы можно было узреть истинно величественное, чем прекрасен и сам беспредельный мир, и высшее творение жизни — человек. Ведь неспроста даже суслик и тот время от времени испытывает потребность оставлять свою опостылевшую, вонючую норку и растянуться поодаль у подножия холмика, выставив солнцу круглый бочок, и смотреть, смотреть маленькими глазками-точками, жадно и с наслаждением, на нескончаемый божий мир, смутно ощущая, что помимо подземных мышиных забот существует еще и другая, таинственно непостижимая жизнь, в честь которой он и выводит свою торжественно-писклявую песню.

Быть может, этот минарет, точно прорвавшийся из земли, не просто выражение гордой и дерзкой человеческой мечты, а neodолжимый порыв, неумная тяга самой земли, многотерпеливой и многострадальной, к безмятежно раскинувшемуся над ней загадочному голубому небу? Разве эти маленькие жженные кирпичики в его руках еще вчера не были слепой копейки недостойной серой глиной под копытами ишака? А вот сегодня, словно одухотворенные некоей чудодейственной силой, передающейся через его руки еще недавно бесформенной глине, превращаются в вполне осознанную, прекрасную, манящую цель — в гордо устремившийся ввысь минарет.

В прошлом году, когда на этом месте собственно вручную вбил кол, он также, стоя на гребне древнего кургана, подолгу вглядывался в выжженное солнцем небо, но ничего не увидел тогда, кроме всего лишь на миг

всплывавшего из мрака небытия и тут же исчезающего видения. Таинственно-величавый минарет, возникавший вдруг перед его глазами, так же неожиданно исчезал, будто проваливался сквозь землю. Но еще год назад здесь, на холме, испещренном норками сусликов, он твердо знал, что дивное видение, рисовавшееся в его воображении, превратится, непременно превратится из сказки в быль и станет великолепным минаретом, способным вызвать радость и восторг.

...Вспомнились события восьмилетней давности.

Вслед за серым ишаком, изю всех сил тащившим вверх по крутому склону песчаного увала два больших полосатых корджуна, понуро брели отец и сын. Полмесяца продолжался уже их утомительный путь. Лишь возле одиноких, редких колодцев, покрытых сверху саксаулом и кустарником и расположенных друг от друга на расстоянии двух-, а то и трехдневного пути, они останавливались на недолгий привал.

Отец брел чуть впереди и время от времени резко останавливался и распрямлял, морщась от боли, онемевшую от долгого подъема спину, застывал, держась за бока, а потом, обреченно вздохнув, вновь продолжал путь.

И только безропотный серый ишачок не показывал усталости. Откинув назад длинные пыльные уши и повесив голову, мелко-мелко, точно заведенный, перебирал точеными ножками. За многие века он крепко усвоил, что в неволе у двуногих ему все равно никогда не ждать покоя. Он знал, серый ишачок, вернее, чувствовал нутром, что в этой унылой пустыне где-нибудь да и будет короткая остановка, где и напоят его, и на выпас отпустят. И сделают это двуногие не ради него, не из-за жалости к нему, а прежде всего ради себя самих. А коли так, то нечего роптать на судьбу, нужно покорно идти вперед и вперед, не оглядываясь по сторонам. Эту нехитрую истину серый ишачок познал едва ли не с рождения.

Однако замыкавшему куцее кочевье смуглому худощавому юноше все это давно наскучило и надоело.

Отец проболел всю зиму и лишь в весенний месяц новруз поднялся с постели. Он вдруг с лихорадочной жадностью принялся за хозяйство: вспахал свой клочок земли, разровнял пашню граблями, посеял джугару. Потом взрыхлил почву под чахлыми фруктовыми деревьями, сиротливо торчавшими возле приземистой, плоской крыши мазанки. Почистил, пообрезал ветки.

Все это он проделал молча, потом собрал всех детей и каждому, кроме Жаппара, дал наказ. Некоторое время спустя он вместе с Жаппаром собрался в путь. Жители маленького зимовья, затерявшегося в степи, стоя возле своих лагуд, долго смотрели им вслед.

Когда они, навьючив на серого ишака обшарпанный, выцветший полосатый корджун, вышли из ворот, соседки нетерпеливо спросили у матери:

— Куда это подался мастер-горшечник?

Мать недоуменно пожала плечами.

На какой путь решился вдруг отец, не знал до сих пор и сам Жаппар. Разное рассказывали люди об его отце. Но что было правдой, что — досужим вымыслом, а то и просто сплетней, — не представляли толком и сами дети. Более того, тайной было само появление горшечника. Однажды ненастной осенью прибыл он с каким-то караваном в эти края, да так и остался на зимовке. Молчаливый, замкнутый крупный чернолицый мужчина оказался незаурядным умельцем: под его пальцами словно оживала самая обыкновенная глина. Вскоре он зажил самостоятельно: в искусном горшечнике нужда была большая. Взял в жены девушку-сироту. Появились один за другим дети. Из них он особенно любил и постоянно держал при себе первенца — Жаппара. Была у отца странная привычка — смотреть на все и всех пристально и строго; он замечал каждое движение, каждый порыв и прихоть своих детей; и только когда он смотрел на старшего, глаза его теплели, смягчались от непонятной нежности. Но и нежность он проявлял по-особому. Он не обнимал детей, не обнюхивал их, как это принято у степняков, даже в знак одобрения не хлопал их по спинкам. Но удивительно: от Жаппара он каждый раз отводил, прятал как бы суровый, колющий взгляд. И Жаппар это чувствовал, но не мог себе уяснить, чем он заслужил отцовскую милость. Во всяком случае уже года два сын, выполняя поручения отца, не озирался боязливо по сторонам, как прежде, а держал себя вольно и достойно.

Отец время от времени выезжал на поиски глины. Из зимовья на берегу безымянной речушки, не то впадавшей в могучую реку, не то вытекавшей из нее, он выходил, ведя на поводу ишака, спозаранок и весь день плутал по степи, по оврагам, буеракам, возвращаясь к вечеру с полными разномастной глиной корджунами. Два года назад, в весеннюю пору, в один из таких своих по-

ходов взял он с собой сына. Отец шагал впереди, на расстоянии брошенной палки, а сын-подросток, еще не ходивший далеко от аула, трусил позади верхом на ишаке. Они прошли низину-лужайку за аулом, где паслись козлята и ягнята, и поднялись на песчаный косогор. Отсюда, с вершины, все виделось далеко вокруг. Там, внизу, в ложнине, окруженной бокастыми рыхлыми барханами, притаился их кишлак — разбросанные там, сям, точно горсть джугары на дастархане бедняка, невзрачные, плоские мазанки. Крохотные участки земли, огороженные полуобвалившимися дувалами, издали напоминали хитросплетенные мозанки. Над крышами вился, точно пук растеребленной шерсти, сизый дымок. Родной кишлак, который, чудилось ему, не просто исходить от края до края, теперь со стороны, с гребня бархана, казался особенно маленьким и убогим. Чуткое, пылкое сердце подростка, испытывавшее боль, сочувствие и жалость ко всему маленькому и беззащитному, сейчас, при виде неказистого, в бурых пятнах кишлака в низине, неожиданно и странно дрогнуло.

Колотя пятками неторопливого ишака, мальчик спешил за отцом, ушедшим вперед. Рыхлая супесь постепенно сменилась твердым суглинком. Путники поднялись на ровное, как доска, плоскогорье. Горизонт, казавшийся в кишлаке таким близким и доступным, здесь, на плато, необычайно расширился. Небо, одним краем задевавшее землю, тут, на просторе, стремительно рванулось ввысь.

Отец с каким-то упорством шел все дальше и дальше, будто задался целью непременно дойти до горизонта. А Жаппару тот зыбившийся вдаль таинственный горизонт чудился недостижимым. Гладкое почти, со скудной растительностью плоскогорье тянулось бесконечно: сколько бы ни трусил покорный ишачок, а все казалось, будто стоит на месте.

Солнце перевалило зенит, а отец, угрюмый, суровый, шел не останавливаясь. Лишь после обеда впереди на однообразной равнине появился круглый холм. Вначале он казался довольно высоким, но при приближении холм оседал на глазах, будто какое-то чудище подтачивало его снизу, а когда путники подошли уже совсем вплотную, он как бы и вовсе слился с равниной.

Отец поднялся на его макушку и долго стоял, всматриваясь в далекую даль. И хотя он отправился на поиски глины, до самого холма не заинтересовался почвой под

ногами. Но и добравшись до холма, он, казалось, забыл про глину, а высматривал что-то совсем другое там, за горизонтом. Вдали дрожало, зыбилось, курилось голубоватое дремотное марево, словно стараясь смягчить суровый, жесткий взгляд отца. Мальчик был заметно взволнован от этого бескрайнего пространства, от необычной, звенящей тишины, от величавого спокойствия вокруг. Временами он чувствовал нечто похожее на оторопь, по спине прокатывался холодок, будто он один на один столкнулся неожиданно-негаданно с каким-то чудищем-великаном, который и в страшном сне не снился. У серого ишачка тоже слезились глаза; он удивленно помаргивал и прядал ушами. Мальчик тщетно силился понять, в чем заключалось притягательное колдовство беспокойного и куда-то манящего миража у далекого горизонта и почему у отца, так жадно вглядывавшегося вдаль, все мрачнее становится лицо.

С той поездки в мальчика точно вселился дух тревоги. Отныне он будто задышался в тесной лошине, укрывавшей их кишлак. Он уже не мог, как прежде, увлеченно копать в крохотном садике за их мазанкой. Его неодолимо влекло на простор. Теперь он с охотой выгонял на выпас козлят и ягнят маленького кишлака. Выбирался подальше из узкой лошины, отпускал козлят на лужок, а сам, лежа на спине, зачарованно смотрел на небо. И постепенно к необъятному миру, словно онемевшему от извечной тишины, вдруг возвращались звуки, которые, казалось, только и поджидали мечтательного подростка. Вначале под необъятным и бездонным куполом небосвода неожиданно оживал невидимый жаворонок; вскоре к его звонкой трели подключалось многоголосое щебетанье и с неба, и с земли; возле бесчисленных зияющих норок грелись на солнышке, лоснясь тугими боками, суслики и, разморенные теплом и истомой, блаженно пересвистывались. Немного поодаль с удовольствием щипали нежную весеннюю мураву ягнята и козлята, и их хрумканье слышалось подростку очаровательной мелодией. Звуки и шорохи заполняли весь мир. А перед глазами голубело бескрайнее небо.

Очутившись наедине с беспредельным мирозданием, подросток долго-долго лежит на приятно теплой земле, предаваясь неизъяснимым грезам, погружаясь в омут неведомых мечтаний. Он с упоением впитывает радость и восторг, навеваянные благодатной тишиной и щедрой при-

родой, чуждой спешки, суеты и мелочных, совсем необязательных, ненужных забот. Взгляд не может налюбоваться таинственной игрой теней, переливом красок, заполняющих пространство между небом и землей. Легкое белесое облачко, как бы нехотя, невесомо поднимавшееся над краем горизонта, мерещилось тайным посланником невидимого творца вселенной, отправленным, чтобы разведать, узнать, что происходит в подлунном мире. Невслышно скользнула по небосклону пушистая тучка, отбрасывая прозрачную тень; казалось, мягкие ладони оглаживали нежно поверхность земли. Вот она, неуловимая тень, чуть коснулась и его, погруженного в свои сладкие видения подростка.

Он вздрагивает, как от прикосновения потусторонней силы. Но тут облачко скользит-проплывает дальше, солнышко, вновь выглянув, припекает заметнее, и благодатная дрема продолжает убаюкивать мальчика. Хрупкая грудь его, еще не познавшая стужу жизни, наполняется благодатным теплом весеннего солнца, и мечты бесконечной вереницей, дивно разрастаясь, проходят перед его затуманенным взором.

От долгого лежания немеет спина, тяжестью наливаются ноги. Мальчик приподнимается на локтях. Звуки утишились, улеглись. Солнце склонилось к закату. Но словно беспокоясь за мечтательного подростка, который, забывшись, может остаться один в безлюдной степи, оно, повиснув у горизонта, вприщур наблюдало за ним. И, только заметив, что мальчик встал, поднял лежавший в сторонке прут и направился к своим ягням, оно удовлетворенно скользнуло за горизонт.

С наступлением сумерек вместе с дойными верблюдцами, с ревом спускающимися по песчаному косогору, возвращается с выпаса и козонас в кишлак, зажатый лощиной.

То, что Жаппар сторонится кишлачных мальчишек, день-деньской резвящихся на пыльных пустырях между мазанками, и предпочитает одиночество, должно быть, по душе отцу. В свою мастерскую, куда он очень неохотно допускал посторонних, отец однажды сам привел Жаппара. В мастерской, приютившейся в углу дувала, пахло сыростью и горелой глиной.

Едва отец сел за гончарный круг и раскрутил нижнее колесо станка, тихий закуток наполнился резким, дребезжащим скрежетом, точно в клочья разрывавшим

тишь, и черный, до блеска отполированный круг начал вращаться с неимоверной быстротой. Сухая пепельно-серая глина, бог весть из какой дали доставленная на ишаке, сначала превратилась в тугое месиво, а потом на стремительном гончарном круге обрела новые, замысловатые формы.

Жаппар с жадным любопытством, словно на чудо в руках заезжего фокусника, смотрел на тугие оголенные икры отца, в холодно-пристальные глаза, неотрывно следившие за вращением колдовского круга. Он впервые видел чудодейственную силу согласованных человеческих движений. Казалось совершенно непостижимым, как из чего-то обыденного, незначительного — из ничтожной глины, разбросанной между степными травами, из воды, неизвестно откуда вытекающей и куда исчезающей, от неверного пламени, рождающегося из сухих и ломких ветвей саксаула и превращающегося в дым, из мимолетных, почти неуловимых движений — могут появиться удивительно красивые вещи, способные радовать взор.

Вскоре отец усадил за гончарный круг сына. И Жаппар чутко уловил: чтобы сотворить прочный и красивый кувшин, нужны не только глина и вода, не только ярко пылающие под кузнечными мехами уголья саксаула, но и недюжинная сила, огромное напряжение всех мышц, зоркий взгляд, способный замечать каждую песчинку, каждую крупинку, бесконечная борьба надежд и сомнений, изматывающая душу и нервы, — все девяносто ответвленных чувствительных жил, стремление и старание, жестокая, постоянно преследующая неудовлетворенность собой, великое, поистине святое терпение, и, должно быть, еще многое другое, чему нет точного названия в человеческом языке.

На старое верблюжье седло в углу среди хлама теперь уселся отец. Он так же пристально и придирчиво следил за каждым движением сына, как еще недавно наблюдал за работой отца Жаппар. Однако на лице отца не было ни тени удивления или восхищения. Сын чувствовал на себе лишь его неумолимый, колющий взгляд. Казалось, опытный мастер-горшечник своим суровым взглядом хотел как бы подстегнуть, закалить душевные порывы неокрепшего юнца.

С утра до вечера чувствовал Жаппар на себе пыливый взгляд отца, и тогда впервые осознал, что истинного мастера оттачивает и закаляет посторонний глаз.

Понял он тогда также, почему отец не пускал любопытствующих в свою мастерскую. Подлинный мастер не может и не должен раскрывать каждому встречному-поперечному тайны своего ремесла, точно так, как знающая себе цену гордая красавица искусно укутывает в шелка свои прелести, одним лишь мимолетным взглядом умея возбудить желание. Люди не должны видеть капельки пота на измученном челе мастера, его усталость, отчаяние, мучительно сдвинутые брови, достаточно того, что они видят творение его рук — пусть любуются, удивляются, восторгаются. Для мастера-творца нет большего счастья.

Мастеру отнюдь не безразлично, как смотрят на изделие его рук. Ему свойственно смущаться, съеживаться, замыкаться в себе под неодобрительным, уничижительным взглядом и, наоборот, испытывать ликующую радость, гордость при виде удовлетворения или восхищения в чужих глазах. Больше всего радовался опытный горшечник не вполне опрятным поделкам сына, а тому, что он не равнодушен к вниманию людей, чуток к постороннему взгляду и по-хорошему честолюбив. Он благодарит судьбу за то, что в одном из его сыновей теплилась искорка вдохновения. И с того дня со всей страстностью и упорством принялся обучать сына своему кровному ремеслу.

Отныне Жаппар просиживал целыми днями в сырой тесной мастерской отца. Вскоре он научился не замечать резкого запаха горелой глины. И к визгливому скрежету гончарного круга быстро привык. Он уставал от этой утомительно-однообразной работы, однако ни скуки, ни — тем более — отвращения не чувствовал. Наоборот, постигая тайну за тайной, он все больше и больше привязывался к отцовскому ремеслу.

Однако, должно быть, опасался опытный гончар, что нелегкий этот труд отпугнет сына, утомит, наскучит раньше времени, и потому иногда на целую неделю запирали мастерскую. Пусть поразвешется сын, отдохнет. Мальчик слонялся несколько дней без дела, не находил себе места и занятия, рвался в мастерскую, к станку, к гончарному кругу.

Вскоре появились в кишлаке первые кувшины, сотворенные Жаппаром. Однажды он увидел девушку, шедшую с его кувшином за водой. Это его так поразило, что он шел за ней до самой реки. Стройная, толенькая де-

вушка, слегка покачиваясь, дошла до крутого берега, наполнила его кувшин водой и, мягко ступая по пухляку, медленно направилась в кишлак. Юный гончар, сдерживая дыхание, юркнул за дувал. Почудилось ему, что догадается прелестная дева, зачем он бредет за ней...

Теперь в кишлаке, пожалуй, нет такого дома, где бы не пользовались кувшинами Жаппара.

И все, наверное, шло бы своим чередом, если бы отца не позвала таинственная дума в далекий путь.

Казалось, пескам не будет конца-краю. Сколько ни бредешь — вокруг ни живой души. Изредка что-то промелькнет перед утомленными глазами, подойдешь — не то куст тузгена, не то саксаула. Куда они идут — Жаппару неизвестно, и это делает путешествие по унылым бесконечным пескам еще более бессмысленным.

Жаппару стало невмоготу брести по зыбучим барханам — все вверх и вверх — вслед за угрюмым отцом и покорным ишаком. Юноша бросается навзничь на раскаленный песок. Над ним в извечном молчании застывшее небо. Обшарь его глазами от края до края — ни единого облачка не заметишь. И только у горизонта, возле узкой полоски между небом и землей, что-то зыбится, дрожит. Чем выше, тем прозрачнее, бездоннее небо. И, кажется, хранит оно великую тайну, и недоступен его язык человеку. Юноша вскакивает и, вспахивая ногами сухой, податливый песок, бежит вдогонку серому ишаку.

К вечеру, когда солнце повисло над горизонтом, горбатые барханы начали редеть, впереди простиралась песчаная равнина. И только тут отец остановился и внимательно огляделся окрест.

Пески были испещрены загадочными морщинками... Отец долго вглядывался в причудливые кольца и извилины, нарисованные пустынной бурей на мягком песке, казалось, он читал суры из священной книги, переписанные каким-то сверхтаинственным каллиграфом на это бескрайнее пространство. Потом, еще раз оглянувшись, решительно повернул к востоку.

У стыка красных песков с бурыми подзолами началась продолговатая впадина. С наступлением сумерек приземистые песчаные холмики стали отбрасывать более длинную тень, и оттого они словно вырастали, тянулись к редким перыстым облакам, откуда-то появившимся на потускневшем небосклоне...

Серый ишак будто погружался в черный омут... По-

логий поначалу склон впадины становился все круче. Отец, видно, не решался углубиться в мрачные заросли. Дойдя до такого места, откуда еще вполне проглядывался край впадины, он остановился и привязал ишака к саксаулу. Потом отвел Жаппара в сторонку шагов на двадцать. Здесь, в густой саксаульной чащобе, он нашел небольшой лаз, точнее, довольно узкую щель, откуда было удобно наблюдать за краем впадины, и приказал Жаппару залечь.

— Смотри в оба, пока я не вернусь!

Отец, отстраняя рукой кривые саксаульные сучья, осторожно двинулся вглубь. Сухой валежник потрескивал под его ногами. Вскоре треск утих. Видно, и отец нашел себе удобное укрытие...

В тугайных зарослях сыро и прохладно... Запах пыли и пыльцы жузгена щекотал ноздри. Багрово-красные лучи заходящего солнца точно застряли в верхушках саксаула, не в силах пробить непролазную чащобу. В зарослях быстро смеркалось. Сквозь узкую щель едва просматривалась песчаная полоска впадины. Жаппар, зябко поеживаясь от одиночества, прислушивался, но ни шороха не расслышал.

Усталость от долгой, изнурительной ходьбы понемногу одолевала его, веки отяжелели, поневоле смеживались. Юноша стряхивал с себя сонливость, с усилием открывал глаза.

И вдруг он увидел через щель: впереди будто что-то промелькнуло. Жаппар протер глаза, глянул пристальней. Да, верно: путник на верблюде. Голова обмотана высоченной чалмой. На приличном расстоянии огибая чащобу, путник подстегивал, торопил длинношеего рыжего дромадера, спешил в сторону Песков. На луке верблюжьего седла колыхалось, покачивалось что-то тугое, похожее на узелок. Должно быть, бурдюк с водой. Жаппар только теперь почувствовал, как пересохло у него во рту, как нестерпимо хотелось пить. Может, остановить путника, попросить напиться. Вспомнились слова отца: «Смотри в оба!» Кружилась голова, сердце колотилось. Он застыл, не отрывая взгляда от быстро удалявшегося одинокого путника. Только теперь увидел: в правой руке путник держал белый остроконечный посох, увешанный разными побрякушками. Выходит, дивана... Бродячий заклинатель. Юродивый. Эти странные люди, одетые в пеструю рвань, изредка заезжали и в их кишлак. И сразу

же подумалось Жаппару: а может быть, туда, в его родной кишлак, и направляется сейчас дивана? Непонятная тоска охватила душу. Вздохнул Жаппар, заскучал, запечалился. Вон уже и не видно стало одинокого путника на верблюде-дромадере.

Голова раскалывалась, клонилась на грудь. Юноша наскреб горсть влажной, холодной глины и приложил к горячему лбу.

Солнце нырнуло за дюны. В щель было видно, как плыли вечерние тени. Еще некоторое время спустя непроходимую чащу плотно обступил сумрак. Казалось, ночная темь повисла у самого края впадины, не решаясь проникнуть в саксаульные заросли. Небо белесое, бледное. В неверном освещении белый песок за опушкой обрел золотистую окраску. Кривые, затейливо переплетенные сучья кустов точно сомкнулись, скованные мраком.

Узкая, как лезвие ножа, лиловая полоска света над краем обрыва, постепенно слабея, вскоре совсем погасла. В небе робко зажглись редкие звезды. Казалось, им было неловко за ранний восход, и они смущенно переглядывались, перемигивались, но поемногу освоились на необъятном небосводе, осмелели, видя, что их становится все больше и больше, и вот они, ночные звезды, замерцали уже сотнями, тысячами, заронились, наливаясь ярким светом, нависли над чащей в пустыне, где черной ночью скрывались неведомо от кого отец и сын.

Черная южная ночь укрыла пустыню. Сразу же повеяло свежестью. Сон, несорбимо наваливавшийся все это время на юношу, точно рукой сняло. Тяжесть спала с век. К глазам вернулась зоркость. Непроглядный мрак, плотно обступил со всех сторон. Ни звука, ни шороха. Тяжелая, тягучая, как смола, тишина. Все время чудилось, будто неведомая опасность подкрадывалась неслышно, по-кошачьи. В висках стучало. Оторопь сковала юношу. Он замер в ожидании, когда невидимое чудовище пустыни вонзит в него свои кровавые когти. Однако опасность не спешила обрушиться на него. Она, словно пес, хватающий исподтишка, выжидала в сторонке, в двух шагах, зорко следила за каждым его движением, сторожко прислушивалась к каждому шороху. И Жаппар впервые подумал про себя, что лучше иметь перед собой видимого врага с занесенным для удара мечом, чем обмирать от страха в жуткую, выморочную ночь.

Она длилась бесконечно. Вдруг в чаще послышался шорох. Потом шорохи усилились. Кто-то шел напролом, пробиваясь сквозь заросли кустарников и саксаула. Вскоре в чаще затрещало, захрустело, точно пламенем охватило сухостой. Корявый пенёк саксаула, за который давно уже держался оробевший юноша, точно живое существо, как бы прильнул, прижался к нему; казалось, даже пенёк всерьез встревожился перед гулким, стремительно и неудержимо накатывавшимся треском. Жаппар еще в детстве слышал о диких зверях, обитающих в непроходимых зарослях. Он принюхался, пытаясь уловить запахи, свойственные диким зверям, однако ничего не учуял.

Треск усилился, сливаясь в жуткий гул. Точь-в-точь косяк одичавших животных ошалело мчался в зарослях, круша все на своем пути.

Сухой ком застрял в горле Жаппара. Он хотел отнять руку от корявого пня, но не мог: пальцы свело, как в дороге.

Грохот, накатываясь, почти настиг его укрытие и вдруг, как захлебнувшись, откатился назад. Только теперь ослабли и разжались занемевшие пальцы. Упругая ветвь дрогнула, и саксаул издал невнятный шорох. Но Жаппару он померещился грохотом камня, обвалившегося с горы. На мгновение, казалось, и треск валежника на краю чащобы умолк. Может, и там услышали шорох и насторожились? Жаппар от волнения не знал, куда девать руки. Он опустился на корточки и дрожащими руками крепко стиснул колени. А недавний грохот угас, унялся, словно и не было ничего. Юноша напряг слух. Все вокруг вновь погрузилось в безмолвие.

И вдруг прямо впереди, будто рядом, ярко вспыхнул огонь. Жаппар не поверил своим глазам, крепко зажмурился. Когда он снова открыл глаза, огонь впереди разгорался еще ярче. Длинные языки пламени жадно металлись по сторонам, вытягивались вверх, и неожиданное ночное зарево, раздвигая мрак, заметно притушило тусклый блеск звезд. Вокруг огня копошились какие-то люди, мелькали фантастические тени. Некоторые выныривали из аспидно-черной темноты, швыряли что-то в огонь, и тогда пламя, взметнувшись, сыпало ослепительными искрами. Что это были за люди, Жаппар не догадывался. От обрыва к огню, причудливо перекрещиваясь, тянулись тонкие длинные тени. Присмотревшись, юноша увидел на стыке света и мрака несколько оседланных ло-

шадей. Поводья были крепко привязаны к луке. У тех, что стояли ближе к огню, сверкали при отблеске пламени ножны, навешанные на седла. Страх понемногу проходил, уступая место удивлению и любопытству. Должно быть, лиходен, коль держат при себе оружие и рыщут по безлюдной пустыне под покровом ночи. Возможно, именно их опасался отец, хоронясь в тугайных зарослях? А чего ему бояться? Разбойникам с большой дороги, подстерегающим богатые купеческие караваны, брать с отца ровным счетом нечего...

С опаской поглядывал Жаппар из-за своего укрытия на ночных людей, безмятежно расположившихся вокруг ярко пылавшего костра. Вот они тесно уселись в круг, что-то оживленно обсуждают, головами кивают, руками размахивают. Долго следил за ними Жаппар, наблюдая за причудливой игрой несуразно длинных теней, разглядывая высокие мохнатые шапки и длинные сабли, болтающиеся на поясах. Юноша понемногу приходил в себя. Тот липкий страх, настигший его вместе с мраком, отпустил его. Как ни странно, костер, горевший впереди, и эти люди, нарушавшие ночную тишь, успокаивали его, словно разделяя одиночество. Стая хищников с оскаленными клыками, чудившаяся недавно в его воспаленном воображении, тоже исчезла. Ощущения притупились. Вновь тяжело навалились усталость и сон. Тени по-прежнему мелькали у костра, но они уже просто казались нелепым видением; юноша недолго боролся с дремой, сон сморил его.

Проснулся оттого, что кто-то коснулся его плеча. Рядом стоял отец. Он молча подал знак: «Ступай за мной». Они направились к саксаулу, где с вечера томился на привязи покладистый серый ишак. Отец повел его на поводу, пошел в сторону обрыва, по которому они спускались вчера.

Едва они выбрались из чащи, забрезжил рассвет. У опушки юноша посмотрел туда, где ночью горел костер. На том месте чернела круглая проплешина. Но ни одной живой души вокруг.

Жаппар поразился. Выходит, в полудреме он и не заметил, когда и как ушли эти странные люди. Вскоре отец с сыном выбрались на широкую караванную дорогу, покрытую пухляком. Далеко впереди, сливаясь с горизонтом, виднелись пестрые горы. А ближе в прозрачном утреннем воздухе темнело что-то огромное, зубчатое. Не-

подалеку, на расстоянии конских скачек, торжественно тянулся в сторону предгорья невиданный доселе Жаппаром красочный богатый караван. Впереди каравана, вокруг могучего слона с золотистым шатром-паланкином, гарцевали всадники-нукеры. Караван сопровождала с двух сторон конная охрана. В самом конце ехал еще один отряд, вооруженный копьями. Длинное нарядное кочевье степенно спустилось в низину, плотно окутанную голубоватой дрожащей дымкой. Отец с сыном брели позади, стараясь не упустить из виду караван, но и с опаской поглядывая на грозных воинов, вскинувших над головой острые копыя. Должно быть, эти воины разожгли прошлой ночью костер на краю чашобы. Жаппару теперь ясно стало, почему отцу понадобилось укрываться на ночь в густых зарослях тугая. Ведь все дороги и тропы, выходящие из Великих Песков, зорко охраняются вооруженными отрядами, и не приведи аллах попасть им в руки в неурочный час. Не пощадят случайного путника. Но юноша еще не догадывался тогда о том, что эти воины были нарочно высланы вперед, как дозорная часть, обязанная обеспечить безопасность продвижения каравана мимо буераков, ущелий, тугаев и прочих разбойничьих притонов. Не знал он и того, что в золотистом паланкине за шелковыми занавесками сидела новая жена великого Повелителя — Младшая Ханша. Обо всем этом он узнал потом, во время чаепития, из уст словоохотливого хозяина плоскокрышей приземистой мазанки, которую отец еще разыскал среди узких и извилистых, как лабиринт, улочек, зажатых между глиняными дувалами на окраине большого города.

То был бай Ахмет, хозяин дома, где и поныне обитал мастер Жаппар. Ахмет долго стоял тогда перед ними, не узнавая отца. Толстый чернявый человек, уверенно поставив ноги, застыл у двери. Маленькие, узкие глазки на широком лоснящемся лице смотрели подозрительно.

Отец обстоятельно все объяснил:

— Вы что, почтенный Ахмет? Неужто запомнили меня? Я гончар из Ор-тюбе. Помните? Когда вы приезжали по торговым делам, не раз у меня ночевали. Еще говорили: «Будешь в городе, останавливайся у меня». Вот я и разыскал вас...

Хозяин узнал наконец гостя: приветливо приложил руки к груди. Потом открыл ворота. Грузно переваливаясь, провел гостей в дом. В отдельной комнатке трое

мужчин долго пили чай. Тут-то купец и выложил все последние городские новости.

Отец в конце беседы сказал:

— Как видите, привел я сюда сына. Пока еще жив, хочу поручить его вам. Недавно проходил через наш кишлак один дервиш. От него я узнал, будто хан намерен построить в городе новую мечеть и для этого отовсюду собирает мастеров. Помогите, чтобы мой сын попал к ним.

Выяснилось, что купец Ахмет едва ли не всех знает в городе, кроме людей из ханского дворца. После задушевной беседы за духмяным зеленым чаем на базаре с такими же, как он, купчишками, день-деньской зазывающими прохожих в свои крохотные, как птичье гнездо, лавчонки, оба мастера-гончара из Ор-тюбе, отец и сын, за какую-нибудь неделю оказались в числе строителей новой ханской мечети. Но едва выложили ее основание, отца свалила застарелая хворь.

Всего два месяца посчастливилось юному мастеру работать бок о бок с отцом. На стенах минарета, становившихся с каждым днем круче, он чувствовал себя как неоперившийся птенец, и сжимался весь, съеживался под любопытными взглядами. И так он беспокойно озирался по сторонам весь нескончаемый день — с того мгновения, как солнце поднималось на высоту аркана, до того, как оно, изойдя нещадным жаром, скрывалось за горизонтом на виду у всех; робкий юноша испытывал скованность и неловкость и, не смея поднять глаза, застенчиво косился то на солнце, то на других мастеров-каменщиков, копошившихся на стенах мечети, то в сторону соседнего медресе, откуда, по слухам, наблюдал за ними, не спуская глаз, сам Повелитель.

Как на раскаленных углях чувствовал себя Жаппар. Он изводил себя на работе; волнение, какая-то лихорадочная дрожь, нетерпение не оставляли его. Однажды, измученный, вернулся он после работы домой. Отец помянул его слабеющей рукой. Глаза Жаппара при виде угасавшего отца наполнились слезами; он даже не мог разглядеть его лица. Все поплыло вокруг, закачалось, замелькало, будто их комната невзначай погрузилась на дно озера. И в этом колыхающемся мире неподвижно белело беспомощное, высохшее тело старого гончара из Ор-тюбе. Из впалой груди вырывались хлюпающие звуки, не то стон, не то мольба, не то плач; они становились

все реже, все слабее, а вскоре и вовсе оборвались. Сухая, жесткая рука безжизненно выпала из горячих ладоней юноши.

Теперь в большом и чужом городе он остался совершенно один. Он даже не мог вспомнить, что хотел перед смертью сказать отец. Одно только слово, точно невнятный лепет, застряло в памяти: «Не уезжай!» Теперь, взобравшись на макушку минарета, он ряд за рядом клал кирпичи, каждый раз на мгновение взглядывал вперед и больше ни на что не обращал внимания. Да и на что смотреть? Все одно и то же: приземистые глиняные домики и редкие пыльные чинары. Голубоватое небо во всю свою мощь и ширь, точно упиваясь своим величием, раскинулось над огромным пестрым городом. Юноша мастер уже заканчивал тот первый в своей жизни минарет, но с вышины его он так и не увидел ни горизонта, ни бескрайней бурой степи, по которой пришли они с отцом сюда.

Да-а... то было восемь лет назад.

И вот опять растил он стены нового, более высокого минарета. И снова, как тогда, кладя кирпич за кирпичом, каждый раз на миг смотрел вперед. Глиняных приземистых домиков стало еще больше, дувалы — еще плотнее, улочки — еще теснее, и — казалось — они закрывали горизонт серой, как зола, пеленой. Еще недавно соперничавшие по высоте с новой башней и расположенные неподалеку медресе, мечети, минареты теперь безнадежно остались внизу, словно осели, растворившись в мглистой дали. С невиданной высоты уже проглядывались загородные сады.

Жаппар настойчиво поднимался все выше, навстречу необъятному, прозрачному небу, где не за что было уцепиться... Он был уже во власти неумного азарта: с каждым новым рядом стремился еще дальше, еще выше. С таким отчаянием со дна омута рвется утопающий на божий свет.

И те загородные сады, темневшие вдаль, с каждым днем становились ниже, неказистее, неприметнее, пока не превратились в пеструю лиловую полосу, обрамлявшую серо-мутное пространство города. Вскоре стало возможным различить и линию горизонта, еще недавно сливавшуюся с пестро-лиловой полоской садов. Белесое, застывшее марево над нею поредело, поразвеялось, и все отчетливее просматривалась густая синь.

Как-то после полудня, когда в прозрачном воздухе растаяла хмарь, сквозь стылую синеву вдали Жаппар вдруг углядел что-то рыжеватое. Не веря своим глазам, он положил мастерок на кладку, тыльной стороной руки смахнул пот со лба и взгляделся пристальнее. Да, он не ошибся: густая синева горизонта приоткрывала рыже-бурое пространство. Так видится дрожащее дно сквозь прозрачную глубину.

Жаппар весь подался вперед, вытянул шею. Об этом мгновении он давно мечтал. Голубоватая легкая кисея горизонта, долгое время застилавшая ему даль, сейчас будто сжалилась над зоркоглазым юношей, не устояла под его жадным нетерпеливым взглядом, дрогнула и отступила, раздвинулась. Серо-бурое пространство, пританцовывшееся за смутным пологом горизонта, теперь ширилось, разрасталось на глазах, обрамленное дрожащей синеватой полоской.

Поднимаясь кирпич за кирпичом, ряд за рядом выше, выше, Жаппар уже не в силах был избавиться от ощущения, будто из-за дальней дали неудержимо накатывалась грозная и могучая волна, готовая вот-вот разом накрыть, захлестнуть все на своем пути — и кусты, и непроходимые заросли тугаев, и кажущиеся издали неприступными минареты, и голубые купола мечетей, и слепленные из желтой глины мазанки и дувалы. И еще мерещилось ему, что простор, стремительно надвигавшийся из-за открывшейся вдруг черты, спешит сюда, чтобы освободить его, одиночку, пришельца, сироту, лишившегося своей вольной степи и заживо замурованного в кирпичные стены...

Он не спустился с вершины минарета, пока не закатилось солнце и не сгустились сумерки. Наутро, чуть свет, он вновь был там же. Лишь на минарете, имея возможность видеть перед собой огромное пространство, загадочно простиравшееся за столичным городом Повелителя, он находил себе успокоение. Однако никаких перемен в гой манящей дали он не заметил. Целыми днями с нетерпением ждал Жаппар, когда улетучится дымка у горизонта — затейливая игра теней. Но лишь после полудня миражи куда-то исчезли, простор открывался, сквозил, а пустыня, о которой так тосковала душа, оставалась безмолвной, безучастной ко всему на свете, не приближаясь и не отдаляясь. Это приводило его в уныние. И она, пустыня, точно этот опостылевший город, убивала своим

равнодушным пылкие мечты молодого мастера, скрывала в своем безбрежном лоне родной и любимый до боли клочок земли, делая вид, что ничего не знает и не понимает.

Радостная надежда, которой он жил всю эту неделю, разом погасла. Вершина минарета уже не влекла его. Раньше минарет чудился ему единственной дорогой, по которой он мог выбраться из душной теснины ханской столицы на желанный и вольный простор. Ну, что ж... из духоты и тесноты он, пожалуй, выбрался, на это он еще оказался способным, но вдохнуть жизнь в безликое пространство, избавить его от немоты и бездушия ему, очевидно, не под силу. И, выходит, напрасно он только радовался и ликовал, когда поднимался хотя бы на вершок, будто одолел горную вершину, напрасно тянул жилы... Одни муки достались на его долю.

Теперь он чувствовал себя человеком, который по наивности пытался перейти широкую и бурную реку, вымощивая брод камнями, но потом запоздало понял, что ничего не выйдет из этой затеи, и застрял на середине пути, не смея ни вперед шагнуть, ни назад отступить. Идя по утрам на работу, Жаппар с досадой и неприязнью косился на сотворенный им минарет, который хотя и вознесся горделиво над землей, однако до поднебесья так и не дотянулся.

На стены минарета он поднимался с трудом, задыхаясь. Ноги наливались тяжестью, подкашивались, голова кружилась.

И работа как-то разладилась, мастерок валялся из рук. Дни тянулись утомительно-бесконечно. Солнце, казалось, стояло на привязи. За городом, разморенная зноем, дремала бурая пустыня. И город точно вымер, окаменел. На улочках внизу не видно ни живой души. Воздух застыл, загустел, стал вязким, тяжелым, словно закисшее молоко. И даже на самой вершине минарета не чувствовалось свежего дуновения.

Ослепительное солнце выжгло и еле различимую отсюда бурую пустыню, и недавно еще темно-синюю полосу загородных фруктовых садов, и само небо над городом и окрасило все в лиловый цвет спаленной травы-гармалы, из которой осенью женщины готовят щелочь. Казалось, некое чудовище, сказочный злой великан, засучив рукава, разводил на земле гигантский костер и сжигал все дотла, чтобы из горы пепла и щелочи варить потом в необъятно-огромном казане черное, как леготь, мыло.

И раскаленное солнце чудилось все сжигающим огнем под тем непомерно громадным казаном.

Странная тяжесть и безразличие сковали движения. Жаппар будто беспощадно барахтался в вязкой жиже. Внимание рассеивалось, мысли путались, при всем своем желании и старании он не мог сосредоточиться. Перед глазами нет-нет да и возникало вновь давно забытое видение, от которого сладко сжималось сердце. Неприглядная в своей убогости лощина, где прошло его детство, родной кишлак. Вон и ягнята, резвясь, спешат на выпас, и над ними вьется-тянется сизый шлейф пыли... Стройная, гибкая девушка, слегка покачиваясь, идет к реке. Множество косичек трепещет, извивается на ее спине. На плече девушки — кувшин. Его, Жаппара, кувшин...

Он вздрагивает вдруг, будто кто-то ущипнул его невзначай, встревоженно оглядывается вокруг. Все то же: полдень, изнуряющая, отупляющая жара, кирпичные стены минарета. Внизу — сонный, точно вымерший город. Над головой — выгоревшее, пепельное небо.

Жаппар вспоминает только что промелькнувшие видения, родной кишлак. Почему он не остался там? Делал бы, как прежде, свои кувшины. Разве не все равно, кем ты проживешь свой короткий век в этом мире: чабаном или торгашом, горшечником или строителем ханских минаретов? В конце концов все они копошатся и суетятся ради существования. И еще неизвестно, кто больше преуспевает, кто больше наслаждается жизнью. И может, выгадывает тот, кто ни на шаг не отрывается от земли, живет себе, как предопределено самой судьбой, а не бросается очертя голову в неведомый омут, где кипят страсти, повседневно, ежечасно отчаянно борются надежда и сомнения, где на долю одинокой душе падают одни лишь муки и страдания... Жил бы он себе тихо и скромно в своей ветхой лачуге за глиняным дувалом, даже представления не имея о тоске и одиночестве, царящих в многолюдном городе. И что только так властно притягивало уже обреченного отца в этом человеческом муравейнике? Что он в нем нашел? На что надеялся? Лишь на полгода и хватило его здесь. Умер на чужбине, вдалеке от родного очага. Жена и дети даже горсть земли не смогли бросить на его могилу. И все ж у ворот смерти успел прохрипеть: «Не уезжай». Что это означало?

Остался Жаппар... Только много ль радостей изведаль? В том ли смысл и прелесть жизни, что попеременно ока-

зываетесь в объятиях то слепой, в цветастые лохмотья наряженной надежды, то убогой скуки, волочащей по земле свой измызганный, серый подол?

Почему отец так страстно желал, чтобы из его сына вышел чуткий мастер с божьей искрой в груди? Почему не обучил какому-нибудь простому, неприметному ремеслу, с каким худо-бедно прожил бы положенный век, не ведая ни горя, ни сомнений, ни обманчивых желаний? Помнится, отправляясь на поиски глины, отец подолгу стоял в безлюдной степи, задумчиво и отрешенно глядя куда-то вдаль. Неужели он тогда мечтал об этом городе, лежащем теперь у ног сына, несуразном, нелепом муравейнике, размоленном от зноя и покрытом пылью?!

Теперь вот и он, следуя заветам отца и зараженный его неумейной страстью, устремился навстречу миражумечте, все выше, выше, отчаянно ловя точку опоры в безбрежном пустом пространстве. Строить основание на зыби, искать опоры в пустоте — напрасные потуги, безумная затея.

...То ли от невыносимой жары и духоты, то ли от тоски и отчаяния, отравлявших сознание, в глазах молодого мастера потемнело, и все вокруг поплыло, точно в мареве. Опасаясь упасть с высоты минарета, он поспешно спустился на две ступеньки. Странная, зыбкая пелена перед глазами словно густела, мрачнела, и шершавые кирпичики, едва схваченные раствором, еще не обмазанные глиной, тоже вдруг стали терять розоватый оттенок, и будто уплывали из-под рук, растворяясь в загадочной суете. Жаппару померещилось, что он повис между небом и землей. И только черную зияющую полость под ногами, узкий гулкий колодец, по стенкам которого он поднимался на вершину минарета, все размывающий зыбкий мрак еще не успел проглотить. И вдруг в черном, жутковатом колодце под ногами неожиданно вспыхнул яркий свет; потом, преломляясь, во все стороны устремились оранжевые лучики, по стенкам замелькали-заиграли блики; они разрастались, приближались, принимали фантастическое обличье. Казалось, кто-то невесомый, молчаливый неслышно подкрадывался к нему. Уже почти поравнялся. Вот он встал прямо перед ним. Тоже будто завис, окутанный густой текучей хмарью, между белесым небом и серой бездонной пучиной. Казалось, коснись они невзначай друг друга или столкнись в парении, и оба неминуемо сорвутся в мгlistвую пропасть. Странное ви-

дение чуть пошевелинулось, сделало еще один шаг к нему... По телу пробежала дрожь. И тогда все таинственное, как болезненное наваждение, разом развеялось, исчезло, все стало на свои места и приняло привычные обличье и окраску. Под ногами, на деревянном настиле, валялась куча шершавых розоватых кирпичей. Мастерок, весь измазанный раствором, чудом удержался на краю кладки. Смутный, неверный мир, каким он снится порой в дурном сне, растворился, улетучился, как серебристая осенняя паутина в жаркий полдень. Жаппар застыл, опешил, все еще находясь между сном и явью, не в силах различить, где привидение, где подлинная действительность. Если это загадочное видение, окутанное колыхающимся маревом, было явью, то куда оно исчезло так мгновенно? Но если явь и есть то самое мгновение, когда все окружающее — только действительность, то откуда вдруг взялась эта дивная молодая фея в золототканых одеждах? Что ей понадобилось в недостроенном, сырой, липкой глиной измазанном минарете? Ну, конечно, никакая она не фея; просто судьбе угодно пошутить, посмеяться над бедным каменщиком, сомлевшим от нестерпимой жары и духоты...

Через редкую воздушную накидку, увитую золотыми нитями, пылливо взирали на него большие, черные, как смородина, жгучие глаза. И если бы не эти живые глаза и тонкие, насурьмленные брови над ними, можно было подумать, что игривый ветер занес на вершину минарета чью-то кисейную накидку. Таинственная хрупкая женщина, почудившаяся ему феей из древнего сказания, стояла безмолвно перед ним, облаченная в прозрачный, ослепительно белый шелк.

Жаппар, все еще борясь с наваждением, дерзко обвел ее глазами с головы до ног. Он должен был, наконец, убедиться: живая, из плоти и крови, женщина стоит перед ним или прекрасная мечта вновь поддразнивает его.

Острый взгляд мастера мгновенно заметил удивленно раскрытые, жгучие, чуть раскосые глаза. От черных искр, мерцавших в глубине зрачков, казалось, вот-вот вспыхнет легкая накидка.

Женщина, должно быть, догадалась, что мастер от растерянности не верит своим глазам. Тоненькими пальчиками подхватила она подол длинного парчового платья, даже под легкой накидкой блестящего в лучах солнца, мелко ступая, подошла к краю кладки, глянула вниз



и испуганно отшатнулась. Рукой она при этом невольно потянулась к пышному саукеле, чтобы не уронить невзначай, и на нем, посередине, над лбом, ослепительно сверкнул рубин. Она хотела что-то сказать, но то ли раздумала, то ли не знала, что следует говорить в подобных случаях, промолчала и смущенно улыбнулась.

От этой неожиданной улыбки, от легкого стыдливого румянца белое кроткое личико с большими горящими глазами вмиг ожило и стало еще прекрасней. Улыбка по-

чудилась Жаппару знакомой. Более того, и сама молодая женщина, и ее невинная, неземная красота напомнили что-то близкое, дорогое, виденное уже однажды.

Все так же чуть приподняв подол платья, женщина направилась к ступенкам, ведущим вниз. На повороте под мелькнувшим платьем он увидел на миг ее тугие икры, плотно обтянутые белыми атласными шальварами.

Крохотная, легкая фигурка под пышной, прозрачной накидкой медленно удалялась, погружалась во тьму узкого ущелья.

Жаппар все еще не мог прийти в себя. Хотя дивную женщину в белой накидке и проглотил мрак, но ее смущенная улыбка, застывшая в уголке вишневых губ, и черные блестящие глаза, смотревшие в самую душу, словно навеки остались с ним в вязком воздухе на вершине минарета. Он стоял неподвижно, боясь вспугнуть то чудное видение, что неведомой негой наполнило сердце, и еще долго глядел, растерянный, ошеломленный, на пустое пространство, окутанное хмарью. Потом нехотя потянулся рукой к мастерку.

Нет, все-таки где и когда он мог увидеть эти нежные, сочные губы и угольно-черные, блестящие глаза? Ведь неспроста эта загадочная женщина показалась ему такой знакомой. Кто она?.. Или кого она напоминает? Даже походку ее он будто знает издавна и видел много раз. Однако с кем же он сталкивается каждый день? С рабами, подносящими ему раствор и кирпич, с хозяевами дома, где уже столько времени живет. Выходит, ни о какой знакомой не может быть и речи. Выходит, и на этот раз просто показалось... Постой, постой... Может, это и была сама Зухра, хозяйская дочка, выданная замуж? Ведь и ее он впервые увидел точно так же неожиданно. Правда, он жил с ней в одном доме, видел, как она молча ходила, удивительно легко и неслышно, по двору, и лишь изредка смутно и отчего-то тревожно угадывался ее стройный, гибкий стан под просторным и длинным до пят шелковым платьем. А лицо ее всегда скрывалось под чадрой. На мужскую половину она, конечно же, никогда не заглядывала.

Однажды юный мастер пришел домой, когда купец с женой где-то задержались. Кто-то тихо напевал во дворе. Он оглянулся, подошел к навесу и увидел Зухру. Она, легко и высоко подпрыгивая, сбивала с урючины спелые плоды. Чадра соскользнула на плечи, но девочка-

подросток, увлеченная своим занятием, не обращала на это внимания. Вскоре она, должно быть, почувствовала на себе его пристальный взгляд, быстро оглянулась и обожгла его огненным взором. Он оробел. Зухра вскинула брови и смерила его долгим взглядом, не то любопытно-шаловливым, не то осуждающе-капризным. Он тогда впервые увидел открытое девичье лицо, широкий белый лоб, прямой маленький нос и пухлые, цвета спелой вишни, губы. Зухра вдруг спохватилась, вспыхнула вся и, поспешно поправляя чадру, побежала к дому. Он все глядел вслед, не в силах оторваться от трепыхавшегося на ходу платья...

С того дня, приходя домой, он невольно высматривал юную байскую дочь. Обостренный слух чутко улавливал каждый шаг девушки, молчаливо хлопотавшей возле матери, и даже едва различимый шорох ее платья. В отсутствие отца и Зухра оживлялась более обычного, старалась почаще попадаться на глаза юному постояльцу и, делая вид, что помогает вечно озабоченной матери, шмыгала взад-вперед по двору. Мельканье ее просторного платья и легкой чадры, которая, казалось, слетит с ее головы от малейшего востерка, навевало приятную, волнуемую кровь нстому, и в душе молодого мастера рождалось, зрело, крепло неведомое чувство счастья.

В какой опустошительный и горестный огонь превратилось то робкое и загадочное чувство, он понял лишь тогда, когда во дворе бая Ахмета навсегда умолк желанный шорох платьев Зухры. Только теперь он осознал, как глубоко запала ему в душу девочка-подросток под воздушной чадрой. Долго потом горело сердце от тоски и желания, долго клял себя за нерешительность и беспомощность. Со временем смирился со своей судьбой, убедил себя в том, что та мимолетная радость никогда уж к нему не вернется. Так каким же образом Зухра вдруг очутилась сегодня здесь, на головокружительной вершине минарета? Как отпустил ее сюда ревнивец-муж с мрачными, кустистыми бровями? И как случилось так, что, видя ее перед собой, любясь ее красотой, он вновь не промолвил ни единого словечка? Она, возможно, простила ему ту первую его растерянность, но сегодняшнюю его беспомощность, молчание она, конечно же, не простит. В ее представлении он теперь — живой труп, без огня в груди, без гордости и чести. Искреннее сочувствие, до сегодняшнего дня не угасавшее в ее сердце, от-

ныне наверняка превратится в холодную неприязнь.

Он глянул вниз. У минарета стояли четыре крытые повозки. Женщина в белой накидке, казавшаяся отсюда, с вышины, пушинкой над пепельной, выжженной землей, стремительно направилась к одной из них. За ней тянулась пышная свита. Несколько слуг бросилось вперед, распахнуло перед маленькой женщиной дверцу повозки, обтянутой золотистым атласом. Две женщины в желтых накидках, поддерживая таинственную гостью под руки, помогли ей подняться по навесным ступенькам. При входе в повозку от резкого движения белая накидка на мгновение взметнулась и тут же, словно ревниво оберегая ту, что находилась под ней, от чужого, худого глаза, вновь опустилась. Поджарые, горячие кони, беспокойно перебиравшие ногами, рванули с места. Голубая шелковая занавеска на окошке трепыхалась, билась, играя со встречным ветром.

Молодой мастер зачарованно глядел вслед быстро удалявшимся повозкам. Сизый шлейф пыли, долго не оседая, волочился позади. Нарядный кортеж вскоре исчез за высокой оградой вокруг густого сада, в котором находился дворец Младшей Ханши. Только теперь Жапару стало ясно, что за гостью удостоила его своим вниманием.

Все вокруг вдруг лишилось привычных очертаний. Из степи медленно наплывали вечерние сумерки, окутывая окрестности серой дымкой. Безразличный и вялый спустился молодой мастер с минарета. Как всегда, помылся. Рабов давно уже угнали в крепость. Возле минарета стояла одинокая серая повозка, в которой его возили на работу и домой. Еще утром, выйдя из повозки, он по привычке бросил взгляд на голые, корявые, еще не облицованные стены минарета и поморщился как от боли: на фоне голубого чистого неба его творение казалось грубым, несуразным и даже уродливым. Со смешанным чувством удивления, досады и откровенного отчуждения смотрел он на каменную, никому не нужную громаду, тупо устремившуюся ввысь. Впервые сегодня он так явно увидел и осознал всю ее претенциозную никчемность. Видно, одно лишь желание руководило им — скорее бы подняться над лабиринтом глиняных дувалов, чтобы увидеть простор степей. И ради этой одной-единственной цели он клал кирпич на кирпич, ряд за рядом, и уже вполне довольствовался этим. И ночью, во сне, не-

отступно преследовало его вчерашнее видение: белая, невесомая, как мираж в знойный месяц, накидка и голубая шелковая занавеска, которую трепал на окошке повозки игривый встречный ветер. И этот легкий, трепетный мир, овеянный свежим осенним дуновением, прозрачным утренним воздухом и чистым, бездонным небом, казалось, грубо разрушала совершенно неуместная здесь каменная махина. И от этого несоответствия, внутренне-го несогласия душа молодого мастера омрачилась, опустела.

Он, как всегда, вел кладку и после каждого кирпича растерянно поглядывал в сторону сада за высокой каменной оградой. Все чудилось ему, что из какого-нибудь окна, укрывшегося в тенистом саду дворца, смотрит на него юная ханша. И каждый раз, конечно, видя это каменное чудовище, воздвигнутое им, она испытывает боль и унижение. Уродство, должно быть, убивает хрупкую, нежную, как ее накидка-кисея, мечту.

У Жаппара опускались руки. Он швырнул к ногам красный плотный кирпич.

Прозрачный, синью пронизанный воздух застыл, как гладь степного озера после бури.

Он был раздавлен. Он не знал, как дальше быть, что делать... Его волнения, старания, многомесячные труды неожиданно потеряли всякий смысл. Он понимал, что должен, как все эти долгие дни, продолжать кладку кирпич за кирпичом, ряд за рядом, но руки не слушались, это было уже выше его сил. Была у него цель, преследовавшая неотступно, — вырваться из тисков невзрачных глиняных дувалов и увидеть бескрайний голубой горизонт, словно выплеснувшийся из чаши вселенной. Это желание осуществилось. Увидел он, наконец, и долгожданный горизонт, точно через окошко глянул на беспредельный божий мир, только радость от этого оказалась недолгой и непрочной: желанная цель изо дня в день неумолимо удалялась, уплывала. Еще недавно этот минарет, дерзко устремившийся ввысь, казался ему могучей рукой доброго и всемогущего великана, освободившего его из затхлого, душного мирка городской окраины и поднявшего на спасительную высоту; однако теперь минарет будто держал его на привязи, не позволял свободно парить в поднебесье, сковывал порывы и потому походил на темницу-зندان, построенную только не под землей, а над ней. Словом, мастер чувствовал себя пленником, невольником, который не в

силах и на землю опуститься, и в небо взмыть... Будто завис между небом и землей. Это, может быть, не менее мучительно, чем, скажем, заживо гнить в темнице. Там ты тоже связан по рукам и ногам, однако избавлен от любопытных глаз. А тут ни один не проходит, не взглянув на тебя. И каждый при этом волен судить о тебе как ему заблагорассудится. А что может быть неприятнее чужого глаза и страшнее людской молвы? Нет такого человека, который не терялся бы под пронзительным осуждающим взглядом, способным копьем вонзиться в грудь или стрелой в затылок. И, вероятно, нет большей муки, чем знать, что именно на тебя глазают издалика и именно о тебе ведут досужие разговоры, но не знать, не догадываться, почему глазают и что говорят. Все это так, и тем не менее большинство человеческого рода отчаянно рвется к славе. Едва ли не в каждом сидит соблазн быть на виду толпы; для многих бесславная жизнь подобна затворничеству в темнице. А между тем, если честно признаться, большая слава и постоянная жизнь на виду — и есть подлинный ад. В темнице тебя угнетают и холод, и сырость, и бессилие, и безмолвие, и мрак — все это верно, но даже у такой жизни есть своя очевидная определенность. Но в чем прелесть и смысл мнимой свободы, если ты постоянно будто голым ходишь посреди белого дня по улице, ежась под бесцеремонными взглядами встречных-поперечных и гадая, почему один усмехнулся, другой выпучил глаза, а третий показал тебе вслед язык. И все-таки все желают известности, каждый норовит показать себя. Вот эта человеческая слабость — неусменная жажда славы — обречла его на муки одиночества и загнала на вершину минарета, где он торчит на забаву сучающему глазу и праздному языку, словно овечий катышек на камышинке... Теперь ему стало совершенно ясно, что и больного отца, который, вместо того чтобы благоразумно сидеть в своем крохотном кишлаке, делать кувшины и худо-бедно доживать у родного очага свой век, пустился в далекий и опасный путь, в чужой, неведомый город, гнала, лишив покоя, опять-таки эта сама пагубная страсть — желание добиться признания и славы. Теперь вот и он, Жаппар, оседлал строптивую лошадку удачи, именуемую еще зачастую мечтой; многие безумцы хватали ее за шелковую гриву и даже до поры до времени, случалось, скакали на ней, пьянея от счастья, но потом почти всегда оказывались на земле, у ее ног.

И сегодня, ясным утром, когда солнце еще не раскалилось и воздух не лишился прозрачной синевы, стоял он — уже в который раз! — на вершине, у края кладки, и потерянно озирался вокруг, не испытывая привычного нетерпеливого желания продолжить работу.

Все тот же город простирался внизу. Неказистые глиняные домики стояли там-сям, вразброс, похожие на обмусоленные мальчишкой кусочки сушеного творога на убогом дастархане. Небосвод был чист, без единого облачка, но непроницаем и равнодушен ко всему на свете. Взгляд Жаппара долго блуждал в пространстве между небом и землей и, не найдя зацепки, вновь устремился в сторону сада Младшей Ханши.

Дворцовая площадь, укрытая сверху пышной листвой, сегодня — совершенно неожиданно! — открылась перед ним как на ладони! Оказывается, стремясь скорее увидеть манящую полосу горизонта, он совсем не обратил внимания на то, что находилось поблизости. Между тем дворец Младшей Ханши, ревниво оберегаемый от постороннего глаза, днем и ночью охраняемый вооруженными сарбазами, доступный лишь вольным птицам, прекрасно просматривался с высоты минарета. Ошеломленный этим открытием, он пригляделся пристальней и отчетливо увидел и блессы тропинки в саду, и круглые, как наперсток, зеленые лужайки, и зеркально-гладкие голубые запруды-бассейны.

Нетерпеливая дрожь проснулась в нем. Руки сами потянулись к кирпичам, сваленным у ног. Ему хотелось скорее поднять кладку еще выше. Поднять на такую высоту, чтобы взору его были доступны все уголки таинственного дворца. И тогда... тогда он, безымянный молодой мастер, станет во всей вселенной единственным человеком, которому с высоты птичьего полета позволено любоваться вдосталь дворцом, куда грозный и всемогущий Повелитель запрятал прелестную юную ханшу. Даже сам всеильный владыка, покоривший немало стран из трех сторон света, не может обозревать укромный сад своей жены так, как это доступно молодому зодчему.

Куча кирпичей у его ног таяла на глазах. Мастер Жаппар в тот день даже не заметил, как стемнело.

Наутро, взяв в руку мастерок, он первым делом посмотрел в сторону сада ханши. Конечно же, подумал он, не исключено, что и юная ханша, сидя у одного из бесчисленных окошек, с любопытством наблюдает за ним.

Теперь у него появилась ясная цель: он должен закончить минарет, чтобы он нависал над головой в любом — даже самом укромном! — уголке ханского сада.

Ранее, бывало, выложив ряд, он позволял себе передышку и предавался раздумьям. Теперь же работал споро, без пауз. Если будет так работать и дальше, то через неделю минарет достигнет желанной высоты. Потом — главное: его необходимо отделать, украсить так, чтобы он удивлял и восхищал взор каждого. Нужно оживить эту несуразную каменную громаду, вырвать ее из безмолвия, придать легкость, изящество, блеск, найти особый цвет, оттенок, отражающий извечную гармонию неба и земли. Для этого сначала нужно найти форму, удачно завершающую вершину минарета. Если закончить минарет на одном уровне, ровно, то это придаст ему незавершенный вид, и тогда башня при любой высоте все равно будет смахивать на обрубок. Заузнить вершину, сделать ее острой, как копьё, — вряд ли целесообразно. Получится, будто минарет впиывается своей вершиной в грудь неба. Видно, минарет следует завершить в форме купола, голубого, как небо, чтобы не оттенять завершающую грань, а придать линиям мягкость, незаметно сливающуюся с небесной ширью. Тогда минарет обретет некую таинственность, загадочный облик, и не сразу будет понятно, то ли он устремился с земли в небо, то ли с неба стремительно летит к земле. А это как раз то, что ему, мастеру, надобно. Он вовсе не желает, чтобы его минарет своей мощью и величием внушал ужас и страх или, наоборот, казался красивой и невинной игрушкой, которую каждому хочется мимоходом прихватить. Важно, чтобы его красота вызывала не просто восторг и удивление, не только радовала взор, но и поражала своей таинственностью, тревожила многозначительностью и загадочностью. Перед глазами мастера вновь мелькнула шелковая занавеска на окошке золотистой повозки. Встречный ветер словно заигрывал с ней...

Счастливая мысль точно пронзила Жаппара. Он нашел наконец то, что так долго искал. Ну, конечно, он должен придать башне такую же легкость и игривость. Она будет являться перед взором неожиданно и поражать сознание, покажется белой, гладкой рукой истомленной любовью красавицы, рукой, протянутой к одному из ангелов, незримо обитающих на необъятном голубом небе. Пусть даже Повелитель, возвращающийся утом-

ленным из далекого и опасного похода, увидит в ней руку, радостно приветствующую его.

«Нужно о синильной краске позаботиться,— подумал молодой мастер.— Надо собрать дермене¹, запастись пеплом от перекасти-поля...»

И тут его охватило нетерпеливое желание скорее закончить кладку стен и приступить к осуществлению мечты, так неожиданно вспыхнувшей в его душе. Он сейчас больше всего на свете боялся лишиться того дива, так отчетливо представшего перед ним в этой прозрачной сини утреннего воздуха. От одного этого подозрения ему стало не по себе; казалось, злая рука искусителя Азеила одним движением сотрет прекрасное видение. Уже охваченный страхом, он широко открытыми глазами посмотрел вдаль: необъятный лазурный простор зыбился перед ним.

Внизу лежал все тот же ханский сад. На открытой площади степенно прогуливались молодые женщины, словно разморенные негой лебеди плыли по озеру. Жаппар не заметил, откуда и когда они здесь появились. Вскоре стайка разнаряженных красавиц потянулась к зеркальному пруду на краю зеленой лужайки. С двух сторон пруда высились две подставки, похожие на башенки. Белая сетчатая занавеска была протянута между ними. На берегу пруда — то здесь, то там — кучками лежали красные яблоки.

Женщины подошли к пруду и начали раздеваться. На зеленую травку белыми островками легли пышные парчовые платья. Из-под белоснежного белья враз вынырнули, купаясь в розоватых лучах утреннего солнца, статные, как на подбор, молодые нагие женщины. Уже в следующее мгновение, ликующе взвизгнув, они попрыгали с бережка в лазурный пруд. Взбурлилась, заискрилась водная гладь, точно иссеченная градом коралловых бус. Замелькали над водой белые руки, вздымая тучи брызг. Порезвившись, несколько купальщиц выбежали на берег и принялись швырять в пруд темно-красные наливные яблоки. Остальные с хохотом ловили их, высоко выпрыгивая из воды. Забава разгоралась; женщины, барахтаясь в пруду, затеяли шумную возню, отталкивали друг дружку, стараясь поймать яблоко. Вместе с женщинами расшались и волны; белогривый гребень волн, накатываясь, жадно целовал тугие острые груди, на мгновение

¹ Цитварная полынь.

мелькавшие над вспененной водой. Черные блестящие волосы купальщиц рассыпались по смуглым гладким плечам, шее и грудям, словно оберегая их от настойчивых ласк. Сонный пруд в ханском саду заколыхался, взыграл волнами, будто в него разом пустили тысячу серебристых езанов, и выплескивался на берег. Юные купальщицы, одна другой краше, подзадоривая друг дружку, выпрыгивали высоко, резвились, будто упругие белые волны. Веселая зыбь обычно тихого ханского пруда взволновала сердце молодого мастера.

Наконец купальщицы уgomонились; успокоился и пруд, вновь засверкал зеркальной гладью. Сорок красавиц уселись вокруг пруда, опустив ноги в воду, стали на солнышке греться-загорать, друг дружке волосы расчесывать, косы заплетать. Потом опять все разом вскочили, направились к лужайке, где белела их одежда. Истомленные, разморенные, чуть порозовевшие от солнца, красавицы степенно пошли ко дворцу.

Едва они скрылись за купами кустов перед дворцом, из разных уголков сада выбежали десять мужчин и начали длинными сачками вылавливать яблоки в пруду.

Работа опять застопорилась. Жаппару казалось, что стоит только на одну пядь поднять кладку, и ему уже никогда не увидеть подобной красоты. Все эти долгие месяцы башня неуклонно рвалась ввысь, а теперь она будто достигла желанной вершины, ни на вершок не хотела подниматься.

Отныне каждый раз, когда юная ханша и ее свита купались в пруду, мастер не спускал с них глаз, надеясь, что они посмотрят в его сторону. Однако ни одна из сорока прелестных купальщиц, резвящихся в воде и загорающих на бережку, ни разу не глянула на возвышавшийся неподалеку минарет. С обидой и надеждой следил он за ними и тогда, когда они одевались и лениво-разморенной походкой удалялись во дворец. Купальщицы точно сговорились: никто не оборачивался, не удостаивал ни его, ни башню взглядом.

Когда сорок красавиц, медленно ступая, скрывались за купами кустов, ханский сад мгновенно пустел и терял нарядность и привлекательность. Тускнел и зеркальный пруд, словно посыпанный пеплом. Гасли живые краски многоцветных, ярких, как иранский ковер, клумб.

Пусто и грустно становилось и на душе молодого мастера. Опечаленными, как у верблюжонка-спироты, гла-

замн подолгу смотрел он на еле заметную, извивавшуюся внизу белесую тропинку, по которой только что прошла со своей свитой юная ханша. Но тропинка, ревниво скрывающая даже след ханши, загадочно молчит и будто ухмыляется ему в лицо. Мысленный взор молодого мастера одиноко плутает по песчаной тропинке, ныряющей в купы зарослей перед дворцом, тоскует по сорока красавицам, но не решается преследовать их дальше, растерянно бродит возле зеленых кустов и возвращается назад ни с чем.

И эти душевные муки продолжаются изо дня в день. Жаппар с опаской поглядывает на солнце, желая, чтобы оно не спешило, не заходило, надеясь, что ханша со своей свитой выйдет на прогулку. Однако после утреннего купания ханша уже не показывается в саду. Извелся джигит от тоски и уныния. Горячий, строптивый скакун, понесший было его к яркой мечте, вдруг вновь обернулся рабочей клячей, понуро бредущей по извилистым тропинкам повседневной жизни. Только теперь Жаппар осознал, что ему, невольнику и бедняку, с малых лет копающемуся в глине, даже думать о ханше и грезами будоражить свою душу — уже кощунство и непростительный грех. И он, пугаясь самого себя, озирался по сторонам: не догадался ли кто о его смятении и предосудительном смутном желании? Однако кому какое дело до одинокого мечтателя, томящегося на вершине минарета под самым небосводом! Ведь по существу он все равно что отбившийся от стаи взъерошенный воробей на ветке чинары. Никто его и всерьез не принимает. Не потому ли ханша и ее свита, ничуть не стесняясь, догола раздеваются на его глазах и, вдоволь накупавшись, возвращаются во дворец, даже не взглянув в сторону минарета?..

Значит, для того, чтобы обратить на себя взор гордой ханши, он должен придать своему минарету такое величие, какого обитатели стран Двуречья и не видавали. Если бы только удалось воплотить свой замысел — построить минарет таким, каким он почудился ему однажды в счастливый миг, — тогда и ханша поневоле zalюбовалась бы им. Разве устоит она, если сорок красавиц из ее свиты начнут, поцокивая от восторга языками, расхваливать на разные лады его творение?! Нет, наверняка будет сгорать от любопытства, и тогда — кто знает! — может, восхитится и величественным минаретом, и построившим его молодым зодчим.

Сердце вновь забилося пылко, нетерпеливо. Мастер твердо решил отделать свой минарет так, чтобы им не могли не восторгаться ханша и ее свита. Он заставит их смотреть на себя и говорить о себе!

По его велению неподалеку от минарета построили десяток глиняных печей-тандыров, каждая величиной с шестикрылую юрту. В них стопили целые горы цитварной полыни и красильного корня, из золы которых потом готовили лазурь. Несколько мастеров обжигали мозаичные плиты, шлифовали их, красили в небесно-синий цвет, переливающийся в лучах солнца. Уже через месяц десять мозаистов, поддерживаемые канатами, приступили к облицовке минарета. Сам зодчий, не находя себе места, бегал вокруг своего творения, постепенно облачавшегося в голубой наряд. Иногда он уходил далеко, на расстояние кочевья, и оттуда отрешенно взирал часами на преобразующийся минарет. Издалека он казался тонким шестом, смутно виднеющимся на дрожащем бледно-синем фоне. Окутанный маревом минарет словно подавал таинственные знаки и силился что-то сказать.

Долго смотрел Жаппар на безмолвного своего первенца, пытаясь понять, угадать, что же ему хочется высказать. И сидя в повозке, не отрывал от минарета взгляд. И стоя на земле, все что-то высматривал. Часто, приставив ладонь ко лбу, пристально следил за солнцем, которое со сдержанной улыбкой плыло по ясному небу-своду. Случалось, задумывался, замирал в тихой безлюдной степи, прислушивался к чему-то, всматривался в небо, будто оттуда ожидая сокровенного знамения.

Потом, вдруг спохватившись, садился вновь в повозку и мчался в другую сторону. И здесь он опять застывал в полной отрешенности, точно замороженный чьей-то могущественной волей, и молча зывал к таинственному духу, растворенному в прозрачном воздухе и видимому только ему, одному зиждителю. Иногда лицо его искажала презрительная гримаса, будто что-то недостойное, низменное оскорбляло выношенное в душе прекрасное видение, он качал головой, отплевывался, а то и вовсе закрывал лицо руками и садился на корточки. Должно быть, на него находило черное отчаяние, и ему уже ничего не хотелось видеть вокруг себя. Скулы резко обозначились, желваки бугрились на исхудалом лице, он молчал и скрипел зубами, словно изгонял из себя джина сомнения и неверия и старался забыть мелочную суету.

губившую вдохновение. Причудливые пестрые тени и видения, мельтешившие перед глазами, постепенно уплывали, растворялись в густеющем мраке, а вместе с ними куда-то исчезало и то, что приводило его в смятение, и он, понемногу успокаиваясь, осторожно открывал глаза, смотрел на голубевший вдали минарет и вдруг вскакивал, как безумный, вспыхивал от неожиданной радости, открыв что-то неведомое и очень важное для себя, что страшно было расплескать, потерять.

Повозка мчала его к минарету. Домчавшись, он как одержимый поднимался по лестницам к мастерам-мозаистам, облепившим крутые стены башни, что-то долго и горячо им втолковывал, от нетерпения размахивал руками, потом спускался вниз, внимательно разглядывал мозаичные плиты и, прихватив охапку, спешил к тандырам — печам для обжига.

За эти месяцы он изнурил себя до неузнаваемости. Лицо обрело пепельный цвет. Кожа, казалось, приросла к костям. Одни глаза лихорадочно поблескивали, смотрели строго и пытливо, все время что-то беспокойно выискивали.

Еще недавно громоздкий и неуклюжий минарет, бездушной машиной возвышавшийся над землей, теперь неузнаваемо преображался на глазах. Все чаще оглядывались и засматривались на него прохожие, убеждаясь, что новый минарет совершенно непохож на другие минареты в городе, однако никто не мог точно определить — чем. Поражали цвета, причудливые переливы оттенков, бесконечно меняющихся в зависимости от местоположения солнца. Все это казалось таинственным, непостижимым.

Отделку купола Жаппар завершил сам.

Прошла еще одна зима, куца, как всегда в этих краях, и без холодов. Наступила ранняя, но теплая весна, когда даже ночью не застывает жир. Деревья в ханском саду распустили почки, потом дружно зацвели, окутались сиреневой дымкой, воздух стал густым, вязким, и в нем запорхали бесчисленные синие, белые, оранжевые бабочки — лепестки цветов.

Приближалась пора, когда юная ханша в сопровождении пышной свиты совершает по саду утренние прогулки. Те дни Жаппар ждал с нетерпением. Вскоре наступили и они. Однажды из-за куп густо-зеленых деревьев перед дворцовой площадью показалась группа

молодых женщин в воздушных белых платьях. Они сделали несколько шажков и остановились. Потом спохватились и торопливо, вразброд направились к зеркальному пруду на краю лужайки. Чем-то взбудораженные, они не разделись и не прыгнули в воду, как прежде, а, уже не скрывая изумления, с открытыми ртами уставились на минарет. То-то же, гордые красотки!.. Заметили наконец! Ну, ну, смотрите, любуйтесь, восторгайтесь! Жаппар злорадно и самодовольно усмехнулся. То ли от удовлетворенной мести, то ли от долгожданной радости, распиравшей грудь, на мгновение серый туман застил глаза.

Голубой минарет был близок к завершению. Только со стороны дворца зиял еще зазор под куполом. Отсюда Жаппар незаметно наблюдал за ханским садом.

Он не спешил заделывать зазор. Жалко было расставаться с дивным видением, которым судьба одаривала его ежедневно. Стоило заложить кирпичами небольшую щель под куполом, и сорок красавиц, похожих на гурий в саду эдема, исчезнут для него навсегда.

На зеленой лужайке возле пруда чинно прогуливались сорок изнеженных, истомленных красавиц. В середине, выделяясь белоснежным саукеле, увитым жемчужными нитями, плыла прелестная ханша. И когда она со своей свитой, сбившейся в тесный круг на берегу пруда, долго и восторженно смотрела на минарет, молодой мастер чувствовал себя самым создателем, всевышним творцом, из райского сада благоговейно взирающим на дело рук своих. Каменный минарет, не однажды омрачавший душу и разбивавший его мечту, теперь вновь обернулся крылом счастья, взметнувшим его в недостижимую высь. Но когда он вспоминал о том, что счастье это мимолетно, обманчиво, что через несколько дней оно его покинет навсегда, молодой мастер становился сам не свой, душа его ныла, обливалась кровью, будто ее рвали зубами собаки.

И тогда он принял отчаянное решение. Он не спустится с минарета и не заделает зазор под куполом, пока не придет палач с секирой в руке и не уведет силком его отсюда.

Вскоре на вершину минарета поднялся сам главный мастер. Должно быть, он догадывался о том, что творилось в душе Жаппара. Главный мастер принес весть: Повелитель возвращается из великого похода. К его приезду следует закончить минарет и дочиستا убрать во-

круг весь строительный хлам. По словам путников, новый минарет хорошо просматривается уже у границы Великих Песков. Вернется Повелитель, проведет великий пир в честь очередной победы, одарит драгоценностями своих бесстрашных бахадуров-воинов, а вместе с ними — наверняка и зиждителя храма-минарета, и тогда слава о нем облетит весь подлунный мир.

Жаппар молчал, понуро опустив голову, будто и не слышал, о чем говорил главный мастер. Заметив, что говорит впустую, главный мастер умолк, пытливо оглядел молодого напарника, точно ощупал его опытным, пронизательным взглядом, и сразу сообразил, что тот находится во власти страстного, всепоглощающего чувства. Он покосился туда, куда устремился застывший, отсутствующий взгляд молодого зодчего, и увидел там, далеко внизу, на зеленой лужайке ханского сада, юную ханшу со своей свитой, которые с любопытством разглядывали минарет.

Главный мастер ушел, не проронив ни слова.

Весть о скором возвращении Повелителя мгновенно облетела весь город. И обитатели махалля, где жил Жаппар, и строители, помогавшие заканчивать минарет, с утра до вечера только об этом и говорили. И лишь одному Жаппару, казалось, не было дела до этой новости.

Между тем горожане каждое утро, поднявшись с постели, первым делом смотрели на новый минарет и всякий раз видели все еще не заделанный зазор под куполом. Однако ни один из смертных, не желающих видеть холодный блеск секиры в руках палача ни наяву, ни даже в страшном сне, не говорил о том ни единого слова, смутно догадываясь о тайне зазора, но строго держа ее за зубами. И опять-таки лишь сам зодчий ничего не чувствовал, не слышал. Даже ханша, наверняка не знавшая, о чем думают горожане, была встревожена дерзостью молодого мастера.

В тот день, когда к Повелителю отправили нарочно, утром из ханского сада выехали две повозки и понеслись в сторону минарета. Жаппар, стоявший на вершине башни, все видел. Через некоторое время издалика, будто из-под земли, слышались глухие шаги, эхом отзывавшиеся внутри полого минарета. Кто-то поднимался по узкой винтовой лестнице. Молодой зодчий насторожился, прислушался: звуки шагов сливались со стуком его сердца. Он метнул взгляд в сторону ханского двор-

ца: на зеленой лужайке не было ни души. В безмолвии застыли и купы деревьев; густая тень покорно лежала у их ног. Казалось, весь мир, затаив дыхание, вместе с ним, Жаппаром, прислушивался к четкому, глухому стуку, приближавшемуся, как неотвратимый рок, откуда-то снизу, из мрачной глубины минарета.

Зябкая дрожь пробежала по спине Жаппара. Неведомое чувство — не то страх, не то ужас, не то покорность и смирение перед неминуемым — охватило его. Должно быть, так чувствует себя человек в предсмертный час, слыша, как приближается к нему, грохоча железным скипетром, ангел смерти. Молодой зодчий не шелохнулся, держался стойко и спокойно прислушивался к грозным шагам, готовый, если это нужно, принять смерть.

Он, не отрываясь, глядел себе под ноги, где зиял мрачный бездонный колодец. Все громче становился звук шагов. Жаппар весь напрягся, мышцы будто окаменели, жилы натянулись, напружинились. Вот, вот, сейчас... сейчас сверкнет что-то во мраке... Ну, конечно, секира палача. Ведь кто осмелится встретить грозного Повелителя так, как он, не достроив башню, оставив, как вызов, зияющий зазор под куполом?! Какой владыка потерпит такую дерзость? Сейчас услужливый палач одним махом отсечет голову строптивцу и прикажет немедленно заделать зазор главному мастеру.

Как завороченный, смотрел Жаппар в зловещую черную пасть под ногами. Звуки, доходившие снизу, становились резче, жестче и словно сверлили темя. «Терпи,— уговаривал себя Жаппар,— все вытерпи!» Мысли путались, и сейчас у него не было другой опоры, другого утешения, кроме этих слов. В горле пересохло; в глотку точно загнали кляп; он задыхался; сознание помутилось. «Ну, и пусть... пусть,— обреченно подумалось.— Так даже лучше. Сейчас, увидев секиру палача, даже не вскрикну. В одно мгновение душа покинет тело. И никто этого не увидит, не услышит. Пусть... хорошо!»

Шаги уже были рядом. Он с усилием повернул онемевшую шею, глянул в сторону ханского сада. «Хоть бы увидеть ее в последний раз... увидеть, перед тем, как ее палач снесет мне голову...» На зеленой лужайке по-прежнему ни живой души... А солнце стоит уже в зените... И зеркальный пруд застыл в безмолвии... Значит, и на прогулку сегодня не выйдет, и купаться не станет... Но почему не слышен зловещий стук шагов?..

Холодный свет блеснул перед глазами. Нет, то был не блеск отточенной секиры в руках палача. Тут же он уловил легкий шорох, что-то белое промелькнуло рядом и укрыло тусклый блеск жемчужины на руке.

«Ах, она сама пришла... Да, да, она... сама!» Прямо перед ним, точно такая же, как тогда, в первый раз, стояла юная ханша. То же белоснежное парчовое платье, та же прозрачная невесомая сетчатая белая накидка... Она не поднялась на последние ступеньки лестницы, будто опасалась, что там, на вершине, ее может сдуть восток. Большие, влажные, как у верблюжонка, глаза смущенно улыбались... Пухлые и красные, как две вишенки, губы чуть вздрагивали... С него будто разом свалился тяжелый железный обруч, сковывавший его с раннего утра. Он, обезумев, бросился к ней.

Пылкость молодого мастера испугала женщину; она отшатнулась, отступила еще на две ступеньки.

Только теперь он опомнился и, устыдившись своего порыва, застыл на месте.

Она глядела на него доверительно и нежно. Юная прелестная женщина, почти еще девочка с большими невинными глазами. Что-то неуволимо трогательное было в ее взгляде, не то испуг, не то смущение, не то какая-то затаенная боль, которую невозможно было выразить никакими словами. Точно так же, с неясной тревогой и надеждой, бывало, взглядывала на него и Зухра. Да, да, совершенно такой же взгляд — взгляд-обещание, взгляд-тревога, взгляд-нежность... Только у Зухры не пылал над лбом крупный рубиновый камень и не белела так ослепительно драгоценная накидка. И если сейчас... сейчас же, в этот миг, он не скажет ей свои сокровенные слова, то и она, как когда-то Зухра, исчезнет для него навсегда. И тогда он всю свою жизнь промается, как неприкаянный, с болью, тоской и досадой в сердце....

Жаппар осторожно откашлялся, пытаясь что-то сказать, но голоса не было. Ханша с затаенной печалью глядела на него. Он протянул к ней руки, она не отстранилась, не противилась. Он сам не заметил, как осторожно притянул ее к себе, как она, мягкая, хрупкая, легкая, покорно прильнула к нему, вся исчезая в жарких объятиях. Он вдруг со сладкой болью почувствовал, что это и есть единственное мгновение счастья, отпущенное скрагой-судьбой, что уж больше никогда оно не повторится и не вернется. Он сильнее прижал к себе маленькую, по-

датливую фигурку ханши, прильнул сухими, жесткими губами к ее пухлым, сочным, как спелая вишня, губам, чувствуя, что млеет, тает от восторга и счастья...

Минарет был закончен в обещанный срок. Он возвышался спокойно и горделиво, сияя и купаясь в лучах солнца, ждал возвращения грозного Повелителя, чтобы приветствовать его издалека, еще за несколько перевалов до столичного города.

Потом Жаппар узнал, что Повелитель соизволил лично осмотреть новый минарет, что он долго и в задумчивости стоял возле него, любовался им и уехал приятно пораженный и довольный. Однако проходили дни, а из ханского дворца не было никаких вестей.

И однажды, когда в знойный полдень прискакал за ним нарочный, чтобы немедленно доставить его в ханский дворец, Жаппар сразу понял, что там его ждут отнюдь не почести и подарки. И когда угрюмый серолицый старик, одиноко восседавший, нахохлившись, как стервятник, у мраморного хауза в середине сумрачного и прохладного дворца, впился в него колючими, пронизывающими насквозь и все видящими глазами, молодой зодчий не смог ничего утаить...

● ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛЮБОВЬ

За последние три месяца Младшая Ханша заметно исхудала. От бесконечного томления у окна, сквозь разноцветную мозаику которого сочился мертвенно-пестрый свет, личико ее осунулось, побледнело. Нежная, упругая шея, еще недавно соблазнительно гибкая, теперь увяла, истончилась. Заострились и скулы, а под глазами даже сквозь густые белила проступали темные тени, такие же, как стойкий сумрак в ее одинокой опочивальне...

Ханша с досадой отвернулась от круглого зеркала, которое, точно злорадствующая соперница, подчеркивало каждый ее изъян.

Ни звука, ни шороха, кроме бесконечного монотонного шепота фонтанчика в круглом хаузе посредине огромного пустующего зала. Днем и ночью, ночью и днем бормочет, нашептывает он свое нескончаемое буль-буль-буль.

Иногда на нее накатывалось слепое отчаяние, и она подбегала к хаузу, готовая сокрушить его в безумии, но при виде покорной, в бездушный мрамор зажатой прозрачной струйки ярость мгновенно гасла, как свеча на сквозняке, уступая место печали и беспросветной тоске.

Ханша бессильно опускалась на мраморное возвышение, покрытое толстым, пышным ковром. Так она сидела долго, потерянная, раздавленная...

Стоило чуть удалиться от хауза, как невинно капавшие чистые слезы фонтанчика вновь сливались в таинственный шепот, который, точно искустель, приводил в смятение ее измученную душу. Случалось, ханша засыпала прямо на ковре возле хауза. Она боялась отходить даже на шаг от мраморного возвышения. Всюду ей мерещился злорадный шепот.

Тихий лепет прозрачной воды, вскипавшей где-то в глубине, но с покорной вялостью сочившейся из узкого отверстия, казалось, перекликался со скользким, неуловимым шушуканьем старухи-привратницы, рабов-евнухов и придворных девушек за огромной дубовой дверью, обитой золотом. Более того, ханше чудилось, что и бесчисленные листья на деревьях в саду шелестели, перешептывались, рассказывая друг другу что-то нехорошее о ней.

Порой ханша отправлялась на прогулку, выбирая дальние, одинокие тропинки в ханском саду, и, случалось, из-за деревьев с любопытством взирали на нее косули и пятнистые олени, и в их влажных, круглых глазах будто стояло немое удивление: «Ах, это и есть та самая молодая ханша, о которой нынче сплетничают все?!» В последнее время она уже не выходила из своих покоев.

А властелин упорно не давал о себе знать. Каждое утро она со смутной надеждой заглядывала в глаза служанок, приходивших ее одевать, но они подозрительно отмалчивались. С какой-то необъяснимой робостью заходили они к ней и так же смущенно удалялись, пряча глаза, словно боялись, что ханша подслушала невзначай их тайный разговор в прихожей.

А совсем еще недавно, когда она только переступила

порог ханского дворца, они все души в ней не чаяли и радостно увивались вокруг. Даже угрюмая старуха служанка с бычьим загривком при ней становилась необычайно приветливой и доброй. Бывало, в канун многолюдных ханских торжеств старуха хлопотала изо всех сил, стараясь, чтобы ее ханша по пышности и великолепию нарядов, свиты и церемоний перешеголяла ненавистную Старшую Ханшу. И когда в Большом дворце, во время высоких приемов, две враждующие старшие служанки с нескрываемым высокомерием и злорадством косились друг на дружку, юная ханша еле сдерживала смех...

Да-а... сумрачная старуха любила и лелеяла ее, как родную дочь.

Сердечно привязаны были к ней и другие служанки и девушки из свиты. Почти все они были старше ее. И, должно быть, потому ее не столько почитали, как жену Повелителя, а больше обихаживали, как младшую сестрицу. Никто, казалось, не завидовал ей, а все только радовались, будто их единокровная младшая сестренка вышла замуж за всемогущего хана. И не было для них большего удовольствия, чем одевать ее, втирать в ее гладкую кожу благовония. Поднимаясь на рассвете, они ходили на цыпочках, толпились у двери, с нетерпением ожидая, когда она проснется.

Едва она открывала глаза, как в опочивальню к ней врывалась стайка разнаряженных девиц и начинала весело порхать вокруг, точно пестрокрылые бабочки. Юная ханша смущалась под их бесцеремонными взглядами, зарывалась в подушку, укутывалась в одеяло, но множество рук тянулось к ней, подчиняя своей воле. И когда ее нежного, горячего спросонья тела касались мягкие ладони служанок, она вся замирала от истомы.

Как-то раз после вечерней трапезы старуха служанка разогнала всю свиту и осталась с юной ханшей наедине. У старухи странно блестели глаза. Тонкие лиловые губы под вислым, крючковатым носом беспрестанно шевелились, змеились, шлепали, шелестели. Ханша, ничего не понимая, со смутным страхом глядела на старую служанку. А та, казалось, нашептывала таинственную молитву, намекала на что-то неведомое, постыдное и при этом точно буравила ханшу бесцветно-проницательными глазами. Вечерние сумерки вокруг быстро сгущались, скользили, а вместе с ними будто кружилась и сама опочивальня.

Вскоре старуха, как заведенная отвешивая поклоны, попятилась к выходу. И когда она вышла, опочивальню накрыл плотный таинственный сумрак. Казалось, свет от бесчисленных свечей вдоль стен разом весь скопился на высоченном потолке. Зябкий мрак, все теснее обступая обмиравшую ханшу, усугублял загадочность старушечьих речей. Она почувствовала вдруг слабость, головокружение, непонятная тошнота подкатывала к горлу, и ханша уже направилась было к хаузу, как увидела входившего к ней Повелителя. Странная, смутная темень, окутавшая опочивальню, сразу развеялась. И уже ничего не кружилось вокруг, словно все обрело извечную определенность и твердость, едва нога Повелителя коснулась пола ее покоев.

Она застыла, безмолвная, растерянная, и со страхом смотрела на приближавшегося к ней властелина. Вот он уже подошел на расстояние протянутой руки, и тут она вспомнила, что следует поклониться великому Повелителю, и ханша поспешно склонилась в неумелом, покорном поклоне, но кто-то подхватил ее под локоть, бережно приподнял. Вконец смутившись, она вскинула голову и встретила спокойный, ласковый взгляд Повелителя...

Наутро она проснулась чуть свет и с волнением, непонятным беспокойством ожидала прихода служанок. Лицо ее пылало, голова кружилась, она еще никак не могла осознать, что же с ней случилось, с радостью и кротостью прислушивалась к своему телу и сильнее зарывалась в пуховые подушки.

Вскоре распахнулась дубовая дверь. Сначала надменно вплыла старуха служанка, за нею впорхнула радостно возбужденная свита.

При виде толпы женщин юная ханша мучительно покраснела, сжалась, стыдливо отвернула головку, спрятав лицо в рассыпавшиеся густые волосы.

Свита была оживленней и веселей обычного. Девушки кинулись целовать ханшу, подняли целый переполох. А потом, позже, когда великий Повелитель несколько ночей кряду удостоил своей любовью юную ханшу, свита и вовсе ликовала.

Однажды, вслед за этим, заметив на себе косые взгляды со стороны служанок и свиты Старшей Ханши во время приема послов в ханском дворце, юная жена впервые ощутила ледяной холод женской ревности. Тогда она метнула осторожный взгляд на Старшую Ханшу

и заметила на ее надменном лице тень грозного гнева. Она сама не знала почему, но именно это сразу успокоило ее разволновавшееся сердце и принесло какое-то сладостное удовлетворение.

О том, что соперничество — тайное или явное — горше яда и слаще меда, она узнала значительно позднее.

Но с этого дня она вдруг враз избавилась от скованности и смущения перед служанками и свитой, смутно и неожиданно ощутив в себе уверенность и даже некое превосходство. Ей вдруг во всей ясности открылось, что тяжелый, многими драгоценностями украшенный тюрбан молодой и любимой ханши кажется легче птичьего пуха, когда ловишь на себе восхищенные или завистливые взгляды.

Теперь она с особым вниманием и жадностью прислушивалась к рассказам старухи служанки и девиц из свиты, охотно обсуждавших пышность и великолепие дворца Старшей Ханши.

Накануне нового похода Повелитель перебрался в свой одинокий дворец в столице. О том, что он делает, как живет, доходили до юной ханши разные кривотолки. Ей доносили даже то, что говорили на верховном совете, как выступал тот или иной наместник, когда и на какое ханство двинет свои полчища великий Повелитель. Почти все эти вести оказались потом заурядной сплетней. Но один слух подтвердился полностью: Повелитель действительно готовился к походу и решил забрать с собой внуков и Старшую Ханшу. Тем самым можно было догадаться, что поход продлится не год и не два, а значительно дольше. Юная ханша, узнав об этом, лишилась покоя. Несколько раз она порывалась пойти в ханский дворец, но так и не осмелилась. Весть о том, что Повелитель остановил свой выбор на Старшей Жене, угнетающе подействовала и на юную ханшу, и на свиту. Они уже не смотрели друг другу в глаза. Ходили как в трауре. Прекратились и недавние безмятежные прогулки в ханском саду.

Мучительная неопределенность длилась несколько месяцев, и вдруг однажды, в вечерний час, Повелитель пожаловал сам. Когда служанка шепнула ей, что великий властелин уже выходит из повозки, остановившейся у входа, она еле удержалась, чтобы не выбежать ему навстречу. Но Повелитель не сразу вошел к ней, а направился в свои покои. И опять заставил ее терпеливо

ждать до ночи. Юная ханша не находила себе места в огромном дворце; потерянно слонялась из угла в угол. Потом уже, в безнадежной печали, встала у окна, прижалась лицом к холодному стеклу и тут услышала легкий скрип двери. На большее ее терпения уже не хватило. Забыв про приличие, для самой себя неожиданно осмелев, радостно запорхала ему навстречу.

Но и потом, посреди ночи, оставшись на брачном ложе наедине с размякшим, ласковым Повелителем, она не могла вспомнить ни одного слова из тех, что давно уже хранила в сердце. Только и спросила, набравшись храбрости:

— Сколько продлится ваш поход, мой Повелитель?

Он долго и пристально посмотрел ей в глаза, потом погладил ее тонкие, дрожащие руки и спокойно ответил:

— Это знает один аллах...

На другой день город оглушила дробь походных барабанов. Повелитель выступил в поход.

Пригорюнилась юная ханша, почувствовав вдруг себя совершенно одинокой в многолюдном ханском дворце. И тогда ей неожиданно открылось, что единственно близкий человек, который связывает ее с непостижимо огромным миром, — суровый и угрюмый Повелитель, по годам намного ее старший, в чьих серых, пронзительно-холодных глазах при виде ее вспыхивают искорки нежности и ласкового сочувствия. При нем она не испытывала такой жуткой опустошенности.

Видя, как озабоченно хмурила бровки юная ханша, приуныли, притихли и служанки, и девушки из свиты.

Вот так, в семнадцать лет убедилась она в древней истине: нет на свете страшнее муки, чем одиночество.

Одинокие длительные прогулки в пышном ханском саду тоже не утешали. Плоды наливались жизненными соками, и — казалось — каждый листик, каждая веточка торжествовали радость бытия. Восторг и наслаждение жизни неумоимо воспевали и крошечные птицы, порхавшие с дерева на дерево, и бесчисленные озабоченные пчелки, собиравшие нектар с цветов. Время от времени налетал шальной ветерок, и тогда, охваченные трепетом, возбужденно перешептывались и ликовали листья.

Вместо желанной бодрости от таких прогулок юная ханша обретала усталость, очутившись помимо воли на извилистой, глухой тропинке неуголенной страсти, неведомых желаний, неясных томлений, изводивших душу и

навевавших грусть и тоску, сковывавших все ее порывы и стремления, словом, ее охватывали безысходность и неопределенность, незаметно, исподтишка подтачивавшие волю, она в смятении возвращалась в сумрачный, опостылевший дворец и подолгу сидела, уставившись в безмолвное пространство.

Желая вывести ее из дурного расположения, девушки из свиты выказывали перед ней свое искусство. Но величаво-тягучая мелодия только усугубляла тоску, задевая чуткие, ей самой неведомые струны души и навеивая щемящую скорбь, а полные истомы танцы девушек, то, как они вскидывали насурьмленные брови, играли большими, черными, как у верблюжонка, глазами и улыбались белозубо, казались ей фальшивой забавой, намерением утешить ее, точно капризного ребенка. Ей чудилось, что все веселятся и смеются только через силу.

Наигранное веселье не могло развеять смуту на душе. Наоборот, она испытывала неловкость от того, что доставляет свите столько хлопот. Она выдумывала всякие причины, твердила о головной боли, недомогании и из-за всех сил избегала подобных развлечений.

Видя, что ни прогулки в саду, ни развлечения не в силах избавить юную ханшу от затянувшейся тоски, свита растерянно примолкла. Угнетающая тишина и уныние овладели дворцом.

Старуха служанка выбилась из сил, не зная, как еще угодить юной ханше, и водила ее то в сад, показывала ей диковинные цветы, клумбы, то расстилала перед ней со всех сторон света привезенные тюки редких материй — махфис, рация, шамсия, шадда, машад, тафсила, гульстан, мисрия, абидрия, лулна, сабурня, мискалия, сафибар, хидн, атлас, парча, шелк, — предлагая сшить платья на любой вкус и фасон; то старалась обрадовать ее взор драгоценными камнями, кольцами, перстнями, серьгами, подвесками, ожерельями, браслетами, кулонами, подаренными самим ханом, полководцами, правителями, наместниками, послами и родственниками; то предлагала выбрать себе шубку из редкого меха — соболя, песца, выдры, барса, белки, красной лисы; однако ко всему осталась безразлична и холодна юная ханша.

Вконец убедившись в том, что никакими драгоценностями ханшу не соблазнить, старуха наведывалась к ней в часы одиночества и заводила нескончаемые разговоры обо всем на свете. Однако ничто, даже дворцовые

слухи и сплетни, ничуть не волновало ханшу; казалось, она, хмурая, отрешенная, не внимала ее словам.

И все же многоопытная, хитрая старуха нашла-таки ключик к омрачившейся душе своей подопечной. Стоило ей однажды заговорить о том, какие почести воздаются Старшей Ханше в далеких завоеванных странах, как на юном, безучастном доселе личике вдруг обозначилось оживление. В черных, погасших глазах, бессмысленно устремленных в угол огромного зала, промелькнуло любопытство. Тогда старуха, не скрывая своего ликования, начала обстоятельно рассказывать обо всем, что приходилось ей видеть и слышать во дворце Старшей Ханши, которой прислуживала долгие годы. Имя высокородной ханши старуха, однако, не осмелилась трепать своим грешным языком, зато уж досталось вдосталь ее служанкам и спесивой свите.

По словам старухи выходило, что с тех пор, как Повелитель зачастил во дворец Младшей Ханши, Старшая Жена и ее приближенные исходят злобой и ненавистью. К тому же бесчисленные подарки, текущие со всех сторон света, достаются отныне не одной Старшей Жене, как прежде, и с этим она никак не желала смириться. И сама Старшая Ханша, и ее многочисленная прислуга в последнее время только и шушукаются про то, что, дескать, великий Повелитель все самое ценное и редкое, поступающее из покоренных стран, отправляет в дар своей Младшей Жене. За это они больше всего и ненавидят юную счастливую соперницу.

Старуха осторожно косилась на юную ханшу, но, не замечая на ее грустном личике ни тени гнева, с истовым усердием продолжала рассказывать. Тонкие, дряблые губы под крючковатым носом, испещренные сеткой мелких, как паутинка, морщин, неустанно шевелились, подрагивали, точно озабоченный паук, плел таинственную вязь: казалось, они не угомонятся, пока не оплетут невидимой сетью простодушную ханшу.

Теперь старуха живописала, будто на нить нанизывала, все, о чем сплетничали во дворце Старшей Жены. Там якобы утверждали, что единственное достоинство Младшей Ханши — ее юность и красота. И не красота даже, а просто смазливость. А в остальном ее, дескать, со Старшей Ханшей и сравнить невозможно. Предки ее не родовиты. Она всего-навсего дочь заурядного, захуда-

лого тюре; во всем ее роду не найдешь именитых; да и Повелитель взял ее в жены без особого желания, просто исполнил предсмертную волю матери; да и ей, новоиспеченной ханше, нечего задирать нос; Повелитель, конечно, велик, и на троне золотом восседает пока прочно; но никто не может скрыть, что он старик, и вряд ли она, молодуха, способна понести от него, только промается зазря, не испытав женской радости и материнского счастья; а когда, не приведя создатель, случится непоправимое, всю жизнь проведет в одиночестве и тоске, в горести обнимая собственные колени...

Незримая паутина искушения, ловко сотканная старой колдуньей, будто опутала, оплела юную ханшу. Ущемленная в самое сердце, она побледнела, а в темных застывших глазах, точно в потухавшем очаге под шальным ветром, мгновенно вспыхнула искорка.

Старуха тотчас догадалась, что задела, наконец, болезненное место; но, прибегая к извечной женской уловке, начала поспешно и, конечно, тщетно развешивать ею же посеянные подозрения.

Недаром, должно быть, говорят, что ревность обжигает и льдом, и огнем. И впрямь: какая же это ревность, если от нее не огнем горит лицо и не льдом застывает сердце!

И, разумеется, пустоголовые служанки Старшей Ханши, дочери богатого и влиятельного рода, богом данной супруги самого Повелителя, привыкшей к почестям и славе, принимают ее, Младшую Жену, за несмышленную девчонку с не обошедшими от материнского молока губами и намереваются подчинить ее своей воле. Как бы не так! Ох, и заблуждаются же они, бедняжки! Придется им, пожалуй, довольствоваться тем, что шушукаться по углам и в бессильной ярости кривить губы.

Уж коли сам всемогущий Повелитель покровительствует ей, своей юной и прекрасной возлюбленной, то холуйские сплетни и кривотолки во дворце Старшей Ханши — все равно что шелест ветра или писк мошки. Пусть не больно кичится Старшая Ханша тем, что она первая. Пусть прикусит свой длинный язык. Не погасит ей очаг любви и сладостных утех, где сам великий из великих предается отдохновению...

Священное негодование полыхало в дряхлой груди старухи. Тонкие ноздри трепетали, губы змеились, голос наливался силой. Редкие, жесткие щетинки под крюч-

коватым носом грозно встопорщились...

Заметив, что старая служанка в своем усердии распялась все больше и больше, ханша смирила ее удивленным взглядом. Старуха спохватилась, не перестаралась ли, умолкла на полуслове и вскочила, будто вспомнив какую-то неотложную заботу.

Рассказ старой служанки, полный неведомых намеков, недомолвок и тайн, разбудил, всколыхнул душу юной ханши, точно шквальный степной ветер; бодростью и силой налилось ее маленькое упругое тело.

Вкрадчивая речь об интригах, злословии во дворце Старшей Ханши, об ее повадках и замыслах точно разорвала веревки равнодушия и безразличия, сковавшие молодую женщину. Казалось, все ее мысли и желания, увядавшие в безнадежном тупике, вырвались, хлынули неожиданно на вольный простор...

Оставшись наедине с собой, она попыталась обдумать, осмыслить спокойно и трезво все, о чем ей так прозрачно намекала старуха. Старшая Ханша, находясь за тридевять земель, умудрилась-таки больно поранить ее невинное сердце и разбудить в нем недобрые помыслы. Видно, своеправная Старшая Жена вообразила себе, будто Младшая Ханша — всего-навсего бессильный, безвольный ребенок, хотя и возлежит на ложе Повелителя в пышном дворце.

И, несмотря на свою юность и неопытность, Младшая Ханша поняла, вернес, почувствовала каким-то прозорливым, сугубо женским чутьем, что утешить отравленную душу можно, лишь ответив болью на боль, мстостью на мсть. По юному чистому личику ее пробежала холодная тень. В глубине черных, как смородина, влажных зрачков блеснул жестокий лучик, похожий на искорку на острие обнаженного книжала. Неведомая ярость взбодрила тело. Движения стали уверенными, походка — упругая, стремительная.

Зоркая свита мгновенно заметила перемены, происшедшие в ханше. Все ходили радостные, оживленные, хотя никто и не осмеливался выражать свой восторг с прежней непосредственностью.

Ханша распорядилась доставить ей во дворец немедля все драгоценности, меха и материи, которые она еще вчера отвергала.

Она придирчиво осмотрела товар, выбрала себе что по душе, растолковала старой служанке из чего, что и

как необходимо ей сшить. Старуха охотно внимала ее распоряжениям и даже подбадривала осторожными и дельными советами. Ханша при этом не удивлялась, как прежде, не застывала, как наивная девчонка, с разинутым ртом, и не соглашалась поспешно, а слушала с важным видом, выражала сомнение, задумывалась и лишь потом великодушно кивала головой.

Дошла старуха в душе ликования, убежденная, что юная ханша отныне познала упительный вкус власти. Она увивалась вокруг своей воспитанницы, всячески угождала ей, суежилась, легко управляя своим рыхлым, грузным телом. Она усердно докладывала ханше о богатстве ее личной казны, о том, чего следовало бы раздобыть еще, из каких краев и стран.

Ханша незамедлительно отправила ее к главному vizирю, поручив достать все необходимое, все редчайшее из ханской казны.

Главный vizирь не очень приветливо встретил старую служанку и толком ничего ей не ответил. Ханша возмутилась и тотчас отправила нарочного с поручением немедленно вызвать vizиря к себе. Тот, почуяв неладное, поспешно прибыл во дворец Младшей Ханши, еще с порога согнулся в угодливом поклоне и доложил, что просьба прекрасной повелительницы будет непременно удовлетворена, что он уже распорядился доставить из веляйетов все желанные драгоценности, материи, духи и благовонные мази и даже уже отправил в путь верных людей.

Видя, как главный vizирь, уважаемый самим Повелителем, склонил перед юной ханшей свою достойную голову, старая служанка удовлетворенно хмыкнула, словно эти почести предназначались ей.

Во дворце Старшей Ханши поднялся невообразимый переполох, когда докатилась весть о том, что юная соперница пригласила лучших портных и шьет для себя диковинные наряды.

С нетерпеливой жаждой деятельности принялась Младшая Ханша за новое и приятное дело. Слухи об этом, обрастая подробностями, дошли вскоре и до Старшей Жены, находившейся при Повелителе в далеком походе. И оттуда, из той неведомой дали, доходили до Младшей Жены слова Старшей, полные яда и ревности. Юная ханша торжествовала, узнав о том, как беснуется старшая соперница, и рана в сердце, нанесенная злыми сплетнями, понемногу затягивалась. Она впервые испы-

тивала ни с чем не сравнимую сладость утоленной мести и с непереносимой женской изворотливостью придумывала все новые, еще более изощренные способы отмщения.

Торжественные прогулки в сопровождении свиты вновь участились. Едва припекало солнце, как ханша спешила к пруду, подолгу купалась и затевала веселые игры в воде. Каждый день, спозаранок, слуги складывали на берегу пруда под легкими, разноцветными тентами кучи румяных, только что снятых яблок. И в полдень, когда яблоки источали вязкий, густой аромат, юная ханша отправлялась со своими девушками к хаузу.

Резвясь в прохладной прозрачной воде, по которой плавали краснобокие яблоки, ханша испытывала сладостную истому от соприкосновения упругих, жадных до ласки волн к изнеженному, напоенному дурманом назойливых желаний и беззаботной юности зрелому женскому телу. Здесь, в голубой воде хауза, она предавалась бездумной, пьянящей свободе молодой плоти, ее уже не тяготили ни показная спесь величественной ханши, ни необходимость подчеркивать исключительность своего положения, ни пышные, постылые одежды, увешанные тяжелыми драгоценностями, и ей хотелось, чтобы это ощущение свободы и влекущей жажды загадочных желаний длилось долго-долго, и она не спешила выходить из воды.

Потом, приятно утомленная, с тревожным волнением в крови, она ложилась на мягкую подстилку под легким шатром на берегу хауза. В вязкий аромат ханского сада вливались сладкие запахи духов и нежных мазей: молодые служанки принимались растирать смугло-розовое тело ханши. Но легкое прикосновение их пальцев вызывает лишь щекотку, а разгоряченная плоть жаждет более грубых, сильных ощущений. Опытные женщины знают, по каким ласкам тоскует тело юной ханши. Они не жалеют силу своих рук, их пальцы как бы невзначай, мимолетно касаются потайных мест, и ханша вздрагивает, вытягивается, замирает от удовольствия и нестерпимого желания. Руки служанок проворно мелькают над ней, искусно втирают в нежную, гладкую кожу заморские благовония. У ханши кружится голова, мутнеют зрачки, тяжелеют веки и чуть вздрагивают длинные ресницы, тело млеет от мучительной истомы, пальцы судорожно сжимаются. Медовая усада окутывает ее. И чудится ей, что нежится она в саду эдема и девушки из ее свиты — истинные гурни.

Ну, конечно, разве можно на грешной земле испытать столько счастья, столько наслаждений сразу? И уму непостижимо, даже просто нелепым кажется, что ее все-сильному супругу пужно затевать какие-то опасные походы и месяцами, а то и годами пропадать где-то за тридевять земель, когда здесь, рядом, под боком, находится сказочный рай. Живи, радуйся и наслаждайся. Но тут она спохватывается, вспомнив, что сомневаться в праведности и разумности всех деяний и замыслов великого властелина — кощунство, непростительный грех, и поспешно пресекает преступную мысль, против ее воли вырвавшуюся на простор. В такие мгновения все свои сомнения и подозрения, словно гончую собаку, вот-вот настигшую верткую добычу, она переключает, обрушивает на ненавистную соперницу — Старшую Ханшу, обвиняя ее во всех смертных грехах. Несчастная! Уж чего-то она потащилась-поплелась за Повелителем в дальние страны?! Сидела бы уж дома...

...Язвительная мысль о сопернице доставляет юной ханше такое радостное облегчение, точно мгновенное удовлетворение самого жгучего, самого нетерпеливого желания, вызванного крепким, однообразным растиранием бедер и поясницы. Ей вдруг чудится, что не раскаленное полуденное солнце смотрит на нее с вышины, а глаз подлой соперницы, от злобы и ненависти наполненный кровью. Ну, ну, смотри, смотри, тварь ползучая, любуйся тем, чего у тебя нет, пусть гложет тебя зависть, пусть изводит тебя ревность, ну, смотри, смотри же!.. Ханша проворно переворачивается на спину, подставляет женщинам острые, упругие груди с коричневыми набрякшими сосцами. Разве старая ее соперница обладает такой красотой? Разве есть у нее такое молодое, чистое, полное соблазна тело? Как бы не так! Потому она и завидует ее молодости. Потому она и ревнует так дико Повелителя к ней. И проклинает ее таинственное очарование, вырвавшее златоголового властелина из ее постылых объятий. Проклинает свою судьбу за то, что та обрекла ее на одиночество у потухающего очага. И, должно быть, в полном отчаянии, однако еще надеясь добиться благосклонности Повелителя, она на старости лет послушной собакой поплелась за ним в поход. На что только рассчитывает, несчастная? На что она пригодна? Чем она сможет угодить Повелителю? Нет уж... не видать ей отныне властелина... Ради чего он станет наведываться к ней? Ради домашнего

очага, вокруг которого увивается его многочисленное потомство?.. А вот к ней, юной, прелестной ханше, он заедет в первую же ночь после долгого, изнурительного похода, приедет как к желанному пристанищу, как к приюту любви и ласки, для отдохновения души и тела. Да, да... именно так... в этом нет у нее никакого сомнения... Но, будучи великим Повелителем, может ли он позволить себе такую роскошь — днем и ночью пребывать со своей возлюбленной, точно пылкий юноша? Конечно, нет. Стоит ему, грозному властелину, от одного имени которого трепещут все четыре стороны света, оставить своих подвластных на два-три года в покое, как презренная челядь с тайным злорадством начнет шушукаться о безволии хана, о том, что он изнежился и обленился подле своей жаркотелой бабы... От одной этой догадки у юной ханши больно сжималось сердце. О нет! Она, богом данная супруга великого властелина, не позволит, чтобы вонючеустая толпа трепала его славное имя. Ей в это мгновение стало совершенно очевидным, что недавняя мимолетная мысль о бессмысленности и бесплодности опасных и продолжительных ханских походов — женская слабость, непростительное кощунство.

Нет, она отныне не осмелится упрекнуть властелина за его походы. Более того, и потом, когда он вернется домой, она не станет никак удерживать его возле себя на том лишь основании, что имеет счастье быть его избранницей. Ведь весь этот люд, окружающий их, не спускает глаз с великого властелина и его юной жены. Каждое слово, каждый жест, даже малейший намек — все-все на виду. И потому вполне уместно, если Повелитель время от времени посетит свою Старшую Жену, заслуга которой хотя бы в том, что она наградила его детьми, а те — в свой черед — внуками. К тому же, надо полагать, привлекает его отнюдь не стареющая жена, а долг отца, деда и свекра, высокий долг проявлять заботу и выражать высшую волю и мудрость в непростых семейных отношениях. Ради этого, должно быть, он забрал с собой в поход и Старшую Жену. Ради этого наверняка изредка советуется с ней. И она, юная ханша, прекрасно понимает, что все это показное, что делается все это для посторонних глаз и легковерной молвы. Что она, Старшая Жена, подозрительная, ревнивая баба, может посоветовать мудрецу властелину? Больно нуждается он в ее советах! Разве найдет он здравомыслие в ее иссохшем от

ревности и зависти дряхлом сердце?! Уму непостижимо, о чем они, оставшись наедине, могут беседовать...

Мысли юной ханши оборвались, спутались. Сладкая истома, охватившая ее молодое, трепетное тело, точно истанвала, улетучивалась, и ей хотелось открыть глаза, оторвать голову от подушки, однако тут же опомнилась, спохватилась, боясь выказать свое смятение перед служанками, усердно растиравшими ее тело, и она, еще крепче зажмурив глаза, старалась поймать и связать нити оборвавшихся мыслей.

Да, да... на что еще способны пожилые супруги, кроме длинных и нудных разговоров? И, видимо, Старшая Жена умеет искусно поддерживать беседу. Должно быть, при виде властелина не теряется, не лишается дара речи, точно неопытная девчонка или как она, молодая, неискушенная жена.

Тогда, перед выступлением Повелителя в поход, она с нежной кокетливостью пыталась поведать ему свою печаль и тоску предстоящего одиночества — не поведала, не смогла. Наутро, в минуту прощания, пыталась прильнуть к нему, обнять, высказать ему свою верность и преданность, достойную юной ханши, — не осмелилась, не решилась. Застыла у порога, робко взглядывая на выходившего из ее опочивальни властелина. Должно быть, он почувствовал на себе ее взгляд: на полпути он круто остановился, пристально посмотрел на нее и, казалось, устремился к ней, хотел что-то сказать, однако покосился вбок, в сторону, чуть нахмурился и пошел дальше.

Юная ханша перехватила его взгляд, тоже покосилась вбок и увидела чинный ряд евнухов, склонившихся в подобострастном поклоне. Только теперь она поняла, вернее, женским чутьем своим почувствовала всю нелепость, бестактность своего растерянного вида и, смутившись вконец, быстро закрыла дверь. Однако в мимолетном взгляде властелина, полном сочувствия, нежности и необыкновенной доброты, она уловила то, чего — как ей почудилось в этот миг — не увидела в его обычно холодных, суровых глазах еще ни одна женщина. Может, это и было любовью... Радостное, счастливое чувство точно опалило ее сознание. Ну, конечно, такой сочувствующий, проникновенно-нежный взгляд может исходить только от любящего сердца. Значит... значит, Повелитель любит ее...

Щеки ханши зардели, запылали. Дыхание ее прервалось, она точно окунулась на мгновение в таинственное озеро наслаждения, точно захлебнулась от неги и истомы.

«А что потом... потом... потом?» — лихорадочно стучала мысль. Потом, когда пройдет, исчезнет куда-то невысказанная нежность? Потом, когда потухнет страсть в глазах? Какое же чувство придет на смену ослепительному счастью любви? Неужели возникнет в душе пустошь, похожая на вытоптанную, отравленную, брошенную стоянку бывшего кочевья? Эта догадка показалась ей верной и справедливой, однако сознание отчего-то сопротивлялось ей, упрямое сомнение, затаившееся где-то в глубине сердца, лишало ее покоя, смущало желанную благодать души и невольно навевало противоречивые думы.

Если былому страстному чувству между стареющими супругами суждено увядать, почему они все-таки до самой смерти не в силах расстаться? Или, быть может, их преследует просто страх перед закатом жизни и одиночеством старости?

Однако подобный страх испытывают, скорее всего, лишь заурядные смертные, чья власть и влияние не распространяются далее скудного семейного очага. Но великому Повелителю, подчинившему своей воле половину вселенной и до последнего часа окруженному вниманием, заботой, любовью преданных ему народа, войска, единокровных родичей и возлюбленной, такой низменный страх, конечно же, неведом. Значит, его влечет к Старшей Жене какое-то иное чувство. Какое?..

Да-а... в душе стареющих супругов, должно быть, остается нетленный след былой искренней, горячей любви. Может, этот след — горсть стынувшей золы — называется привязанностью или уважением? И, возможно, окончательно остынет и превратится в пепел эта горсть золы лишь тогда, когда сам человек обернется тленом?

Она вся вспыхнула, обрадовавшись тому, что так легко нашла ответ на давно уже мучивший ее вопрос. Но радость тут же погасла, ледяной холод опалил грудь. Выходит, между Повелителем и Старшей Женой не все еще кончено. Остались душевная расположенность, взаимная привязанность. Сердце ее больно кольнуло. Тело, разомлевшее под мягкими, упругими пальцами служанок, мгновенно обмякло, обвяло. Казалось, если она сейчас же, немедленно, не встанет, чужие, безжалостные пальцы, точно когти хищника, разорвут ее онемевшее тело в

ключья. Юная ханша вскочила. Тонкое шелковое платье обожгло ее холодом, словно впивалось невидимыми колючками. Она еле дождалась, пока служанки расчесали ей волосы и заплели косы. Она спешила уйти отсюда, от этого места, где только что предавалась блаженной истоме.

И опять обрушилось на нее уныние. Она вдруг ясно осознала свое одиночество, впервые так остро, обнаженно ощутила свое бессилие, свою немощь перед уверенной и могущественной Старшей Женой Повелителя, успевшей пустить надежные корни своими детьми и внуками. Боль и зависть, ревность и тоска, точно пламя, обожгли ее юное существо. Пусть, пусть, твердила она себе с отчаянием и злорадством, пусть сильнее разгорится это пламя и дотла выжжет всю ее душу, тогда, может, избавится она от невыносимых мук и обретет, наконец, желанный покой. И уже чудилось ей, что вот-вот мольба ее дойдет до всевышнего и случится это страшное и непоправимое.

Она старалась ни о чем не думать. Но беспорядочный рой мыслей помимо ее воли, словно назойливые мухи, мельтешил перед ее глазами, и она, с тщетным усилием подавляя в себе тошнотворную слабость и отвращение, отбивалась от него, крепко-накрепко зажмуривала глаза. Мысли дробились, дробились, точно наваждение, преследовали ее, сводили с ума, окутывали ее плотной завесой докучливой, прожорливой мошки. Противная дрожь, как в лихорадке, охватила юную ханшу. Она все усиливалась, дрожь трясла, колотила ее знобко, и уже невозможно было с ней сладить. Ханша испугалась, в ужасе широко раскрыла глаза. «Боже! Не заболела ли я? Не схожу ли и впрямь с ума?!»

Уже плохо помня себя, она кинулась в угол к зеркалу, и, едва увидев себя в нем, удивилась. Ничего страшного с ней не случилось. И никакая кара ей не угрожала. Все в ней оставалось прежним. Может, только слабо, второпях, заплетенные косы чуть распушились. Но это, наоборот, придавало ее лицу свежесть, приятную новизну. Шея, грудь, щеки блестели от благовонной мази, которую щедро втирали в ее кожу служанки. На щеках горел румянец, должно быть, от волнения, от постоянной борьбы сомнений и надежды, а вот гладкий, высокий лоб был бледен. Небольшой точеный носик с чуткими, трепетными ноздрями брезгливо морщился, будто неприятен ему был блеск алых щек. Робкий, задумчивый взгляд влажных

глаз под манерно насурьмленными бровями подчеркивал выражение печали и подавленности на юном лице.

Ханша долго и пристально всматривалась в зеркальное отражение, словно не веря, что несчастная, удрученная горем девчонка — она сама. Поразительно, что с таким видом она еще безбоязно живет на этом свете. Глядя на нее, разве мыслимо испытывать хотя бы подобие любви, или уважение, или — на худой конец — простое любопытство? Нет, конечно! Она может вызвать только жалость, сострадание, долгий сочувствующий вздох: «Ах, бедняжка, сиротинушка!..» И напрасно она вообразила, что искорки в глазах великого Повелителя — выражение мужской любви к ней. Какое там! Самая заурядная жалость к слабому существу. Просто удивительно, что этот чахлый, убогий цветок до сих пор не затоптан своенравной львицей — Старшей Женой...

Разве такой беспомощный, жалкий цыпленок, как она, в состоянии взволновать закаленное в кровавых походах сердце сурового Повелителя?! Просто любимая жена, состарившись, уже бессильна удовлетворить его мужскую потребность, и он взял себе в жены юную ханшу, как говорят, для обновления запаха ложа. А она, глупая, неопытная, приняла обыкновенную жалость, сочувствие пожилого человека за необыкновенную любовь. Нет, нет, о том не думай и не мечтай, смирись со своей судьбой, довольствуйся тем, что тебя взяли как юную, чистую, смазливую самку, да, да, самку, и благодари всевышнего за то, что тебе принадлежат одни из ханских дворцов и редкие, считанные ночи близости с великим Повелителем. Не тебе, дорогая, соперничать со Старшей Ханшей, ибо ей, ей одной безраздельно принадлежат и уважение, и привязанность, и подлинная любовь властелина половины вселенной. И не надейся, что и тебе уготована подобная судьба...

С таким несчастным, горемычным видом разве в состоянии ты, как Старшая Ханша, привлечь к себе внимание равнодушного ко всем сплетням и слухам Повелителя здравомыслием и душевными беседами? Разве всеблагий наградил тебя таким щедрым даром, чтобы Повелитель нуждался в твоём уме и мудрости, твоей близости в далеких и опасных походах?

Тягостные думы, точно нудный осенний дождь, все усугубляли тоску, и юная ханша не находила в себе силы противостоять ей.

Она почувствовала за спиной чье-то дыхание. Обернулась испуганно: неужели кто-то посторонний застиг ее в таком растрепанном виде... Старая служанка держала в протянутых руках коричневую шкатулку. Заметила ужас в расширенных зрачках своей подопечной и улыбнулась жутковатой своей улыбкой, раздвигая сетку морщин и редкие жесткие щетинки возле дряблых губ.

— Вот это принес сейчас старший визирь. Подарок, говорит, от великого Повелителя...

Еще во власти недавних назойливых дум, ханша с недоуменном уставилась на старуху, соображая, что ей сказать и как поступить.

Старуха осторожно опустила шкатулку на постель. Потом схватила растерявшуюся ханшу за руку и подвела ее к ней, точно малое дитя. Открыть шкатулку старая служанка, однако, не решилась. Достала откуда-то из глубин длинных рукавов крохотный блестящий ключик и сунула его в холодную ладошку ханши.

От волнения ханша никак не могла попасть в отверстие замка. Тогда старуха сама открыла шкатулку и, открыв ее, смутилась, заколебалась: то ли глядеть ей на ханшу, то ли на содержимое шкатулки.

В глазах ханши зарябило. Она даже не посмела прикоснуться к тому, что открылось ее взору, от восторга затаив дыхание. Переливавшийся всеми цветами радуги бриллиант, матово-загадочно поблескивающие кораллы, ослепительный жемчуг, дикий алмазы, благородно-холодный яхонт, прозрачный, как осеннее небо, сапфир, текучий, чистый, как капля родниковой воды, изумруд, багрово-красный, как стынувшая кровь на снегу, рубин, сдержанно-ровная, нежно-серая яшма и многие-многие другие драгоценности, даже названий которых она не знала, покоились в продолговатой ореховой шкатулке. А поверх всего этого великолепия скромно лежал маленький белый цветок, точно лилия на глади роскошного пруда.

Ханша схватила нежный цветочек, еще не потерявший ни свежести, ни аромата, и порывисто прижала его к груди. Железный обруч, холодом сковавший ее душу, мгновенно лопнул, и слезы, с утра застывшие в ее глазах, вдруг полились, хлынули, точно благодатный весенний дождь. Сердце, отяжелевшее от обиды и тоски, вдруг обрело прежнюю неощутимую легкость.

Ханша сейчас уже не замечала старой служанки, и не стыдилась своих слез, и не испытывала никакой неловкости, оглушенная неожиданным счастьем. Она чувствовала, как жуткий страх, облепивший ее, точно ненасытные пиявки, медленно покидал ее, удалялся, крадучись по-кошачьи. Всевышний и великий Повелитель вовремя почувствовали ее безысходную тоску и бездонную муку, терзавшие ее неокрепшую душу. Сомнения и подозрения, уязвленное самолюбие и обида, одиночество и необоримое желание — все они услышали, обо всем догадались. Вспомнил Повелитель о ней и за тридцать земель прислал гонца, чтобы утешить юную ханшу.

Ханша поднесла цветок к губам и расцеловала каждый лепесток.

Старшая служанка догадывалась без слов, что творилось сейчас в душе ханши, и тихо вышла.

Ханша прилегла на постель. Точно ребенок, любующийся новыми игрушками, перебирала она драгоценности, раскладывала на груди, улыбаясь диковинному блеску белых, красных, голубых, зеленых, черных камней, переливавшихся разноцветными каплями сказочного дождя.

Недавняя печаль в груди ханши развеялась, как тучи после ливня. Светлое, неведомое чувство, как тихая гладь озера, охватило ее. О, она бы сейчас высказала, выплеснула из самой глубины сердца всю свою горячую благодарность щедрому супругу, но он ведь не услышит. Будь он рядом, забыла бы про робость и женскую стыдливость, отдалась бы ему без ума, без оглядки, вся, вся, подставила бы распаленные жаждой любви белые тугие груди, прижала бы страстно его к своему знойному телу, истомленному, измученному, как степь после долгой засухи. Только не осуществиться ее желаниям в этом безмолвном, огромном и унылом зале...

Излить бы свою душу в письме — стыдно. Доверить свою тайну гонцу — невозможно. Так как же она выразит, как передаст идущую от чистого сердца признательность, любовь и безмерную благодарность великому Повелителю, благодетелю, возлюбленному супругу? Когда еще вернется он из похода и переступит порог этого дворца? И кто знает, когда еще наступит тот желанный день, позволяющий ей на пышном супружеском ложе доказать всю нежность и страсть, томящие ее юное тело? Как она сбросит свое неусмешное чувство к нему? Чем

утолить ей неизбывную жажду любви, от которой кровь вскипает в жилах? Как, каким образом она известит ненавистную кичливую Старшую Ханшу, бесчисленных дворцовых слуг, вскормленных сплетней и интригами, самого Повелителя и весь этот необъятный мир о своей готовности в любой миг принести себя в жертву ради владыки вселенной, единственного и желанного? Об этом должны непременно все узнать сегодня, самое позднее — завтра, иначе сердце ее разорвется от счастья, не вынесет бурной радости. Как ей прожить столько долгих, изнурительных дней в тоскливом ожидании, пока вернется из похода Повелитель? Как ей прожить столько бесконечно длинных ночей в неутоленном желании, в пугающей, сжигающей страсти? Как она уймёт волнение, охватившее ее пылкую душу? Ведь отныне низменная цель досаждать Старшей Ханше, всевозможными уловками отравлять ей жизнь не может ей служить единственным утешением. Большое, искреннее чувство должно выразиться в благородном поступке.

Она сейчас же, немедленно, собралась бы в путь и отправилась бы хоть в какую даль вслед за Повелителем. Но такой поступок наверняка уронил бы честь властелина и вызвал бы обильные сплетни среди праздной толпы.

Разложив все драгоценности на постели, ханша прилегла с краю и предалась мечтам. Чем она отплатит за столь щедрое внимание возлюбленного? Чем она обрадует его завтра, когда он, усталый, возвратится из дальних стран? Какая жалость, что слишком коротка была их супружеская жизнь, что не успела вдосталь утешить жаркую плоть! Хоть бы понесла она от Повелителя до отправления его в поход. Тогда бы она не ломала голову, гадая, чем ответить на его доброту. Прислушиваясь к каждому толчку созревающего в материнском лоне плода, она испытывала бы пьянящее блаженство и, конечно же, не ведала бы ни изматывающих дум, ни неизбывной тоски. Тогда у нее был бы повод ежедневно писать супругу. К его приезду она благополучно разродилась бы сыном и вышла бы навстречу Повелителю с крохотной плетеной люлькой в руках, и тогда она безраздельно и навсегда завладела бы благосклонностью его и тем самым лишила бы соперницу, Старшую Ханшу, ее единственного преимущества перед нею. Но увы! Всевышний не проявил этой милости, не дано было осуще-

ствиться этой красивой мечте, и, подумав об этом, ханша опять на мгновение растерялась.

Да, да, нечего ей предаваться грезам. За доброту и внимание Повелителя она может воздать только верной и искренней любовью. Больше ей нечем платить.

Значит, она должна придумать нечто такое, что доказало бы ее великую любовь и преданность не только Повелителю, но и всем живущим на земле. Она должна построить памятник, величественный и прекрасный, который поведал бы возвращающемуся из похода Повелителю о ее любви, душевной тоске, нежности и верности.

Она не станет дрожать над этими драгоценностями, как Старшая Жена, не присвоит их себе. Она построит на них небывалый памятник — башню любви, от которой не сможет оторвать взор сам Повелитель. Ее башня будет возвышаться над всеми минаретами города. И люди должны любоваться ею, восхищаться силой любви, верности и умом юной ханши.

В ту ночь она впервые за долгое время спала спокойно.

Наутро она отправила порученца за старшим визирем. Тот, выкатив большие, как плошки, смоляные глаза, выслушал ханшу с почтением и долго молчал. Неясно было, то ли удивлялся он намерению ханши, то ли одобрял про себя ее благородный порыв. Когда ханша, закончив свой сбивчивый рассказ, умолкла, старший визирь приложил белые холеные руки с длинными растопыренными пальцами к груди и низко поклонился.

«Будет сделано, высокородная ханша!»

Через две недели пришел главный зодчий и доложил, что новый минарет поручено строить одному из тех мастеров, которые возводили мечеть в честь Старшей Жены. Ханша встрепелась: отныне ей нашлось дело. Каждый день она отправляла своего порученца к старшему визирю и от него узнавала все подробности новой стройки. Особенно радовалась она тому, что минарет решено было построить неподалеку от ее дворца.

Медленно тянулись караваны дней... Однажды, встав с постели, ханша увидела в окно из-за верхушек деревьев что-то красно-бурое. В недоумении подскочила она к окну и тут только догадалась, что это и есть минарет, строящийся по ее милости. Минарет воздвигали уже около года. Кто-то маленький, едва заметный, будто мураш, копошился на вершине крутых стен. Минарет уже

поднялся над оградой ханского дворца и сровнялся с самыми высокими деревьями в саду.

С того дня кирпичная громада за окном неотступно преследовала ее. Каждое утро ханша с нетерпением подбегала к окну и мысленно прикидывала, на сколько выросли стены минарета. Ей казалось, что стройка идет слишком медленно. Еще недавно она ликовала: мечта ее становилась явью, в столице Повелителя рождалась новая — невиданная по высоте и красоте — башня, но теперь радость сменялась тревогой. Крохотный мураш на вершине минарета с утра до вечера торчит на одном и том же месте. Только много ли прока от того, что он там копошится? Эдак нескоро осуществится ее мечта. Может, и не суждено ей увидеть своей башни во всей ее величественной красе. Будет, как вечный укор, маячить перед глазами людей эта шершавая невзрачная каменная глыба, точно грязное пятно на прозрачной небесной сини. Ханше захотелось вблизи увидеть строящийся минарет, подняться на его вершину, встретиться с нерасторопным, нерадивым мастером, что как назло застыл на одном месте, и — если надо будет — уговорить, умолить его ради всего святого быстрее закончить башню. Ханша долго колебалась, кому и как поведать о своем желании. Она осторожно, намеком, поговорила со старой служанкой, и та, всегда готовая услужить любимице, на этот раз отчего-то смешалась, посоветовала не торопиться, подождать, послать сначала слуг, чтобы они все подробно выяснили. Так и сделали. Не один раз отправляли к мастеру верных людей. И ответ был один и тот же: «Стройка идет, как задумано. В день укладываются сотни и сотни кирпичей. Уже сейчас минарет выше всех строений в городе. На такую высоту и кирпичи поднимать непросто. Подгонять мастера невозможно. Он и без того измучен».

Но все эти речи казались ханше простой отговоркой, желанием утешить ее, как несмысленное дитя. Нет, она должна сама, собственными глазами осмотреть башню. Иначе она не найдет себе успокоения.

И однажды, решительно отмахнувшись от всех опасений старой служанки, она отправила порученца к старшему визирю: ей, Младшей Ханше, угодно самолично осмотреть минарет. В назначенный день в сопровождении старшего визиря, главного зодчего и большой свиты она отправилась к строящейся башне.

Едва торжественный и нарядный кортеж выехал из ворот ханского сада, ханша увидела минарет во всем его величии. Обычно лишь краешек стены выглядывал из-за вершущек пирамидальных тополей, а здесь, на просторе, при стремительном приближении мягко катящейся повозки башня вырастала на глазах, словно горделиво ввинчивалась в голубизну неба. А когда кортеж остановился у ее подножия и ханша со своей свитой вышла из крытой повозки, громадина из темно-коричневого кирпича, казалось, скрыла от восхищенного взора половину вселенной. Ханшу обуял восторг, по жилам прокатилась легкая радостная дрожь. Ей казалось, что, если бы девушки из свиты не удерживали ее под руки с двух сторон, она могла бы, словно пушника, взлететь до самой верхушки минарета. Она вдруг решительно направилась к башне. Рабы, работники, дворцовые слуги, свита учтиво расступились перед ней и согнулись в покорном поклоне. Она никого не замечала, никого не удостоила взглядом. За ханшей, стараясь не отстать, ринулись главный зодчий, старая служанка и еще человек пять из свиты. По крутым каменным ступенькам быстро поднялась наверх. Сердце колотилось все громче, в груди горело. Сзади слышалось надсадное дыхание девушки из свиты. Остальные, должно быть, отстали. В узкой, тесной башне становилось все темней, все мрачней, пламя светильника в руках девушки-служанки отбрасывало зыбкий отсвет. Внутренние стены были сплошь в густой, жирной саже от лучинок, скудным светом которых пользовались рабы-носильщики, доставлявшие наверх кирпичи. Ханша, подхватив длинный подол, упорно поднималась вверх по крутым ступенькам. Мрак уже заметно рассеивался, а еще через мгновение ослепительно засияло над головой полуденное солнце. Ханша достигла вершины башни. Девушка-служанка, державшая светильник, остановилась на несколько ступенек ниже.

То ли от непривычной высоты, то ли от неожиданно яркого света, обдавшего ее со всех сторон, ханша почувствовала слабость и головокружение. Однако она пересилила себя, подавила тошноту и быстро оглянулась. Огромный город, беспорядочно раскинувшись, лежал далеко внизу. Неприступно-горделивые минареты, пышные мечети и дворцы отсюда, с высоты, казались невзрачными и неказистыми, словно игрушки в руках ребенка.

От радости вновь всколыхнулось сердце ханши. Вы-

ходит, напрасно она волновалась и тревожилась. Из этой башни, ее башни, и впрямь получится диво. Уже сейчас она овладела половиной небесной шири над столичным городом. Любуясь необъятным простором, открывавшимся с вышины минарета, ханша на мгновение скользнула взглядом вдоль кладки и едва заметила у самой стены фигуру мастера. Он был весь, с головы до ног, измазан глиной, и, должно быть, стеснялся своего вида, потому что, как испуганный мальчишка, застыл на месте. И было странным, что юноша-мастер, своими руками сотворивший эту громадину, забился в угол, словно со страху онемевший зайчишка; у ханши — то ли от неожиданной женской жалости к его несчастному виду, то ли от любопытства и удивления — невольно чуть дрогнули губы. И хотя здесь, на вершине минарета, кроме них двоих, не было ни одной живой души и никто во всем мире их сейчас не видел, она смутилась и с усилием потушила непрощеную ласковую улыбку. Чутье подсказывало ей, что дальше задерживаться здесь, рядом с незнакомым юношей, неприлично, и она, подхватив пальчиками подол, нехотя направилась вниз по ступенькам, где со светильником в руке поджидала ее девушка-служанка. У самого спуска она еще раз обернулась и отчетливо разглядела мастера: он был совсем еще юн, строен и худощав, смуглолиц, большие печальные глаза таинственно лучились...

Ханша осторожно, чтобы не оступиться, пошла вниз. Каждый ее шаг эхом отзывался в узкой мрачной башне...

Садясь в повозку, она еще раз покосилась на вершину минарета и сразу же нашла глазами маленькую, одинокую фигурку мастера на краю кладки. Она вспомнила его робкий, покорный взгляд, огромные печальные глаза и тихо улыбнулась.

С того дня судьба башни уже не тревожила ее. Она вновь вернулась к своим прежним забавам, возобновила забытые прогулки по саду и купание вместе с девушками в дворцовом пруду. После купания и игр в воде усталую ханшу долго растирали услужливые девушки, втирали в ее нежную кожу благовония, и она, в истоме, не удручала себя изнурительными и бесплодными думами, как прежде, а спокойно вглядывалась в знакомые очертания изодня в день все заметней возвышавшегося минарета. И вот однажды она не увидела крохотной фигурки мастера на краю кладки и всполошилась. Но в тот же день слуги

ей доложили, что мастер закончил кладку и теперь приступает к отделке стен.

Прошло лето. Скупыми дождями отшумела осень. Осталась позади и очень короткая в этих краях сырая зима. Грубо оголенная кирпичная громада сначала оделась в леса, потом через квадратные решетки, похожие на соты в ульях, нежно заголубела глазурь.

Отныне ханша в сопровождении свиты подолгу гуляла по саду и любовалась преображающейся на глазах башней.

Сначала башня оделась в лазурь. Она словно растворялась в синеве неба. И уже казалось, будто маленькие фигурки мозаистов, копошащихся на лесах, заняты украшением не стен башни, а самого небосклона. Линии минарета незаметно сливались с безбрежной небесной синью. Юная ханша ликовала.

Каждое утро, проснувшись, она спешила к окну, предвкушая радость от причудливой игры красок, которыми украшали башню крохотные человечки на лесах. Ханше что-то напоминала эта башня, что-то очень знакомое, близкое, но она никак не могла вспомнить — что. Потом ей померещилось, будто башня похожа на красивую женскую руку, маняще вскинутую над головой. И поразило ее: как точно угадал, как зримо выразил юный мастер нетерпеливую тоску ее по желанному супругу, так долго задерживающемуся в далеком и опасном походе!

И еще ей казалось, что голубая башня похожа на нежное, невиданное растение, впитавшее в себя лучшие соки земли, взлелеянное чуткой и доброй природой и обласканное живительным весенним ветерком. И уже жалость пробуждалась в сердце к этой башне, томили сочувствие и сострадание к ней, как к живому, беззащитному существу. Как выстоит этот хрупкий, одинокий побег потом, когда задуют свирепые бури ранней весной и в предзимье, когда обрушится на него нещадный летний зной?

Каждый день минарет удивлял своим новым обликом. То он казался невинным и робким творением, то напоминал шаловливое дитя, выказывая озорную игривость, то застывал в горделивой неприступности. Иногда он точно заглядывал в окно, навевал тоску и печаль, жаловался будто на одинокую судьбу свою, но на другой день становился замкнутым и холодным, дерзко устремлялся к самому небу.

Сколько бы ни разглядывала ханша башню, она не могла понять секрет ее многоликости, не могла постичь тайну ее неотразимой прелести. Особенно ее озадачивало, что мастер почему-то явно оттягивал завершение башни и долго копошился у затора на самой вершине.

Ранее, бывало, ханша ежедневно свободно купалась в хаузе. Теперь она робела, стеснялась раздеваться и обнаженной входить в воду, чувствуя на себе пристальный взгляд юноши, наблюдавшего за ней через маленький затор под куполом.

Выходя на прогулку, она останавливалась на берегу хауза и подолгу смотрела на минарет. Казалось, и башня глядела на нее, пытаясь сказать что-то сокровенное, сказать без слов, одними намеками, игрой красок, чтобы ни одна живая душа вокруг ни о чем не догадывалась. Стоило ханше исчезнуть за стенами дворца, как башня тотчас окутывалась зыбким маревом и тихо грустила за окном. Но едва ханша показывалась в саду, башня точно пробуждалась, стряхивала с себя неведомую печаль и встречала ее сияющей улыбкой.

Минарет будто безмолвно подкрадывался к ней. Будто вплотную придвинулся к высокому дувалу вокруг дворца и сада и даже пытался перескочить через него, но никак не решался.

Это становилось наваждением. Минарет точно завожжил юную ханшу, лишил ее воли. Она смотрела на него целыми днями, словно пыталась по буквам, по слогам прочесть некое загадочное письмо, написанное ей на незнакомом наречии.

Может, башня была ее безмолвным отражением? И у нее был цветущий, нарядный вид; и все же сквозь внешнюю красоту проглядывала затаенная, непроходящая печаль. Неведомая боль, неизбывная тоска, тщетно скрываемая от себя и от других, подспудно подтачивали ее; робкое желание, неумная страсть, подавляемая изо дня в день, застыли в ее обличье. Такое выражение глубокой душевной скорби вместе со страстным сердечным влечением встречается нередко в задумчивых глазах несчастных, неуверенных, замкнутых людей. Нет, эта башня вовсе не была отражением самой ханши. В минарете был выражен немой упрек. Он словно говорил ханше: «Ну, что ты?.. Неужели ты не можешь понять меня?!» И только теперь ханша заметила: да, да, точно такое же выражение, такой же мягкий укор, такую же ласковую

мольбу она прочитала тогда, при мимолетной встрече, в покорных, лучистых глазах молодого мастера. Выходит, зодчий сумел вложить в свое творение свою душу, выразить в немом, бездушном камне свою затаенную мечту...

Только что это за мечта? О чем хочет поведать ей загадочная башня, так преданно и терпеливо заглядывающая в ее окно? В чем она ее упрекает? За какой проступок заслужила юная ханша ее немилость? Не может же молодой робкий мастер, который даже не осмелится поднять на нее глаза, быть в душе таким придирчивым, сварливым, жестоким. Нет, не может. Для зодчего, для подлинного мастера нет большего счастья, чем показать всем людям, всему миру свое творение, свое искусство. Мастер, построивший удивительной красоты башню, которая с недостигаемой высоты взирает на столичный город, не может быть подозреваем в недобрых помыслах. Тогда почему он оттягивает завершение стройки? Почему на виду у всех оставил под самым куполом зияющий зазор?

Ханша приказала заложить повозку и отправилась смотреть минарет. Поразительно: по мере приближения башня теряла свой смиренный, кроткий вид и становилась неприступно холодной, заносчивой. Вблизи она и вовсе походила на кичливую, своенравную красавицу. Ханша на этот раз не стала подниматься на вершину минарета. Только поинтересовалась у главного зодчего, почему не заканчивают строительство, ведь осталась самая малость, на что тот, чуть подумав, с достоинством ответил, что, мол, мастер никак не может добиться чего-то очень важного, желанного, задуманного, что вот-вот ему, бог даст, откроется заветная тайна и тогда, в тот же день, башня будет завершена.

Возвращаясь во дворец, ханша продолжала смотреть на башню из окошка крытой повозки. И опять поразилась: по мере удаления башня теряла свой заносчивый, неприступный холодный вид и становилась смиренной, кроткой, а из окна опочивальни и вовсе показалась удрученной, печальной. Ханша окончательно убедилась, что все эти загадочные превращения неспроста, что за этим кроется глубокая тайна.

Молодой зодчий, конечно, безошибочно понял и точно выразил ее чистую любовь и тоску по любимому супругу — великому Повелителю. Он сумел угадать затаенный смысл ее желания, которое пробудило постро-

ить этот минарет. Потому — если смотреть издали — башня и кажется такой грустной, потому и вызывает она невольное сочувствие, жалость. Должно быть, на расстоянии дневного пути она мерещится путникам ма-нящей рукой истосковавшейся по любимому женщины. Она, видимо, чудится выражением страстной мольбы: «Спешь же, милый... Скорей приезжай... Скорей...» Но откуда эта вызывающая гордость вблизи? Разве не возбудит это справедливый гнев у властелина? Может, и он соскучился по возлюбленной за долгую разлуку, но вряд ли его обрадует кичливость и холодная сдержанность башни, построенной в его честь. И почему она грустит, скорбит, когда смотришь на нее из дворца? Ведь она, казалось бы, должна выражать ликующую радость, счастье юной ханши, обретшей свою любовь после стольких лет изнурительного одиночества.

Разве возможно, чтобы молодой даровитый зодчий, неспособный разве что источить слезу из камня, не понял этого? Значит, он сознательно наделил башню такой странной двойственностью. А что, если его подспудное желание, его глубоко упрямую тайну увидит, разгадает, почувствует праздная, болтливая толпа, а не она, юная ханша.

Ханша не на шутку встревожилась. Посоветовавшись со старой служанкой, решила отправить на базар своих людей, чтобы они послушали и донесли, что говорят горожане и приезжие о новой башне. Однако ничего любопытного тайные соглядатаи не сообщили. Оказалось, что базарный люд ничего предосудительного или крамольного в новом минарете не усмотрел, что все только восхищены благородным поступком юной жены Повелителя, решившей в честь своего далекого возлюбленного воздвигнуть невиданную доселе башню, и божественным даром неизвестного молодого зодчего.

Хотя ханша несколько и успокоилась после этих донесений, однако странная тревога, недовольство собой ее не покидали.

А ведь и впрямь нет никаких оснований для волнения. Глядя на башню, народ может воочию убедиться в искренности ее чувства к далекому супругу. И сам великий Повелитель, возвращаясь из похода, уже издали увидит ее неумную тоску по нему, а подъезжая к башне, может по одному ее горделивому, надменному виду до-

гадаться, что его молодая жена осталась ему верна и на всем белом свете, кроме него, властелина, ни о ком не помышляла.

Выходит, молодой зодчий чутко проник в самую ее душу, понял ее без слов и сумел выразить в камне и красках все ее порывы и чаяния. Значит, и великий Повелитель не найдет в построенной по ее воле башне ни единого изъяна. О, всемогущий! Так пусть же наступит скорее тот желанный день — день встречи, день счастья! Она встрепенулась бы, как сказочная птичка в райском саду, вспорхнула бы в предвкушении мига наслаждений, светом радости озарила бы высокую душу своего изнуренного походом супруга. И тогда... тогда и Старшая Ханша, извечная соперница ее, оказалась бы посрамленной, униженной и ничего бы ей не оставалось, как корчиться от жгучей, непеменяющей ревности. Можно себе представить, как распирают ее гордость и чванство от того, что столько лет неразлучно сопровождала в походах Повелителя, деля с ним тяготы, славу и ложе, увидела столько диковинных стран и что следуют за нею караваны слонов и верблюдов, груженные несметным богатством. Но нетрудно себе представить также, как ликующая ее душа вмиг погаснет, сорвется с вышины, точно подстреленная, когда она неожиданно увидит перед собой дивную башню, подпирающую небосвод. И сам великий Повелитель в этот миг невольно убедится в том, что его Старшая Жена, с которой он прожил столько лет и которую он всячески ублажает и возвеличивает, еще ни разу не додумывалась до того, чтобы с таким же почетом и торжеством встретить возвращающегося из похода мужа и таким образом восславить победоносный дух его, что она, несмотря на всю свою высокородность, только и способна копить добро, трястись над своими драгоценностями и кичиться тем, что в молодые годы удосужилась, как плодовитая, вислобрюхая сука, нарожать ему детей.

Властелин, видящий каждого человека насквозь, без слов поймет, что юная ханша не только искренна, чиста и верна в своей любви, но еще и умна, мудра и способна своей душевной зоркостью удивлять людей. Она не станет высокомерно задирать голову, дескать, глянь, великий из великих, любуйся и оцени, какой подарок я тебе подготовила, а встретит его скромно и смиренно, как и прежде. И страсть свою, тоску и желание, накопившиеся за столько лет одиночества и переполнившие теперь ее

истомленную душу, она не обрушит на возлюбленного сразу, точно неукротимый поток, а будет сдержанной в ласке и любви, робкой и стыдливой, неумелой и трогательной, как в ту первую брачную их ночь. Но даже при этой сдержанности она сумеет без назойливости подчеркнуть, что нет для нее более великого счастья, чем быть вместе с всемогущим владыкой, разделить с ним ложе и, щедро отдавая себя, исполнить свой извечный женский долг.

Лишь бы настал скорее тот день... О, каждый уголок этого огромного унылого дворца наполнился бы радостью и ликованием...

Благодаря голубому минарету скоро должна осуществиться ее взлелеянная мечта. И ханша готова расцеловать каждый палец чудодея-мастера, воплотившего ее мечту. Только бы быстрее завершился он свое творение. Только бы скорее заделал он тот зазор под куполом, раздражающий, как бельмо в глазу. И чего он мешкает, чего он там, на самой вершине, застрял вдруг безнадежно? И почему, когда смотришь из дворца, минарет кажется таким хмурым и подавленным, будто обидел его кто-то? Разве этот его облик не насторожит Повелителя? Может, он, Повелитель, мгновенно разгадает недоступную ей загадку? Поймет какой-то неведомый ей намек? Ну, конечно, он, владыка, подчинивший своей воле все четыре стороны света, сразу же обо всем догадается и все поймет при первом же взгляде. Только что придет ему на ум, когда он увидит из опочивальни юной ханши минарет, заглядывающий в ее окно печально и умоляюще? Несомненно, Повелитель решит про себя, что молодой искусный мастер, способный одухотворить безмолвный камень, выразил своим минаретом то, что не осмелился бы высказать словами, ибо понимает, что за это ему непременно отрезали бы язык. Так что же получается? Выходит, робкий, преданный взгляд юного мастера тогда при их встрече на вершине минарета означал неодолимую любовь к ней. Да, да... любовь! Теперь-то ей все понятно. И уж коли открылась ей эта тайна, то тем более не ускользнет она от всевидящих и все понимающих глаз Повелителя.

Ханша опешила от этого очевидного предположения, словно кто-то грубо и неожиданно ворвался к ней в неурочный час.

Минарет, казалось, еще ближе придвинулся к ее окну.

«Верно, верно... наконец-то, все поняла... угадала, — словно твердил он в нетерпении, — ну, ну, что же теперь скажешь, что мне ответишь?..» И столько настойчивости, столько отчаяния чувствовалось в минарете, что юная ханша поневоле зажмурилась глаза и отшатнулась. Ей на мгновение померещилось, что минарет вот-вот перемахнет через высокий дувал вокруг дворца, сметая все преграды.

Она отпрянула от окна, собралась с духом.

Первое, что пришло ей в голову: необходимо немедленно наказать дерзкого мастера, нарочно затягивавшего завершение минарета. Несомненно, этого юнца попутал бес и ему самому неизвестно, должно быть, что он себе вообразил. Значит, его следует наказать так, чтобы он не только про любовь, но и про брэнное свое существование забыл.

Гнев и чувство ущемленного самолюбия овладели теперь всем существом ханши. Посмотрите только, что взбрело в безрассудную голову юнца, едва осмеливающегося поднять свои воловьи глаза на молодую жену властелина! То-то же, неспроста, видно, усеялся, как сын в дупле, на вершину минарета и день-деньской неотступно следит за ней... Нет, от него нужно избавиться. И как можно скорее, пока еще бесчисленные сплетники столичного города не пустили скользкий слух по всем закоулкам. Сумасброда, решившего достать луну на небе, следует тотчас поставить на место. Где это видано и слышано, чтобы низкородный холуй, нищелрод безымянный, черная кость позволял себе хотя бы в черных мыслях своих возжелать белотелую невинную жену земного владыки?! Как он только посмел — пусть в своей поганой душе — осквернить священное ложе Повелителя? Если хоть одна живая душа догадается о его преступном желании, о его дерзкой мечте... Получается, что, стремясь возвеличить и увековечить честь своего супруга, она помимо своей воли обесчестит на века его славное имя. Нет, юная ханша обязана пресечь это безумие, обязана своими руками задушить робкий росток надежды. Сейчас она вызовет порученца, тот обо всем доложит визирю, и старший визирь еще сегодня заточит строитивца в мрачное подземелье-зندان. А там он и пикнуть не успеет, как палачи секирой отрубят ему башку. Вот так бедолага-мастер, соорудивший чудо-минарет, станет жертвой собственной слепой страсти. Что ж... пусть пеняет

на себя. Мог бы вовремя обуздать свое низменное вожделение. Она, юная ханша, не виновата в его печальной участи ни перед богом, ни перед людьми. И не надо откладывать своего решения. Уже пришла весть: Повелитель держит путь на родину. Пока не доползши до него сплетни, следует погасить свет в очах молодого зодчего и распорядиться, чтобы главный мастер сам завершил строительство минарета. Но... разве минарет, словно коварный искуситель, не будет продолжать смотреть в ее окно, как прежде, преданно и умоляюще? И разве великий Повелитель не поймет его намска, не разгадает его сокровенной тайны?

От досады ханша больно прикусила губу. Как же теперь быть? Может, выпустить из крепости и подземелья всех рабов и пленников и заставить их разнести, разметать этот зловредный минарет дотла? Но что тогда скажет словоохотливая толпа, которая пока ничего не подозревает? Сколько кривотолков родится мгновенно по поводу того, что юная ханша приказала до основания разрушить минарет, построенный по ее же распоряжению! И сумеет ли она убедить Повелителя в правильности своего решения?

Ханша вновь подошла к окну. Минарет по-прежнему преданно и печально взирал на нее. На самой вершине, в черном зазоре, что-то мельтешило. Что делать? Как же быть? Кто сможет искусно заделать крохотный зазор, видный, однако, отовсюду? Да что зазор, когда сам минарет всему белому свету открыл ее сокровенную тайну?! Тайну, которую она скрывала даже от себя! Нет, отныне уже никто не в силах ее скрыть. Это может сделать только сам молодой зодчий, вдохновенный творец дивного храма любви. Однако он этого не сделает... не сделает даже во имя их великой тайны, пока не осуществится его дерзкое желание. Живо предстал перед ее глазами смуглый робкий юноша, умоляюще смотревший на нее на вершине минарета. Чистый, пылкий юнец, видно, влюбился в нее без ума. Он, слепец, даже сам не понимает, на кого он позарился. Ему, несчастному, и невдомек, что страсть его губительна. Юная ханша вдруг очень ясно себе представила, что молодым зодчим руководило единственное желание — воплотить в минарете свою слепую любовь. Да, да, только это, только это. Он, бедняга, давно уже забыл, по чьей воле строится минарет, что от него требовала Младшая Жена великого Повелителя, и

он едва ли не с самого начала оказался в плену своих же пылких, по-детски нетерпеливых чувств, которые заглушили в нем трезвый рассудок. И вот получилось, что помимо своей воли он вдохнул в этот минарет свою душу, выразил в нем свою безнадежную любовь, свою необузданную страсть, свое немыслимое желание, ради которых и угроза смерти ему не страшна. Вот почему так невыносимо тоскует минарет вдали, ибо прекрасно сознает, что недоступен ему предмет его обожания. Неразделенная любовь, невозможность любви привели молодого зодчего в отчаяние. Он теперь оттуда, из своего укромного гнездышка на вершине, не уйдет. Нужно встретиться с ним, убедить в бесплодности, бессмысленности его упрямства, предостеречь от безрассудства, объяснив, что его дерзость будет стоить ему жизни, а для юной ханши обернется бесчестьем. И если любовь его искренна, он не может не внять ее мольбам. Секира палача, конечно, поможет прервать пагубные мечтания потерявшего рассудок юнца, однако его слепая страсть, как вечный укор ханше, останется запечатленной в минарете. Значит, только испытанным женским лукавством можно вернуть его на путь благоразумия. И только в тот день, когда ханша утолит его neodолжимую жажду наслаждения, утешит его истомленную душу или осчастливит хотя бы обещанием неиступленной радости, минарет перестанет, наконец, взирать днем и ночью с укоризной, жалостью и печалью, молчаливо вымаливая ласку и любовь. И если наделенному божьим даром зодчему удалось выразить в каменном минарете неумную боль, охватившую всю его душу, то он с такой же силой сумеет выразить и ослепительный миг счастья. Вот именно это звездное мгновение и должен воплотить молодой мастер в своем творении. А тогда и сам великий Повелитель, и бесчисленная черная толпа, не подозревающие пока о дерзком поступке ошалевшего от любви юнца, воспримут это как радость и счастье ханши, заключившей в свои объятия долгожданного возлюбленного. К этому она и должна стремиться. И да пусть утешится несчастный юнец, пусть в желанной радости захлебнется его буйная, неистовая плоть, ханша уступит его строптивой прихоти...

Ханша, казалось, вновь поймала поводья разбежавшихся мыслей и приняла твердое решение. На другой день, с утра, она пригласила к себе старую служанку. И горничные, и свита растерянно толпились за дверью.

Старуха вышла из опочивальни лишь около полудня. Она попеременно в упор вкогтила цепким взглядом в каждую, кто с утра томился возле тяжелой входной двери, потом велела одной из самых смазливых служанок остаться, остальных отпустила по комнатам. Девушки, озадаченно пожав плечами, разошлись.

В тот же день, после обеда, крытая повозка ханши в сопровождении дворцовой свиты направилась к минарету. Там, у его подножия, довольно долго стоял нарядный кортеж...

На следующий день, выйдя по обыкновению на прогулку, ханша сразу обратила внимание на то, что мозоливший всем глаза зазор под куполом был уже наполовину заделан. А еще через три дня строительство минарета было, наконец, завершено. Из окна своей опочивальни ханша любовалась совершенно новым обликом минарета: он приветливо улыбался, весь светился счастьем. В честь возвращения с победой великий Повелитель провел пышный пир, и на том пиру в числе многих одарил и юного зодчего целым подносом золотых динаров.

Принимая дар, тот незаметно покосился в сторону Младшей Ханши. Она смутилась, быстро отвела взгляд, посмотрела туда, где чинно восседала Старшая Жена со своей свитой, и успокоилась, решив, что никто не обратил внимания на неосторожность молодого мастера. Казалось, никому не было дела ни до него, ни до юной ханши, никто ни о чем не догадывался, и сердце ханши после стольких сомнений и волнений вновь забилося ровно, спокойно.

А когда прошел многодневный пир и Повелитель поселился в ее дворце, она от счастья не находила себе места. Весь бесконечно длинный день она следила за солнцем. Казалось, назло ей оно никогда не зайдет. Ханша вся измучилась от ожидания, от духоты, от жары, и лишь когда раскалившееся светило нехотя скользнуло за горизонт, она облегченно перевела дух. Теперь уже скоро, вот сейчас наступит тот желанный миг утешения души и плоти — долгожданная плата за долгие годы тоски и одиночества. Она прислушивалась к каждому шороху, не спускала глаз с тяжелой, золотыми пластинами отделанной двери.

Так и промаялась ночь напролет, с болью и обидой озираясь в сторону входа. Утром, как всегда, вошли к ней

горничные, и вид у них был растерянный и смущенный. Ханша прочла в их глазах слабое утешение: «Ничего... не отчаивайся. Утомился ведь Повелитель после опасного похода и шумного, многодневного пира. Видно, неудобным ему показалось, подобно нетерпеливому юнцу, в первую же ночь переступить порог твоей опочивальни».

В тягостном томлении провела ханша день. Как немняемая, слонялась из угла в угол. Надумала было поразвешаться на прогулке, однако тут же отказалась от этого намерения, вспомнив, что Повелитель любит одиночество у родника в саду, и боясь неожиданной встречи с ним.

Первые дни ханша успокаивала себя тем, что Повелитель, должно быть, и впрямь устал, и старалась возбуждать в себе жалость к нему. Но проходили дни и ночи, и она все так же настороженно прислушивалась к шагам за тяжелой дверью, ждала, ждала до полного изнеможения, а Повелитель не показывался и никаким образом не давал о себе знать. Ночами напролет ворочалась ханша на душных перинах, будто они были усеяны колючками.

Отныне она пылливо заглядывала в глаза старой служанки и горничных. И у них был подавленный, удрученный вид. Ничего у них ханша выпытать не смогла, наоборот, казалось, они сами ждали от нее каких-то объяснений. Ханша изо всех сил старалась не подавать виду. Однако служанки, без слов понимавшие каждый порыв и каприз своей госпожи, конечно же, обо всем догадывались. Приутихла свита, улыбалась через силу, ходила на цыпочках.

С того дня, как Повелитель поселился в ее дворце, ханша уже не выходила на прогулку; целыми днями томясь в опочивальне, все думала, думала до головной боли, до умопомрачения, а потом часами смотрела в окно. Казалось, она без слов жаловалась минарету на свою судьбу, на продолжающееся одиночество, на то, что великий Повелитель охладел к ней после похода, еще ни разу не удостоил своим посещением. Но минарет самодовольно сиял в лучах солнца, играл разноцветными бликами и взирал на ханшу восторженно-радостно. Куда только исчез его недавний жалостливый, умоляющий взор? Он выражал теперь уверенность, удовлетворенность, будто упивался желанной удачей. Ханша содрогнулась: сколько холодной надменности и равнодушия к ее душевным мукам,

к ее нескончаемым страданиям было в этом величественно-прекрасном минарете, который по вершку, по кирпичику рос столько лет на ее глазах! Казалось, он метил ей за что-то, откровенно злорадствовал. То-то же, голубушка, вроде говорил он, помнишь, с каким высокомерием глядела когда-то на меня, как задирала нос, как упорно не внимала моим мольбам?.. Сколько лет я вымаливал твое внимание!.. Как долго мучила меня своим безразличием!.. Ханша представила себе молодого зодчего. Она еще раз внимательно рассмотрела его тогда на пиру, когда он принимал щедрый ханский дар. Навсегда запечатлелся в памяти его облик: гладкий, широкий лоб, прямой, правильной формы нос, чистое, смуглое лицо, необыкновенно большие печальные глаза, сосредоточенный, загадочный взгляд. Чем он живет теперь, вдохновенный юноша? Не может быть, чтобы он ошалел от радости, получив полный поднос золотых динаров. Он, кажется, не из тех, кто гонится за житейским благом. Не крохобор. Наверно, и он еще не охладел к своему творению. И его сердце, должно быть, сладко сжимается, когда он смотрит на минарет или вспоминает тот — памятный для обоих — день...

Стоит юной ханше вспомнить о том забавном и трогательном случае, как ей сразу становится легко и светло, словно весенним половодьем омыли ее душу, и в невольной доброй улыбке растягиваются ее губы. Смешно: до чего же чист и неопытен пылкий юноша! Думая о том невинном розыгрыше, о поступке ошалевшего от неожиданного счастья молодого зодчего, она испытывала одновременно и жалость, и сочувствие, и неведомую нежность к нему. Он ненасытно ласкал ее, обнимал, шептал жаркие слова: «Не уходи... не отпущу... останься... навсегда... навсегда...» Смотри, чего ему захотелось! Видно, не прочь всю жизнь тискать в своих объятиях Младшую Жену великого Повелителя.

Рассказывая потом подробно ханше об этом, молодая смазливая служанка звонко хохотала, и вместе с нею смеялась и ханша, но тут же, опомнясь, резко обрывает свой смех. Нет, вовсе не потому, что ей было неловко перед своей служанкой. А скорее потому, что, слушая предназначенные ей сокровенные слова влюбленного юноши из уст разбитной, довольной служанки, ханша почувствовала на миг, как ледяной холод больно кольнул ее сердце. Стараясь скрыть эту неожиданную для самой себя

пронзительную боль, она придирчиво и ревниво расспрашивала служанку обо всем, что происходило между ними там, на вершине минарета, и тщетно силилась при этом сохранить легкую усмешку на губах. И чем больше подробностей выводывала она у служанки, тем ошутимей становилась боль в груди. Каждый поступок, каждое слово, каждый жест страстного юноши живо отзывался в ее сердце.

Так же пристально и с тайной завистью разглядывала она чуть-чуть смущенную юную служанку, ревниво отмечая про себя здоровую алость ее тугих щек, черный, озорной блеск больших глаз, сочность полных, пылающих губ, стройность легкой, складной фигурки. Ханша даже заметила на ее лице следы особой, необычной радости — не такой легкомысленной, бездумной, как у других служанок. Это была та самая таинственная радость, которую она сама, будучи ханшей, не постигла, не изведала. Это ликование души и плоти, упоение радостью, торжество, которыми наполняется все существо женщины в редкий миг счастья и любви. Этим блаженством скряга-судьба одаривает женщину лишь однажды за всю ее жизнь, а чаще всего и вовсе не одаривает. Редкой счастливнице удается познать эту высшую радость. Суждена ли ей, ханше, такая доля? Ведь, говорят, счастье мимолетно. Упустишь из рук желанный миг — и будешь казнить себя всю жизнь. А она предназначенную ей любовь по собственной воле уступила другой. В тот день, когда она чутким женским сердцем ясно осознала вдруг сокровенное желание молодого зодчего, ханша долго и откровенно советовалась со старой служанкой. Тогда-то они и договорились прибегнуть к невинному розыгрышу. Старая служанка выбрала из свиты ханши самую смазливую, юную и хрупкую девушку. Ее нарядили, как ханшу, и отправили на вершину минарета на свидание с молодым зодчим, потерявшим от любви голову. И вот теперь сидит она, юная служанка, перед ней, сияющая, веселая, довольная, еще не остывшая от тех жарких объятий, еще взволнованная нежными и страстными словами, которые вовсе не ей предназначались, но колдовскую силу которых она извела сполна.

Ханша старалась подавить в себе непрошеную досаду и боль, взять себя в руки, ибо она вспомнила чьи-то слова, что женская ревность и зависть — всего лишь признак слабости. Ей, ханше, не пристало быть мелочной и сла-

бой. Она не желала вспоминать о том, что случилось, хотела скорее и навсегда забыть тайну, известную лишь ей, старой служанке и смазливой девице из ее свиты. И когда на следующий день она увидела, с какой поспешностью молодой зодчий заделывал зияющий зазор на вершине минарета, ханша почувствовала желанное облегчение, и вчерашняя досада уступила место удовлетворенности и душевному покою. А потом вернулся из похода великий Повелитель, увидел и похвалил минарет, и, узнав об этом, ханша сразу забыла все свои недавние тревоги, тоску и отчаяние. И вот теперь неожиданно они вновь захлестнули ее. И все, конечно, потому, что пусто на душе, потому, что властелин забыл дорогу в ее опочивальню. А подавленная душа все равно что голодный бездомный щенок, обнюхивающий каждую помойку и поневоле натыкающийся на всякую дрянь. А она — высокородная ханша, любимая жена великого Повелителя, не какая-нибудь долгополая заплюхавшая бабенка, ищущая изменных утех на стороне!

Но напрасно подстегивала она свою гордость. Горькая усмешка искривила ее губы, когда она вспомнила, что судьбой ей уготовано возлежать на ханском ложе в объятиях всемогущего Повелителя. Как бы не так! Не больно жалует ее властелин своей любовью. Не больно щедро одарил ее лаской. Это только считается, что она проводит счастливые ночи в неустомимых объятиях королевича-владыки. Все это жалкое утешение, самообман, ложь. Сколько бессонных ночей ворочается она в постылой постели? Догадывается ли о ее муках хоть одна живая душа? Неужели так ничтожна плата за долгие годы тоски? За верность и преданность? За то, что она, подобно Старшей Ханше, не дрожала над своими драгоценностями, не умножала ненужное ей добро, а щедро все потратила на строительство голубого минарета?.. Напрасные надежды... обман... ложь. Пустая затея, рожденная страхом перед одиночеством. Все живое на этом свете, даже самые ничтожные, низменные твари живут парами. И только ей одной не дана супружеская жизнь. И все это время она только и занята тем, что сама себя утешает, сама себя уговаривает и обманывает. Самую обычную жалость богом данного супруга она приняла за любовь. Самый заурядный подарок посчитала знаком особой признательности и душевного влечения. А что такое шкатулка драгоценностей для Повелителя, покорившего

половину вселенной?! Так себе, мелочь, крохи, которые он в добром расположении духа может, не задумываясь, швырнуть первому встречному нищему. Если бы Повелитель действительно любил ее или хотя бы испытывал к ней неукротимую мужскую страсть, разве мог бы он, находясь с ней столько ночей рядом, под одной крышей, в одном дворце, ни разу не заглянуть в ее опочивальню? Вспоминая теперь те сладостные, счастливые надежды, которые она в душе связывала с возвращением Повелителя и так обстоятельно и любовно вынашивала в своем воображении, ханша испытывала стыд и досаду и упрекала себя за наивность и легкомыслие. Было невыносимо жалко расставаться с той красивой мечтой. Лучше бы не наступило отрезвление. Лучше бы вновь вернулись те бесконечные дни и ночи смутных ожиданий и зыбких грез. Тогда рядом с пустоглазой тоской неизменно теплилась хоть какая-то вера в недалекое счастье, сполна вознаграждающее ее за все муки. Эта вера, эти наивные мечты утешали ее даже в отчаянии.

Где они теперь, те дивные грезы? А с какой стати она внушила себе, что так безумно любит Повелителя? Что если ее любовь — пустая выдумка? Разве может женщина, не познавшая подлинной любви другого, почувствовать в себе силу неодолимой страсти? Вряд ли... Ведь это слепое пьянящее чувство должен кто-то в ней возбудить. Не воспламенится же она сама по себе. И великий Повелитель, кажется, не успел заронить в ее сердце искорку неугасимой страсти. Тогда почему она вообразила невиданную любовь между ними? Может, это и не любовь вовсе, а выдуманное подобие любви, лишь смутное желание, навесянное истомленной, измученной душой? Или обманчивое чувство, похожее на неосуществимую, немислимую надежду молодого зодчего?

Ханша испугалась. А что, если ее догадка — истина? И разве не кощунство так думать? Не сомневается ли она в самой божественной силе, в всемогуществе всевышнего? Ханша трижды помянула создателя, поспешно прошептала спасительные молитвенные слова. Однако подозрение, возникшее так неожиданно, не оставляло ее.

В этот день она почувствовала себя еще более разбитой и подавленной. Словно тень, слонялась она из угла в угол престорной опочивальни. Ноги подкашивались, тело ныло, она будто подламывалась под непостижимой, немисловенной тяжестью. Еще дождалась вечера. И то ли

сказались долгие бессонные ночи, то ли вконец измытарили ее горестные думы, но едва она коснулась головой подушки, как ленивое, сонное безразличие мягко окутало ее. Приятная усталость медленно проникала во все поры. Это было странное, неиспытанное состояние между сном и явью. Разморенная сладостным предчувствием, она покорно и радостно отдавалась истоме. Казалось, невидимые лучи наслаждения с небесной вышины пробивались в ее огромную, одинокую опочивальню, грели и ласкали ее изнуренную плоть, пробирались до костей и растапливали ледяной наст в душе, рассеивали, растворяли тоску, печаль, боль, гнев, горестные думы, отчаяние и досаду, накопившиеся за все эти гнетущие годы, нежно нашептывали, приговаривали: «Успокойся, милая, отдохни, ни о чем не думай, не расстраивайся, не изводи себя понапрасну», гладили ее чудодейственной мягкой ладонью, избавляя от непосильных мук и терзаний. Глаза ее сомкнулись; плотная белая пелена заполнила все вокруг, сознание погрузилось в дрему, и ханша сама уже не понимала, спит ли она или бодрствует...

И все же какая-то частица сознания стерегла вечернюю тишь, зорко вглядывалась в дрожащий белесый луч. Сердце, уставшее от волнений, понемногу успокаивалось; тяжелый, все умиротворяющий сон, неумолимо подкрадываясь, все уверенней заключал ее в свои теплые объятия. Разнежившись, ханша безмятежно раскинулась в постели, но крохотный очаг сознания не дремал, продолжал бодрствовать, сторожко оберегая ханшу от любопытствующего взора...

И вот в неслучайно огромную опочивальню, бесшумно открыв отделанную золотом грузную дверь, вошел кто-то, крадучись, на цыпочках. Даже не вошел, а словно вплыл, растворяясь в сумраке, и нерешительно застыл у порога. Неожиданный ночной гость испугал ханшу, она пыталась вскочить, вскрикнуть, но что-то сковывало ее, как бы пригвоздило к постели, не позволяло шелохнуться. Даже руки были ей неподвластны, точно связанные. Она силилась разглядеть того, кто, словно призрак, неподвижно стоял возле двери, вглядываясь до боли в глаза, но белесая, дрожащая мгла, словно плотной кисеей, скрывала черты лица. Она видела лишь смутные очертания фигуры, точно под толщей колыхающейся воды. Вот он, таинственный пришелец, пошелохнулся, медленно, неслышно направился к ней, но по-прежнему не различить его лица,

он точно плывет, то приближаясь, то удаляясь, в серовато-мутном потоке... Ближе... ближе... почти уже рядом. Но кто он... кто? Ханше он чудится знакомым. Да, да... где-то она его видела. И эти глаза, большие, ясные, с загадочным блеском в глубине зрачков. Взгляд, по-юношески открытый и смелый, отуманен неведомой печалью. Он будто жалуется ей, о чем-то умоляет, и невыразимо больно смотреть в эти кроткие, преданные глаза. Она их знает, она их видела часто, может, даже каждый день. Но чьи они? Отчего ей так грустно и одновременно тепло от них? Отчего печаль в его глазах так созвучна, так понятна ее горю? Почему ее душа так нежно, так чутко отзывается на безмолвную его мольбу?.. О, всемогущий, всеблагий!.. Почему она не может очнуться? Где и когда она видела эти колдовские глаза? Нет... ей только померещилось. Никто никогда нигде не заглядывал так проникновенно в ее душу. И все же откуда она их знает?.. Кто он, этот искушитель? Почему она не может вспомнить его? Ведь он и раньше смущал ее покой, приводил в смятение, в отчаяние...

Тянушая истома, блаженная нега вдруг вновь уступили место лихорадочной тревоге. Ну, наконец-то, вспомнила... все вспомнила. Да, да... только у молодого зодчего она видела такие печальные глаза. Такую же грусть и безмолвную мольбу выражал еще недавно и построенный им минарет. Теперь она узнала не только покорно-кроткий взгляд, но и смуглое, овальное лицо, прямой, резко очерченный нос, полные, пухлые губы. Конечно же, это был он, юноша-зодчий, творец голубого минарета. Но... как он проник в ханский дворец, в который не залетит незамеченной даже муха?.. Как пропустили его многочисленные охранники и слуги?.. Она считала, что он навсегда охладел к ней после того случая. Выходит, не угасла в нем страсть. Выходит, напрасно она затеяла невинный розыгрыш с юной служанкой. И вот он сам пришел к ней в опочивальню. Что будет, если застанет его здесь старая служанка? Безумец, он не только сам подставляет голову под секиру палача, но позорит и ее честное имя.

Ханша порывалась крикнуть на зарвавшегося наглеца, наказать его за назойливость, позвать слуг, но у нее не было голоса, будто кляпом заткнули рот. Однако молодой зодчий, должно быть, догадался о ее гневе: подойдя почти вплотную к постели, он вдруг отирянул, отшатнулся, заспешил к выходу. Большие, печальные глаза

округлились, как у испуганного ребенка. Сердце ее зашлось от жалости. Она подала знак: «Не уходи... постой... Иди ко мне...»

Нежданный ночной гость растерянно застыл у двери, не зная, какому капризу ханши повиноваться. Она протянула к нему обе руки, позвала настойчивей, и он, еще не веря, робко шагнул навстречу. Теперь ее охватило жгучее нетерпение. Ну, скорей же, смелей... В глазах его мелькнули испуг, надежда и желание. Все еще робея, он неслышно добрался до постели, осторожно коснулся ее пальцем. Они обменялись быстрым смущенным взглядом. В это же мгновение ханша почувствовала страх. Если она сейчас упустит этот миг, то навсегда лишится нерешительного, чистого юноши с покорными, печальными глазами. Преодолевая стыд и робость, она вся подалась, потянулась к нему, обвиня его руками и откинулась назад, задыхаясь, обессилевая от судорожных, нетерпеливых объятий. В воспаленном сознании мелькнула вдруг догадка: все эти годы, изнурая свою душу и плоть, она, оказывается, желала, ждала только его, его одного, его неумелую ласку и тихую, преданную любовь. И вот то, по чему она томилась долгими бесплодными ночами, неожиданно сбылось, и теперь она уже никогда, никогда, никогда не выпустит его из своих объятий, никакая черная, злая сила не разлучит их, не отнимет его, желанного, любимого, единственного. Она изо всех сил, как в безумии, прижимала его к себе, словно хотела слиться с ним, раствориться в нем, и он, все более расплаясь, чутко и благодарно откликнулся на ее немой зов. Тела их сплелись, сплелись в ненасытной жажде и ярости и, сливаясь в единую плоть, в единую душу, покорно отдались могучему потоку страсти, уносившему их от всех тревог и волнений обыденной жизни. Ханша не сопротивлялась, она радовалась этому неведомому необузданному желанию, от которого мутился рассудок и сладкая нега огненной волной растекалась по жилам. Она чувствовала, как наливалось тугой силой упругое, гибкое тело юноши, как все больней стискивали ее крепкие молодые руки, как сильно, толчками колотилось его сердце. Она, как могла, подбадривала его, радовалась его неистовству, пылкости и твердила, как заведенная: боже, не дай иссякнуть этому огню, этому буйству, пусть это блаженство, этот сладкий миг продлится долго, долго, долго... до конца отпущенных судьбой ее дней... навсегда... И уже чудилось ей, что дошла до все-

вышнего горячая ее мольба, что не будет конца этому безумству, великому торжеству плоти, как вдруг ощутила она странную слабость, разбитость во всем теле и расжались как-то сразу огненные тиски...

Долго лежала ханша, вконец опустошенная, измученная, будто после тяжкого приступа. Только что огнем пылавшую грудь ожег ледяной холод. Она медленно открыла глаза. Мягкий, робкий свет зыбился в опочивальне. Она протерла глаза, взглянула вокруг — ни единой живой души. Странно... Тускло мерцала вдали тяжелая, золотом обитая дверь.

Чувствуя, как в ней вскипает беспокойство, ханша посмотрела в сторону окна, потом взгляд ее скользнул по хаузу в середине, по сумрачным углам. Ни намека на то, что кто-то был здесь ночью.

Только теперь ханша обратила внимание на измятое, скрученное пуховое одеяло, на истерзанную постель. Не веря своим глазам, она оглядела себя, задумалась на миг и вдруг с брезгливостью и ненавистью отшвырнула ногой скомканное одеяло, словно то был уж, подползавший к ней.

Вновь охватила ее ярость, холодным обручем скрутила, и злые слезы покатились из глаз. Уже через мгновение от слез грудь стала мокрой. Она не вытирала, не сдерживала их. Казалось, горячие слезы, стекая на грудь, растапливали в ней коросту тоски и муки и приносили желанное облегчение.

Ханша плакала долго, иступленно, вздрагивая худенькими плечиками. Потом, выплакавшись, враз обессиления, затихла. Голова раскалывалась, больно жгло в груди. Слезы, приносившие обманчивое облегчение, отравой проникали в сердце.

Так до утра и не сомкнула глаз. В тот день она словно прозрела, поняв причину загадочной тоски, неотступно преследовавшей ее столько времени. Лишь в этот день впервые и как-то неожиданно мужественно создалась она в своем несчастье и окончательно смирилась с тем, что счастье покинуло ее, покинуло, может, навсегда, а скорее, оно и не посещало ее вовсе, и суждено ей до конца жизни прозябать в тоске и скорби.

Утром, как всегда, распахнулась грузная дверь и вслед за старой служанкой ввалилась в опочивальню по-прежнему беззаботная, радостная свита. Девушки шумно подбежали к постели, окружили ханшу. Она с недоумени-

ем и досадой отметила про себя их бездумную оживленность, незывлемое довольство жизнью и собой, а девушки, ничего не понимая, растерянно уставились на нее подкрашенными глазками, разглядывали ее, осунувшуюся, побледневшую, погасшую за одну ночь: глаза ввалились, в глубине зрачков застыли тоска и смирение, покорность перед своей сирой участью. Старая служанка подала знак, чтобы все немедленно вышли, и прижала к груди измученную маленькую госпожу, как ребенка, и погладила ее по волосам:

— Что с тобой, милая?! — зашептала старуха. — На тебе лица нет. Неужто великий Повелитель невзначай обидел? Какой-то хмурый, странный вышел он от тебя ночью... Что же могло случиться?..

У ханши округлились глаза. Что тут мелет старуха?

— Что-о?.. Великий Повелитель? Он.. разве был здесь?

— Ну, да... ночью... Только уж больно скоро он вышел...

Ханша как подкошенная рухнула в постель. Старая служанка испугалась, склонилась над помертвевшей ханшей, смекнула, что та в беспамятстве...

Лишь к обеду ханша пришла в себя. У старухи, сидевшей у ее изголовья, она ни о чем не спросила. Старуха тоже не осмелилась допытывать госпожу. Только время от времени бросала на нее встревоженный и виноватый взгляд.

Да-а... за всю свою жизнь ханша лишь однажды согрешила перед мужем — великим Повелителем. И случилось это не наяву, а лишь во сне. Но даже это ее единственное прегрешение было мгновенно замечено зоркоглазым властелином. Потому он и не задержался ночью в опочивальне, ибо собственными глазами видел, как предавалась она во сне низменному блуду. Потому и вышел он гневным из опочивальни, ибо понял, что в воссбражаемых объятиях другого мужчины бьется в сладостных судорогах юная его жена...

Глухое, неутешное горе, как тяжкая, неподвижная духота в знойный полдень, затмило сознание ханши. Она не обронила ни одного словечка, даже подавляла легкий вздох, не желая, чтобы кто-то догадался о ее боли и смятении.

Жизнь отныне протекала как в тяжелом сне. Все вокруг лишилось смысла и притягательства. Ханша в душе

смирилась со своей виной, осознала свой страшный грех и была готова к любому наказанию. Перед великим Повелителем виновата она одна. Молодого зодчего никто ни в чем не может упрекнуть. Он безрассудно любил ее, но не прикоснулся к ней даже пальцем. Даже во сне она отдалась ему сама, по собственной воле, в порыве слепого, неподвластного чувства. Кто знает, как бы она повела себя, случись это наяву... Но теперь она хоть поняла, какое желание изводило ее так долго и как случается, что дикая страсть затмевает рассудок. Поняла: то, что она считала возвышенной, чистой любовью к великому Повелителю, было на самом деле низменным томлением бабьей плоти, жаждущей крепких и грубых мужских объятий. И если бы молодой зодчий каким-то образом сумел проникнуть в ханский дворец и пробиться через все преграды в ее опочивальню, она — очень может быть — поступила бы так же. Вряд ли даже наяву нашла бы она в себе силы противостоять жадному зову плоти, устоять перед горячей мольбой пылкого юноши и обуздать неодолимое желание, от которого кровь вскипает в жилах. Что бы там ни говорили, а неконную бабью суть не скроешь никакими пышными ханскими одеяниями. Искушение, ввергающее во сне душу в грех, непременно скажется и проявит себя и наяву. И потому ханша сознает свою вину, супружескую неверность, измену, бесчестие и покорно примет любое наказание, самую страшную кару за бабью слабость, за все содеянное ею.

Если бы сейчас великий Повелитель вошел к ней и отодрал бы за волосы, как последнюю девку, избил, истонтал, как поганую тварь, исполосовал ее шкуру и переломал все кости и швырнул бы ее грешное тело на съедение шакалам, она не сопротивилась бы, а покорилась судьбе и даже осталась бы довольной; может быть, такая позорная смерть была бы лучше ее теперешнего прозябания. Но создатель не дал ей даже такого счастья — счастья сносить побои мужа. Выходит, нет горемычнее ее на свете. В отчаянии она была готова исцарапать себе лицо, рвать на себе волосы, биться головой о стенку.

Долгими-долгими днями, томясь от одиночества и тоски, и нескончаемыми безрадостными ночами, предаваясь изнуряющим думам, она не раз с жутким наслаждением размышляла о том, как погасить крохотный живой лучик, умирно мерцающий где-то в укромной глубине ее давнего, ожившего, безжизненного тела. Она находила много спо-

собою разом покончить со всеми муками и, казалось, обладала достаточными мужеством и решимостью для осуществления любого из них, но почему-то так и не осмеливалась переступить заветную межу. Нет, нет, в душе она сознавала, что это не от страха и не от того, что слишком дорожила лживой жизнью на этом свете. Низменное прозябание, именуемое жизнью, ей так же омерзительно, как и ее грешная, жадная плоть. Она окончательно смирилась с тем, что ее недавний чувственный сон был последней вспышкой так и не разгоревшейся страсти, последний порыв, последнее стремление души и плоти к счастью, к жизни. Сейчас, вспоминая подробности того сна, она уже не испытывала ни стыда, ни досады, но прекрасно сознавала, что мечтать о том мгновении так же бессмысленно и кощунственно, как бессмысленна и кощунственна сама жизнь без душевного огня, без желания. Значит, цена ее дальнейшей жизни — ржавая монетка. Сейчас она с покорностью и даже с радостью восприняла бы любое наказание, к которому приговорил бы ее великий Повелитель. А сама она не смеет покушаться на свою жизнь, какой бы ни была она бессмысленной. Ханша, конечно, не может точно знать, как истолковали бы ее роковой шаг люди, но хорошо чувствует, как опозорила бы она своим поступком честное имя Повелителя. Нет, самовольной смертью своей она не омрачит славную жизнь богом данного супруга.

Повелитель между тем не давал о себе знать. И ханша от зари до зари тревожно озиралась на тяжелую кованую дверь. Огромная опочивальня казалась ей теснее и мрачнее могилы. И тогда к горлу подкатывало удушье, и она была готова вскочить и с топором в руке ринуться на эту безмолвную, бездушную дверь, словно заточившую ее в подземелье, лишившую ее жизни и доброго человеческого общения. Возможно, изрубив в шепки ненавистную дверь, она выплеснет разом весь гнев, всю злобу, от которых шуплое ее тельце трясется, как в лихорадке, а сердце сжимается камнем.

В один из этих невыносимо тягостных дней ханша позвала старую служанку и в сопровождении сенты отправилась на прогулку. И встречные слуги, и привратники, и караульные воины по-прежнему учтиво кланялись ей. Но чудилось ханше, что не проявляют они бывшего подобострастия, что взирают на нее незаметно с жалостью и состраданием. Впрочем, и она старалась не задержи-

вать ни на ком взгляда. Однако, отворачиваясь, чувствовала, как горит затылок, словно кто-то вслед ей показывал язык. И веселье, обычная оживленность девушек из свиты казались ей нангранными.

Ханша сейчас избегала тех мест в придворном саду, где еще недавно — в отсутствие Повелителя — бывало, так беззаботно резвилась со свитой. Теперь ее невольно притягивали укромные уголки и заглохшие тропы, где ее не преследовали любопытные взоры. Но и там ей становилось не по себе. Казалось, сам воздух, точно всевидящий глаз соглядая, впивался в нее иголками. И ханша поспешно возвращалась во дворец.

Кроме этой огромной и жутковатой, как пасть сказочного дракона, опочивальни и узкого оконца, из которого можно обозревать уголок сада, ничего ей больше в жизни не осталось. Даже думы все иссякли, все передуманы.

Как смоляная нить, тянутся бесконечно-унылые дни. Еще томительней и тревожней нескончаемые ночи. Ночь — пытка, когда ханша сама себе становится одновременно и ангелом добра, и ангелом зла, подвергает себя мучительному допросу, выносит себе беспощадный приговор. Ночью поневоле размышляешь о том, о чем при божьем свете и вспоминать опасаться. Сейчас ханша презирала и ненавидела не только себя, но и того влюбленного юношу, который всему белому свету открыл свою сокровенную тайну, и голубой минарет, построенный руками этого безумца, и тот памятный день, когда Повелитель прислал ей шкатулку с драгоценностями и у ней впервые возникла мысль о постройке невиданного минарета, и девушек из свиты, и преданную старую служанку, так горячо подерживавших ее намерение, и Старшую Ханшу, чванливость и ревность которой оказались первопричиной всех ее несчастий. Велика была ее обида даже к отцу-матери, произведшим ее на свет, ввергнувшим ее в этот проклятый мир.

И потому... потому будь проклята черная ночь, безмолвным призраком заглядывающая в окно! Да будет проклят холодный мраморный хауз с его болтливо-монотонным фонтанчиком-искусителем! И постылая постель, травящая и без того измученную плоть, и пухово-душное одеяло, подстрекательски выведавшее в ту ночь ее глубоко захороненную женскую тайну, — будьте прокляты!.. И вам, небесам, равнодушно взирающим на весь земной

ад,— проклятие! И тебе, многотерпеливой страдальце земле, покорно сносящей все беды и горести,— проклятие! И да будет проклят весь этот непостижимо-огромный и презрительно-холодный мир, в котором бесследно гаснут лучшие человеческие порывы и возвышенно-светлые мечты!..

Охваченная отчаянием и мгновенной, как вспышка, яростью, ханша неистово проклинала весь белый свет и, не боясь самой страшной кары, помянула недобрым словом самого всевышнего, сотворившего эту юдоль печали, и даже в таком безумии только одного-единственного человека не коснулись ее проклятия — великого Повелителя. Ханша сама удивлялась этому. И она не могла объяснить себе причины. Разве не он, великий Повелитель, превратил ее жизнь в ад? Вот уж сколько времени мятарствует ее душа в одинокой опочивальне! Разве он не догадывается о ее беспросветной тоске? Разве ему неизвестно, как каждый день она казнит себя? И если он сам убедился в ее греховности, то чего он медлит? Или он понимает, что мучительно-медленная смерть от постоянных душевных терзаний, от собственной боли, ярости, досады, гнева и отчаяния — более суровая кара, нежели секира палача? Может, он решил насладиться именно такой изощренной местью?

Только в чем она, улада? Разве от ее мук ему станет легче? Разве мутная людская молва и пересуды не доставляют ему такую же боль, как и ей? Но если ее муки приносят ему утешение, то пусть ее мучает и впредь, сколько душе угодно. Пусть услышит, пусть узнает то, чего никогда не было и не могло быть... Пусть пеняет на себя. Так ему и надо. Ведь это он загубил, растоптал ее молодую жизнь, обрек на непосильные муки... Ну и пусть знает. Пусть сам и расплачивается...

Ханша спохватилась, испугалась этой кощунственной мысли. Боже милостивый, что она мелет?! Прости низкородную бабу, прости ее подлый, злой язык, осквернивший ее невинную душу!.. Как она могла забыть, что ей, благородной супруге великого Повелителя, недостойно, подобно бабе-служанке, опускаться до мелких склок и грязной мести?

И, испытывая к себе все большее омерзение и даже гадливость, она поспешно прошептала затвердившиеся в памяти беспомощные слова молитвы и умоляла всевышнего сурово наказывать ее за все прегрешения, но простить

ее только за то, что она, поддавшись слабости и отчаянию, вдруг позволила себе кощунственные мысли о великом Повелителе. И, понемногу обретая душевный покой после недавнего смятения и ярости, вкладывая все оставшие душевные силы в жаркие покаянные слова, она со всей искренностью, на которую было способно ее истерзанное сердце, просила всевышнего — пока чистую душу ее не осквернили подлые и низменные думы — призвать ее скорее к Страшному суду, к тому очистительному святилищу, где она сгорит в огне собственных грехов.

И горячая эта мольба, проникая, просачиваясь в самую душу, казалось, растапливала ледяной наст сомнений и скорби, и крупные, прозрачные слезы вновь хлынули из ее глаз...

● ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ

1

На берегу могучей реки он вышел из крытой повозки и пересел на верховую лошадь. И когда повозки начали грузить на паром, он в сопровождении свиты направился к броду. Верхушка лета с пещадным зноем была позади. В эту пору могучая река смиряет свой буйный нрав, не бурлит, не бушует, как в весеннее половодье, размывая глинистые берега, а течет спокойно и величаво. Обычно бурая, мутная вода ее к этому времени заметно светлеет, обретая местами синеватую прозрачность.

Брод оказался на неглубоком месте, там, где крутой, обрывистый берег вдруг становился пологим, а река, разлившись вширь, образовала множество узких протоков, похожих на косички юной красотки. Раньше через этот брод переправлялись бесчисленные торговые караваны с востока на запад и с запада на восток, но столь огромного войска, под тяжестью которого прогибалась земля, древняя река и такой же древний брод еще не видывали. И, возможно, потому в удивлении и испуге сбились в кучу на крутояре груженные караваны, арбы с дынями, арбузами и фруктами, а также разномастный черный люд из

прибрежных кишлаков — конные и пешие, на ишаках и кривоногих верблюдах, — спешащий, должно быть, на базар. Толпа, с опаской озираясь на грозных воинов из головной части, прокладывая дорогу несметному войску, жадно пялила глаза на великого Повелителя, восседавшего на ослепительно-белом, со смоляной челкой жеребце в плотном кольце копыеносцев-телохранителей.

Великий Повелитель, казалось, не замечал любопытных взоров; откинув голову и вглядываясь в далекое марево, он сидел в седле прямой, неприступный и непроницаемый. Серебряная лука седла и стальные стремяна, поблескивая в лучах солнца, как бы подчеркивали суровое выражение его лица.

Могучая река Джейхун, берущая свое начало от снежных вершин гор, катила крутогрудые волны. Здесь, у брода, волны, казалось, давали себе передышку, замедляли бег и тихо улыбались, резвясь на солнышке, но когда кони вошли в воду, улыбка эта мгновенно исчезла, как бы растворяясь в поднимавшейся из-под копыт муть.

Повелитель сохранял невозмутимый вид, словно ничего вокруг не замечал. Он слегка отпустил поводья, и конь боязливо переступал ногами, поеживался от ледяной горной воды, обжигавшей щиколотки... Конь благополучно одолел все бесчисленные узкие протоки, но когда остался последний широкий ручей на дне долины, неожиданно споткнулся. Великий Повелитель, расслабившийся в седле, вдруг резко покачнулся, взмахнул рукой, в которой зажал рукоять камчи, и тут же почувствовал, как что-то соскользнуло с указательного пальца. Сердце Повелителя дрогнуло. Он поспешно покосился на палец и не увидел большого серебряного перстня, украшенного редким камнем, напоминающим кошачьи глаза, который встречается лишь в стране зулусов. Много лет тому назад этот перстень подарил ему старший тесть на смертном одре, назначая зятя вместо себя верховным эмиром.

Он долго смотрел на бледный след, оставшийся от драгоценного перстня на указательном пальце. Двое телохранителей, заподозрив неладное, услужливо кинулись к Повелителю с двух сторон. Он полоснул по ним гневным взглядом и выпрямился в седле как ни в чем не бывало. Руки привычно натянули повод. Лицо обрело прежнее непроницаемое выражение. Телохранители поспешно отвели глаза и приотстали на положенное расстояние.

Повелителю, однако, стало как-то не по себе. Он был в недоумении: не знамение ли судьбы это? С серебряным перстнем, украшенным редким камнем, он никогда не расставался — ни в изгнании, ни в далеких походах. Он служил ему священным талисманом. И то, что он сегодня вдруг так неожиданно спал с пальца, было явно не к добру. Особенно в самом начале нового похода это можно расценить только как дурной знак.

Раздражение и мнительность вновь проснулись в нем. Он злился сейчас на караульных воинов, посланных заранее вперед, пока еще войско находилось в городе. Как могли они так оплошать? Собрали эту чернь, эту бесчисленную толпу у самого брода, как на зрелище. На этот раз он выступил в поход совсем не так, как прежде. Ему не нравилось в день выступления быть на виду праздной толпы. А сегодня, как назло, по обе стороны противоположного берега толпится черный сброд, и караульные части не смогли (а может, не хотели?) вовремя разогнать его, то ли по причине поспешного выступления, то ли потому, что брод находился как раз под главным городом на пересечении девяти дорог, где бывает многолюдно в любое время года. Ранее, бывало, он особенно заботился о том, чтобы по пути прохождения войска и в первую голову там, где проезжал он сам со своей свитой, не попадался в глаза ни один случайный путник. И это не было просто капризом. Ведь что ни говори, а далеко не каждый рвется в кровавый бой и жаждет ни за что ни про что сложить свою голову на чужой стороне. И нетрудно догадаться, что творится на душе того, кто не по доброй воле своей отправляется в далекий поход, и, дабы черные мысли не прокрадывались в его опечаленную голову, лучше ему держаться подальше от мирной толпы. И потому, когда кернан своим призывным оглушительным ревом оглашали столичный город и дробь барабанов проникала во все закоулки, жители, не выходя из дворов, в окна, щели, через заборы наблюдали, как многотысячное ханское войско выступает в поход. И стражники заблаговременно прогоняли всех, кто попадался на протяжении двухдневного пути. Так бывало всегда. Так не вышло на этот раз. Заботиться о подобной мелочи ему и в голову не приходило. И вот чем это обернулось. Выходит, ни в чем нельзя оплошать. Стоит лишь на мгновение закрыть глаза или раз смолчать, как много все трещит по швам и каждый перестает верить из новинки. Повелитель

был зол сейчас на тысячника, предводителя головной караульной части, однако сдерживал себя, крепче стискивал зубы. Ничего, попадись только на глаза, и покаешься, ох, как покаешься, голубчик, за непростительную оплошность...

Повелитель искоса поглядывал по обеим сторонам. Белый жеребец выбрался на сушу. Справа и слева застыли стражники, воздев к небу копыта. Сквозь тесные ряды копий, как сквозь решетки, колыхалась черная толпа. От арбузов и дынь, наваленных горой на арбы, от мешков, туго набитых изюмом и сушеным урюком, от корзин и ящиков с виноградом и ягодами струился в воздухе дурманяще-сладкий аромат. И этот запах, такой мирный, земной, приятно щекотавший ноздри и напоминавший тепло родного очага, как бы обесмысливал грозный, ошетинившийся вид огромного ханского войска. Запах земных даров навевал щемящую грусть, говорил о добре, о человечности, о разлуке, и разлуке, может быть, навсегда, навсегда...

Повелитель, все так же надменно закинув голову, чутко вслушивался в каждое слово, в глухой ропот толпы. Вначале он ничего не мог различить сквозь частокол копий, но потом черная, безликая толпа за стражниками словно поредела, пешные, конные и арбы-двуколки куда-то исчезли, и он явственно увидел ряд длинношеих дромадеров, опустившихся на колени. Купцы-чужестранцы в пестром, дикийном одеянии благочестиво склонили перед ним головы. Как скошенный камыш, прижимались к пыльной обочине полосатые круглые шапки, поярковые напакхи, плотно облегающие тибетейки, мохнатые ушанки, белоснежные чалмы, и все это напомнило Повелителю пышный пестрый луг, по которому только что прошла коса. Взгляд его привычно скользил по склоненным головам и спинам и вдруг споткнулся о что-то одиноко торчащее на арбе, запряженной ишаком. Повелитель поневоле вкопился взглядом в этого дерзкого смельчака, продолжавшего стоять во весь рост, когда все кругом пали перед ним ниц в прах. Он был сух и жилист и стоял на низенькой двуколке в какой-то напряженно-скованной позе. Кожа точно приросла к костям, голова сильно откинута назад, длинные, костлявые руки сложены на груди, лицо обращено к небу. Между покатым, открытым лбом и широкими, обострившимися скулами зияли черные провалы. Ах, вот оно что... Этот высокий,

тощий человек, застывший на двуколке камнем-стояком, оказался слепцом. И Повелитель тут же узнал его. Узнав по скулам и бугристым вискам. Да-а... горе не пощадило его. Иссохнуло юное, сильное тело. На тонкойшее выпирал большой хрящеватый кадык.

Тогда, при той первой и последней встрече, он был по-юношески нежен и красив. На костлявых теперь руках играли тогда упругие мышцы. И тогда, помнится, он сразу же обратил внимание на этот чистый крутой лоб.

2

Он вошел чуть смущенно и низко поклонился. Как у каждого, кто появлялся перед великим Повелителем, на его лице тоже отразилось волнение. Однако в нем не чувствовалось ни самодовольства или особой гордости за совершенное, ни — тем более — холопской угодливости или подчеркнутого подобострастия. Со сдержанным достоинством и милым юношеским обаянием он отвесил учтивый поклон и присел на колени. И поклон был коротким; юноша тут же выпрямился и открыто посмотрел на Повелителя.

Зодчий был юн и красив; взгляд внимательный и искренний; движения мягкие и уверенные; он, несомненно, обладал благородной, возвышенной душой. Повелитель это сразу понял, и ледяной холодок подкатил к его сердцу. И еще заметил Повелитель, что в юноше скрыты таинственная сила, непостижимо-загадочное обаяние, которое способно мгновенно околдовать, пленить любого человека. Правда, Повелитель не сразу догадался, в чем заключается эта таинственная сила. Юноша сидел спокойно, сосредоточенно, будто прекрасно сознавал, для чего вызвали его сюда. Он не ерзал, не озирался затравленно, не оправдывался клятвенно, не просил пощады. Он выражал готовность и даже презрение к любой участи, к любому приговору.

Пытливый взгляд Повелителя долго буравил юношу, молча допрашивал его. Тот не дрогнул, не шелохнулся. Тогда Повелитель подал знак главному зодчему, сидевшему у порога. Старый мастер поспешно подошел к юноше, дернул за рукав. Юноша, как бы очнувшись, поднял голову. И тут Повелитель увидел под высоким чистым лбом его громадные, влажные глаза, излучавшие мягкий, спокойный свет. Как ясное ночное небо в летнюю пору вбирает в себя отражение мерцающих звезд, так в боль-

ших черных очах его сосредоточилось в единый пучок отражение многих самых противоречивых человеческих чувств. И молчаливое удивление, как бы означавшее: «неужели ты выпустишь меня отсюда живехоньким и здоровым?!», и мгновенно вспыхивавшая в душе радость, и бесконечная благодарность и признательность, и предельная честность и откровенность, неспособность утаить самый ничтожный грех, и искренность, по-детски наивная и трогательная, и сомнение в подлинности того, что с ним происходит, и страх и надежда — все-все разом отражалось в глазах юноши. И они, глаза эти, навсегда врезались в душу великого Повелителя. Открытый, честный взгляд молодого зодчего не оставлял в душе никаких сомнений, убеждал его в справедливости намека Старшей Ханин, приславшей ему червивое яблоко. С этого мгновения больше, как плошка, лучистые глаза неотступно преследовали Повелителя и раскаленными угольями жгли ему сердце.

Он знал, конечно, великий Повелитель, что юноша, сидевший перед ним, обречен, что, пройдя через все железные и дубовые двери, он больше не увидит солнца, ибо отправится в каменное подземелье, куда не проникает ни единый лучик. И, пылливо вглядываясь в черные, влажные, как у верблюжонка, глаза, выражавшие полную покорность судьбе, Повелитель, однако, не испытывал жалости. Наоборот, два зрачка — два раскаленных саксаульных уголька — еще немилосердней жгли ему грудь.

Да-а... видно, такими и бывают колдовские очи, о которых рассказывают в сказках и поют в песнях. Они смотрят искренне, преданно, умоляюще и навевают сладкую печаль, вызывают к жалости и состраданию. Колдовской взгляд приносит нетерпеливому мужчине гибель, а у нетерпеливой женщины отнимает честь. И гибель, и бесчестие происходят от жалости, от душевной мягкости и слабости. Вероятно, от них идет и пагубное стремление у иных безумцев переступить через законы и порядки, установленные великим Повелителем на благо презренного человеческого рода.

Повелителю, конечно, неведомо, где обитают духи сомнения и соблазна, Иблис и Азazel, о которых говорится в священных книгах, но упорно чудится ему, что эта печная сила свила себе гнездовье в тайниках человеческой души.

А что еще способно смутить легко ранимую душу, кроме слова и глаза? Думая об этом, Повелитель каждый раз испытывал смятение и тревогу. Он долго еще не мог оторвать взгляда от двери, закрывшейся за юношей. Светлый, чистый взор его будто остался здесь, рядом, в ханском дворце. Глаза с ярко полыхавшим огнем в глубине зрачков, будто не мигая, следили за каждым его шагом, за каждым движением.

Повелитель тревожно оглянулся вокруг. Он не решился повернуться спиной к двери, за которой только что исчез молодой зодчий с большими, все понимающими и все видящими глазами. Он медленно отступил назад и присел возле мозаичного хауза с говорливым прозрачным фонтанчиком. Он не знал, как отделаться, как избавиться от назойливого, точно наваждение, преследующего взгляда. Неужто до конца дней своих не даст ему покоя этот в самую душу проникающий взор? Должно быть, такое же смятение испытала и юная ханша, впервые встретившись с молодым зодчим. Видно, эти глаза с таинственной поволокой взбудоражили и ее нескрепшую душу, и она не однажды впадала в отчаяние, не зная, как избавиться от их колдовских чар. Только что проку от отчаяния слабой женщины?! У нее даже нет силы, чтобы дать отпор подлому искусителю. У всякой самки всегда один выход, одна расплата. Там, где мужчина зачастую жертвует головой, женщина откупается ценой чести...

Ладно... не о том сейчас речь... Как должен в таком случае поступать грозный повелитель, не знающий пощады к своим врагам,— вот над чем следует поломать голову.

Мысль, точно норовистый неук, вырвалась было на волю, но Повелитель, как опытный наездник, круто осадил ее. Губы скривились в ухмылке. О чем тут еще думать? Разумеется, он его прикончит. Песком засыплет жадные глаза, позарившиеся на чужое добро.

Однако и это неожиданное решение не утешило душу Повелителя. Разве он посмеет замахнуться мечом на невинного юнца, спокойно и добродушно взирающего на своего господина?! Разве он не привык карать жестоко только кровного врага, полного мести и злобы? Естественно желание погасить блеск ненависти во взоре противника. Только взгляд, разящий, как отравленная стрела, способен возбудить кровь и подстегнуть слепую ярость. Тогда свалившийся гнев душил тебя, как водост-

нувший шею мокрый волосяной аркан, и скрежещут зубы, будто рот набит песком, и кровь упругими толчками бьет в виски. И эту огненную ярость в силах погасить лишь потоки поганой крови врага. Черная кровь, сочащаяся из рваной глотки противника, смывает глухую злобу и ненависть, обложившие грудь цепью кряжистых гор, и спадает пелена с воспаленных глаз. А рубить покорно склоненную голову — все равно что отсечь булатной саблей хвост чесоточного ишака. Пролить кровь беспомощного горемыки так же омерзительно, как раздавить невзначай жабу под ногами. А ведь в темных очах юного зодчего не было даже намека на ненависть. И это обескураживало и раздражало Повелителя больше всего.

Нелегкая и опасная, как острие меча, судьба выпала на долю Повелителя, и жизнь он прожил богатую на события и испытания, однако с таким случаем столкнулся впервые. Он очутился вдруг на распутье, не мог подчиниться ни гневу, ни холодному рассудку. Сколько бы он ни думал, решение не возникало. В какую бы сторону ни рванулась лихорадочная мысль, она всякий раз наталкивалась на беспощадный и неразрешимый вопрос. Точно такие же огромные, с застывшей печалью и тайным укором глаза он, помнится, видел еще у кого-то. У кого? Когда? По какому поводу?.. Это был невинный, почти детский взгляд, такой доверчивый, наивный, умоляющий, что при одном воспоминании о нем заходило сердце.

Невинный взгляд... Острая мысль Повелителя, настойчиво подбиравшаяся к истине, каждый раз спотыкалась на этом слове. Да-да... невинный взгляд... Откуда?.. Где?.. Какая там, к дьяволу, невинность, если этот взгляд нагло шныряет по твоей супружеской постели?! Похотливый взгляд, устремленный на подол твоей богом данной супруги, разве не опасней, не кощунственней вражеского копья, нацеленного на твой очаг? Разве это не высший стыд, не самый страшный позор для любого мужчины, не говоря уже о нем, всемогущем владыке вселенной? К чему эти запоздалые земные поклоны, если он опозорил его золотокоронную голову? И почему он должен прощать там, где не простит даже последний нищий? Разве не высшая честь и назначение мужчины оберегать покой и мир родного края, почитать везде и всюду священный дух предков и сохранять святость и крепость домашнего очага, верность и любовь супруги? И как мог

так оплошать великий творец, сделав честь и достоинство высокородного мужчины всецело зависимыми от мотыльковой прихоти низкородной бабы — рабыни собственной низменной чувственности и страсти?! Видно, в этом заключается единственное ущемление в отношении мужчины, допущенное всемогущим творцом...

Повелитель вскочил в досаде и, тяжело ступая, направился к окну. Были бы сейчас перед ним эти лживо-невинные глаза, он выколол бы их собственноручно. Выглянув в окно. Повелитель опешил: с тем же печально-пристальным выражением во всем своем облике, словно ничего не подозревая, смотрел на него голубой минарет. Ах, вон, оказывается, где он видел еще эти глаза! Да, да, еще тогда, при первой же встрече, его поразило что-то таинственное, непостижимое в минарете, и теперь он вдруг сразу понял, что тайна эта — в скорбно-молчаливой мольбе и укоре, так искусно выраженных зодчим в камне. Вот так, конечно же, минарет-искуситель днем и ночью смотрел в лицо юной ханши. И та, должно быть, тоже была вначале поражена и обескуражена и лишь потом, возможно, догадалась о подлинной тайне, заключенной в его облике. Выходит, в своем творении зодчий выразил себя, свое сокровенное желание, сказав тем самым то, что он не осмелился выразить словами. И, надо полагать, в душе надеялся, что со временем юная ханша сама поймет его молчаливый намек. Выходит, не такой уж он невинный и безобидный, этот скромный с виду юноша, если он так тонко, исподтишка, словно невидимый червь, подтачивает чужие души.

Э, что там говорить, поистине мужчину приводят к беде слова, а женщину — глаза. Мужчина часто невольник слов своих, ибо не может от них отречься, женщина в плену глаз своих завидущих, ибо не может успокоиться, пока не заполучит того, что ей поправилось. Значит, неспроста наши предки, защищая хрупкую душу мужчины от недоброго слова, всячески оберегали женщину от постороннего взгляда. Значит, знали священные прадеды наши, что открытый женский взор допустим лишь на супружеском ложе, а в остальных местах жадные, любопытные глаза ее должны быть для ее же пользы укрыты под черной накидкой. Ибо открыть женщине глаза — все равно, что задрать ей подол. Ведь нет такого соблазна, который не прельстил бы ее. И нет у нее воли, чтобы совладать со своим желанием.

Все, все теперь Повелителю понятно и ясно. Юная ханша вначале была поражена голубым минаретом. Потом в ней вспыхнуло neodолимое любопытство и желание увидеть молодого зодчего, сотворившего чудо, полное тайны. И вот увидела она его, и с того мгновения смутил ее покой проникновенно-печальный взор юноши и завоорожила вдохновенная его красота...

Выходит, уже ничто не могло удержать ее от греховного соблазна — ни честь, слава и могущество супруга, ни священное благословение родителей, ни глухая молва праздной толпы. Даже грозный гнев и ярость великого Повелителя, в страхе и повиновении держащего всех в подлунном мире, не могли ей стать преградой. Значит, все это вместе — честь, слава, сила, богатство, страх расплаты — не могло заменить крохотную накидку, сплетенную из конских волос. Что же тогда получается? Допустим, нельзя доверять низкородной самке, жалкой рабыне похоти, но куда смотрела многочисленная вооруженная стража, обязанная не пропускать во дворец ханши даже муху, не говоря уже о любовнике?! Где была свита, сопровождающая ее повсюду?! Где находилась старая опытная служанка, не спускающая с нее денно и нощно глаз?!

Ночь напролет проворочался Повелитель. С нетерпением ждал, когда займется заря. Он решил поговорить с глазу на глаз со старой служанкой. Только она одна, вернее, ее прямой и честный ответ в состоянии развеять сомнения, грызущие душу, точно обжорливые суслики.

Утром он распорядился позвать старуху. Она явилась незамедлительно, как прежде, уверенная и спесивая, путаясь в длинном подоле пышного парчового платья. Казалось, она не шла, а плыла по воде, мелко-мелко перебирая ножками-плавниками. Повелитель угрюмо взирал на нее. Должно быть, больно высокого мнения была о себе старуха. Ведь не каждому доверят следить за неприкосновенностью и чистотой ханского ложа. На сонном, самодовольном лице ни тени сомнения или робости. Повелитель с трудом сдерживал досаду. Видно, нужно первым делом убрать эту каракатицу. Корчит из себя опочивальню ханши, куда Повелитель заходит без короны, то ей все позволено. В прошлом — еще куда ни шло — можно было прощать ей чванство и спесь. А теперь-то ей, старой карге, важничать никак не пристало.

Или она считает, что Повелитель и представления не имеет о том, что здесь творилось в его отсутствие?!

Наконец, старуха подплыла, церемонно поклонилась, потом выпучила на него слезящиеся глаза, сохраняя непроницаемо-высокомерный вид. «Ну, что, голубчик, мне скажешь? Давай, выкладывай. Я вся внимание», — было написано на ее морщинистом дряблом лице.

И Повелитель растерялся, не зная, с чего начать и что сказать этой кичливой, самонадеянной старухе. А ведь во всем дворце он мог доверительно и откровенно, без намеков и осторожной словесной игры, разговаривать только с двонми — со старой служанкой и управляющим ханской казной. И он с трудом подавил раздражение и заговорил глухим, надтреснутым голосом. Он говорил резко, без обиняков и при этом не спускал с собеседницы пытливых, зорких глаз. Старуха слушала его вначале по стародавней привычке вполуха, равнодушно, потом в ее белесых, почти без ресниц, старческих глазах на мгновение вспыхнул подозрительный блеск, и она недоверчиво скосилась на Повелителя, как бы спрашивая себя: «Интересно, всерьез он это говорит или просто хочет что-то выведать и, как всякий господин, затевает со своей служанкой непонятную игру в кошки-мышки?» Но то ли постеснялась или оробела, то ли мгновенно сообразила, куда клонит Повелитель и что именно гложет его душу, она отвела взгляд, погасила любопытный огонек в глубине зрачков и опустила тяжелые веки с жиденькими бесцветными ресницами. Дальше она слушала без интереса, но учтиво. Лишь в одном месте редкие щетинки на бородавке под горбатым длинным носом неожиданно дрогнули, встопорщились и тут же вновь легли смиренно. На бескровных, морщинистых губах обозначилось подобие улыбки. Повелитель насупил, осекся. Старуха спохватилась, тотчас погасила непрошеную ухмылку и поклонилась в знак покорности. Повелитель выжидающе молчал, вкогтив в нее колющий взгляд.

Настал черед ответ держать старухе. Даже после суровых слов Повелителя она не смутилась. Голос ее не дрогнул. Ее спокойный, уверенный вид, ровный голос, прямой, бесстрашный взгляд невольно подавляли Повелителя. Он старался, однако, не подавать виду, слушал молча, сосредоточенно. Он умел владеть собой. И сейчас глубоко упрятал душевную сумятицу, ни в едином жесте не позволил прорваться волнению, а продолжал смотреть

на старуху жестким, цепким взглядом, каким привык допытывать многих.

И когда старуха, все выложив, умолкла, он дернул подбородком в знак того, что она может удалиться. Она еще раз поклонилась и не поплыла величаво, как прежде, а мелко-мелко засемила к двери.

Не в силах побороть неясную досаду, Повелитель задумался над словами старухи. Что за чушь она здесь молочила? Не поймешь, где правда, где ложь. Выходит, они ловко провели наивного зодчего, и тот на самом деле обнимал не ханшу, а смазливую служанку? Значит, испугавшись гнева и кары Повелителя, эти трусливые бабы прибегли к такой уловке? И ничего лучшего не могли придумать? Там, где проще простого было свернуть башку этому наглецу, бабье только навлекло беду на собственную голову. Подумать только — на что позарился безумец! За то, что он даже в мыслях покушался на честь Повелителя, и глаза его бесстыжие выколоть не грех. К тому же он ведь совершенно убежден, что ласкал невинное тело юной ханши. Даже вчера, сидя перед ним, он и не пытался скрывать свой грех. Значит, нужно выбить из его дурной башки эту уверенность. Значит, нужно песком засыпать эти ненасытные глаза, жадно шнырявшие по недоступным прелестям ханши. А для этого легче всего отсечь ему голову. Пусть он своей молодой горячей кровью смое гнетущую тоску в груди властелина. Пусть капля алой крови на кончике секиры палача смое позорное пятно, оставленное им хотя бы и в мыслях на белоснежном супружеском ложе Повелителя. Только справедливое возмездие должно быть совершено так, чтобы посторонний глаз ничего не увидел и чужие уши ничего не услышали.

Но... возможно ли это? Недаром ведь говорят, что у молвы тысяча уст и тысяча ушей. Может, есть смысл отправить доносчиков и соглядатаев по базарам, пусть разносят, о чем толкует толпа.

Повелитель всерьез подумал о том, как по-хански расквитаться с дерзким зодчим. Жажда отомстить придала ему бодрости. Сомнения, ржой изъедавшие волю, исчезли. На их место пришли ярость и ненависть.

Он с нетерпением ждал доносчиков, посланных на базар. Иногда болтливая чернь, совершенно не ведая о том, подсказывает самое верное решение. И на этот раз Повелитель надумал проявить терпение и обвинить при-

говор после того, как ему доподлинно станет известно, о чем судачит черная толпа.

Ничего определенного, однако, доносчики не сообщили. Видно, слух о том, что молодой зодчий приглашен в ханский дворец, еще не дошел до простого люда. Тогда он немедленно отправил соглядатаев в ту часть города, где проживал творец голубого минарета. Выяснилось, что хозяин дома, где зодчий снимал комнату, всюду похвалялся, что, мол, его жильца пригласил к себе Повелитель, дабы поручить ему строительство новой мечети. Этот пустой слух пришлось Повелителю не по нутру. Он решил через несколько дней еще раз отправить доносчиков по базарам. К тому времени уж наверняка поползут кривотолки по поводу длительного пребывания молодого зодчего в ханском дворце.

Душные летние дни тянулись утомительно медленно, будто разморенная, надменная красotka прохаживалась в саду. Никаких достойных внимания вестей ниоткуда не поступало. Даже от Старшей Ханши не приезжал порученец. Узнав о том, что Повелитель все же не удержался и полюбопытствовал у служанки, кто прислал ему наливное яблоко с червоточницей, Старшая Ханша выжидающе насторожилась. Странное ощущение охватило Повелителя, будто весь мир затаил дыхание и все вокруг сговорились, и теперь, не спуская глаз, сквозь все невидимые щели следят за каждым его движением. И уже порой мерещилось, что он, Повелитель, отправил не дерзкого юнца в подземелье, а сам себя приговорил к заточению. Так он и маялся целыми днями в одиночестве. Он был на распутье, ибо прекрасно сознавал, что не может одним махом решить это путаное и скользкое дело, пока не прошупает настроение толпы и не узнает ее мнения. Ведь он, даже будучи всемогущим, не может позволить себе роскошь поступать необдуманно, как заблагорассудится, ибо привык каждым своим поступком, даже каждым изреченным словом неизменно удивлять и поражать своих подчиненных и верноподданных, а для этого необходимо точно предвидеть все возможные прихоти презренной толпы, от которой исходят потом легенды. Сколько бы сейчас ни думал Повелитель, он не в силах был понять, что замышляет и что утанвает столь знакомая и в душе презиравшая толпа, которая, бывало, раньше подхватывала и распространяла любое его решение со скоростью степного нава в засушливую пору. Казалось, толпа не-

подволь мстила ему, злорадствовала, дескать, а ну, все-сильный владыка, попробуй-ка обойтись без нас, без помощи нашей быстрогой молвы.

По-разному думал Повелитель о причине глухого безмолвия вокруг него, однако ни одно из предположений не имело достаточного основания. Было уму непостижимо, что в таком громадном городе не нашлось ни одного пустобая, который что-то сказал бы о таинственном исчезновении молодого зодчего, чьим творением — голубым минаретом — уж сколько времени любовались все. Столько разношерстного народу с утра до ночи толпится на ханских базарах, и ни одна живая душа ни словом не обмолвится о величественном минарете! Неспроста все это. Это уже похоже на тайный сговор. Есть что-то зловещее в этом молчании. А может, то ужасное, о чем он догадался только сейчас, всем вокруг давным-давно известно? Ну, конечно, известно! Люди, разумеется, успели на все лады истолковать всем доступный, открытый намек, заключенный в таинственном облике минарета. Какая тут, к дьяволу, тайна, если она понятна и слепому?! Нельзя же уповать на то, что доступное Повелителю недоступно глазастой черни. Все она видит, все понимает. Ясно ей также, что одно оброненное случайно слово об этом может стоить головы. Вот почему все как воды в рот набрали. Но неужели среди многочисленного люда нет ни одного болтуна?! Неужели все так опасаются ханской кары?! Как бы ни боялись кровавого его меча и какой бы жестокий порядок ни царил в его владениях, немислимо же запереть на железный замок людскую молву.

Ни на один из этих вопросов, назойливых, как мошка в предзакатный час, он не находил вразумительного ответа. Ощущение было такое, будто он погряз в болоте и с каждым шагом его все больше и больше засасывало в топь. Погруженный в беспросветные думы, сидел он неподвижно и смотрел на кованую дверь. В таком томительном ожидании проходили дни и недели. И наконец настал тот долгожданный час. Тихо отворилась тяжелая дверь, и в зал, точно уж, вполз доносчик. Добрел, грохнулся на колени, униженно согнулся перед властелином.

— Ну, говори! Что узнал, что услышал...

Доносчик, боязливо взглядывая на Повелителя, заикаясь, заговорил. По его словам, в народе ходит слух, будто великий Повелитель, опасаясь, что такой величественный и единственный в своем роде минарет появится,

кроме его столицы, еще где-нибудь, распорядился молодому зодчему выколоть глаза. Повелитель недоверчиво и долго смотрел на доносчика и небрежным кивком указал на дверь. Доносчик так же неслышно выскользнул.

Повелитель решительно вскочил, словно сбросил с плеч неимоверную тяжесть. Ничего не скажешь: то, что болтает черная толпа, достойно внимания. Ведь и впрямь очевидно: такой загадочный, многоликий минарет, то радостно и светло улыбающийся, как влюбленный юноша в предвкушении скорого свидания, то тихо грустящий, словно невинно обиженный ребенок, должен украшать только одну столицу — ту, в которой правит могущественной державой великий Повелитель, обладающий самой тяжелой и дорогой короной и самым высоким и неколебимым тронном в мире. Нигде больше не должен воздвигаться подобный минарет. Безжалостную, страшную судьбу, уготованную всем редчайшим талантам испокон веку, должен разделить и молодой зодчий. Ни в какие времена ни один властелин не упускал из своих рук таких щедро одаренных самим создателем самородков-одиночек. Чернь сама вынесла приговор своему Мастеру. И да будет так! Вокруг таких творений, как этот минарет, неизменно рождаются легенды. Одна из них — очень приемлемая — родилась сегодня. Легенда, столь доступная легковерной толпе.

В этот день впервые за долгое время Повелитель отправился в сад на прогулку. Задумчиво сидел он у своего любимого укромного родника. Весело, беззаботно журчащая глубинно-прозрачная вода, как и прежде, ласкала слух и успокаивала, убаюкивала встревоженную, усталую душу. Боль и тяжесть в висках понемногу отпускала, утихала, как бы растворялась, и Повелитель с облегчением подставлял оголенную грудь нежной воздушной струе, воровато блуждавшей в густых зарослях. Размороженная тишь дремала вокруг. Игривый родничок неустанно похихкивал. Листья на верхушках деревьев мелко вздрагивали, таинственно перешептывались. Созвучие и согласие царили в природе. Видно, только люди сами для себя придумывают муки. А ради чего? Сначала растревожат, взбудоражат себя, потом тщетно пытаются взнуздать душу и доводят себя до отчаяния, до умопомрачения. На самом деле нечего себя терзать. Все проще простого. Безумец, оказавшийся рабом вожделения, должен понести суровое наказание. И никогда уж он не бу-

дет строить дивные минареты, не будет смущать невинные души; не сможет соблазнять своим колдовским печальным взором неопытные женские сердца. Поганым кинжалом, которым выколачивают не в меру буйных жеребцов, прикажет Повелитель палачу выколоть совращающие душу глаза молодого зодчего. Но и это еще не все. Чтобы этот наглец, думающий про себя, что обладал юной ханшей, никому не мог сболтнуть об этом, Повелитель прикажет также отрезать ему язык. И тогда пусть он, слепой и немой, прозябает во мраке, как червь, как последняя богомерзкая тварь...

В эту ночь Повелитель спал спокойно. Наутро он уже собрался было пригласить к себе начальника подземелья, как совершенно неожиданно отворилась дверь и на пороге появилась Младшая Ханша. Она отвесила сначала низкий поклон, потом мелкой, неслышной походкой направилась к нему в глубь зала. Подойдя, вконец растерялась. Ярко сверкнул крупный яхонт на лбу, блеснули два черных глаза, и Повелитель сразу заметил, как глубоко они ввалились. И личико побледнело, осунулось. Ханша, как бы пряча свою растерянность, села боком. Приход ее был столь неожиданным, что и Повелитель явно опешил. Все мысли мгновенно спутались, давно неизведанная жалость, сочувствие к этой маленькой, несчастной женщине пронзили его, и он невольно протянул к ней руку. И в следующее мгновение, стояло только прикоснуться к ханше, она беспомощно, быстро-быстро задрожала длинными, черными ресницами, и несколько прозрачных слезинок звучно капнули ей на платье. Она порывисто прильнула губами к его руке и рухнула к его ногам. Слезы хлынули теперь бурно, плечи тряслись. Еще вчера он считал ее самым противным и ненавистным существом на свете, а сегодня глядя на то, как она, словно неутешное дитя, рыдает у его ног, Повелитель растерялся. Незнакомое, как бы он поступил день-два назад, случись вдруг такое, а сейчас, видя перед собой измученную женщину, он почувствовал к ней одну острую жалость. Он наклонился, осторожно приподнял ее, усадил рядом. Слов не было, и, должно быть, подспудно Повелитель сознавал, что сейчас они ни к чему. Он взял в ладони ее маленькие, мягкие руки и молчал. Ханша плакала. Безудержно, долго. Слез за последние дни накопилось столько, что она не могла их, видно, так скоро выплакать. Но в молчании Повелителя она почувствовала сострада-

ние и понемногу успокаивалась. Когда бурный приступ слез иссяк, она виновато оглянулась и вовсе сжалась, поникла. Она не представляла, как ей быть, что делать дальше. Повелитель тоже ни о чем не спрашивал. Так и сидели молча. Первой не выдержала она: спохватилась, встала, смущенно поклонилась и направилась к двери. Там она замешкалась, обернулась и очень тихо, глухо, через силу, спросила:

— Мой господин, скажите: это вы распорядились посадить зодчего в заточение?

Он был удивлен этому неожиданному вопросу, однако скрыл удивление, спокойно ответил:

— Да.

Юная ханша вспыхнула. То ли вдруг поняла бестактность своего вопроса, то ли какое-то непонятное чувство обожгло все ее существо — кто знает... Она вновь пыталась кинуться к его ногам, но он удержал ее за руку.

— Он... ни в чем не повинен, — торопливо проговорила она. — Ничего... не было.

— Знаю.

Ханша быстро подняла на него глаза, как бы желая удостовериться в правдивости его слов. Ее удивило то, что на лице Повелителя она не заметила ни тени гнева. Ханша вышла. Он молча и долго смотрел ей вслед.

Повелитель тоже никак не мог опомниться после этой неожиданной встречи. Еще не бывало, чтобы даже Старшая Жена осмеливалась заходить к нему без спроса. Как же Младшая Ханша на такое решилась? Или уже не в силах была перебороть тоску по нему? Ведь после возвращения из похода она ни разу еще не видела его. Могла и соскучиться. А потом, надо полагать, и до нее дошли слухи о наливном яблоке с червоточинкой, которое прислала ее соперница. Видимо, ей стало невозможно терзать себя сомнениями, и она решила покончить с тягостной неопределенностью, и потому ее приход — не дерзость и не смелость, а просто отчаяние.

Сейчас она удалилась в свою опочивальню, должно быть, успокоенная и удивленная его милостивой нежностью. Но почему, почему она ни с того, ни с сего спросила первым делом о молодом зодчем? Неужели лишь забота о нем толкнула ее на этот безрассудный шаг? «Он ни в чем не повинен». Что это значит? Может, она решила предотвратить жестокую, но справедливую кару? С какой стати она заступается за него, да еще и просит, умоляет?

Неужели его короткое «знаю» она приняла за прощение?

Да, конечно, Повелитель знает, что между ними ничего не было. И все же он не вправе простить преступную дерзость безумно влюбленного юнца, который, презирая гнев владыки и саму смерть, покушался на святая святых — на мужскую честь и достоинство великого Повелителя. Да, нужно скорее привести в исполнение приговор, заранее вынесенный, точнее, подсказанный бездумной, крикливой и нетерпеливой толпой.

И все же Повелитель не мог разрешить терзавшие его сомнения. Уходя от него, ханша у порога обернулась, и в ее кротких, чистых глазах мелькнул вдруг страх. Чего она испугалась? Она ведь не впервые видела его холодное, непроницаемое лицо. Или насторожилась, поняв, что ее сокровенные слова не возымели никакого действия? А как он, собственно, должен, по ее мнению, поступить? Что обязан сделать? Выпустить на волю молодого зодчего? Ничего ужасного или пугающего он ей не сказал. Ни в чем ее не упрекнул. Тогда чем объяснить ее испуг? Или она все же тревожится за судьбу зодчего? С какой стати она жалеет глумца, который едва не растоптал ее честь? Разве, если здраво рассудить, не она сама обязана была возмутиться домогательством безродного горшечника, рассказать о его безрассудных притязаниях и добиваться сурового наказания для него — позорной смерти, дабы уберечь честь и заткнуть вонючие рты болтунов и сплетников? А вместо этого она неожиданно вваливается к Повелителю и — если не открыто, то вполне прозрачным намском — вымалливает снисхождение. Нет, нет... Все это неспроста. Ведь представить только, сколько душевных сил, волнения и решимости понадобилось робкой и стыдливой ханше, чтобы вот так прийти вдруг в здравый утретний час к Повелителю! Прийти, заведомо зная, что навлечешь на себя его беспощадный гнев! Ведь этот поступок почти равносильен сознательному самоубийству. Выходит... выходит... Как же тогда понять слова старой служанки? Как понять трогательное признание самой ханши, только что сказавшей: «Ничего... не было»? Неужто все ложь, обман, бабья уловка? Странно... Странно... Все же, видно, этот загадочный минарет, дено и пощно преданно и умоляюще заглядывавший в окно юной ханши, сумел смутить ее душу, заронить в ее сердце искушение любви. И когда, жалея изнывавшего от похоти парвенца, она послала к нему юную смазливую

служанку, ханша заботилась не столько о своей чести, сколько о безопасности, о сохранении жизни молодого творца сказочного минарета. Значит, уже тогда она испытывала к нему преступное чувство. Значит, и тогда ничуть не осуждала влечения и намерения ослепшего от страсти юнца. И только суровый дух, витавший над дворцом златокоронного властелина, чудом удержал ее от заурядного блуда...

Мысли Повелителя, точно замороженный змеей воробышек, никак не могли распрямить крылья и беспомощно трепыхались на одном и том же месте. Но злая догадка, возникшая вдруг, словно кочка на ровном месте, приковала к себе внимание и вывела его думы из тупика. Вполне возможно, что ханша не только сочувствовала молодому зодчему, возжелавшему ее горячих объятий, не только жатела его, но и сама воспылала к нему ответной любовью. Память услужливо подсказала ему ту ночь в опочивальне ханши. Да, да, вот она, отгадка всех тайн... Значит, мужчина, которого в бреду так горячо ласкала ханша, был никто иной, как этот смазливый юноша. Лишенная возможности встречаться с ним наяву, она наслаждалась им во сне. Выходит, в мыслях, в душе она предавалась с ним неистовой любовной страсти. Выходит, он, безродный юноша с горящим взглядом, ей дороже, желанней, милей богом данного всемогущего супруга... И разве то, что она осмелилась прийти сегодня к нему, — не есть еще одно доказательство готовности принести себя в жертву ради своего возлюбленного? А он, всемогущий властелин, подчинивший своей воле половину вселенной, размяк, точно мальчишка, разжалобился, едва увидев на ее глазах слезы. Проявил несвойственную ему слабость, забыл, что бабы слезы, как золото в руках фокусника, — одна видимость, ложь. Разве он в ту злосчастную ночь не убедился собственными глазами, насколько верна она священному супружескому ложу? То, что немислимо совершить наяву, она совершила во сне, переступив через стыд и сорвав запретный плод. Выходит, если она в действительности, в жизни еще щадила честь венценосного супруга, то это вовсе не было проявлением целомудрия, а самой обыкновенной, дешевой уловкой всякой бабы, которая, впервые очутившись с мужчиной на узкой постели, сопротивляется лишь для видимости и только жеманства ради отталкивает шарящие по ее чреслам жадные мужские руки.

И когда эта догадка так явственно вспыхнула в душе Повелителя, он почувствовал в груди такую боль, будто его ударили ножом. Ему, прожившему и повидавшему так много, никто никогда не наносил такой болезненной раны. То, что он почувствовал сейчас, не было похоже на те давние обиды и унижения. Жуткая слабость враз подкатилась к его ногам, и он закачался, невольно сжался, понуро опустил усталую голову.

3

Жизнь Повелителя неожиданно лишилась всякого смысла. Полное безразличие ко всему овладело им. Доносчиков, доставлявших с базара слухи и сплетни, он выслушивал нехотя, вяло. С казнью молодого зодчего, томившегося в подземелье, он тоже не спешил. Ненависть, еще вчера обжигавшая грудь, погасла. Бесконечные и однообразно-унылые мысли, посещавшие его в одиночестве, обесмысливали все, что раньше, бывало, волновало кровь, будоражило ум, взывало к действию. Как-то разом исчезли все желания, и некуда было спешить. Не было даже сил и желания додуматься до причины, породившей столь непривычную вялость духа. Какое-то странное, опустошенное состояние. Тихая печаль исподволь подтачивала остатные силы. Невидимая хворь, казалось, сгибала спину, давила на плечи, душила. А не было боли, которая ощущалась бы остро; не было кровоточащей раны.

Он чувствовал себя оглушенным, словно буйный осетр, ненароком наскочивший на камень. Он умел предугадывать все на свете, видел даже то, что происходило на краю земли, и вдруг нежданно-негаданно наткнулся на такой удар, который ему не снился и в страшном сне. Пока он не сомневался лишь в одном: молодой зодчий будет жестоко наказан, как и все, кто однажды посягнул на его величие. Однако никакая кара, никакие муки — он чувствовал это! — не в состоянии утолить, удовлетворить его месть. Даже черная кровь, истекающая из его греховного сердца, не принесет облегчения душевной ране Повелителя. Наоборот, пролитая кровь безумца умалит — и даже сведет на нет — и яростный гнев, колотящий его стареющее тело, и слепоглазую ненависть, бешеной кошкой раздравшающую его душу, и вообще весь остаток жизни, отпущенный судьбой на долю венценосного

властелина. Еще недавно его могучий дух, казалось, был способен сокрушать древние Капские горы, а сейчас его, лишённого и ярости, и ненависти, и гнева, покорно понесло по течению жизни, будто случайную соломинку по бурной реке. И надо было честно сознаваться: то, что уже столько дней ржой подтачивало душу, не было ни обманом, ни обидой, ни унижением, а просто глухой досадой. Да, да, именно так называлось это жалкое, дряблое, унижительное чувство, напрочь лишённое неукротимой силы и упоения гневом и мстостью. Так на что же досадует великий Повелитель, подмявший под себя едва ли не всю вселенную? А на то он досадует, что, всецело распоряжаясь судьбой и жизнью людей и народов, обитающих в подвластном ему мире, он был беснелен овладеть сердцем и душой одной лишь маленькой и такой беспомощной женщины, которую издревле принято считать низкородной и недостойной! И еще ему досадно от того, что два человеческих существа, разделяя супружеское ложе, так и не смогли слиться в единую душу. Получается, что за этой жалкой досадой скрывается самая обыкновенная обида. Обида на кого? На Младшую Ханшу? Неужели он, венценосный властелин, может обижаться на длиннополую бабу? Рад был бы Повелитель отмахнуться от этих назойливых, роящихся, как мошка перед ненастьем, мыслей, только сейчас это было выше его сил. Да и что еще ему осталось, как не забавляться бесплодными думами, чтобы только не свихнуться от беспросветного одиночества... А одиночество ледяным обручем сковало его уже давно. Жизнь, обособленная от других, давно ему в тягость. Всегда и всюду один, один, точно бельмо на глазу. Он был лишен возможности, как всякий отец, радоваться своим кровным детям и, как всякий супруг, наслаждаться любовью жены. Так и выросло целое потомство, его дети и внуки, выросло, возмужало, коней оседлало, разбрелось по всему свету, не познав его отцовских ласк и нежности. А он, Повелитель, по-прежнему один, одинок и дома, и в походах, один, как бог. Разбив одного за другим большинство врагов и засыпав их завидущие глаза песком, надумал пожить немного в свое удовольствие и привел в свой дворец Младшую Ханшу. Нет, вовсе не для того, чтобы на старости лет обновить, как говорится, запах постели и тешить свою похоть с молодой, а для убажания души, истомленной одиночеством. И он был рад и доволен своим удачным выбором: несмотря на молодость,

ханша оказалась поразительно сдержанной, покладистой, ровной как в проявлении своих чувств, так и в повседневном поведении. А когда он, возвращаясь из похода, еще издали увидел дивный минарет, подпиравший небо, он сразу догадался, что ханша воздвигнула его в честь горячо любимого супруга, и душа его возликовала. Та радость, теплой волной растекавшаяся по жилам, теперь улетучилась, уплыла, точно серебряные нити в прозрачном осеннем воздухе. И было досадно, что не только некрепность и любовь ханши, но и весь огромный бранный мир и все-все в этой юдоли печали понстине мимолетно и фальшиво. И еще было досадно от того, что ему стало вдруг ясно: тот, кто родился однажды обыкновенным смертным, может, конечно, заарканить судьбу и высоко подняться над копошащимся внизу презренным человеческим родом, но от изматывающего душу одиночества ему никогда не избавиться, пока он не закроет навеки глаза и не очутится под землей, принявшей в свои объятия тысячи ему подобных. Но всех ли смертных ожидает равная участь? Разве ведомо одиночество тем, кто привык довольствоваться малым и любовно делит между многочисленными своими отпрысками крохотное счастье и благо, выпавшие им на долю? Такие не ропщут и, видимо, в этом находят свое житейское счастье. А стремление к большему неизменно сопряжено с потерями, и потому простой смертный предпочитает довольствоваться тем, что есть. И какими бы красивыми словами не называли мы свои стремления — мечтой, порывом или целью, в конечном счете это все жалкие потуги, именуемые жадностью, ненасытностью, алчностью. А там, где правят эти низменные чувства, не может быть радости и наслаждения. Вот под его, Повелителя, властью чуть ли не весь подлунный мир, но хотя бы одну ночь спал он спокойно, хотя бы один день жил без забот? То-то же... Выходит, не так-то уж много надо простому смертному. Богатство и слава, которых с таким рвением добиваешься, не стоят в сущности и слепой копейки.

Младшая Ханша не утешилась ни богатством, ни высокой честью, а просто тоже затосковала по скромному человеческому счастью и обыкновенным женским радостям. И в этой своей столь естественной и понятной тоске она, помимо собственной воли, оказалась готовой пожертвовать и священной короной, и золотым треном мужа. Она металась, не находила себе места в огромном

пышном дворце, набитом золотом и драгоценностями, ибо не могла в нем найти желанного — пусть крохотного и замызганного — счастья. Ведомо ли ему то, к чему так страстно рвалась душа юной ханши? Есть ли у него самого то, чего так жаждала Младшая Жена? Да, у него есть трон, держава его огромна, и еще он обладает богатством, славой, властью, грозным именем. Только при всем желании он не может назвать это счастьем. Какое же это, к черту, счастье, если в окружении неслыханного состояния, невиданной роскоши и многочисленных единокровных отпрысков чувствуешь себя, как в голой пустыне?! Если в собственном дворце сидишь, как на иголках, и затравленно озираешься вокруг, не зная, в каком углу подстерегает тебя опасность?! Если в опочивальню жены, куда днем и ночью запросто заходят все обыкновенные мужья, ты, будто вор, крадешься тайком, пряча от горничной и привратников глаза?! Если, считая себя всемогущим и всемогущим, с затаенным страхом прислушиваясь к молве, кривотолкам, пересудам праздно толпы?! Э, нет!.. верно говорят, что взирать на грешный люд с высоты своего недоступного одиночества естественно лишь для бога. Непомеренные слава, сила, богатство, талант, обрушивающиеся иногда на одного человека, оборачиваются не счастьем, а бедой. Разве может быть довольным жизнью молодой зодчий, своим искусством поразивший людей? Разве счастлив он, Повелитель, покоривший тьму стран и народов? Нет! В сущности все они глубоко несчастны. Остальные простые смертные на земле имеют возможность на худой конец поделиться с кем-нибудь своим горем, своей тоской. У них же — Повелителя, молодого зодчего и юной ханши — и такой возможности нет.

Случись с кем-нибудь другим нечто подобное, Повелитель, как третейский судья, не смог бы вынести сурового приговора, ибо в душе сознает, что ни один из них не виновен. А сейчас ему не под силу проявить такое великодушие. Ведь в сущности и он, и зодчий, и ханша — жертвы судьбы, несчастные нищие, вымаливающие друг у друга сочувствие и сострадание. А какую помощь могут оказать друг другу бедняки? Чем поделиться нищим? Нечем! И поэтому самое справедливое — осуществить волю, угодную толпе. Если уж необходимо непременно докопаться до истины, то вовсе не он, Повелитель, палач молодого зодчего, отмеченного божьим даром, а крикли-

вый черный сброд, охотно распространяющий самые невероятные слухи, верящий гнусной сплетне, родившейся в гнусной душе, и заставляющий верить других. И зодчий, и ханша, и он, Повелитель, — жертвы его жадных, пронырливых глаз и болтливового, мерзкого, как жало змеи, языка. И теперь, проявив великий Повелитель неслыханное милосердие и соединив судьбы двух несчастных молодых влюбленных, завтра же этот сброд, эта толпа поднимет невообразимый гвалт, шум, обвиняя его в мягкотелости, малодушии и бог весть еще в каких грехах, а недруги, тайные и открытые, подхватив молву из поганых уст черни, начнут злословить, злорадствовать над ним. Все зло, все беды — от черни. Даже в несчастье зодчего виновата она. Даже кару для него придумала и подсказала Повелителю — она. Что ж... так да будет! Пусть утешится презренная чернь! То, что рождено толпой, становится жертвой ее же слепой ненависти. Пусть так оно будет и впредь, и во веки веков! Пусть этот люд верит своим рассказам. Лишь бы не догадался о том, что способен лечь пятном позора на честь и имя Повелителя. Значит, пока болтливая толпа не отреклась от своей молвы и не придумала другую меру наказания, разумно молодого зодчего немедленно казнить.

4

Итак, в подземелье освободилось еще одно место. Раскаленной докрасна острой железкой кровавый палач выколол лучистые глаза вдохновенного Мастера, дерзко и гордо устремившегося к недоступной ему мечте. Несчастный юноша корчился от боли, выл по-звериному протяжно, и тут палач беспощадной рукой отрезал ему еще язык. Измученного, окровавленного, почти бесчувственного зодчего связали волосным арканом и темной ночью отвезли в какой-то кишлак на той стороне Большой реки.

Страшная судьба молодого зодчего никого в столичном городе не удивила. Подобную участь испытали многие даровитые мастера и художники. Правда, бывали и отчаянные смельчаки, одиночки, сумевшие избежать суровой ханской кары. Кое-кому удавалось подкупить палача, перехитрить злой рок, вырваться из города. Одни из этих редких удальцов и счастливчиков потом навсегда расставались со своим искусством, осваивали другое ремесло; другие покидали родной край и доживали свой

век на чужбине, ища милости у иных владык. Третьи, наиболее отчаянные и бесстрашные, дожидались смерти преследовавшего их правителя, возвращались на родину и, облагодетельствованные новым властелином, с прежним увлечением и усердием занимались любимым делом.

Зная об этом, Повелитель пожелал лично взглянуть на молодого зодчего уже после того, как ему выкололи глаза и отрезали язык. Убедившись в том, что в окровавленном, грязном мешке, перевязанном арканом, действительно находилось обмякшее тело зодчего, Повелитель распорядился отвезти его в дальний кишлак за рекой.

Глядя на обезображенного до неузнаваемости юношу, он, однако, не испытывал удовлетворения, как это бывало раньше при виде поверженного ненавистного врага. Даже грозные палачи, приволокшие к нему полосатый мешок, показались заурядными мелкими ворами, шастающими по чужим курятникам и хлевам. Повелителю не терпелось убрать мешок обратно, с глаз долой.

Наутро следующего дня огромный ханский дворец почудился ему еще более тоскливым и пустынным. Доносчики, отправленные на базар, не приносили никаких утешительных вестей. Казалось, этим презренным торгашам, вожделенно пожирающим глазами две чаши безмена, недосуг взглянуть на вершину голубого минарета. Внимание их всецело поглощено перебранкой, зазывными выкриками, копеечной торговлей, желанием надуть простодушного покупателя. В этот миг они навсерьеза и не помнят о существовании какого-то Повелителя. Выморочная тишина сковала город. Соглядатаи и доносчики Повелителя, под видом мелких торговцев и бродячих дервишей шнырявшие в базарной толпе, ничего примечательного не услышали ни от горожан, ни от присзжих. Впечатление было такое, что всем все давно известно, и о случившемся нет смысла говорить. Доносчики растерялись и избегали встречи с Повелителем. Опытный глава тайной службы встревожился: молчание толпы не предвещало ничего хорошего. Он лично приглядывался к торгашам и купцам, тщетно стараясь узнать, что у них на уме, что скрывается в их бритых головах под мохнатыми шапками или засаленными чалмами, что означает сытая ухмылка под холеными черными усами. Он приказал усилить слежку за удачливыми торговцами не только на базаре и в лавках, но и на улицах, в персулках, возле их домов.

На тесных улочках, на окраинах города слонялись толпами деревниши, нищие, бродяги, калеки. Шайка доносчиков увивалась вокруг купца, в доме которого обитал зодчий из Ор-тюбе, однако и от него ничего вразумительного не добились. Тот по-прежнему хвастливо рассказывал о своих похождениях, о том, кого победил в остро словии и чей перепел оказался самым воинственным. Лишь однажды этот купчишка проронил невзначай: «Отец молодого зодчего когда-то тоже подвергался гонениям, но умудрился избежать наказания и вернулся из чужбины через двадцать лет. На старости привел сюда сына, определил на стройку новой мечети и умер от чахотки. Посмотрите: и сын пойдет по его стопам. Дома у меня он оставил немало добра. Когда-нибудь обязательно за ним вернется...»

Начальник тайной службы не выпускал его из виду, подсылал к нему своих людей, те ловко вытягивали неудержимого болтуна в спор остро словов, подпавляли его, и купец, войдя в раж, плел обо всем на свете, но ни единым словом не занкнулся об отношениях между зодчим и юной ханшей.

Повелитель был обескуражен. В осторожном молчании толпы таилось что-то подозрительное. В думах и предположениях он проводил бессонные ночи. Каким образом можно расшевелить эту неожиданно онемевшую толпу? Почему она так упорно молчит, будто проглотила язык? С утра до вечера ходил взад-вперед, взад-вперед удрученный Повелитель по безмолвному залу. Казалось, он уже знал тут каждую пылинку и не на что было устремить усталый, блуждающий взгляд. Он вновь и вновь подходил к окну и каждый раз съеживался, наливался досадой и злобой при виде голубого минарета, молчаливо злорадствовавшего над ним. Иногда, казалось, минарет снисходительно подсмеивался над потерявшим покой владыкой. А вместе с ним, чудилось, усмехалась многотысячная толпа, копошившаяся у его подножия. Конечно, каждый, кто обладал здравым рассудком, прекрасно понимал, над кем и над чем смеется непокорно-величавый минарет, а понимая, не в силах был подавить и собственную ехидную ухмылку. Значит, если он желает избавиться от преследующей его всюду злорадной усмешки, он должен первым делом стереть с лица земли первопричину всех невзгод — минарет. Тогда сам по себе оборвется торжествующий смех толпы.

Но даже облегчения не успел почувствовать Повелитель от этой, казалось бы, спасительной мысли. Он тут же подумал, что, своей рукой разрушая минарет, он только подтвердит ужасную догадку, которая станет завтра в глазах толпы истиной, всегласно подтвержденной самим Повелителем.

Эта простая мысль так поразила его сейчас, что он в отчаянии схватился обеими руками за голову и, обессиленный, присел. Долго он так сидел, вконец убитый, раздавленный, и вдруг встрепенулся, вскочил, и хищный блеск появился в его потухших, старческих глазах. Наконец-то... наконец-то он нашел, нашел верный, желанный способ подавления мерзкой сплетни, вот-вот готовый сорваться с поганных губ толпы, в самом зародыше! Да, да, это единственный и самый лучший, самый надежный способ! Значит, так... Все, что связано с голубым минаретом, до мельчайших подробностей известно лишь одному человеку — главному зодчему. Слухи, кривотолки могут исходить только от него. Следовательно, с него-то и нужно начинать. Все внимание настороженно молчащей толпы необходимо ловко обратить на главного зодчего. Ведь, надо полагать, голубой минарет постоянно вызывает в его душе неприязнь и зависть. Уж кто-кто, а Повелитель совершенно точно знает, какой он, главный зодчий, завистник и как он ненавидит каждого, кто превосходит его талантом и мастерством. Значит, его и следует натравить на молодого соперника. Ему только намекни, и он один с кайлом в руке, как безумный, кинется на минарет. Вот тут-то его и поймут на месте преступления. Услужливые холуи тут же распускают слух: «Главный зодчий в приступе черной зависти пытался разрушить голубой минарет. Он же тайком оклеветал юношу перед Повелителем, и по его вине молодой мастер понес незаслуженную кару». Потом Повелитель сам объявит народу о преступных помыслах и поступках главного зодчего и приговорит его к жестокому, но в высшей мере справедливому наказанию. Шумливая и доверчивая толпа будет на все лады склонять слух о соперничестве и взаимной неприязни двух талантливых ханских зодчих, и тогда сами по себе отомрут и забудутся все сплетни о мнимых прегрешениях юной ханши. А краса и гордость его столицы — минарет останется неприкосновенным.

Желание Повелителя расторопный начальник тайной службы исполнил за два дня.

Главного зодчего, закованного в кандалы, Повелитель даже не стал допрашивать. Только пристально и долго посмотрел на него, поседевшего и осунувшегося за одну ночь, и когда тот пытался было что-то сказать, приказал стражинку:

— Отрежьте поганый язык злому наветчику и заточите в подземелье. Пусть там сгниет!

На невинную жертву он глянул вслед с брезгливостью. Много предательств и коварства перевидел и пережил Повелитель на своем веку, и поэтому особенно презирал людей лживых, малких и завистливых. Но в начальники он неизменно выбирал таких. Особенно над людьми искусства, над одаренными ремесленниками-мастерами, ювелирами, зодчими он непременно ставил человека грубого, вздорного, нетерпимого и завистливого. И в этом у Повелителя был свой тайный и верный расчет. Он ведь хотел, чтобы его столица была самой красивой и величественной. Для этой цели он собирал именитых, прославленных мастеров со всего света. А степень одаренности мастера точнее всего определяет не добрый, душевный человек, а злой завистник с мелкой душонкой. Значит, в этом случае разумно прислушиваться не к хвале доброго приятеля, а к хуле недоброжелателя. Ибо так уж устроен мир, что самый зоркий, меткий глаз у завистника, у неудачника. У них поразительно чуткий нюх на талант. С таким же рвением и усердием они преследуют и чернят каждого, кто их превосходит хоть на золотник. Благодаря главному зодчему — тошему, прыгучему, плаксивому и занудливому мужичонке с прищуренными, бегаящими глазками, с оттопыренными, каждый слух ловящими ушами — Повелителю удалось разыскать и подобрать дивных умельцев-чудодеев. Сам же главный зодчий ничего путного не совершил, ничего примечательного не построил, кроме мрачной и сырой тюрьмы под дворцом правителя. Над входом в подземелье Повелитель приказал выбить на камне надпись: «Рано или поздно все равно очутишься под землей!» Пусть этот наветчик и завистник убедится в справедливости ханских слов и заживо сгниет в им же построенной тюрьме.

И оттого, что заточил в подземелье этого холуя с завистливой душонкой, Повелитель испытал большее удовлетворение, нежели от недавнего наказания молодого зодчего.

Весть о том, что главный зодчий брошен в подземелье, всколыхнула столичный город, но тут же забылась. Так от случайной искры ярко вспыхивает и тут же превращается в пепел ворох сухого сена. Обрадовавшиеся было доносчики и соглядатыи вновь понуро опустили головы.

Из дворца Старшей Ханши не поступало никаких слухов. Повелитель хмуро вглядывался в каждого, кто переступал порог его тронного зала, подозрительно следил за каждым шагом и жестом приближенных, допытывался, у кого что на душе. Всюду ему чудились подвохи, намеки, иносказания. Он выискивал их в яствах на низеньком круглом столике, в постели, которую слуги меняли каждый день, в одежде. Однако ничего достойного внимания не замечал. Все чинно, благопристойно, добропорядочно. И уже мерещилось ему, что все слуги, вся дворцовая челядь не только догадывались о самой затаенной его тайне, но и знали все, что творилось у него в душе, и теперь только и заботились о том, чтобы ненароком не возбуждать в нем новых подозрений и сомнений. И даже доносчики, целыми днями, точно псы, рыскающие по городу, наверняка щадили его и скрывали всячески правду, утешая его, как неразумное дитя, лживыми ластивыми словами. И ведь в самом деле, разве осмелятся они сказать подлинную правду в глаза Повелителю? Разве страх за собственную шкуру не сковывает их язык? Значит, нужно полагать, все, что мелят они здесь, валяясь у его ног, не что иное, как наглая, трусливая ложь.

Жители столичного города давно уже поняли тайну голубого минарета. И толковали ее на всякие лады. Они, конечно, хорошо знают, почему подвергнут жестокому наказанию юноша-мастер и по какой причине вдруг заточен в тюрьму главный зодчий. Более того, им ведомо, с какой стати, вернувшись из похода, Повелитель не отлучается из дворца юной ханши. Он ведь вышел из того возраста, когда никак не могут насытиться ласками жены. И, наконец, надо полагать, не любовью занят стареющий властелин. А не показывается он на глаза людей потому, что гложет его стыд и нечистая совесть.

От этих откровенных, уничижительных дум Повелителю становится не по себе. Он вскакивает, точно кто-то больно ушпнул его. Часами бродит он, сутулясь, по залу, потом отправляется в сад. Но и в безлюдном саду он не

находит себе места. Тысячи глаз неотступно преследуют его, злорадно улыбаются из-за кустов. Неуютно на сердце, тягостно. Он поспешно возвращается домой. А что — дом? Четыре безмолвные стены. Будто кто-то силком загнал его сюда. Не дворец — тюрьма. Без засова и замка. И не Повелитель он — узник. Без оков и кандалов. И вся его остатняя жизнь, весь мир вокруг — неволя, заточение. Даже самая малость, доступная последнему смертному, — видимость личной свободы — ему, Повелителю, не известна. Каждый шаг на виду, каждое слово на счету. Простые человеческие желания, прихоти и страсти ему чужды. Что бы он ни делал, он непременно должен удивлять и поражать людей. Если он будет делать и говорить то, что делает и говорит простой люд, он мгновенно окажется посмешищем в глазах праздно толпы. Те, кто его так усердно возвеличивал, возносил до небес и падал перед ним ниц прахом, не простят ему развенчания ими же созданной легенды и начнут злорадствовать над ним и проклинать его с пеной у рта. Ибо черный сброд, именуемый народом, не желает признаваться в своей глупости и нещадно мстит кумирам, не оправдавшим его доверия. Толпа издревле нуждалась в идоле. И вера ее — идолопоклонство.

И кто знает: не клянут ли его люди уже теперь, не злословят ли над ним уже сейчас каждый встречный-поперечный?! Может, уже хохочут до коллик в животе над грозным Повелителем, который еще недавно молнией поражал иноземных правителей, сотрясал короны и свергал троны, а теперь, состарившись, не может, да-да, просто не может справиться с молодой бабенкой, изнывающей от низменной похоти, жаждущей крепких мужских объятий, не в силах унять зуд вожделения в ее чреслах и потому забился в угол, словно трусливый, шелудивый пес. Разве болтливая толпа удержится от соблазна позлословить над всемогущим властелином, который, вместо того чтобы, подобно настоящему мужчине, открыто схлестнуться с удачливым соперником и отомстить обидчику, прибегает к подлым приемам и тайным козням? Вот уж почешет языки черный люд по поводу того, что-де после бога самый великий среди бессмертных оказался самым ничтожным среди смертных. Э, услышать бы только собственными ушами эту подлую болтовню. Увидеть бы собственными глазами, как, рассказывая о нем, веселятся, ерничают, по ляжкам себя похлопывают неуме-

ные трепачи. Увидеть и услышать, как и что о тебе говорят, проще и легче, чем терзаться собственными сомнениями. Чем больше он старается заткнуть глотку праздной толпе, тем заметнее разрастается грязная сплетня о нем. Выходит, хорониться от чужих глаз, забиваться трусливо в свой дворец — просто бессмысленно и глупо.

Да, да, совершенно очевидно: лежать в сумрачном зале, подобно старому медведю в берлоге, не делает Повелителю чести. Нужно во что бы то ни стало вырваться из самовольного заточения, разорвав гнилые пути сомнения и подозрения. И пусть толпа говорит о нем, что и как ей заблагорассудится. Бывая на людях, он хотя бы по глазам их определит то, что они не посмеют высказать словами.

Возвратились бы сейчас старые добрые времена! О, он закатил бы пир назло глумливой толпе. Напоил бы всех до умопомрачения, развязал бы языки, вдоволь наслушался бы пьяной болтовни. Но сейчас нет никакого основания для такого торжества. Повелителю неизвестно настроение не только жителей его столицы, но даже единокровных сородичей и предводителей войска, правителей-эмиров. Кто знает, что у них на душе? А не зная этого, разумно ли собирать всех на пир?

Поразительно несуразно все получилось. Построенный в его честь голубой минарет обернулся для него злом. Связал его по рукам-ногам, сковал волю. Но почему Повелитель сам себя так изводит? Разве он не грозный владыка, железной рукой взнуздавший мир? Что ему стоит собрать всех, кого он считает нужным, и прямо заглянуть им в глаза?! Нельзя же до скончания дней отсиживаться за каменной стеной. Пора ведь взять себя в руки, встряхнуться назло Младшей Ханше, этой гадюке, пригревшейся на его груди, назло Старшей Жене и ее чванливой свите, не спускающим с нее глаз. Ему, Повелителю, ведь под силу неожиданным поступком своим еще раз удивить и черный люд, и спесивую знать, привыкших с разинутыми ртами ловить каждое его слово. По крайней мере, он узнает все, о чем говорят и что думают разномастные холуи, толпами увивающиеся вокруг.

На другой день Повелитель вызвал старшего визиря. Тот боязливо протиснулся в дверь, не отрывая от пола огромных выпуклых глаз, способных одним взглядом охватить все. С подчеркнутой учтивостью выслушал старший визирь наказ Повелителя и, низко поклонившись, вы-

скользнул из зала. Трусливая повадка старой лисы настояживала. Неужели оправдываются его подозрения? Неужели и впрямь все придворные догадываются о том, что творится в душе Повелителя? Почему пройдоха визирь прячет глаза и норовит скорее удалиться? Отчего тень ужаса на холеном лоснящемся лице? Может, бонится участи главного зодчего? Может, опасается расплаты за то, что осмелился построить в отсутствие властелина уродину башню? Не исключено! Ах, зря он его так скоро отпустил. Немногие способны устоять перед его молчаливым гневом. Немногие выдерживают его испытующий взгляд. Повелителю захотелось вновь увидеть старшего визиря. Увидеть скорее и других придворных слуг, детей, наместников и военачальников. Интересно, как они себя поведут при встрече с глазу на глаз? Может, тоже начнут ерзать, отводить взгляд, юлить, прятать голову? Если так, значит, и они что-то знают, утаивают...

Еще несколько дней спустя великий Повелитель соизволил выехать на охоту. Целый караван — наездники-коневоды, лучники-охотники, барабанщики, повара, слуги, личная охрана, свита, конюшье, опытные псары с гончими, борзыми, волкодавами на сворках — медленно выступил из города и направился в сторону гор, смутно голубевших вдаль в зыбком мареве. Лишь через день караван остановился на привал. Среди хребтов и зубчатых скал, на берегу бурлящей горной реки, в глухих, нетронутых зарослях дворцовая челядь быстро раскинула шатры для военачальников и правителей: здесь высоко в горах, в непроходимых лесах, богатых зверьем и дичью, предстояла пышная ханская охота.

Многолюдный красочный караван, поджарые легконогие скакуны, чинный, торжественный ряд обвешанных всеми видами оружия охотников, сладкое предвкушение удачи и забавы — все это живо напомнило Повелителю былую безмятежную, полную соблазнов и очарования жизнь. Горы и заросли заметно гасили нещадный зной в долине.

В день прибытия затеяли грандиозный пир. Вино лилось рекой. Все были возбуждены, говорили и кричали наперебой, но чуткий слух Повелителя не уловил ничего крамольного или примечательного. Все дружно и на все лады обсуждали предстоящую утеху. Хвалили лошадей. Хвалили собак. Хвалили ловчих птиц. Хвалили друг друга и самих себя. Рассказывали охотничьи байки. Выхва-

лялись меткостью, удачливостью, сметливостью. И, слушая эту привычную бестолковую болтовню, Повелитель даже не знал, радоваться ему или огорчаться. Казалось, все лукавят, разыгрывают его, ловко обводят вокруг пальца, и он поневоле опять насупил брови.

Ночь на привале он провел без сна. Вокруг, в шатрах, после вчерашней оргии спали беспробудным сном. Безмятежная тишь нависла над миром. Летняя ночь навела сладостную дрему. Чистый горный воздух ласкал хмелем объятые тела. Где-то глубоко в сознании бодрствовало предчувствие радостной утренней предохотничьей суеты. Разве может быть большая усада для души? Из соседних шатров доносился причудливый храп.

Такая жизнь и вот такие ночи издавна особенно по душе Повелителю. Каждый из этих мужчин, с оружием в руках, покорно следующих за ним хоть на край света, возвращаясь в столичный город или в кишлаки, в приземистые глиняные домики на тесных пыльных улочках, превращается в опасность для него, в заурядного трепача, охотно распространяющего небылицы и сплетни о всемогущем владыке. А в походе, когда они рядом с ним, каждый смотрит ему в рот, каждый послушен и покорен и старается непременно угодить. В такие мгновения ему чудится иногда, что все они — единокровные потомки: сыновья, дети, внуки и правнуки, будто бесчисленные ветви и побеги от одного могучего ствола. Стоит им только хоть на один шаг удалиться от мирной жизни, как они поневоле тянутся к нему, точно несмышленики к родному отцу, ища у него опору и поддержку. Вот и сейчас, глубокой лунной ночью, среди хмурых скал, в окружении непролазных зарослей, они предаются безмятежному сну, словно сорванцы-внуки, доверчиво прильнувшие к доброму и надежному дедушке. Как бы желая перекрыть их дружный, многоголосый храп, гроыхает, гудит, ворочает камни норовистая горная речка у подножия хребтов. Чуткий слух Повелителя улавливает каждый звук, каждый шорох за тонкой шелковой завесой шатра. Знакомые, приятные ночные картины. Ни одного резкого вскрика, ни чуждого вопля, от которых немеет душа. И все же не спится... Не идет сон, хоть плачь. Возле дальних шалашей беспокойно поскуливают гончие собаки: может, чувствуют звериные запахи? И за шатром кто-то едва слышно копошится, шебуршит; что-то вроде похрустывает, потрескивает. Должно быть, мелкая ползучая тварь присту-

пила к своим ночным заботам. Вдалеке тонко вызванивают, стрекочут цикады. Все так просто, привычно, однако сколько причудливого, загадочного, непостижимого в этом мире!

Удушливый туман, словно чадом обложивший душу, несколько развеялся, поредел, но полная желанная ясность на сердце не наступала. Блаженная сонливость и тяжесть растекались по телу, но дух бодрствовал. Он испытывал странное желание незаметно раствориться в ночной мгле, слиться с разморенной тишью. Как хотелось ему сейчас разом забыть и про трон, и про корону, и про золотистый ханский шатер над головой и упасть в ласковые объятия природы. Если бы он мог, как эти невидимые мелкие твари за шатром, жить в собственное удовольствие неприметной жизнью, лишенной суеты, обязательств и тревожений! Стать бы простым смертным, до которого никому нет дела, которому не ведомы ни людская зависть, ни вражьи козни, или пусть даже — ничтожной тварью под ногами, лишь бы избавиться от необходимости быть постоянно на глазах, на виду у всех, точно бородавка на лице. Эх, выскользнуть бы сейчас незаметно из шатра и нырнуть в заросли! Какой бы завтра начался переполох, когда вдруг бесследно исчез бы Повелитель! Сколько бы родилось диковинных легенд о его таинственном исчезновении! А он, отсиживаясь в каком-нибудь укромном уголке, недоступном человеческому взору, усмехался бы в усы, злорадствуя над бездонной людской глупостью...

Повелитель понимал всю нелепость своих неосуществимых мечтаний, но все же ему было приятно об этом думать. Смешно... Многочисленные стражники, расставленные в два ряда вокруг шатра и всего лагеря, не то что хана — муху мимо не пропустят.

Повелитель в который раз подумал о том, что им же насажденные железный порядок и традиции, ремennыми путами связали его самого по рукам и ногам. И, вспомнив об этом, он почувствовал горький осадок в груди.

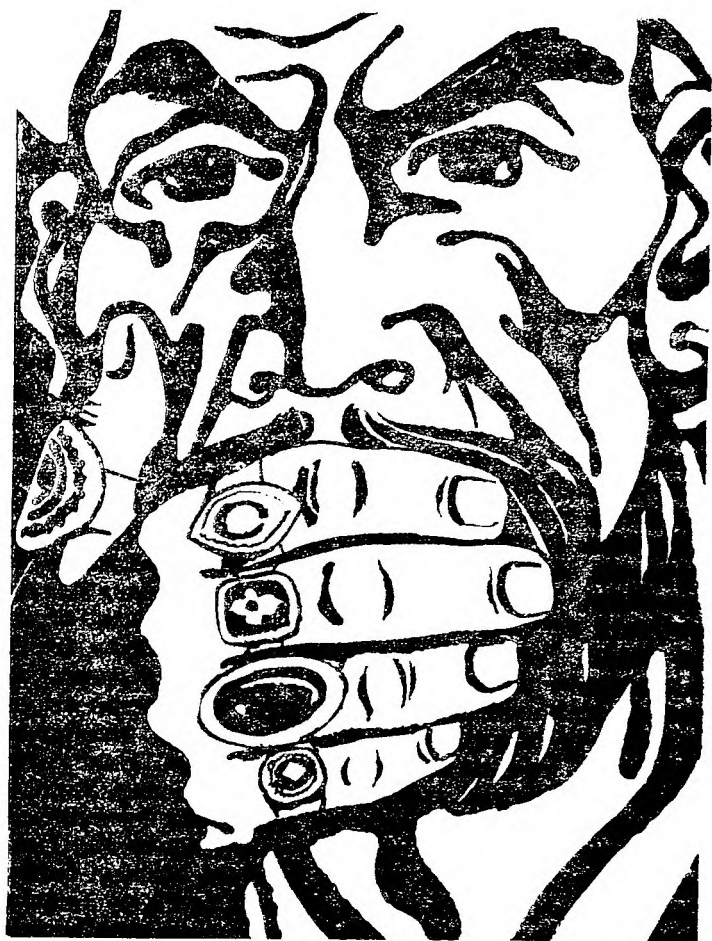
Вокруг стояла, однако, истомленная негой дивная ночь, сулившая отдохновение и уладу для души и тела, и Повелитель с досадой отмахнулся от недобрых предчувствий. Усилив воли он вновь направил разладившийся было настрой измученной души по едва заметной тропинке, обещающей впереди желанное пристанище,

похожее на райский уголок. Эта тропинка незаметно уводила его все дальше и дальше от безмятежно храпевшей перед завтрашней охотой свиты, от суетной земной жизни, где происходит вечная борьба между добром и злом, отчаянием и надеждой. И казалось, дух его отдаляется от грешной земли, от опостылевшей возни среди людских и никогда, никогда уже не будет возврата.

Уже далеко позади остался проклятый край, край вечной печали и скорби, и Повелитель, освобожденный от тяжести власти, от пышных, золотом вышитых одежд, испытывал удивительную легкость. Даже почудилось ему, что он одет в ихрам — два куса несшитой белой ткани, — в котором истые правоверные совершают паломничество в священную Мекку. Вот он идет, шлепая босыми ногами по белесому пухляку. Вокруг простирается незнакомая местность. Среди древних, скудных гор, разрушенных зноем и ветрами, виднеется небольшой городок. К нему со всех сторон длинной вереницей тянутся, стекаются паломники. За ними, еле волоча ноги, плетется и он. От бесконечного выкрикивания каких-то молитвенных слов в горле его пересохло. Он давно охрип и, как бы ни надрывался, не слышит собственного голоса. Только губами пересохшими шевелит. Впереди возвышается длинный бурый увал. Толпа устремляется к нему. Лишь после полудня удалось одолеть его склоны. На вершину увала поднялся на поджаром скаковом арабском верблюде, покрытом дорогим ковром, старец в огромной белой чалме. Восседа в пышном седле, он раскрыл лежавшую на коленях тяжелую книгу и начал читать вразяжку величаво-скорбным голосом. Изредка голос его обрывался, и тогда короткую тишину оглашали нестройные вопли пилигримов:

— О, всеблагий, всемогущий! Покоряемся воле твоей. Припадаем ниц к стопам твоим!

И при этом паломники приподнимали край ихрама и потряхивали им. Бесчисленное число раз слышал Повелитель эту смиренную мольбу из уст других, но сам никогда не произносил подобных слов. Он с трудом ворочал языком, долго шевелил губами, приноравливаясь к хору страждущих, по лицам которых текли слезы. Повелитель при всем своем старании так и не сумел выжать ни одной слезинки. Лицо его оставалось суровым и непроницаемым. Чтобы никто из усердно вопящих вокруг не обратил на него внимания, он также гнусаво выпевал



молитвенные слова и, смежив веки, низко опустил голову. Старец на верблюде закрыл священную книгу и благоговейно сложил ладони перед лицом. Паломники опустились на колени. Потом, когда благословение было окончено и многоголосое протяжное «Ам-и-и-нь» прокатилось по увалу, бесчисленная толпа ринулась в долину. И Повелитель послушно потрусил вниз. Дыхание теснило грудь, сердце трепетало, пот струился с него ручьями, но он старался изо всех сил, чтобы не отстать от других.

Там, у подножия увала, их оглушили протяжные гнусавые звуки, будто вразнобой затрубили медные трубы. На небе ярко вспыхивали огни. Еще днем, поднимаясь на вершину увала, Повелитель увидел в долине множество деревянных минаретов. Теперь они разом запылали точно гигантские свечи. По ущельям, излучинам между островерхними холмами и курганами замелькали-заплясали багровые языки пламени. Разноцветные шатры, тесно расположившиеся на равнине, отбрасывали при ночном зареве жутковатый отблеск.

И вот старец на белом скаковом верблюде вновь начал молитву. И, сотворив утренний намаз на вершине увала, паломники опять спустились в долину. На пути их, прямо посереде дороги, встретился черный каменный столб, в который каждый швырнул семь черных камушков величиной с зерно кукурузы. В центре плоской равнины возвышался еще один каменный столб. В него тоже кинули по семь маленьких камушков. Наконец толпа наткнулась на глухую стену, сложенную из грубых булыжников. И еще раз по семь камушков бросили в нее паломники. Теперь они направились к продолговатым земляным печкам, над которыми громоздились огромные котлы. Возле котлов озабоченно суетились мясники и, сверкая длинными острыми ножами, разделявали туши жертвенного скота. Здесь же — неизвестно откуда взялись — толпились наглые попрошайки, назойливые побирушки, страшные нищие в лохмотьях. Паломники, одетые в священный ихрам, отошли в сторонку. Здесь на их склоненные головы какие-то люди лили теплую воду из высоких кувшинов с узким гнутым горлышком. Повелитель тоже припал на колени, покорно опустил голову. Он чувствовал, как от теплой водички кожа на макушке стала мягкой, податливой. Чернявый, сухопарый мужчина ловко вытащил из ножен стальное лезвие и привычными, заученными движениями в два счета обрил его, потом принялся стричь ногти на руках и ногах. Закончив свое дело, чернявый связал в отдельные узелочки волосы и ногти и закопал их в одну ямку.

С земляных печей сняли казаны. Перед паломниками, усевшимися в длинные, тесные ряды, поставили большие деревянные подносы с кусками дымящегося мяса. После обильной трапезы паломники весь день отдыхали в своих шатрах. А потом направились в священный город, лежавший в долине. Перед ними находилась кааба —

мусульманский храм, в стену которого был вделан черный камень, задержанный новым черным покрывалом из Египта. Паломники остановились возле каабы. Служитель храма с треском разорвал старое черное покрывало на клочья и роздал их паломникам как священный талисман, приносящий праведникам радость и благо. Чуть вдаль белело мраморное возвышение-минбар, с которого мусульманский проповедник-кади наставляет правоверных на путь истины. Над источником зам-зам возвышался небольшой купол. Как и все, Повелитель сложил ладони перед лицом и помолился. Потом со всеми вместе подошел к черному камню. От прикосновения губ и рук паломников поверхность его казалась отполированной. Нижняя же часть была еще шершавой, со множеством красных крапинок. Паломники один за другим благоговейно целовали священный камень, но стоило Повелителю наклониться к нему, как камень, точно живой, отстранялся от него, ускользал то в одну, то в другую сторону. Тогда Повелитель протянул к нему руки, но опять не дотянулся. Огромная толпа, выстроившаяся за ним, в нетерпении оттеснила его от камня. Повелитель повел дернул плечами и мелкой трусцой, как это предусматривается ритуалом, трижды obeжал каабу. После каждого круга он наклонялся к камню, чтобы прикоснуться к нему губами, но камень всякий раз ускользал от него. Повелитель, недоумевая, перешел на шаг, еще несколько раз обошел каабу, каждый раз пытаясь поцеловать камень, но тщетно. Другие паломники или дотягивались до него губами, или прикасались хотя бы руками, а от Повелителя камень увертывался, как от прокаженного.

Вместе со всеми он поклонился могиле пророка Ибрагима, построившего священный храм — каабу. Пил воду из священного источника зам-зам. Вода оказалась невкусной, солоноватой. От нее неприятно пощипывало в горле.

От каабы толпа направилась к двум горам-близнецам, протянувшимся рядом, — Саф и Мару. Послушно семеня среди паломников и Повелитель. Как наваждение, преследовало его жуткое видение: ускользая, мельтешил перед глазами черный камень. С того дня как Повелитель впервые облачился в ихрам и посетил священные места пророка, он рьяно исполнял все предписания праведникам, отрекшимся от мирской суеты и житейских соблазнов. Он не пропускал ни одного намаза,

вовремя совершал омовения, соблюдал пост, коротко стриг ногти и красил их хной, тело умащивал благовониями, истребляющими всякую нечисть сатаны греха Иблиса, на священный жертвенник привел белого верблюда. Вокруг каабы захоронены останки более ста святых, и Повелитель поклонился каждой могиле, ни одного святого не обошел подающим. Укрыв свое бречное тело ихрамом, он не осквернил уста плодом с кроваво-багровым соком, не глядел на свое отражение, отрекся от мирских забот, не позволял себе думать о греховном, подавлял желания грешной плоти, не вступал в преступную связь с женщиной не только наяву, но и во сне. И теперь, когда он надеялся за все свои благочестивые деяния удостоиться желанного имени хаджи и покрыть голову высокой белоснежной чалмой, священный камень каабы упорно отворачивается от него. За какие грехи выпало на его долю такое унижение? Разве не говорили, что тому, кто хоть раз ступил босыми ногами на священную землю пророка, прошел через все испытания плоти и очистил душу, припав губами к черному камню каабы, прощаются навсегда все большие и малые прегрешения? Почему божественная вода замзам обжигает ему пищевод, будто щелочь?

Идет-бредет толпа паломников, шлепая босыми ступнями по пухлой пыли. Задыхаясь и обливаясь потом, спешит за ней Повелитель. А перед глазами неотступно стоит черный камень каабы. Не стоит даже, а крутится, вращается, будто гончарный круг, катится перед ним. И как бы ни старался Повелитель — догнать не может.

Паломники добрались до низины между горами Саф и Мару, которые когда-то жена Ибрагима Агора обежала семь раз в поисках воды для единственного сына Исмаила. Бежит, бежит трусцой вконец обессиленный Повелитель, вопит, выкрикивает молитвенные слова: «О, всеблагий, всемогущий! Готов исполнить любую твою волю. Только не откажи в своей милости. Будь так же великодушен ко мне, как и к другим верным твоим рабам...» Впервые в жизни срываются с его губ такие жалостливые, покаянные слова. Но, видно, не доходит его жаркая молитва до всевышнего. Крутится, катится впереди священный камень каабы, и нет никакой мочи догнать его. Напрягая горло, он кричит протяжно, долго, в отчаянии: «О, аллах!.. Внемли мольбе раба своего! О, алла-а-ах!..»

Повелитель проснулся. В ушах еще отдаленно звенел надсадный крик. Сквозь шелковый шатер проникал бледный свет. Видно, заря занялась уже давно. Снаружи доносились приглушенные голоса. Повелитель звякнул колокольчиком. В шатер тотчас вошел слуга, держа на вытянутых руках легкую охотничью одежду. Повелитель быстро оделся, вышел. Солнце уже поднялось на длину конских пут. Лошади были оседланы. Гончие, борзые, волкодавы нетерпеливо поскуливали, прыгали на сворках. На кожаных рукавицах сокольников, нахохлившись, сидели в колпаках ловчие птицы — беркуты, соколы, ястребы, пустельги. Их звонкий, резкий клекот вспарывал утреннюю тишь. Вдали в прозрачной сини ослепительно сверкали снежные вершины гор. Внизу, у подножия, монотонно рокотала речка. Без умолку щебетали, заливались на все лады бесчисленные птицы на деревьях, словно понимая, что им-то не представляют никакой опасности эти вооруженные люди с собаками и хищными прирученными птицами. А вот зверь в лесу будто затаился, ушел куда-то. Повелитель скосил взгляд на свиту, выстроившуюся рядом поодаль. Она мгновенно согнулась в учтивом поклоне. Повелитель сдержанно кивнул в ответ и сел на коня, которого держали под уздцы с двух сторон два коневода. Набросил на плечо лук, приторочил колчан со стрелами. И свита, и челядь поспешно взобрались в седла. Оглушительный, грубый рык керная разом разорвал в клочья прозрачную утреннюю тишину, дремуче нависшую над горами.

Первыми выступили выжлятники и доезжачие с керными и барабанами. Разделившись на группы, они направились к оврагам, буеракам и ущельям, утонувшим в густых зарослях. Они должны вспугнуть зверье, выгнать его из засады на простор, на открытую поляну, туда, где томятся в предвкушении забавы Повелитель и его свита. Поодаль от них плотным кругом расположились охранники, оберегающие Повелителя от случайной напасти.

На месте стоянки остались слуги и несколько охранников, прочие отправились на охоту. Выжлятники едва ли не с вершин, откуда начинались ущелья и ложбины, травили зверя, выгоняя его из зарослей в открытую долину, где устроила засаду знатная свита Повелителя. Повара между тем с раннего утра копали продолгова-

тые ямы, сооружали земляные печи, устанавливали котлы, заготавливали впрок топливо.

Повелитель хмуро молчал. Ни словом не обмолвилась и свита. Раньше Повелителю нравилось, когда все вокруг угодливо пожирало его глазами, предугадывая каждое его желание, каждый каприз. А сейчас любой случайный взгляд впивался в него колючкой. Уж не жалость ли сквозит в этих скользких взглядах? И не унижительно ли эта жалость для всемогущего Повелителя? Отчего все вокруг так серьезны и молчаливы? Неужели все понимают, какой червь гложет его сердце? Бывало, прежде на охоте всех охватывало такое возбуждение, что на месте не могли стоять. А теперь все непроницаемо спокойны, точно истуканы. Да что там раньше. Вчера, да, да, вчера еще горланили, шумели за дастарханом. Сегодня же затаились, языки прикусили, выжидают. Может, услышали, как он кричал-вопил во сне? Если так, то они, разумеется, догадываются о его состоянии. Любопытно, как они объясняют горячую мольбу своего Повелителя, униженно взывавшего во сне к аллаху? Должно быть, сейчас все только и думают о том, какая же душевная боль заставила Повелителя выказать тайну во сне, которую он так тщательно скрывает наяву? Возможно, они радуются про себя, считая, что их давнишние смутные подозрения оправдались? Если бы до этого они пребывали в полном неведении, то они вели бы себя сейчас совсем по-иному. Они просто не заметили бы каких-то перемен в душевном настрое своего господина или не придавали бы им значения. Исподтишка пытливо вглядывался Повелитель в своих нукеров, однако ничего, кроме крайней осторожности, желания незаметно улизнуть и фальшивого подобострастия, он не прочел в их окаменевших лицах. Иные чутко прислушивались к порсканию выжлятников, доносившемуся из дальних ущелий и буераков.

Когда Повелитель со свитой спустились в открытую долину, высоко в горах затрубили кернан, дробно забили охотничьи барабаны. Могучее эхо прокатилось по ущельям. С грохотом посыпались камни, гулко зацокали копыта. Все разволновались, насторожились. Один Повелитель не шелохнулся. Лай собак стремительно приближался. Нукеры, обеспокоенно взглядывая на своего господина, с трудом сдерживали возбужденных коней. Повелитель и бровью не повел. Лишь когда гул, треск,

грохот докатились до прибрежных зарослей, он едва заметно кивнул старшему визирю.

Многочисленная свита, отъехав на почтительное расстояние от Повелителя, вдруг завопила во всю мощь глоток и с улюлюканьем поскакала к оврагу. За нею стремглав понеслись дворцовые охотники. Еще несколько десятков всадников в одно мгновение нырнуло в дикие заросли по обе стороны горной реки. Избавившись от тягостной опеки свиты и дворовой челяди, Повелитель свернул к маленькому, незаметному притоку на дне каменистого оврага. Здесь была укромная излучина, заросшая осокой и камышом. У ручья Повелитель спешил. Подошел к серому валуну у родника. Сел. Наклонившись, зачерпнул ладонью прозрачной студеной водицы, ополоснул руки, лицо. Потом снял с плеч лук, положил рядом. Расслабил пояс, прилег. Давно уже, находясь за пределами дворца, он не оставался наедине с самим собой. С утра сегодня никого не хотелось ему видеть. Пусть эти словоблуды болтают о нем за глаза что хотят, лишь бы не толпились рядом и не смотрели ему угодливо в рот.

В густом разнотравье утонула окрестность. Утренняя роса на верхушках осоки не успела еще высохнуть. Зубчатые вершины скал, виднеющиеся из-за камыша, сверкали свежестью, словно чья-то колдовская рука омыла их ночью. Из-за мыса подул прохладный ветерок. Однако он не мог развеять тягостную духоту в груди. Вновь вспомнился предутренний сон. Здешние суровые снежные вершины совсем не походили на невзрачные, точно выжженные холмистые горы Арафа и Муздалиф, Саф и Мару, а сочные травянистые луга между ущельями, где в этот миг толпы охотников неистово гнались за зверем, — на пыльную, опаленную Минскую пустыню, по которой он с паломниками бродил во сне. Но и нещадный зной пустыни, и удушливая пыль, прогорклый запах гари, приснившиеся сегодня на заре, преследовали его и наяву. Он поражался тому, как живо запечатлелся в сознании неведомый ему далекий край. Или, может, в нем ожили воспоминания его сенда, не однажды совершавшего паломничества в священную Мекку? С какой стаги приснилась ему вообще обитель пророка за тридцать земель? А-а, возможно, то дух предков наставляет его исподволь на путь истины? Может, и впрямь совершить ему хадж? Разве мало было на свете владык, рассказав-

шихся к концу жизни? Они отправлялись в Мекку, губами прикасались к священному камню каабы, сменяли корону на простую чалму, а золотой скипетр — на сукроватый посох и нищими дервишами скитались по земле. Что их заставило отречься от былой славы и могущества? Может, те же душевные муки, терзания и сомнения? Но почему во сне священный черный камень не подпустил его к себе? Неужели из живущих на земле у него, Повелителя, больше всего грехов? Неужели он единственный не достоин прощения? Но разве не в священных писаниях говорится, что коронованные владыки — золотая опора всевышнего на земле? Неужели всевышний способен обрушить гнев свой на свою же золотую опору? Или он просто дал знак, что не место ему, Повелителю, среди толпы паломников и всякого нищего сброда? В таком случае почему он уготовил ему судьбу, достойную каждого встречного-поперечного? Почему обрек на душевные терзания и муки, как простого смертного? Разве есть на свете большее унижение, нежели коварство блудливой женщины? Много гонений и тяжких испытаний пришлось ему изведать на своем пути, не однажды находился на грани отчаяния и корчился от боли, будто испил отравы, но никогда так не ныла измученная душа, как сейчас. То были испытания судьбы, когда жизнь мужчины висит на волоске, но всегда есть шанс отстоять свою честь с острым клинком в руке. А теперь оказалась посрамленной честь, и верный клинок тут бессилен. Так зачем всевышний навлек на его голову такой позор? Чем уж он так провинился перед ним? Разве тем, что так усердно оберегал достоинство трона и короны, которыми благодетельствовал его сам всевышний? Или виноват он в том, что безжалостно карал погрязших в блуде и грехе и с помощью огня и меча водрузил над иноверцами зеленое знамя пророка? Разве не во имя аллаха творил он жестокость? Разве не во имя черной толпы проявлял он твердость духа, поражая своими деяниями ее темное сознание, дабы она всегда помнила о величии аллаха, его сподвижников и о собственном ничтожестве? Он ведь всю жизнь избегал легких понятий, упрощенных определений, приблизительных, зыбких измерений, столь приятных и удобных для ничтожной толпы, для рабов похоти и подлых страстишек. А может, в этом и заключается его вина — в том, что он всегда стремился думать о том, что не приходило даже

на ум других, и делать то, что не под силу остальным. Может, это кошунство? Возможно! Но его высокие порывы и благие намерения никак не могут быть отнесены к низменным прегрешениям, доступным любому презренному ничтожеству. Так ли... Разве и в основе кошунства не лежит корысть и алчность, побуждающие к распутству? Не только безграничная власть, излишняя жестокость, но и неуместная доброта и щедрость — грех. А отец любого греха — чрезмерное вожделение, родная мать — ненасытная страсть. У тщеславия, сладострастия, властолюбия один и тот же корень. В сущности, отчаянный конокрад мало чем отличается от заурядной грязной шлюхи, чья постель никогда не пустует. Так же, как и упивающийся своей неограниченной властью владыка — от знатной куртизанки, блюдящей выгоду в соблазнах своих пышных чресел.

Приходится признать горькую истину: его всемогущество, безраздельная власть, слава и честь так же призрачны, мимолетны и обманчивы, как и румянец на лице смазливой и похотливой бабенки или как добро купчишки-крохобора. Это, конечно, так. Но вот что вызывает недоумение: священный камень каабы, приснившийся ему во сне, не шелохнулся, когда касались его губами отъявленные грешники, на совести которых не одна подлость, а его, Повелителя, верного слугу аллаха, черный камень упорно не подпускал к себе. Может, зоркий глаз всевышнего подметил высокомерие и чванливость, укorenившиеся в душе Повелителя? Может, проявление надменности к себе подобным и есть тот грех, который всеблагий ему не прощает? Значит, в том, что священный камень каабы не подпускает его к себе, скрывается злорадный намек: мол, коли ты, коронованный всемогущий владыка, настолько вознесся и возгордился, что не желаешь признать даже своего зачатия в грехе и рождения от длиннополой, низкородной бабы, как и все двуогие на земле, то какого дьявола ты притащился сюда, в обитель святого духа, где грешникам, осознавшим сердцем и умом свой грех, предоставляется возможность для покаяния?! В таком случае какое утешение для души находят бывшие всеисильные владыки, сменяющие на старости лет по собственной воле золотой трон на лохмотья бродяги-дервиша? Видимо, они заботятся не столько об отпущении грехов, как все остальные обыкновенные смертные, сколько о том, чтобы не стать посмешищем в

глазах толпы, когда бывшая сила оборачивается старческой немощью, а грозные речи — жалким лепетом. Ведь, как известно, грехи ничтожного смертного одинаково охотно прощают и те, кто стоит выше, и те, кто находится ниже. Если ты стоишь чуть выше, он припадает к твоим ногам, целует подол твоего чапана и угодливо бормочет: «Слушаю, мой господин!» Если же вдруг, наказанный судьбой, ты оказываешься ниже его, он непременно проявит тошнотворное милосердие: «Несчастный! Горемыка! До чего он докатился?!» Не дай бог быть с простым смертным на равных. Этого он не простит. И, должно быть, всемогущие владыки, хорошо знающие повадки толпы, чувствуя, что судьба отворачивается от них, поспешно облачаются в рвань дервиша вовсе не потому, что в них вдруг проснулись раскаяние и потребность замолить грехи, а потому, что таким образом надеются спастись от злорадствующего взора. В самом деле, есть, вероятно, только один путь избавления от осуждающего, презирающего, унижающего и злорадствующего взора черной толпы, которой еще никогда и никому не удалось угодить, — отречься от короны и трона, совершить паломничество в святую Мекку, изнурять плоть и дух и с посохом в руке, с котомкой за плечами в бродяжничестве провести остаток бременной жизни. Только тогда злорадство и месть, годами накопившиеся в черной утробе толпы, обернутся неожиданно жалостью, а во взгляде, недобром, подозрительном, мелькнет сострадание. И это означает, что ты стал неприметным беднягой, не вызывающим ни у кого зависти и злорадства. И душа твоя уже не корчится от обиды, унижения, от боли, от того, что какой-то смазливый сопляк осрамил твоё достоинство и честь. Да и нет отныне никому дела до того, что творится в твоём сердце и какой чадный огонь опалает твою душу.

Повелитель почувствовал зависть к тем, кто может себе позволить жить незаметной, неприметной жизнью. Сон, который приснился ему на заре, был наверняка знаменем судьбы, зовом духа предков. Он вспомнил: нынче ночью зародился двенадцатый месяц лунного календаря — зу-л-хиддже — пора ежегодных празднеств в священной Мекке. Повелителю не терпелось скорее встретиться с сендом, чтобы тот растолковал ему зоровой сон. Надо немедленно возвратиться в столицу. Сейчас, как только выберется из бусрака, он прикажет кернай-

щнику протрубить отход. Он лишь теперь почувствовал, что больно отлежал бок на корявом камне, и хотел было повернуться на другую сторону, как из густых камышовых зарослей — почти рядом — донесся треск: кто-то двигался, безжалостно сминая камыш и валежник. Повелитель чуть пошевелинулся, и треск в зарослях оборвался мгновенно. Повелитель насторожился, встал. Ему почудилось что-то огромное, полосатое в камышах. В тот же миг оно, уже не таясь, медленно и неумолимо двинулось навстречу. Тигр!.. Подкрадывался упруго, по-кошачьи, пружиня огромное, ловкое тело. Странно, страха не было. Рука даже не потянулась к луку, лежащему рядом.

Промелькнуло: ах, вон оно что означал его предутренний сон! Вот почему, оказывается, священный черный камень увертывался от него! Просто это был знак скорой гибели. То-то же! Не должен же он, Повелитель, избранник и баловень судьбы, умереть заурядной смертью, как все ничтожные людишки на земле. Бог милостив: хану — ханская смерть.

Тигр был близок. Повелитель с тайной радостью и нетерпением ждал свою счастливую смерть, избавляющую его разом от всех душевных мук и глухой, безнадежной тоски. Сейчас... сейчас... вот в следующий миг он, наконец, навсегда, навсегда избавится от удушливой горечи, железным обручем сковавшей ему сердце. И никогда, никогда нигде уже не будут преследовать его жадные, любопытные, осуждающие, трусливые и одновременно злорадные взоры презренной толпы. И заткнутся песком вонючие рты, охотно извергающие грязные сплетни. А черная толпа, всю жизнь не спускавшая с него глаз, подхватывавшая и распространявшая каждое его слово, начнет складывать легенды, сочинять на разные лады нелепейшие небылицы о его мужественной и мученической смерти и передавать их из уст в уста, из поколения в поколение.

Тигр прижал уши, напряжился, выгнул хребет. «Готовится к прыжку», — мелькнуло в голове Повелителя. Вон эти когти, острые, как ножи, сейчас вонзятся ему в глотку, а хищно белеющие клыки мгновенно раскроют череп. Крупная дрожь вдруг прокатилась по хребту зверя. Голова тяжело повернулась вправо.

Оказалось, кто-то из нукеров вышел на мысок и, заметив тигра, застыл как вкопанный. Однако уже через

мгновение опомнился и схватился за лук. Повелитель тоже взял лук в руки.

Джигит из свиты увидел, как смерть в облике полосатого хищника метнулась на него, но тут же словно застыла в прыжке и рухнула наземь. Повелитель спокойно и деловито повесил лук на плечо.

Так же неторопливо Повелитель подошел к поверженному зверю. Стрела точно угодила в сердце, и тигр, не успев развернуться в прыжке, судорожно корчился на земле. Повелитель, глядя на предсмертную агонию хищника, вздохнул: то ли подсадовал, что не суждено было осуществиться его жутким грезам, то ли просто пожалел издыхающего в муках царя камышовых зарослей. А потом, должно быть, неожиданно для самого себя едко усмехнулся. Видно, почувствовал Повелитель тайную гордость от того, что раньше своего телохранителя сразил зверя, иначе завтра ротозей-слуга начал бы корчить из себя спасителя своего господина и при каждом случае возвеличивать свои заслуги.

Повелитель вышел из буерака. Коневоды бросились к мысу, полюбовались могучим красавцем, распластавшимся на камыше, и, колгоча, принялись сдирать с него шкуру.

В тот день в долине между гор только и говорили о неожиданном происшествии. О Повелителе, о тигре-людоеде красочно рассказывали охотники друг другу, возвращаясь по неожиданному велению в город. Один Повелитель сурово молчал. Невеселые думы вновь настигли его. В столицу вернулись на другой день к вечеру. И всю ночь в опочивальне ханского дворца не сомкнул глаз Повелитель. Сон, приснившийся там, на привале, и неожиданная встреча с тигром, угрожавшим гибелью, еще больше разволновали и без того смятенную душу и сделали его существование еще более сложным, непонятным и тягостным.

Видимо, настала пора твердых решений. Судя по тому, как сам всевышний спас его от неминуемой смерти, от него ждут решительного поступка даже там, на небесах. Только в чем заключается этот поступок? Где и какое оно, решение? Такое, как приснилось во сне: сменить золотую корону на благочестивую чалму? Как бы там ни было, томиться в опостылевшем ханском дворце становится невмоготу. Необходимо встретиться с сен-

дом, рассказать ему о сне. Давно уже не виделись. Может, святой старец на него в обиде?..

На следующий день по холодку Повелитель поехал в повозке к сумрачным и голым холмам, тянувшимся к юго-востоку от ханской столицы. Эти места очень напоминали выжженный зноем и ветрами священный край, приснившийся во сне. Склоны сопок казались опаленными. Земля потрескалась, верхний слой почвы обуглился, будто здесь недавно прокатился степной пал. Чудилось, будто пахло горелым. Посреди диковинного нагромождения шершавых валунов и меловых — в причудливых трещинах — увалов возвышалась на черном, почти недоступном крутояре скала с пещерой, обращенной к кибле — стороне, куда поворачиваются лицом правоверные во время молитвы. У входа в пещеру что-то смутно белело. Потом, с приближением повозки, Повелитель узнал древнего старца в высокой белой чалме. Старец наверняка видел с высоты крутояра пышную ханскую повозку, запряженную цугом; слышал, вероятно, и переливчатый звон серебряных колокольчиков, однако не шелохнулся, продолжал сидеть, скрестив ноги и вперив взгляд в сторону священной обители пророка.

Повозка подкатила к подножию крутояра. Повелитель вышел и, как всегда, оставив здесь свиту, один поднялся на кручу. В какие бы дальние походы ни отправлялся Повелитель, на чью бы страну ни готовил поход, на чей бы трон и корону ни нацеливался, он сначала неизменно приходил сюда, к духовному отцу, святому отшельнику, и поднимался по едва различимой тропинке, выходящей долго по песчанику, потом круто взбирающейся по глинистому обрыву. Перед решительной схваткой с врагом он должен был прикоснуться к редкой бородачке тщедушного, высохшего старца, получить его благословение. После него он отправлялся по обыкновению в самую большую мечеть своей столицы, чтобы отслужить намаз. Только потом он считал возможным выступить в поход. Но самый опасный, тяжкий и дальний поход не изнурял его тело и душу так, как этот крутой глинистый склон, по которому пролегал тропинка к святому отшельнику на вершине кручи. Странники, приходившие на поклон к старцу, так утоптали бурый склон, что он, казалось, лоснился на солнце. И раньше, бывало, Повелитель с большим трудом взбирался к пещере в скале, а сегодня ноги подкашивались

уже с первых шагов. Оступаясь и скользя, упорно карабкался он вверх, но был вынужден часто останавливаться, чтобы перевести дыхание и унять заколотившееся сердце. Те, что остались у подножия, с недоумением взирали на Повелителя, поражаясь, зачем он обрекает себя на такие муки ради какого-то иссохшего старичишки, которого не стоит труда сдуть с вершины его добровольного заточения.

Крохотный старичок, сгорбившийся у входа в пещеру, между тем, казалось, и не замечал великого Повелителя, который, задыхаясь и обливаясь потом, поднимался к нему. Святой отрешенно смотрел в сторону божественной Мекки. На маленькую голову его была накручена огромная белая чалма. Редкая белая борода, точно приклеенная к сморщенному пепельно-серому личику, придавала ему аскетически-суровое выражение. Маленькие блестящие глазки, обычно пытливо и пронизывающе глядевшие из-под насупленных, кустистых бровей, были на этот раз плотно зажмурены. Старик не шелохнулся и тогда, когда Повелитель, взобравшись, наконец, на кручу, откашлялся, чтобы привлечь к себе внимание. Подол ветхого выцветшего чапана на старике был изорван в клочья. Из-под рваных широких штанин высывались голые лиловые ступни. Пятки потрескались. Руки, иссохшие, землистые, с набрякшими синими жилами, крепко обхватили гладкий, потемневший от времени посох. Сенд был весь во власти дум.

Повелитель опустил перед ним на колени, сложил на груди руки, склонил голову. Только тогда старец, похожий на дремавшего одряхлевшего беркута, приподнял веко, повел зрачком. Потом он, точно очнувшись, выпрямился, поднял голову, старческим, надтреснутым голосом проговорил слова вежливости. Повелитель коротко и откровенно, как на исповеди, поведал ему обо всем. Старец выслушал его не перебивая, не шелохнувшись, с нескрываемым холодком. В уголках тонких, лиловых, дряблых губ под крупным хрящеватым носом с вывернутыми ноздрями несколько раз едва заметно пробежала язвительная ухмылка. И каждый раз, уловив ее, Повелитель перерывал свой горестный рассказ, и тогда мудрец шире открывал по-старчески мутные, бесцветные глаза, в глубине которых мерцал тусклый свет, похожий на блики луны в стылой лужице. Повелитель рассказал про недавний свой сон и неожиданную встречу с тигром

во время охоты и умолк в ожидании ответа святого сенда.

Старец молчал, думал, скашивал пытливый взгляд на Повелителя. После долгой паузы прошамкал:

— Всемогуший создатель, священные духи и святые заступники не выказывают открыто своих желаний. Они лишь сочувствуют, сострадают, сожалеют верным и покорным рабам своим. И намеками наставляют заблудших на путь праведный. И знак их — что посох в руках слепца. Должно быть, сын мой, отпугнул ты духов, прогневил святых заступников. Подумай!..

И больше не проронил ни слова. Раза два ткнул острием посоха в рыхлую супесь, вытянул тонкую морщинистую шею, устремил мутный взор к закату. Намек был ясен: святой старец сказал все, что посчитал нужным, а остальное пусть решает сам Повелитель. Сенд всегда был немногословен и суров, но сегодня от него повеяло еще холодным высокомерием. Это настораживало. Каждый его жест, каждый взгляд больно отзывался в душе Повелителя. Но он старался скрыть душевное смятение, сдержанно поклонился и направился к тропинке. Сенд не поглядел даже вслед. Вновь погрузился в свои думы. И советом не поделился, и благословения не дал. Раньше, случалось, он сочувствовал ему, жалел, потцовски проводил ладонью по лбу. На этот раз на лице сенда он заметил только надменность, неприступность и старческую сварливость.

Спуск по крутому склону показался сегодня трудным, как никогда. Повелитель торопился покинуть эту суровую, сумрачную горную обитель. Дойдя до подножия, он оглянулся и увидел черную мрачную скалу, которая как бы замкнулась, затаилась под его взором. Он сел в повозку и до самого дворца старался ничего вокруг не замечать.

И дома, в ханском дворце, он долго не мог прийти в себя. Непонятное раздражение и досада душили его. У него даже не было сил ходить взад-вперед из угла в угол по просторному пустынному залу. Ноги, натруженные от подъема на кручу, будто онемели. Сидеть он тоже не мог: толстый пестрый ковер под ногами казался убогим пустырем, усеянным колючками и крапивой. Всю жизнь он придерживался непреложного правила: «Избегай тупика, из которого нет выхода. На всякий случай всегда оставляй лазейку!» А теперь даже оно обернулось

конунством. Он, златокоронный властелин, поработивший тьму тем народов, оказался в растерянности, точно неверная жена, которую муж застал наедине с любовником, или как вор, пойманный на месте преступления. И нет никого, кто бы мог помочь добрым советом. Даже тоску свою высказать некому. Если всерьез подумать, и у юноши-слепца, доживающего свой куций собачий век где-то в грязных кишлаках за городом, и у томящегося в подземелье главного зодчего, и у Младшей Ханши, чья молодость и краса вянут в ханских покоях, все же более завидная участь. Ведь у них на худой конец есть возможность рассказать кому-то о своем несчастье. Или хотя бы обижаться на кого-то. А кого он, Повелитель, обвинит в своих бедах? На кого ему обижаться? Златокоронный властелин может пожаловаться только на самого создателя. Но разве до него дойдут жалобы? Не то что создатель, даже сморчок-старичок, стерегущий святую пещеру на скале, и тот не желает иметь с ним дело. Сколько надменности было давеча в нем, будто это он своим посохом подпирает небо. Ведь в сущности он даже не удостоил его взглядом. Не дай бог быть кому-то обязанным на этом свете! Нет ничего более унижительного, чем зависимость. И Повелитель понял это еще в далекой юности. Не потому ли с молодых лет он и боролся за власть, не щадя живота? Не потому ли он предпочитал рабской покорности добровольное изгнание? Не потому ли он не однажды оказывался на узкой меже между жизнью и смертью? Да-а, тех лишений и унижений он не забыл до сих пор. И теперь еще, вспоминая порой о них, он чувствует, как ноет старая зарубцевавшаяся рана, как пронизывает все кости тупая памятная боль. Однако, всей душой ненавидя зависимость и рабство, он разве потом, познав власть, пытался проникнуться сочувствием к тем, кто стоял перед ним коленопреклоненным? Кого из робких он поддержал, кого из сырых искренне пожалел? На гордые головы он неизменно обрушивал гнев и ярость; на тех, кто униженно припадал к его ногам, он смотрел с брезгливой жалостью. Это верно: иногда он позволял себе проявление жалости к каким-нибудь нищим бродягам. Но это не было потребностью души, а скорее, подачкой, которую небрежно швыряют калекам и нищим, чтобы только не видеть их гнусное обличье и не слышать смрад и зловоние, исходящие от них. Может, сварливый старец хотел ему про-

сто преподать урок — показать унижительность зависимости? Или намекал на то, что и всесильного подстережет напасть? Но разве нельзя было это сказать просто и смиренно, без отчуждения и вызывающей надменности? Ведь раньше по какому бы путаному и тяжкому делу не приходил он к нему, старец, не роняя своей благочестивости, вел с ним пространную, душевную беседу. А теперь обидную, уничижительную ухмылку, которая в последнее время и без того мерещится ему всюду, и откровенное злорадство, пристойное разве лишь кровному, извечному врагу, ему довелось увидеть на лице сенда, издавна считаемого — после, конечно, создателя — самой надежной опорой и верным заступником. Да, да, истинно так: ядовитую усмешку, которую зловредная чернь тщательно скрывала от Повелителя, боясь его гнева и кары, этот тщедушный старец и не пытался даже погасить на своих дряблых губах. И сказал-то он ведь совершенно откровенно: «Должно быть, отпугнул ты духов, прогневал святых заступников». Неужели отпугнул он духов тем, что сделал вид, будто не придает значения сплетням о Младшей Ханше? Неужели духовник считает, что Повелитель скрывает грех сжигаемой похотью бабы? И вместо того чтобы кинжалом решительно вырезать грязное клеймо блуда на супружеском ложе, он, таясь от всевидящего людского взора, прикрывает его собственной ладонью? Как же, по мнению сенда, он еще должен поступить? Выгнать Младшую Ханшу, как неверную жену? Но на такой позор не решался во все времена еще ни один властелин! Как он может всенародно признаться в том, что какой-то низкородный бродяга, пришелец посягнул на ханскую честь? И не только посягнул, а совратил его богоданную жену! Как может святой отец журить его за то, что он неспособен решиться на поступок, достойный самого ничтожного врага?! Ведь в таком случае и слепцу видно, что он наказывает не грешницу-ханшу и не се дерзкого любовника, а прежде всего самого себя. Выходит, сенд печется вовсе не об осуждении подлинных грешников, а хочет, чтобы злые языки трепали честное имя Повелителя? Это же невозможно! Этого может ему пожелать только Старшая Ханша, открыто ненавидящая свою соперницу и ради ее посрамления готовая жертвовать даже честью супруга. Но святой сенд, знавший с малых лет не только Повелителя, но и его отца, не может... да, да...

не может и не должен с именем аллаха на устах и священным посохом в руках разделять и одобрять слепую ненависть и злобу долгополой бабы, у которой от ревности помутился рассудок. Какой же он святой, если он не может быть выше низменных страстишек презренной половины человечества?! Конечно, сам сенд оказался в плену сплетен, дошедших до него из дворца Старшей Ханши. Более того, злорадная усмешка, так явственно обозначившаяся на его старческих лиловых губах, прилипла к нему от подлых и пронырливых сплетников, которыми кишмя кишит обиталище Старшей Жены. Таинственная и злая сила сплетни сумела смутить душу святого праведника. Колдовство ползущих слухов оказалось сильнее мудрости и святости живого пророка.

В горькой усмешке искривились губы Повелителя. Он даже почувствовал нечто похожее на снисходительную жалость к святому старцу, которого так ловко опутали прожженные пройдохи и коварные потаскухи. И в самом деле, разве можно обижаться на беспомощного старичишку, сбитого с толку бесконечными слухами и подлыми дворцовыми интригами? Конечно, старец достоин жалости. В этом лживом и продажном мире, где на каждом шагу твоей чести и достоинству угрожают позор и унижение, немудрено сбиться с пути истины и свихнуться с ума не только дряхлому старику-отшельнику, но и самому всемогущему творцу, из недоступной дали взирающему равнодушно на презренный человеческий род. Конечно, если сотворить мир сплошь из неумных, необоримых страстей и страстишек, разве можно не предаваться вожделению и греху?! Человек рождается от греха. От него же находит свою гибель. Если всякая страсть в конечном счете — грех, а грех — неизменный спутник всякого смертного, то, надо полагать, и святой отец — всего лишь один из двуногих грешников на земле. Его набожность, его отрешенность от всех соблазнов души и тела во имя всевышнего нужны ему только для того, чтобы возвысить себя в глазах черной толпы. Он действительно от многого на этом свете отрекся и отказался, но все же... не от всего, нет, нет, не от всего. Тщеславия он все-таки из себя не вытравил. И он отнюдь не прочь сохранить влияние на темный люд. Ему приятно, что его почитают, что припадают к его ногам. Он необычайно гордится тем, что к нему приходит и опускается перед ним на колени сам златокорон-

ный владыка. А разве гордость, кичливость — не та же страсть?! Все неумеренное, преувеличенное — кощунство. А оно неизбежно приводит к греху. Выходит, святой отец и великий Повелитель грешны в совершенно равной степени. Верно: Повелитель властолюбив, круто нрав. А разве святой отец уступает ему в этом? Разве то, что он проявил высокомерие и надменность к нему, Повелителю, облагодетельствованному самим создателем, не свидетельствует о том, что святой сеид по пояс погряз в кощунстве и грехе? За искusicелем — Азазелем, как известно, покорно следуют лишь духовные слепцы, одурманенные чадом житейской суеты. Выходит, и святой отец не избежал этой участи. И поэтому нет ничего удивительного в том, что он оказался в сетях лжи и подлости, расставленных услужливыми холоуями Старшей Ханши. Лишь извечной человеческой греховностью можно объяснить поведение старца, оказавшегося под влиянием жены Повелителя, которая, конечно же, обеспокоена почтенным возрастом грозного супруга, судьбой трона и его наследников. Значит, святой сеид печется о сохранении не только нынешней своей влиятельности, но и об обеспеченном завтрашнем дне. И его легко понять, если исходить из того, что он не столько святой, сколько обыкновенный человек. Но почему он, будучи сам не без греха, так строго осуждает его, Повелителя, за человеческую слабость? Ведь совершенно определено говорится об этом в коране: «Человеку необходимо знать: аллах един, нет у него товарищей, не породил он никого и никем не порожден, нет равного ему, он не брал себе ни товарища, ни дитяти, и нет у него соправителей в царстве его. Он первый, который извечно был, и он последний, который никогда не избудет. Он властен над всем и ни в чем не нуждается. Пожелает он что-либо, он говорит: «Будь!» — и это станет. Нет божества кроме него, вечно живого; ни сон его не одолевает, ни дремота; он дарует пищу, но сам в ней не нуждается. Он один, пока чувствует себя одиноким, и нет у него друзей. Годы и время не старят его. Да и как могут они его изменить, когда он сам сотворил и годы и время, и день, и ночь, и свет и тьму, небо и землю, и всех родов тварей, что на ней; сушу и воды, и все, что в них, и всякую вещь — живую, мертвую и постоянную. Он единственный в своем роде, и нет при нем ничего, он существует вне пространства, он создал все посредством своей силы. Он соз-

дал престол, хотя он ему и не нужен, и он восседает на нем, как пожелает, но не для того, чтобы предаться покою, как существа человеческие. Он правит небом и землею и правит тем, что на них есть, и тем, что живет на суше и в воде, и нет правителя кроме него, и нет иного защитника кроме него. Он содержит людей, делает их больными и исцеляет их, заставляет их умирать и дарует им жизнь. Но слабы его создания — ангелы, и посланники, и пророки, и все прочие твари. Он всемогущ своею силою и всеведущ знанием своим. Вечен он и непостижим».

Значит, это вовсе не в воле Повелителя — добиться полного согласия в мире, который сам создатель сотворил с изъяном. Если сам всевышний, создавая свой огромный мир, наделил каждую тварь разными недостатками и слабостью, дабы ему сподручнее было удерживать их всех в своей власти, то почему возбраняется всемогущим владыкам точно таким же образом держать в узде чернь? Зачем осуждать смертного за то, что он лишь повторяет ошибки творца? И если создатель в душе опасается кое-кого из нечестивцев, которых сам же и расплодил, то почему бы Повелителю не испытывать подозрения к подлому человеческому роду? А может, деяния и отношения всевышнего к единичным избранникам судьбы не распространяются на всех бесчисленных представителей бедного человеческого племени? Может, создатель искренне убежден, что только ему позволено творить чудеса, проявлять неслыханное великодушие или ниспосылать страшную кару, а всем остальным подобные поступки просто непосильны и недоступны? В таком случае истинная суть таких пугающих понятий, как грех и преступление, — всего лишь ревнивое малодушие всемогущего творца, больше всего обеспокоенного тем, чтобы — не дай бог! — кто-то дерзнул повторить его дивные деяния или постичь глубины его мудрости. Не для того ли и придуман в священном писании всемирный потоп, как самая страшная угроза человеческому роду, догадавшемуся о немощи создателя? Ну, а коли сам всевышний так страшится выказывать свою слабость, то почему бы не опасаться этого Повелителю, рожденному, как все смертные, обыкновенной долгополой бабой? Следовательно, предложение святого сеида прежде всего разрушить до основания свидетельство греха — голубой минарет и тем самым всенародно

признать свое посрамление — нелепейший вздор, противный не только человеческому естеству, но и божественному духу.

Даже святые заступники, благодетели-хизры, не смогли подсказать Повелителю благую весть. Сон, приснившийся в канун охоты, явился знамением предстоявших мытарств. И то, что священный камень каабы упорно ускользал от него во сне, было не чем иным, как смятением, как отчаянием души в безысходности, в тупике. В самом деле, разве не в силках бессилия бьется его воля? Если бы всемогущий создатель обрушил свою страшную кару на столицу, которой Повелитель всю жизнь дорожил пуще зеницы ока, и одним махом стер бы ее с лица земли. Он бы — видит аллах! — ничуть не расстроился, не огорчился. Более того — обрадовался бы. Ведь тогда он бы избавился от мозолившего глаза голубого минарета. А вместе с презренным людом, точно мухи, подыхающим от мора, навсегда погасла бы и мерзкая сплетня. Конечно, всеобщая гибель захлестнула бы и его, Повелителя, ну и пусть, пусть, пусть. Он бы и себя не пожалел. Вместе с ним погибла бы и гнусная молва о нем. Погибла бы гадкая легенда. Но нет... всемилостивейший создатель, всегда благоволивший к нему и исполнявший все его желания, на этот раз проявил вдруг неслыханную скупость, оставаясь совершенно равнодушным к его горячей молитве.

Сейчас он, пожалуй, впервые за всю свою жизнь откровенно пожалел о том, что судьба уготовила ему такую участь — быть самым сильным, самым могущественным владыкой на земле. Ведь разве не прискорбно, что поблизости не оказалось ни одного достойного врага, который дерзнул бы разрушить дотла этот до несуразности огромный город, населенный гнусным сбродом продажных, лживых, злобствующих нечестивцев?! Только кровавая бойня избавит презренную чернь от гнусных помыслов и низменных вожделений, охвативших их грязные души. И пусть эта бойня не угодна сейчас ни богу, ни врагам, он, Повелитель, затеет ее сам. Вонючую толпу, которую немислимо перебить в одиночку, он толкнет в кровавое побоище и истребит тысячами. Тем, кто останется в живых, будет уже не до сплетен, не до праздной молвы о Повелителе, его Молодой Ханше и дерзком зодчем. За то, что уцелели в кровавой сече, они станут благодарить не бога, а своего Повелителя и па-

дать перед ним ниц лицом в прах и восхвалять его в легендах.

Повелитель приказал немедленно выступить в поход.

6

Великая река осталась позади. Понемногу удалялась и черная толпа на берегу, с нескрываемым любопытством взиравшая на бесчисленное ханское войско. Впереди начиналась пустыня, безлюдная, бескрайняя, пепельно-бурая, удручающе однообразная. Раскаленный ветер пустыни зло и колко бил в лицо. Войско брело, увязая в сыпучем песке. Даже куцую тень всадников выжгло полуденное солнце. Оно, казалось, намеревалось испепелить самих верховых.

Зной становился невыносимым. Упругой, обжигающей волной врвался он в ханскую повозку. Все тяжелее было дышать. Задыхаясь, Повелитель судорожно отодвигал шелковую занавеску, выглядывал из крытой повозки и с досадой откидывался на ковровые подушки. Все та же бурая пустыня простиралась вокруг. Угрюмомолчаливые дюны, казалось, свинцово плавились под немилосердными лучами. Коня понуро волочили ноги. Как-то одинокая птаха, спасаясь от зноя, подпрыгивала, трепетала слабыми крылышками в крохотной, с ладонь, тени от повозки.

Щурясь, с жалостью и тоской смотрел Повелитель на малую птаху — единственное, что привлекало взор в нескончаемой пустыне. Как в предсмертной агонии, мечется бедняжка. Горлышко ее трепещет. Птаха отчаянно цепляется за свою крохотную жизнь, ищет спасения от раскаленного до сизости дыхания пустыни. И нет у нее сейчас другой цели, другого стремления. Она вся во власти зова жизни. И только. Однако сколько в этом смысла! Любой другой порыв, любая другая цель в сравнении с этим — бессмысленны и ничтожны. Должно быть, любая неумеренность рождает зло. Ну, вот... хотя бы этот зной пустыни. Разве он не родился от нежного, ласкающего, как шелк, ветерка? Сначала ветерок дул в утешу усталым путникам, взбадривал их свежестью и стремился очистить мир от пыли и сора, но, постепенно распаяясь, почувствовав силу и упоение властью, он разбушевался, осатанел и поскакал-понесся огненным смерчем, сметая все и вся на своем пути. Вон, будто рас-

каленный уголь, обжигает коготки и опалает крылышки жалкой птахи, обессиленной в неравной борьбе с настигавшей ее бедой. Не желая видеть предсмертное мучение крохотного существа, Повелитель отвернулся и плотно закрыл глаза.

Опаленной шкуркой съежилась пустыня под нещадным солнцем. Зной проникал всюду, душил, сковывал, обжигал. Сознание мутилось. Казалось, на крытую повозку навалилась тысяча палачей, а сотня ангелов смерти в испуге уливается вокруг, возжаждав души Повелителя. Видно, неспроста соскользнул на реке перстень. То был знак надвигающейся смерти... К тому же дурная примета — встретить перед дальней дорогой неприятного для тебя человека.

Молодой слепец неотступно стоял перед глазами Повелителя. Казалось, тот оставил свою двуколку, запряженную ишаком, на берегу реки и каким-то чудом пересел в ханскую повозку прямо перед ним. Лишившись лучистых глаз, он лишился и нежного, доброго выражения на лице. От учтивости и благонамеренности, столь украшающих юношей, не осталось и следа. В черных провалах глаз будто затаилась смерть. Тонкая, жилистая шея псуразно вытянулась, ноздри напряженно раздулись. Страшный лик его вдруг будто выплыл из пустынного марева и стремительно надвинулся на Повелителя. Ни один мускул не дрогнул на изнуренном, словно пеплом покрытом лице. Не страшны слепцу ни сам великий Повелитель, ни его бесчисленное войско. Корявые, узловатые пальцы, точно когти, хищно потянулись к ханскому горлу.

— Не бойся,— раздался хриплый голос,— все равно очутиться под землей.

Глаза Повелителя застыли от ужаса. Что это? Разве не отрезали зодчему язык? Разве еще тогда не выпал он окровавленным кусочком из-под ножа палача на каменный пол? Тогда откуда этот голос? Или... отрубить язык еще не значит сделать человека немым?!

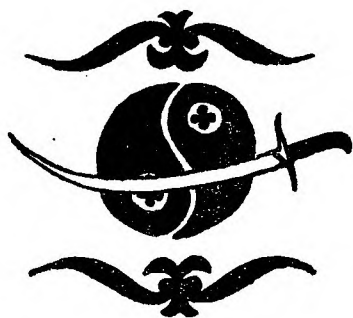
В смятении он выкатил безумные глаза на страшный лик слепца и увидел в уголке его бескровных губ ядовитую усмешку. Отодвигаясь, Повелитель всем телом вжался в ковровые подушки сиденья. Он чувствовал, как покидают его последние силы, как руки-ноги, словно немая, не подчиняются его воле. Страшная немощ сковала его, и под ним разверзлась черная пучина...

Он не помнил, когда очнулся. Медленно открыл глаза. В крытой повозке было все так же нестерпимо душно. Мягкая перина и пуховые подстилки под ним скомкались и только усугубляли его страдания. Он с усилием приподнялся, скосил взгляд на дверцу и никого не увидел. Бритоголовый слепец исчез, точно растаял в знойном мареве пустыни. Повелитель понимал, что сознание мутилось, все вокруг воспринималось как в зыбком тумане и что страшный слепец ему всего-навсего померещился, что все это бред... Да, да, бред бесконечно уставшего, больного человека, почувствовавшего роковой страх. В нем еще тлела свеча здорового рассудка, но сомнения и страх все решительней захватывали все его существо, растекались по всем жилам, и он подспудно понимал, что именно в них заключена его гибель.

Он вновь провалился в забытие. Вокруг от горизонта до горизонта во все стороны растянулась удручающе унылая пустыня. Угрюмые барханы казались испещренными таинственными знаками и причудливой вязью. Он, напрягая зрение, силился разглядеть их, прочесть загадочную надпись. Но рябило, мельтешило в глазах, и мрак суживался, заливал слабеющий рассудок, и все же через некоторое время с большим трудом удалось ему прочитать одну-единственную фразу: «Рано или поздно все равно очутишься под землей!»

Повелитель приоткрыл отяжелевшие веки. Прямо над его головой нависло что-то непомерно огромное, темно-бурое. Он уже неясно представлял себе, где находится сейчас: то ли в своей привычной повозке с позолоченным атласным верхом, то ли в сыром и мрачном подземелье под ханским дворцом.

Перевод Г. БЕЛЬГЕРА



ПОВЕСТИ





БАЛЛАДА ЗАБЫТЫХ ЛЕТ

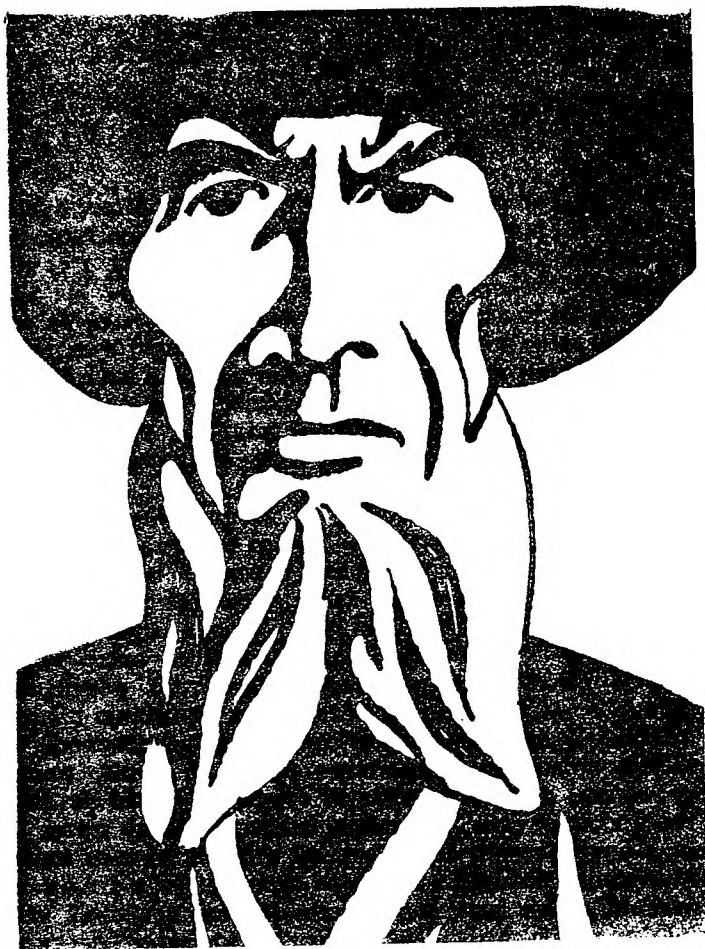
Нет ей конца-края, раскаленной от сухого жара равнине. И не за что зацепиться взору — ни холмика, ни бугорка. Лишь на севере, у самого горизонта, темнеет в миражном мареве курган. Из аула виден его прямой, как копье, склон с застывшей на вершине фигурой дозорного. Будто не природа, а людские руки вылепили этот курган, дерзко нарушивший унылое однообразие степи. Вокруг все сонно, недвижно. Долгоногим, поджарым верблюжатам надоело жалобно реветь — все равно никто не замечает, и они примолкли в тени.

Прислонившись спинами к зыбким стенам юрты, плотным кольцом замерли туркмены в лохматых поярковых папахах. Кисловатая вонь конского пота и мочи, смешавшись с терпким запахом высохшей травы, доносятся из степи, щекочет поздри. Изредка мужчины обмениваются молчаливыми, затуманенными сном взглядами. И никто не дотронется до пузатого расписного кумгана с чаем. Клонятся головы под тяжестью папах.

Только один, с темным сухим лицом, раздвоенной бородой и колючими кустистыми бровями, сидит, напряженившись, расправив крутую грудь, не мигая уставившись в клочок неба, синеющий сквозь решетку юрты. По левую руку от него седой старик в белой папaxe многозначительно закивал в ответ на свои мысли и стал перекатывать ягоды джиды на расстеленной козлиной шкуре. Владелец раздвоенной бороды мельком покосился на него.

Вдруг вздрогнул сидевший в стороне тонкий молодой туркмен в просторном полосатом чапане. Маленькими, настороженно выжидающими глазами он с утра сквозь решетку ощупывал склон кургана, всякий раз задерживаясь на фигуре дозорного.

Как по сигналу вскочили туркмены. Повернулись к темнолицему с раздвоенной бородой. Тот, не вставая, спокойно встретил их взгляды и чуть наклонился к нижним перекладинам решетки.



На восток от кургана обозначились точки. Они слабо прорисовывались на фоне неба и казались почти неподвижными.

Но караульный не подавал знаков, и человек с раздвоенной бородой снова выпрямился. А папахи снова сели, снова отдались дреме.

Черные точки все ближе. Уже не точки — люди. И не составляет труда разглядеть обращенных в рабство казахов.



Они в плену с прошлого лета, когда этот с раздвоенной бородой совершил набег на аул родственников Дюимкары и пригнал добрую добычу — шестерых девушек и шестерых юношей казахов.

Юноши и девушки собственность того, кто их захватил. Он собрал односельчан и сказал свое слово-приказ. Чаше всего он не говорил — приказывал.

Пусть Аннадурды, не мешкая, скачет к Мамбетпане. И пусть Мамбетпана за смелый набег и за шесть рабынь

даст верблюжонка от белой верблюдицы, что досталась при походе на Хорезм. Верблюжонка он заколет на могиле погибшего брата. Он так отомстит адайцам, что кровь застынет в их жилах. Справит такие поминки, каких не видывали люди.

Аннадурды все сделал, как велено. Еще не угас день, а он пригнал белого верблюжонка-одногодку. Верблюжонок был в теле. Его пустили на луг, где зеленела не знавшая копыт трава. До самого рассвета стерегли его три конных джигита.

А девушки, одна к одной, краса и отрада адайцев, остались в ауле Мамбетпаны. Увидев их, краснощеких да черноглазых, кичливые джигиты едва не лишились рассудка, не передрались между собой и до сей поры, поговаривают, не поделили пленивших их пленниц...

Целый месяц, не тая нетерпения, ждал аул поминок. И наконец дождался.

Ранним утром два всадника погнали верблюжонка на могилу Кёк-боре. Белые шелковистые лохмы развевались на тонко изогнутой шее. Верблюжонок беспечно трусил в такт иноходцам, а те, не отставая, не забегая, шагали по бокам.

Но это лишь голова колонны. Дальше на двух тощих верблюдах без седел тащились молодые пленные казахи. Они ни о чем не догадывались, с недоумением и испугом озирались на хмурых всадников в высоких папах.

Под всадниками легкие аргамак, не слышна их поступь. За аргмаками величественно переставляют ноги черные дромадеры¹, равномерно, в такт шагам покачивая ашамаями — деревянными седлами, покрытыми коврами.

Растерянные пленные, торжественные всадники. Не перекинутся словом. Безучастно молчит небо — чистое, вымытое утренним солнцем, да так, что не осталось ни облачка.

Пленники прислушиваются к перестуку копыт, поглядывают на тонкие мучнистые струйки пыли. Впереди белым пятном мелькают налитые горбы верблюжонка.

Остановка подле зарослей черной полыни. В зарослях едва приметный холмик. Если не знаешь, пройдешь мимо. Однако как раз сюда шли верблюды и скакали кони, везли джигитов и пленников.

¹ Дромадеры — одnogорбые верблюды.

Недолга дорога, но вконец измучились пленные. Затекли связанные, до крови натертые ремнями руки и ноги. Мучительно сидеть на остром, как нож, хребте верблюда. Верблюжий пот растрavляет раны, вызывая нестерпимый зуд.

Но туркмены пока что не собирались развязывать ремни и веревки, снимать пленных. Они спешили к одинокой могиле, окружили ее, преклонив колени. Повторяя строки корана, держали перед собой загрубевшие ладони и проводили ими по лицу. Угас огонь в пылающих глазах. Умиротворение нисходило на грозное воинство. В тишине глухо и монотонно причитал мулла.

Кончилась молитва. Все разом вскочили, зашумели, заколотились, принялись стряхивать с колен белую пыль.

Несколько джигитов подвели белого верблюжонка к углу могильного холмика. Мулла, деловито поправив чалму, выступил снова вперед и одним духом прочел коротенькую суру из корана.

Толпа вновь рухнула на колени, раскинув руки и обротив лица к небу, молила всевышнего принять священную жертву.

Пятеро джигитов, закатав рукава, свалили белого верблюжонка и, не дав издать стопа, разделались с ним.

Все свершалось быстро, с каким-то привычным иступлением. Вырыты ямы, над ними укреплены котлы, палита привезенная в дубовых кадках вода. В ямах разложен огонь. Запах сочной, еще не утратившей влаги травы плывет над утренней стенью. Густые кольца бурого дыма тянутся к пробуждающемуся небу.

Пленникам все в диковину. Забыв про горькую долю и зудящие раны, они с мальчишеской любознательностью глазют вокруг. Вон оно как туркмены справляют поминки. Ни тебе раздоля, ни шумной суеты. Не раздастся звонкий смех, не вспыхнет спор, не разразится скандал. И песен не слышно, и переборы домбры не звучат... Чужой народ, нравы чужие. Не видно разгоряченных джигитов и подростков, кружащихся вокруг стайки девушек и молодых, стянутых в талии кумачовыми поясами. Ни одной юрты на месте поминков. Чистокровные аргамаки томятся на привязи. Куда ни глянешь, отрешенные лица. Мужчины не расстаются с кинжалами и саблями. Зачем они им сейчас? Или боятся, что дома украдут?

Долго ли варить мясо годовалого верблюжонка? Окутанные паром куски уже на плоских деревянных подносах. А вот уже и пусты подносы.

Опять молитва, опять коран.

Теперь наступил черед пленных. Их выволокли на середину круга. Каждого схватили под руки два туркмена. Подошли еще шестеро с обнаженными кинжалами. Рукава засучены, как тогда, когда свеживали белого верблюжонка.

Пленным уже не до воспоминаний, не до сравнений. В устремленных на кинжалы глазах — страх, мольба. Бледные лица туркмен окаменели в хмурой решимости. Из глаз ушло все живое, оставив жестокую пустоту.

Шестеро с кинжалами склонились над связанными юношами. Те мертвенно побледнели, сжались.

Но первый удар наносился не кинжалом, а ножами. Резко, чуть ниже затылка. Он унял дрожь. Шеп напряглись. В жилах под челюстью отрывисто бился пульс.

Пленники сидели, согнувшись, на корточках. Джигиты, схватив за уши, прижали их головы к земле. Ее теплое дыхание вошло в легкие. И каждый подумал — конец.

Но ошибся. На зажатые меж колен головы потекла из кумганов холодная вода. Вместе с ней вернулась надежда. Жесткие чужие пальцы терли, растирали мокрые волосы, виски, затылки.

Закончив странное занятие, джигиты на мгновение выпустили из рук пленных. За это мгновение те заметили плотную толпу, поднимавшееся в зенит солнце, ослепительно сверкнувшие кинжалы.

Туркмены вдруг замолели, мстительные крики огласили степь. О чем спор, пленным не понять. Но они ясно видели направленные на них глаза, руки, кинжалы.

Толпа затихла так же неожиданно, как подняла шум. Тишину нарушал равномерный, леденящий сердце звук: жик-жик, жик-жик. Шесть кинжалов методично шуршали о голенища сапог. Когда этот звук оборвался, на смену ему пришел сухой треск. Не успев опомниться, пленные голыми затылками почувствовали палящую силу солнца. Космы черных волос валялись в пыли.

Джигиты с кинжалами были не палачами, а всего лишь цирюльниками. Они вытерли о широкие рукава кинжалы, сунули их в ножны и отошли в сторону с сознанием исполненного долга.

Пленные застыли на коленях, с каждой секундой все сильнее изнемогая от беспощадно сжигающих лучей.

Если б молодые казахи могли спокойно осмотреться, они увидели бы, что не все туркмены поглощены созерцанием голых затылков. Иные деловито кромсают шкуру верблюжонка. Закончив, они передали куски двум почтенным старикам, сидевшим на отшибе. Старики опустили куски в деревянную посудину и принялись усердно мять.

Там, где еще недавно лежал ясноглазый шелковистый верблюжонок с двумя задорно торчащими горбами, валялись окровавленные кишки — все, что от него осталось.

Юноши ничего этого не видели. Так же, как и хмурого старика с бородой, двумя клиньями падавшей на грудь.

Пришел час назвать его имя — Жонеут. И просить читателя запомнить это имя. Ибо Жонеут пройдет пешком, промчится вскачь сквозь всю мою балладу. А когда в терзаниях испустит дух, я закончу свой сказ.

Но сейчас он крепок, не тронь седина раздвоенной бороды, я бы не отважился назвать его стариком. Его мускулистые ноги уверенно попирают землю, жилистые руки скрещены на груди, ястребино зоркие глаза пылают ненавистью. Мести жаждет душа, руки. Ради мести ноги готовы без усталости шагать по пустыням. Месть привела его сегодня к этому холмику, затерявшемуся в долине.

Под холмиком вечным сном спит его младший брат Кёк-боре. О, это был бесстрашный воин! Вся его жизнь — набеги, набеги, набеги. Не оказывалось спутников, он вскакивал на аргамака и один мчался на врага, один угонял чужие табуны.

Он славился и внушал страх своей волчьей повадкой. Не зря казахи называли его Кёк-боре — «лютый волк». И соплеменники согласились с кличкой, забыв его имя Дурды, данное муллою.

Он и вправду был волком — свирепым, матерым. Его сердце веселила лишь опасность. Он был по-звериному жесток. А был ли он умен?

Трудно ответить. Слишком легко поддавался на лесть.

«Разве сравнишь с тобой твоего братца? — нашептывали Кёк-боре подхалимы. — Разве можно его считать батыром подле тебя?»

Кёк-боре хмелел от самодовольства. Сладкие речи погнали его и в тот злосчастный поход, откуда нашлась лишь одна дорога — к предкам.

В минувшие времена казахи потеснили туркмен не только с верховьев Устюрта и низовьев Мангышлака, они захватили их исконные пастбища Карын-Жарык, Ак-Сорка, Удек и загнали на бесплодное, открытое солнцу и ветрам плато.

Богатому роду Мамбетпаны негде было пасти стада. Да и всем туркменам приходилось несладко. Дутары заладпили печальный «Айладыр», бахши горестно вспоминали тучные долины Мангышлака.

Вечерами, когда дыхание приближавшейся ночи побеждало жар и разгоняло мираж, на севере проступали отточенные пики Карадага. Пока не наступал мрак, туркмены сидели на коврах и смотрели, смотрели в сторону, где жили когда-то их отцы, деды, прадеды.

Не только людей, но и скот неудержимо тянуло в заветные края, на щедрые пастбища. Не зная отдыха, в бурю ли, в проливной дождь мужчины сторожили лошадей, а те все же уходили косяками к врагу. Стоило отлучиться, верблюды крупной рысью мчались в привычные места. Только больные и хилые хранили верность хозяевам.

Лица под папахами темнели от крови, от злобы темнели глаза. Кинь кто-нибудь в такой час «По коням!», — повторять клич не пришлось бы.

Но клич не раздавался. В походах и набегах ослабел народ, дорогой ценой оплачивал каждую вылазку. Сколько их, безвестных смельчаков, полегло на курганах близ казахских аулов! Сколько траченных молью папах пылится в юртах, напоминая о батырах, которым папахи уже ни к чему! Сколько брошенных в степи могил!..

Не однажды Мамбетпана подступал к Жонеуту со слезной просьбой: «Помоги! Отомсти! Верни скот!» Мамбетпана был слишком богат, чтобы рисковать собственной жизнью. Он уступал это право другим, и однажды Жонеут, не признававший околичностей, бросил ему: «У тебя родичей что муравьев в муравейнике. Кто мешает тебе снарядить своих джигитов?..»

Важный гость не нашелся. Он с достоинством крутил в руке тяжелую плеть, пыхтел и молчал, тая обиду.

От Жонеута Мамбетпана отправился к Кёк-боре. А тот вспыхнул с полуслова и не заставил себя упрашивать.

Много врагов имел Мамбетпана среди казахов, но самый опасный — Дюимкара. Как смерч, налетал он на табуны и стада, как ветер, скрывался от погони, оставляя после себя облака пыли да легенды. Были и небылицы рассказывали о нем и казахи и туркмены.

В первую брачную ночь, если верить легенде, на аул молодой жены Дюимкары напали барымтачи и угнали скот. Услышав крики, Дюимкара вырвался из жарких объятий и, в чем мать родила, вскочил на коня. Всю ночь скакал он, не давая передышки ни себе, ни коню. Едва забрезжила зоря, догнал барымтачей. Увидев в предрассветном сумраке обнаженного всадника, они смертельно перепугались — то ли сатана это, то ли человек — и пустились наутек. На обратном пути Дюимкара встретил табунщика, попросил у него чапан и, гоня впереди скот, победителем въехал в аул тестя.

Дюимкара был могуч, как здоровый верблюд, густая шерсть курчавилась на его мускулистой груди. Голым по пояс мчался он на врага. Его издали узнавали люди и кони, тем и другим внушал он страх. Туркменские аргмаки бежали от него, как от волчьей стаи.

Многие туркмены точили на него зуб. Но если сказать правду, то и соплеменники не знали из-за него покой и жили в вечной тревоге.

Жонейт еще бегал босиком, когда старейшины обеих сторон вознамерились покончить с изнурительными распрямами. Когда кипит война, всем ведомо, гибнет больше джигитов, чем удается отбить лошадей. Дедушка Жонейта взял внука с собой на переговоры. Цепкая память на годы сохранила подробности этих переговоров у могилы святого Карамана.

Народу собралось видимо-невидимо. Всех измучили долголетние набеги. Но кто признается в этом врагу? Каждый хорохорился, бросал надменные взгляды, лениво цедил сквозь зубы.

Среди туркмен первым был Жума. Он важно восседал на сивом аргмаке. Его сопровождал тонкий, как тростинка, подросток. Кто бы взялся предсказать, что этот щуплый мальчуган вымахает в здорового, заплывшего салом Мамбетпану. Только зменные глазки напоминают о некогда тощем подростке.

Хотя стороны собрались ради мира, переговоры нача-

лись с ссоры — надо же для почина припугнуть недруга.

Спесивый Жума, не меняя позы, небрежно кивнул на огромный, почерневший от времени могильный камень, высившийся в священном для мусульман юго-западном углу кладбища. Этот кивок следовало понимать так: «Вон видите камень? Кто, по-вашему, установил его?»

Головы повернулись к могильной плите. Но годы и ветры стерли с нее надпись.

Однако старейший казахского рода Адай тоже был непрост. Он указал на заросший хной обломок, что торчал из старой, провалившейся могилы.

Жума недоверчиво прищурился, сперва глянул на казахов, потом на камень и властным жестом послал к нему старика и юношу из своей свиты. Они придирчиво осмотрели обломок, тщетно пытаясь что-либо на нем разглядеть.

Тогда старший адаец послал к обломку своего человека. Тот ловко очистил от хны южную грань камня и показал на едва заметное тавро казахского рода Алиши.

Старику туркмену ничего не оставалось, как растерянным кивком подтвердить это.

Бурное волнение поднялось в толпе. Адайцы ликovali, туркмены сокрушенно покачивали головами.

Жума рассчитывал ошарашить казахов: глядите, мол, этой землей издавна владели предки туркмен. А все обернулось наоборот. Адайцы доказали, что древний род Алиши обосновался здесь еще раньше.

Но предки предками, а упрямство упрямством. У каждой стороны длиннейший перечень обид.

Туркмены обвиняли казахов: вы не только захватили наши земли, но постоянно угоняете наш скот, насилюете девушек, из-за вас наши аулы не знают покоя ни днем ни ночью.

Казахи не оставались в долгу. Они напомнили о временах, когда на них напали чужие по языку и вере джунгары. Казахи надеялись найти приют и защиту у братьев туркмен. Но не тут-то было. Их встретила не братская рука, а мечи и копья.

Постепенно список взаимных упреков и обид иссяк, ссора начала выдыхаться. Более разумные ораторы перестали подливать масло в огонь и пытались обходить задевавшие друг друга острые углы.

Могилы — удел предков. Чьи только могилы не попадают в степи. Зачем их тревожить? С давних времен

здесь обитают многие племена. А разве ныне на просторах от Каспия до Аральска, от Сагиза до Карабугаза не хватит места для мирной, бок о бок жизни казахов и туркмен?!

Долго еще длились разговоры. Когда они подошли к концу, старейшины обеих сторон поднялись на гору, где в пещере под скалой поконился прах святого Карамана. Тут дали они клятву положить конец вражде, жить, как подобает братьям, в мире и согласии.

Но идут годы, течет вода, размывая старые клятвы. Мальчишки, которые тогда стерегли коней, стали мужчинами. Иным из них мир показался обузой. Давние зарок потеряли для них силу. Новые времена, считали они, жаждут новой крови. И Мамбетпана — живой свидетель клятвы и перемирия — распалял такие разговоры. Влиятельный мулла пустил слухок, будто казахи добились мира хитростью — ведь враг если и добивается чего-нибудь, то не иначе как с помощью лукавого, — что адайцы обманом спаслись от кары святого Карамана, но от расплаты им никуда не деться. Слушок превратился в слух. Его подхватил Мамбетпана. Зловещий призыв «Кровь за кровь, око за око!» покатился по аулам.

И началось. Байские прихвостни угоняли мирные табуны адайцев, совершали набеги на соседей. Ну а адайцы, известно, обид не прощают.

Трещали головы под ударами дубинок, реками лилась кровь, разжигая ненасытную жажду мести.

Однако теперь не бились, как прежде, сходясь в частном противоборстве. Предпочитали нападать из-за угла, доблестью почиталось убийство одиноких и беззащитных. Сперва угоняли лошадей, потом избивали табунщиков, потом, подкараулив, рубили головы батырам. Не довольствуясь этим, для пущего унижения недруга оскверняли могилы предков.

Все новые и новые джигиты ввязывались в бой.

Жонейт крепился, не желая влезать в свару. Но и он не удержался, захлестнутый волной ненависти, оседлал коня...

Немалая сила заключена в слове. Ему дано тушить страсти и воспламенять вражду. Но, коль в ссору уже вмешалось копые, доброе слово блекнет, теряя мощь. Лишь мудрецу доступно гасить пожар людской злобы и предвзятости, раздуть его способен каждый. Что ни день, рождаются глупцы, в кой-то век появляется мудрец, и

еще неизвестно, послушается ли его народ или пойдет за воинственными горлопанами. Потому не ломай понапрасну голову, решай просто: угрожают тебе, угрожай и ты; уничтожают тебя, уничтожай и ты. И да будет прокляты умники, зовущие к миру, когда враг бряцает оружием.

Так рассуждал Жонеут, укрепляясь в сознании своей правоты. Если же он решил, что прав, его не удержать. И не удержать его лихого коня.

Дюнкара тоже не таков, чтобы сидеть сложа руки, когда они тянутся к кинжалу. Ему теперь мало чужих скакунов, он норовит оскорбить ненавистных соседей. Злым вихрем влетает он в аулы. Властны его распоряжения.

Случилось Жонеуту заехать в большой аул, раскинувший юрты на склонах увала. Все жители толпились на улице. Женщины вопили в голос, рвали на себе волосы.

Жонеут спросил, что происходит, какая обрушилась беда. Его повели за околицу. Там на площадке, вытоптанной овцами, бились в пыли девушки. Их было, может быть, двадцать, а может быть, больше, в изодранных платьях, с расцарапанными лицами.

Жонеут молчал и слушал.

Лишь раз в году, в день курбан-айта, туркмены позволяют себе вдоволь повеселиться. Когда наступил этот день, мужчины отправились к Мамбетпане. Их ждали скачки, борьба. Девушки, оставшись одни, не скучали. Они затеяли веселые игры, качались на качелях, пели песни.

Этим днем радости и воспользовался Дюнкара. Забыв божеские установления и людские, он налетел на беззащитный аул. Джигиты на скаку обрезали веревки качелей, избивали женщин, а девушек и молодых погнала за околицу, где обычно пасутся овцы. Натешившись вдоволь, всадники связали девушкам руки и ноги, задрали на головы подола и засыпали горячей золой обнаженные тела.

Опозоренными, раздавленными застали мужчины своих дочерей, сестер, невест. Не сразу обрели они дар речи.

Молчал Жонеут, думал о своем народе. Смириться с позором и бесчестьем? Тогда зачем жить?

Он еще не знал, как поступит, что сделает. Он повернул коня на север и забылся в бешеной скачке. Опо-

мнившись, услышал позади топот. Мужчины злосчастного аула мчались следом за ним.

С того дня он не расседлывал коня, мысли о мире больше не шли ему на ум.

Не шли они на ум и Дюимкаре. Он не знал предела в жестокости и дерзости.

Минувшим летом — какой всадник догонит время! — он погнался за горсткой туркмен, позарившихся на его скот. Увлеченный погоней, не заметил, как доскакал до самой Какпакты. А поняв, что забрался далеко от дома, отважился заночевать в одинокой юрте туркмена, лепившейся у подножия холма. На что он надеялся, доверившись кровному врагу? На мусульманский обычай гостеприимства, на простосердечие хозяина, который не осмелится поднять руку на батыра?

Крепко спит Дюимкара. Но хозяину одинокой юрты не до сна. Жидкой смолой он залил ножны кинжала Дюимкары.

Жена в ужасе бросилась к мужу:

— Что ты творишь, безумный! Хотя собака, однако твой гость.

Хозяин оттолкнул жену, не удостоив ее словом.

Спит Дюимкара, а гонец во весь опор мчится к Мамбетпане, Мамбетпана зовет Кёк-боре...

2

Вот какие путанные, издалека тянувшиеся дороги привели Жонеута в то ясное утро на могилу брата. Вот что вспоминает он, глядя на застывших в страхе юных пленников с обритыми головами.

Могильный холм прижался к земле, казалось, притаился за разросшейся полынью. Не холм, а так, холмик.

Жонеут не спеша переводит взгляд. Там, где только что лежала шкура белого верблюжонка, теперь темная лужица крови вокруг сизых внутренностей. Взгляд Жонеута скользнул по кучке именитых и богатых. Даже в толпе они умеют обособиться. Мулла, зажав в кулаке кончик шелковой чалмы, благоговейно бормочет что-то бесконечное, нагоняющее на всех сон.

Только Мамбетпана держится прямо, с надменным вызовом. Его папаха откинута назад, вперед выставлен мощный подбородок, рассеченный двумя глубокими складками. Лицо лоснится от жира и снеси.

С Кёк-боре он держался не столь надменно, совсем даже доступно. Что зря говорить, Мамбетпана высокомерен с теми, кто ему перечит. Полная заносчивости поза выбрана сегодня ради Жонеута.

С покладистыми и покорными Мамбетпана добродушен, приветлив, щедр. Жонеут отлично помнит: как с другом и братом, беседовал Мамбетпана с Кёк-боре. Морщинистый лоб его разглаживался, речь делалась сладкой. Слова цеплялись одно за другое, приятно округлые, ласковые. Такие растопят любое сердце.

Жонеут представляет себе последний разговор Мамбетпаны с Кёк-боре.

«Ну, Кёк-боре,— расплывается в радушной улыбке Мамбетпана,— грянул час твоей славы. Твоей и только твоей. Народ ждет от тебя доблести. Ждет, что ты отомстишь наглому батыру адайцев за все наши беды».

Он разглагольствовал о народе, о предках, о мести. Но молчал о своих интересах. Мамбетпана любит выглядеть благородным, любит порадеть за людей. У него достало хитрости умолчать о том, что кинжал Дюмкары залит смолой. Кёк-боре был слишком самолюбив, чтобы вступить в поединок на неравных условиях.

...Власть выпавшись и напившись чаю в одинокой юрте, Дюмкара отправился в путь. Подъезжая сюда, к заброшенному кладбищу, он заметил позади столб пыли.

До мелочей известна Жонеуту эта сцена — так, словно был свидетелем. Не раз он вызывал ее в своем воображении.

Дюмкара резко остановил вороного жеребца. Дал преследователю приблизиться. Узнав его, не спеша слез с коня, расстегнул штаны и присел справлять нужду.

Сивый аргамак Кёк-боре, гарцуя и роняя пену, остановился за спиной Дюмкары.

— А ну вставай! — нетерпеливо крикнул Кёк-боре.

Дюмкара и не подумал спешить. Ручкой камчи выковырял комок земли, поглядел на него, вырвал траву и задумчиво поднес к задку. Так же медленно выпрямился, долго возился со шнурками штанов и только потом с деланной наивностью поинтересовался, что, дескать, угодно путнику.

Жеребцы мотали головами, прядали ушами, предчувствуя схватку. Кёк-боре била дрожь негодования, он был вне себя от неслыханного унижения. Он выхватил кинжал, и лезвие блеснуло на солнце.

Дюимкара же хранил невозмутимое спокойствие: сдул пылинку с рукава, вытер руку о штанину, потихоньку направился к коню.

— Готовься! — с трудом сдерживал нетерпение Кёк-боре.

— Как будет угодно, — миролюбиво согласился Дюимкара.

— Кинжалы...

— Да будет по-твоему.

Для аргамаков поединки были не внове, они отскочили в стороны.

— Сейчас я, — Кёк-боре, задыхаясь, подбирая слова, — расквашу твой казахский чугунок...

— Ну, ну, щенок, не ерепенься. Я тебя проучу на всю жизнь, — презрительно посулил Дюимкара.

Батыры ошетинились, испытующе оглядывая друг друга.

Дюимкара как влитой сидел на своем жеребце и сохранял спокойствие.

Кёк-боре не владел собой, но азарт не мешал ему выжидать, ловить момент атаки. Не зря же ему сопутствовала слава бесстрашного волка.

Кругом голая степь, ей нет ни конца, ни края. Ни души поблизости. Некому крикнуть батырам: «Остановитесь, вы люди, а не звери. Вы принесли людям много бед. Но если сейчас падет один из вас, то вовсе не окончится счет несчастьям. Напротив, они будут преумножаться кровавой мстостью изо дня в день, из года в год...»

Пусто вокруг. Вспугнутый жаворонок метнулся от одного всадника к другому и исчез в бездонной голубизне.

Неподалеку настороженно пробирался к водопою косяк косуль. Заметив приплясывающих коней, косули шахрахнулись в сторону.

Однако соперников ничто уже не касалось. Они поглощены ненавистью. Пора разговоров миновала. Говорили скрестившиеся взгляды, набухшие желваки, обострившиеся скулы.

Круто взмыл сивый аргамак Кёк-боре. Булат со свистом рассек воздух. Вороной пригнулся и отпрянул.

Кёк-боре нагнул глаза мохнатую папаху и снова изготовился к броску.

Лишь теперь Дюимкара схватился за рукоятку кинжала. В чем дело? Всегда одним рывком выхватывал кинжал. А сейчас — будь он не ладен — кинжал не под-

дается. Не спуская глаз с противника, Дюимкара дернул еще раз. И опять тщетно.

В горле батыра сделалось сухо и горько.

Не раздумывая, Дюимкара отстегнул ножны и замахнулся ими над самыми ушами сивого аргамака. Кровь вступила в виски, сотни разноцветных шариков — белых, черных, красных — промелькнули, кружась, перед глазами Дюимкары.

Раздался треск, мелькнули две молнии. Опустив ножны, Дюимкара проследил их падение. Обе половинки кинжала Кёк-боре валялись в траве. Всадники покосились на них и двинулись друг на друга. Конни, храпя, крутили мордами. Лязгнули, сцепившись, стремяна. Кинжалы и камчи уже ни к чему. В мертвой хватке замерли батыры. Каждый норовит свалить противника. Под тяжестью ноши дрожат аргамаки. Уж не задумали ли хозея вдавить коней в землю?

Как клещи, сплелись джигиты. От треска рвавшейся одежды, от хрипа, надсадного дыхания, от лязга зубов и удушливого человеческого пота слабели жеребцы. Но люди ничего не замечали, поглощенные свирепым столкновением.

Сивый аргамак взвился на дыбы. Визгливое ржание разнеслось по степи. Опустив копыта, аргамак почувствовал неожиданную легкость.

Батыры барахтались на земле, не разберешь, где кто. Неподалеку в траве поблескивает обломок кинжала. Манил к себе борющихся. Их руки тянутся к нему. Но не могут дотянуться. Острый обломок блестит на солнце.

Когда сивый жеребец снова склонил голову, он увидел, что верзила с обнаженной, заросшей черными волосами грудью одолел его хозяина, сопя, взгромоздился на него. В руках победителя сверкал обломок кинжала. Но он не спешил пустить его в ход. Он уже успел обрезать поводом связать руки Кёк-боре, а теперь норовил еще и ноги.

Охваченный отчаянием, звал на помощь Кёк-боре. Дюимкара, не обращая внимания на крики, смахивал со лба пот и деловито орудовал ремнем.

Сивый аргамак, выпучив глаза, кружился поодаль, боясь приблизиться к связанному, распластанному на земле хозяину, на котором восседал свирепый Дюимкара.

Он что-то искал, не находил. Наконец его взгляд за-

мер на черневшей неподалеку куче камней, покрытых хной.

Лишь теперь он сообразил, что рядом старое кладбище. Встал со своей жертвы, тяжело покачиваясь, направился к камням. Возле них зияла заброшенная могила. На дне ее лежали кости и пожелтевший череп — шакалы потрудились на славу.

Дюнкара долго стоял у ямы, почесывал ручкой камчи волосатую грудь. Недобрые мысли ворочались в его голове. Он не сразу поддался им. Но, поддавшись, решительно зашагал к связанному врагу и грозно рявкнул на него.

Предчувствуя мучительный конец, Кёк-боре закричал на всю степь. В этом крике была мольба, прощание с надеждой, прощание с жизнью. Но крик пролетел мимо ушей Дюнкары, не коснувшись их.

Как куль, поволок Дюнкара недруга по земле. Возле могилы остановился, набрал в легкие свежего воздуха, нагнулся, рывком поднял Кёк-боре и бросил на дно ямы. Вопль, донесшийся оттуда, смешался с пылью. И развеялся вместе с пылью.

Окровавленный, ничего не слыша и не понимая, Дюнкара сваливал в яму камни...

Сивый жеребец с диким ржанием метнулся к могиле, взвился на дыбы и припустился рысью. Гулкий топот разнесся по притихшей равнине.

Когда аргамак с пустым сползшим набок седлом вернулся в аул, заждавшиеся люди поняли: с батыром стряслась беда. Мужчины, оседлав коней, отправились на поиски.

На следующий день всадники вместе с Жонеутом наткнулись на старую, всеми забытую могилу. Над ней гудящим роем кружили зеленые мухи.

Всадники спешили и, терзаемые мрачными предчувствиями, подошли к яме.

На дне ее лежал Кёк-боре. Его грудь придавил тяжелый камень, тело было засыпано землей. По перекошенному в последней муке лицу неторопливо ползали жирные мухи.

Неподалеку в траве поблескивал на солнце обломок знакомого кинжала.

Тогда-то Жонеут дал себе клятву мстить. Неутомимо мстить Дюнкаре, всем его потомкам. Он еще не знал, какой будет месть, но уже жил ею.



...Снова стоит он у этой могилы. Путаные, сочащиеся кровью дороги привели его сюда. Он знает свой долг и не отступится от него.

Жонейт вырвался из плена воспоминаний.

Старики кончили священнодействовать над шкурой белого верблюжонка. Куски ее передали мужчинам, стоящим с засученными рукавами возле шестерых пленников. Теплые влажные куски шкуры легли на бритые головы. Юноши не могли взять в толк, зачем это делают. И ничего не могли прочитать на замкнутых лицах туркмен.

Перебирая пальцами, мужчины разгладили края шкур, как обручем, схватили их сыромятными ремнями. Головы юношей будто налились свинцом, в висках тупо заняло.

Пленников посадили на плоскогорбых верблюдов. Всадники сели на своих лошадей. Кавалькада, окутавшись пылью, растянулась по равнине.

Пот заливал глаза пленных. Но вытереть его они не могли — были связаны руки. Головы раскалывались от туманившей разум боли.

Солнце, достигнув зенита, плавил воздух. Он трепетно дрожал, искажая очертания темневших вдали бугров. Стоило к ним приблизиться, бугры оборачивались чахлым кустарником.

Томимые жестоким любопытством, всадники сблизь вокруг пленных. Те уже ничего не видели. Пот разъедал ссадины. Не оставалось на теле места, которое не кричало бы от боли. Солнце сушило влажные шкурки. Сокращаясь, они стягивали череп. Казалось, он вот-вот треснет.

Пленные дергались, скрежетали зубами, гримасы боли искажали молодые, залитые слезами лица.

Всадники замедлили шаг. С нескрываемым удовольствием разглядывали они пленных. Чем безумнее были крики, тем большая радость охватывала джигитов. Они могли спокойно возвращаться в аул. Впереди скакал Жонеут. Чувство, которое он испытывал, вернее было бы считать удовлетворением, а не торжеством. Всего лишь удовлетворением. Оно утоляло его душу, истомленную мечтой о мести.

Возле пленных осталось двое пожилых туркмен. Им надлежало сторожить и слушать стоны.

Целую неделю были в степи и корчились от боли юноши. Потом боль угасла. Волосы не могли пробить толстую, задубевшую шкуру и росли внутрь. Все глубже и глубже. По мере их роста пленные забывали, кто они, откуда родом, лишались дара речи. Они превратились в юродивых, уравнившись умом с животными. Днем они бродили вместе с верблюдами, а вечерами вместе с верблюдами плелись в аул.

Жонеут приказал двух пленных отправить к адайцам — да будет им известно, во что превратились их сородичи.

Четверых оставил при себе: пасти скот, носить воду, собирать князк.

В день, который дал начало моей балладе, юродивые, как обычно, собрав кизяк, возвращались в аул. Их приход не нарушил установившегося течения жизни.

На вершине кургана, словно на годы вбитый кол, вытянулся караульный.

3

Опустошительный набег на аул Дюимкары был последним походом Жонеута. Жонеут вернулся из него с шестью взятыми в плен юношами, шестью девушками и невеселыми думами.

В некогда славном роду не оставалось истинных батыров. Вымерли, измельчали. А годы делают свое дело. Впереди старость. Останется лишь слава о былой силе. И только.

Преемников же нет как нет, некем заменить себя.

Старший сын рос крепким, кряжистым, как саксаул, одинаково ловко владел и кинжалом, и саблей, и копьём. Никогда не обманывал его верный глаз, никто не соперничал с ним в меткости. Рано приучили его к походам, и рано сложил он голову. Вот она, на кладбище за аулом, его могила.

Средний рос драчуном и забиякой. Едва встав на ноги, размахивал кулаком. От этого кулака доставалось всем — и сверстникам, и собакам. Он не испытывал жалости ни к человеку, ни к лошади. Его отличали упрямство и вспыльчивость. Ничто так не ласкало его слух, как весть о ссоре или драке. Он боготворил отчаянного Кёкборе, как щенок, увязывался за ним. И на чужой стороне нашел свою могилу. Хорошо еще, если была могила.

Самый младший, Даулет, вымахал — косая сажень. О таких говорят: «На его плечах уместятся два джигита». О Даулете можно добавить: «Он и сам их подсадит».

На празднествах любого сплача швырнет на землю. Собою, грех жаловаться, хорош: большие ясные глаза, высокий гладкий лоб, необычное для туркмена светлое лицо. Разросшиеся брови придают лицу грозный вид, по лучистые глаза смягчают выражение.

Даулет — всеобщий любимец. Даже грозные псы — не приведут аллах встретиться с таким, — завидев его, преданно машут хвостами, с покорным взвизгиванием стелются у ног.

До Жонеута доходили слухи, что среди девушек и молодок его сыну сонутствует успех. Что же, считал Жо-

неут, удаль молодцу не в упрек. Лишь однажды отчитал по-отечески, когда Даулет сошелся с вдовой павшего в походе, — надо уважать память батыров.

Всей родне Даулет был по душе. Кроме Кёк-боре. Смелый и беспощадный Кёк-боре ценил в людях смелость и беспощадность. Все остальное, по его убеждению, ни к чему. Кёк-боре злило, что Даулет увлекается занятиями, недостойными джигита. Кёк-боре не сомневался: кто-кто, а он понимает, что достойно, а что не достойно мужчины. Батыру надо владеть оружием. Раз он этого не умеет, значит, не батыр. Пусть себе пасет овец.

Даулет слушал дядю с легкой усмешкой и не изменял своей страсти. Страсть эта проявилась с детских лет — музыка. Ближе кровной родни Даулету бахши и дутаристы, песня милее звона кияжалов. С пятнадцати лет он не расстается с дутаром и достиг такого совершенства, что сам Яхия, знаменитый музыкант из Тачауза, со слезами восторга внимал его игре.

Дни Жонеута заполнены походами, и не всякую ночь он слезает с коня. Музыка, песни, веселье, по его убеждению, шабаш джигитов. Тут Жонеут согласен со своим братом Кёк-боре.

Даулет знает об этом. В присутствии отца не осмеливается взять дутар.

Правда, Даулет имел и заступника. Его дядя Аннадурды ценил искусство, знал в нем толк. Однажды, направляясь к адайцам, взял с собой Даулета, и юный дутарист вкусил от славы. В состязании он победил многих прославленных музыкантов, разделив первый приз с молодым казаком кюйши.

Жонеут, хоть и промолчал, остался доволен — все-таки сын. Лишь Кёк-боре негодовал: «Этого еще не хватало нашему роду!» Для него победа в состязании музыкантов, «постыдном сборище крикунов и бездельников», — позор.

Кёк-боре осыпал брата гневными упреками, отказываясь сесть на почетное место и бранился весь вечер.

— Твой сын дутарист, — кричал он Жонеуту, и кадык двигался по его морщинистой шее, — дутарист! От него не жди ни добра, ни защиты. Враг боится воина на коне, а не блаженного с дутаром... Прежде любой наш мужчина наводил ужас на адайцев, теперь мы будем улаживать их слух музыкой... — И, передразнивая Даулета,

Кёк-боре пропищал что-то.— От таких песенок казах не убежит,— не унимался батыр.— А он должен дрожать и бежать при виде нас. Душа Даулета — обиталище джиннов. Они заставили его забыть честь и кровные обиды... Подумать только, целый месяц он гостил у врагов, веселился с ними, будто приехал к родне... Переживу ли я такое бесчестье?! Даже последние бабы так не унижались. А он,— Кёк-боре ткнул пальцем в сторону племянника,— он еще гордится. У него веселится душа, как у вонна, вернувшегося из победного набега. Аннадурды тоже рад. «Когда Даулет играл на дутаре, даже наши извечные враги прищелкивали языками от удовольствия». Чему радуется пустая голова, закружившаяся от вражеских похвал? Если враг хвалит, значит, ему выгодно, невыгодно нам. Раз ты этого не понимаешь, помалкивай, сиди над козьей шкурой и гадай на ягодах джиды... Коль вместо Даулета отправился бы к адайцам истинный туркменский джигит, они не ликовали бы, не прищелкивали языками, проглотили бы их. Певцы, дутаристы, бахши — это сброд, не мужчины, а бабы, млеющие при виде мужчин. Батыра украшает не дутар, не пение, а копье и кинжал. Имн можно защитить честь народа... Сопляк Даулет смеется над моими словами. «Что вы, дядя, раздуваетесь от спеси,— отвечает он мне.— По-вашему, лучше нападать на адайцев, убивать, пугать коней. Вы злитесь, когда узнаете, что ни в чем не повинные казахи остались живы, а их табуны спокойно пасутся в степи...» Вот до каких мерзких речей он докатился! Я ему о чести предков, о духе мести, а он смеется. «Не тревожьте,— говорит,— предков. Они сами погибли и немало чужой крови пролили. Нам не грех бы задуматься над их судьбой...» Даже предки не указ этому умнику...

Весь вечер бушевал Кёк-боре. Пытаясь его умиротворить, Жонеут обещал пожурить сына, который тем временем веселился на тое. На прощание Жонеут сказал брату:

— Не гневайся. Он еще мальчишка. Вырастет — образумится.

Не такие слова надеялся услышать Кёк-боре, совсем не такие. Больше его ноги не было в юрте брата.

Даулет как ни в чем не бывало продолжал вольготную жизнь, полную музыки и веселья. До дня гибели Кёк-боре Жонеут не препятствовал ему, делал вид, будто ничего не замечает.

После поминок, после того, как на могиле Кёк-боре съели белого верблюжонка и обрекли на муки шестерых казахских юношей, Жонеут вызвал сына.

Они остались вдвоем, если не считать ночи. Ночь падучими звездами чертила небосвод, стрекотом сверчков напоминала о себе. Еще напоминала она о себе стоном, отчаянным воем, зубовным скрежетом, доносившимся из лачуги, куда бросили юных пленников.

Даулет молчал. Его настороженный слух ловил жалобные крики и бряцанье кандалов. Он не слышал храпа и сонных вздохов, ему казалось, аул не спит, не может спать в такую ночь.

Даулет весь сжался, съежился. Он виделся Жонеуту маленьким мальчуганом, и отцовское сердце зашлось от любви и сострадания.

Ночной ветер струился через приоткрытый низ юрты, касался разгоряченного лба Жонеута. Он прислушался к ночным шорохам, к замершему аулу и уловил стоны, кандалный звон, долетевший до сына. Он представил себе, как катаются по земле, бьют себя кандалами по голове пленные, и ожесточился. Выходит, Даулет подавлен не смертью дяди, но жалостью к этим ублюдкам. Неужто, слюняй, разревелся? Не от рыданий ли вздрагивают его плечи?

Там, на могиле Кёк-боре, он не проронил ни слезинки. Поблуднел как полотно, насупился и молчал. Страдания вонючих адайских щенков терзают его сердце сильнее, чем гибель дяди-батыра!

Прав, тысячу раз был прав Кёк-боре. Проклятый дутар, проклятые песни вытравили из сына понятие о чести, о духе предков, святой мести. Если мужчина не способен заставить врага платить кровью за кровь, ему не надо носить поярковую папаху. Лучше уж оскотить его. Пусть тогда рыдает от жалости и слушает вой этих поганых выроdkов...

Так и не вступил Жонеут в разговор с сыном. Натянул на себя полосатое стеганое одеяло и уснул.

Когда он проснулся, Даулета не было в юрте.

— Позвать!

Сын пришел притихший, подавленный. Глазницы подернуты синевой, ввалились щеки. Не открывая рта, он налил отцу чаю из ярко раскрашенного кумгана. Сам сел понурившись.

Отец исподлобья наблюдал за каждым его движением.

ем. Но и на этот раз промолчал. Что-то мешало затеять разговор.

Миновало еще несколько дней, и Жонеут, отправляясь на охоту, впервые взял с собой сына. Кони трусили по степи в сопровождении двух рыжих поджарых гончих.

Жонеут хотел уединения и имел на то причины. Из его памяти не шли гневные речи Кёк-боре. Хоть брат и не отличался умом, но тут, пожалуй, был прав и прозорлив. Он проник в размягченную музыкой душу Даулета. Может быть, не во всем разобрался. Но главное уловил.

Тихий Даулет достаточно упрям и дерзок. Вроде бы покладистый, в словесной перепалке он умел постоять за себя. В чем-то душа его мягкая, но в чем-то твердая. Никогда не знаешь, что он выкинет. Однако сейчас не до шуток.

Хиреет, вырождается древний род, тает бывшее могущество. Не приведи аллах посторонние прослышат, что отец и сын не ладят между собой, что старик не властен над сыном. Поползет по степи слух — Жонеут знает силу таких слухов — о непокорном сыне и беспомощном отце. Тогда конец власти и авторитету Жонеута.

Надо поговорить начистоту, по-мужски поговорить с сыном. Никуда не деться от разговора...

Легкой рысцой, стремя в стремя идут кони. Гончие бросаются в сторону, замирают, возбужденно оглядываясь, уши торчком, потом расслабленно и виновато возвращаются к хозяевам. Перед полуднем неподалеку пронеслась стая косуль, едва касаясь пожелтевшей травы. Собаки опрометью кинулись вдогонку. Гнали стаю до самого горизонта. Но, так и не услышав позади обычного в подобных случаях свиста, улюлюканья, бешеной пляски копыт, растянулись у редкого кустарника, вывалив разгоряченные языки. Когда всадники приблизились, собаки, передохнув, присоединились к ним, старались держаться в тени, сопровождавшей коней.

Видно, всадников сегодня вовсе не трогала охота. Они не нарушали угрюмого молчания. Жонеут не менял позы, не отводил глаз от мглистой дымки, дрожащей впереди. Будто хотел разглядеть что-то. Неподвижное тело срослось с седлом. Лохматая папаха слегка вздрагивала в такт рыси, правая рука машинально похлопывала короткой камчой по лошадиному крупу. Он не замечал сына. Держался так, будто был один.

Даулет тоже не оглядывался. Думы придавили голову. Ничего не видя, он склонился над пышной гривой скакуна.

Не меняя шага, стремя в стремя трусили кони.

Обеденный час позади. Глинистое нагорье с чахлой, вываленной на солнце полынью сменилось твердым красноватым песчанником. Раскатисто цокали копыта. В лицо пахло свежестью, и Жонеут прищпорил воспрянувшего коня. Сбоку промелькнул зубчатый хребет. На западе смутно вырисовывался курган.

За косогором открылось блекло-синее море.

У берегов оно кипело, ярилось, пенилось. Белогривые волны обрушивались на утрамбованный водой песок, то закрывая, то обнажая его. Им не надоедала эта однообразная из века в век игра. Ветер подгонял, подзадоривал волны, и они с молодым азартом падали на берег.

Жонеут не удивился морю, не обрадовался ему. Он направил коня к полуострову, темным лезвием врезавшемуся в белесый морской простор. Полуостров завершался каменистой грядой с могилой на вершине. У могилы столб — так хоронят святых.

Это была могила святого Темир-баба. Всадники спешили, взяли коней под уздцы. Приблизились к большому камню с закопченным углублением посредине. На нем путники разводят священный огонь.

Примогильный столб почернел от времени и солнца, ветер до блеска отполировал его, а сейчас крутил тряпки, привязанные к нему.

Среди валунов кости, черепа, рога архаров... Близ святой могилы не однажды ночевали паломники.

Не удостоив сына словом, Жонеут опустился на колени, творил молитву. Протянул руки к небу, провел ими по лбу, по глазам, по щекам, по бороде. Продолжая бормотать, он поднялся, сорвал со столба тряпки, сунул за пазуху.

Ведя коней в поводу, двинулись дальше. На вершине гулял ветер. Он играл копытными гривами, хлопал подолами чапанов.

В достопамятные времена возвращавшийся из Хорезма Шопан-ата повстречался здесь с Темир-баба. Темир-баба сидел на камне, опустив патруженные ноги в ласковые волны. Он издали слышал шаги, но не шелохнулся. Странник приблизился, встал за его спиной, учтиво поздоровался. Темир-баба не отводил глаз от моря.

Шопан-ата назвал себя и, справившись, кто перед ним, предложил Темир-баба потягаться в могуществе.

«Что ж,— промолвил Темир-баба,— коль желаешь, начинай».

«Хорошо,— согласился Шопан-ата.— Тогда не считай за труд повернуться. Видишь косяк каракуйруков?»

«Вижу».

Шопан-ата едва слышно позвал:

«Шоре-шоре-шоре».

Козел, возглавлявший косяк, прислушался и, повинаясь зову, с блеяньем побежал к Шопан-ата, улегся у его ног, начал лизать подол чапана.

Но чудо на том не кончилось. Шопан-ата без ножа перерезал козлиное горло, в мгновение ока содрал шкуру, вспорол живот, на куски разделил тушу. Потом все завернул в шкуру, провел по ней ладонью. Козел как ни в чем не бывало вскочил на ноги, отряхнулся и резво побежал к своему косяку.

Наступил черед Темир-баба. Он закатал штаны до колен и вошел в пенящееся море. Он шел и шел, не останавливаясь, а море покорно расступалось перед ним. Там, где опускалась его пята, выступала земля. Долго он шел и наконец обернулся посмотреть, чем там занят Шопан-ата. Тот, стоя на берегу, размахивал белой чалмой, звал назад.

«Ты превзошел меня своим могуществом,— признал Шопан-ата.— Я позвал тебя, потому что испугался, как бы ты не проложил дорогу через море, не долог час, ею воспользуются враги. Я счел за благо окликнуть тебя».

В память о том дне и состязании остался полуостров, ножом вонзившийся в море. Каждую пядь подступавшей к нему степи защищали предки Жонеута и предки предков. А ныне степь — достояние кого придется. Туркменское копье потеряло силу, туркмены отступали все дальше и дальше. Они забыли завет Темир-баба.

Он велел похоронить себя на каменистой прибрежной гряде. «Если не желаете, чтобы любая вражья собака мочилась на моей могиле, да будет это место границей ваших земель».

Прежде любой мужчина, носивший кинжал, в час опасности непременно поднимался сюда поклониться святому духу Темир-баба.

Дождь, ветер и годы сточили утес. Он осел, вдавился в землю. Высятся лишь склеп, выложенный из неотесан-

ного камня, — могилы святых не нуждаются в украшениях. Внутри сумрачного склепа длинный, поболее человеческого роста, холмик. Он тоже осел. Камни, обрамляющие его, покрыла хна. Лишь скалистая глыба у захиревшей могилы напоминает о былом величии святого Темир-баба.

Тот, кто родился мужчиной, не пройдет мимо, не коснувшись губами этой глыбы.

Покойный дед Жонеута приезжал сюда и в дни горя, и в дни радости. Не раз он брал с собой Жонеута. У старика увлажнились глаза, когда он приближался к могиле, высившейся над морем и степью.

Не будь этой могилы, какая судьба ждала бы туркмен! Рассеялись бы по пустыне, их след замели бы пески. Неотвратимой памятью о достоинстве, долге и чести, грозным напоминанием стоит могила. Пока туркмены не слезают с горячих скакунов, с быстроногих дромадеров, они не смеют забывать завещание Темир-баба!

Так рассуждал старый батыр, дед Жонеута. Он гордился безбрежьем отчего края, безводностью пустынь.

«У нас нет воды, кроме синего моря, — говаривал он, — нет у нас трав, кроме чахлах колючек. Горы и пески. Таков наш край. Но не вздумайте пренебрегать им! Эти пески, пустыни — наше спасение. Будь здесь райский уголок, цвети сады Ирана, всякий встречный-поперечный лез бы к нам, хозяйски размахивая копьём...»

Так рассуждал старый батыр, дед Жонеута. Но его рассуждения, увы, не всегда совпадали с тем, что случилось в жизни. Ни пески, ни пустыни не пугали врагов, когда они вождели чужого богатства, чужого скота. Что им священная память твоих предков, гордость и боль твоего народа!

Прожорливый враг сперва тянет руку к скоту, насытившись, мечтает сделаться владыкой твоей степи, тешиться с твоими дочерьми.

Простосердечный народ, ты предсказываешь погоду по брюху коня, а горе — по вою собак, понимаешь ли ты угрозу, нависшую над тобой? Догадываешься ли, что враг может подкрасться тайком, спрятав под рукавом аркан, а когда затынет на твоей шее петлю и бросит тебя к своим ногам, будет уже поздно?

Не отрываясь, глядит охваченный думами Жонеут на бушующее море. Былое зовет его, к прошлому применивается нынешняя тревога: как быть, что делать?

Ветер рвет одежду, бьет в лицо, треплет раздвоенную бороду. И морю передалась тревога. Оно беснуется, ревет.

Батыр повернулся к сыну.

Даулету уже ясно, зачем его привел сюда отец. Послушность и почтение написаны на его лице. С сыновним смиреннем готов он внимать речи родителя.

Но отец молчит. Торопливо схватил сына за руку и снова повел к могиле Темир-баба.

Оба преклонили колена, зашептали молитву. Даулет взял горсть земли и бросил ее на холмик, под которым спал святой. Порывистым шагом приблизился к могильной глыбе. Он ощутил на губах соленый вкус моря, вдохнул запах прелой земли и нагретого камня.

Молча, держа коней в поводу, спустились вниз.

Вскакивая на аргамака, Жонеут успел заглянуть в глаза сына. На молчаливый вопрос отца Даулет ответил без слов, спокойно и с достоинством.

Жонеут остался доволен сыном, они обретали друг друга.

Возвратившись, он приказал пустить в табун темно-рыжего скакуна Даулета, на нем сын разъезжал по празднествам и пирушкам. В их роду было заведено — для боя пегий жеребец.

Табунщики пригнали легкого пятилетку в серых яблках, с черным пучком в хвосте. Вынесли на солнце новое боевое седло.

Аксакалы, тряся бородами, придирчиво оглядели жеребца, заглянули в морду, потыкали кулаками в живот, кряхтя, ощупали копыта. И остались довольны. Черная отметина в хвосте, решили аксакалы, добрый знак, божественная мета. Жеребец удостоился благословения.

Седлал его сам Жонеут. Лишь недавно рука мастера вырубил из старой липы это седло. Оно предназначено не для праздных поездок: в высокую луку будет упираться копые.

Даулет пристегнул к поясу кинжал, забросил за плечо фитильное ружье, оглянулся, прощаясь, вокруг и вскочил на пегого.

Мужчины, шумно напутствуя, окружили его, не скупившись на слова, желали удачи. Женщины воровато поглядывали из-под низа юрт, из всех щелей — любовались ладным джигитом. Но любовались с разным чувством:

те, что постарше, пригорюнились, вспоминая погибших сыновей, те, что помоложе, всплакнули, пытаясь угадать судьбу, которая ожидает их женихов и мужей.

Жонеут по обыкновению оставался молчалив. Только тонкие смуглые пальцы быстрее, чем всегда, бегали по двум языкам бороды.

Он припоминал все, что знал о сыне.

Ничего не скажешь: Даулет — меткий стрелок, на охоте не каждый с ним потягается. Кинжал в руке держит твердо, саблей рубит — заглядишься. С копьём очень ладит, не упирает древко в седло, держит на весу, меж ушей коня, поровит воизвить с ходу. Оно, конечно, когда противник слабоват, то и так можно. А коли сильный? Тут надо остановиться, дать копьём опору, подойти сбоку... Понимать-то он все понимает, да рвения не заметно. Не лежала, видно, душа к ратному искусству, брала то, что ближе к игре... Задумчив не ко времени. Стоит возле тебя иной раз, а ты чувствуешь: витает невеста где...

Незадолго до проводов Жонеут возвращался от соседей и услышал звуки дутара. В его юрту редко набивались люди, побанвались хозяина. Но на этот раз весь аул сгрудился, оставшиеся дома женщины задумчиво глядели на огонь, плясавший под треногой. Такая это была мелодия, полная тоски и скорби. Озноб сжал сердце Жонеута. Он повел плечами, как при утреннем ветре. Холодок не отпускал.

Мелодия оборвалась, едва Жонеут вошел в юрту. Медленно погас последний звук. Даулет смущенно поднялся, пропустил отца на почетное место, повесил дутар на стену.

В душе Жонеута и сейчас звенит оборванный звук, отдается такой печалью, для которой ему не подобрать слов. Его сын, плоть его, отправляется в поход. Куда? В неизвестность. Не за смертью ли? Во имя чего?

Во имя мести...

Жонеут с аксакалами проводил Даулета до ближних увалов. Простился, повернул аргамака назад. Отъехав, не выдержал, оглянулся. Отряд во главе с сыном уже далеко. Пики уставились в синее небо.

Когда в следующий раз повернулся Жонеут, то ничего не увидел — горячий воздух, трепеща, поднимался над раскаленной равниной.

Холодок, сжимавший сердце Жонеута, сменился ост-

рой болью, тоска — тревогой. Зачем, зачем уехал сын? Зачем он, бывалый Жонеут, не последовал с ним?

Вернувшись, Жонеут поклонился своим спутникам, аксакалам, и попросил их не разъезжаться по домам, побыть возле него до возвращения Даулета. Старики, ничем не выдав своего удивления, согласились.

С того дня Жонеут не знал сна. От зари до зари сидел он, уставившись в одну точку. И так же недвижно чернеет на вершине кургана выставленный им караульный.

Худой туркмен в просторном полосатом чапане не сводит молодых глаз с дозорного. Он не прозеваает сигнала.

Но сигнала нет и нет. Не давать же его из-за жалких уродов — пленных казахов, несущих кизяк в аул.

4

Знойный полдень позади. К побелевшему небу возвращается голубизна. На ее фоне все так же четка одинокая фигура караульного, будто могильным столбом увенчан курган.

Жонеут отвел глаза от дозорного, тяжело поглядел на аксакалов. Старики тревожно заерзали. Неладно, нехорошо, давно миновали все сроки возвратиться отряду. Но прежде чем кто-либо из них успел открыть рот, вздрогнул сухощавый туркмен-наблюдатель. Волной пробежали полосы на его чапане. Все встрепенулись.

За аулом, где-то на западе, взметнулся долгий крик. Жонеут зажмурился, как от яркой вспышки. В ноги вступила слабость. Он сделал неуклюжий рывок, прежде чем сумел подняться. Юрта опустела. Он вышел последним.

По обычаю, о приближении победителей извещает караульный. С радостным возгласом «Сюинши! Сюинши!» опрометью мчится он в аул.

Жонеут попытался сосредоточиться. Откуда возвращаются джигиты? Почему их не заметил дозорный? Почему вместо окрыляющего «Сюинши!» выворачивающий внутренности вопль?..

Вопросы множились и множились. Кто это так грузно скачет сюда? Где пегий в яблоках конь? К чему белый лоскут на лике первого всадника?

Джигиты приближались. Густела, заслоняя солнце, пыль над их головами. Заунывное «Го-о-ре-е!» уже докапывалось до аула, и эхом рождался ответный стон.

Всадники раскачивались в седлах, припадали к гривам, сутулились под мохнатыми папахами.

Почтенные аксакалы начали бить себя рукояткой камчи в грудь. Жонеут побледнел. Затравленно сторонился обезумевшей толпы.

Горе охватило всех, от мала до велика. Мужчины дубасили себя кулаками по головам, бились, точно сазаны, угодившие в сеть, под черными паранджами женщины ногтями царапали лица. В стороне от всех рыдал и рвал бороду Аппадурды.

Тревожно ржали жеребцы на привязи, били копытами, грызли коновязь. С жалобным визгом, с поджатыми хвостами бросились врассыпную собаки. Расшатывая колья, кружились верблюжата.

Только четверо юродивых безучастно стояли возле кучи кизяка. Слюнявая улыбка не покидала их бессмысленные лица...

Один за другим из пыли появлялись всадники. Приблизившись к аксакалам, они, как подстреленные, сваливались с седел. Раскачиваясь, в обнимку рыдали, причитали. От их воплей зашумело в ушах Жонеута, потемнело в глазах. Он свирепо сдвинул брови. Но никто этого не испугался, а может быть, не заметил. Все кинулось к нему. Сначала старики, потом остальные. Он пытался увернуться. Однако не было обычной решимости, не было сил.

Он увидел у привязи пегого жеребца с отрезанным хвостом.

Джигиты волокли в юрту что-то длинное, запылившееся. За ними хлынула толпа. Два старика, поддерживая под локти, вели Жонеута. Он не сопротивлялся. Люди расступались перед ним. Посреди юрты лежало это громоздкое, покрытое пылью. Люди наклонялись к нему и с громкими стонами выбегали на улицу. Их место занимали другие. Все спешили взглянуть и дать волю рыданиям.

В сопровождении муллы неожиданно явился Мамбетпана. Переступив порог, обнял Жонеута и в голос заплакал.

Мулла на коленях шептал молитву. Кончив, бросил несколько слов толпившимся рядом, и в юрте остались одни аксакалы. Мулла приблизился к Жонеуту, губы его быстро-быстро шевелились. Жонеут видел, как за мясистыми губами желтеют кривые зубы, но не различал

слов. Мулла чего-то тщетно добивался от Жонеута, отчаявшись, кликнул Аннадурды.

В ответ на речь муллы Аннадурды согласно тряс мокрой от слез бородой. Вместе с аксакалами он подошел к тому, что лежало посреди юрты. Воцарилось молчание. Двое стариков снова подхватили Жонеута под локти и повели к юрте Аннадурды.

Жонеут не мог сказать, сколько времени он пробыл у Аннадурды. Может быть, долго, а может быть, недолго. В памяти остались разрозненные подробности.

Вбегает возбужденный старик, что-то сбивчиво говорит, тычет пальцем в сторону бледно-оранжевого заката.

Жонеута опять поднимают под руки, ведут на улицу. Впереди шагают джигиты, сгибаясь под чем-то, туго обтянутым черной кошмой. Они держат путь к холму. За ними толпой валят соплеменники.

И он идет. Бессмысленно, слепо. Почему так трудно идти, точно он в дороге неделю, месяц? Почему так плохо подчиняются ноги? Ему надо бы быть впереди других, а он с немощными стариками плетется в хвосте.

Джигиты, несущие что-то, завернутое в черное, смеются друг друга. Значит, это тяжелая ноша. Ее осторожно опускают на землю.

Опять мулла. Повинуясь его голосу, мужчины бросаются к кустам, опоясавшим кладбище. Да, это кладбище... Мужчины выхватывают сабли. Со свистом рассекают воздух, с яростью рубят кустарник. Почему они так торопятся? Откуда взялась зияющая чернотой яма? Гора сухих сучьев?

Сунув саблю в ножны, джигит достает из кармана огниво. Пламя охватывает сучья, бросает алые блики на людей, предавшихся молитве. Как отчетлив в вечерней тишине ружейный треск огня, глухой голос муллы...

Развернута черная кошма. То, что она скрывала, осторожно опускают в яму. Осторожно, однако торопливо. К чему такая спешка?

Все это напоминает сон. Конечно, сон. Видишь как-то движения. Но не знаешь, зачем они. От неясности тревога. Надо усилием воли прервать сон. Сейчас Жонеут так и поступит. Сразу развеется мрачная суета, все вернется к разумному спокойствию.

Но сон, будь он трижды неладен, длится.

Откуда-то взялись лопаты. Земля комьями летит в яму. Яма уже не черная от пустоты, а рыжая от этой

земли. Мамбетпана — он тут как тут — сует ему в одеревенелые руки черенок и сам его лопатой зачерпывает землю.

Оцепенение не отпускает Жонеута. Все кружится перед ним.

Но он не слабый человек. Он стряхнет с себя наваждение.

Его ведут под руки. Он твердо переставляет ноги.

Но эта спешка опять сбивает с толку, возвращает прерванное сновидение.

Толпа вконец обезумела. Что стряслось? Нагрянул враг? Тогда где кони? Или он, батыр Жонеут, сплеховал, проморгал вражеское нашествие? Что стало с женами и детьми? Почему, почему он не видит своей надежды и отрады — Даулета? Почему младший сын не со своим отцом?..

5

Бесконечное лето. Ни капли дождя. Зачахли самые неприхотливые колючки. Зной испепелил кошму на юртах, в дырах кошмы — желтеющее небо. От запаха гари зудит в носу.

Днем ни души на улицах. Собаку и ту не увидишь.

Под вечер слабеет жара, и мужчины вынолзают из юрт. Каждое движение требует усилий. Жены предусмотрительно стелют в тени ковры. Мужчины, рассеившись и плотно придавив к темени маленькую тюбетейку — истинный туркмен никогда с ней не расстаётся, — поверх натягивают мохнатую папаху. Если в этот предвечерний час, час намаза, мужчина увидит свою длинную тень, то подивится ее причудливости. Налюбовавшись тенью, он снимет папаху — тень сразу укоротится, потеряет необычность — и примется за дело. Не завелась ли в поярковой шкуре моль, не появилось ли пятнышко?

Возле каждой юрты торчит из земли палка. На нее надевают папаху и неистово хлещут тонким гибким прутиком. Хлещут до полного изнеможения. Обесенев, разглаживают пятерней мех, придирчиво щупают каждый волосок.

Работы, слава аллаху, хватает до самого заката. Тогда отправляют сыновей за конями. Пока седлают, горячие ахалтекинские аргамаки приплясывают от нетерпения, перебирают точеными ногами.

Оседлав коня, туркмен направляется к палке, на которой, красуясь, проветривается его славный головной убор. Снова осматривает, ощупывает его, надевает на большой палец. И крутит. Кто раз пять-шесть. А кто и десять.

Теперь папаху водружают на голову.

Едва почувствовав в стремях ногу седока, аргамак нервно вытягивает шею, стрелой мчит вперед. Кто узнает в стремительном всаднике флегматичного мужчину, который возился со своей папашей? Он бесплотен, невесом. Слит с горячим, мускулистым конем.

Ахалтекинец бешеным наметом скачет в степь, вздымая прозрачный шлейф пыли.

...Засушливое лето. В поисках корма верблюды далеко ушли от аула. Так далеко, что за ними не пошлешь пленных казахов. Верблюжата жалобно зовут матерей, и их рев больно отдастся в груди человека.

Сменив солнце, выплывает луна. Наступает светлая, как день, ночь. Все же не как день. Такая молочная близна бывает только ночью. Она сужает горизонт, стягивает его к аулу.

Прежде чем скроется луна, в робком свете грядущего дня выплывают угловатые силуэты всадников, мерно покачиваются верблюжьи горбы. Прямо-таки фантастическая картина с таинственными призраками.

Но жизнь аула обыденна и однообразна. Ее монотонное течение не оставляет места для фантазий.

На окраине в щелястой лачуге томится закованный в кандалы одинокий пленник. День-деньской он оглядывает лежащий впереди простор. Не из любопытства и не по приказу, от нечего делать. Давно уже никто не подходит к нему, если не считать стражи. Вначале охраняли двое, потом один. Сегодня у лачуги опять двое.

Незачем ему вспоминать и сравнивать. Но досужая память не спрашивает разрешения.

Когда у казахов траур, в ауле беспокойно. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Снова и снова оплакивают покойника. Он день-деньской лежит в правом углу юрты, доступный всем для прощания. А здесь тихо, мрачно. Здесь спешат предать тело земле. Такой, видно, обычай: похоронить до захода солнца, на худой конец, до полуночи. Оставлять тело непогребенным — великий грех.

Что ж, размышляет пленный, у каждого народа свои законы. То-то и спешат туркмены с покойником на

кладбище, спешат с кладбища. Торопливо обносят подносами с дымящимся мясом...

Но в день похорон Даулета никто не притронулся к мясу. Все пошло собакам.

Ему запомнились похороны Даулета и глухой сон, в который погрузился аул после этого дня.

Жеребец Даулета с обрезанным под корень хвостом гулял на пастбище. Но сегодня с утра его привели сюда. К нему подходили туркмены, осматривали, что-то обсуждали. Потом взяли под уздцы, повели.

— Куда это? — с тревогой спросил пленный.

Страж неприязненно бросил:

— Резать.

Помолчал и добавил:

— Сегодня сороковины Даулета.

Медленно шевелятся мысли пленного, составляя из клочков и обрывков нечто цельное.

Все эти дни Жонеут не показывался на улице. Белобородые старики шли к нему в юрту, покрытую спереди и сзади черной кошмой. Были среди них здешние жители, были и приезжие. Но ни те, ни другие подолгу не засиживались. Отвязывали коней, возвращались восвояси. Иные проезжали мимо лачуги пленного, до него доносились отдельные фразы, их смысл не угадывался.

Кое-что, правда, рассказывали конвоиры. Когда аул засыпал, им, изнывающим от скуки, некуда деться. Хотя пленный, конечно, ублюдок, но все же живая душа. Слушать его не придет в голову, но ему не грех послушать.

С черного часа смерти сына Жонеут не произнес ни слова. Молчит, как саксаул. Поначалу не верил в смерти Даулета, велел дозорному еще неделю торчать на кургане. Чудной человек — сын лежит в земле, сам хоронил, а караульного не снимает.

Убеленные сединами старцы пытались отвлечь его беседой, утешить, наставить на путь разума. А он безучастно молчит, будто нет его, не к нему обращены степенные речи. Вчера старики напомнили ему: завтра сороковины Даулета.

Значит, и он, пленник, сидит в этой вонючей дыре сорок суток. А сорок два дня назад был на воле, был хозяином себе. Он дорожил свободой не ради тоев, сборищ, все это надоело. Ценил уединение. Спасаясь от людей, увлекался охотой. Вот где покой, тишина, раздолье для мыслей. Но неодолимая страсть толкала об-

ратно в аул. Он был домбристом, и искусство жаждало слушателей. Многие годы без него не обходился ни один праздник, он украшал каждое застолье. Его слава гремела по аулам, ему завидовали богатые и процветающие. Он же все сильнее мечтал о тишине, укромном уединении. Его звали в гости, а он хотел побыть в одиночестве.

Казахский аул — вечная суматоха. Особенно поблизости от туркмен. То радость: удался набег, в воздух летят шапки, воет под ножом белый жертвенный верблюд — пир на весь мир. То сами пострадали от налета: горе, стоны, проклятья.

Стоит двум сорванцам повздорить из-за пустяка, их отцы с налитыми кровью глазами, с кинжалами кидаются друг на друга. В пустяковом споре, словесной перепалке главный довод — опять-таки кинжал.

Дерутся озверело, охмелев от ярости, порой забыв, из-за чего сыр-бор. Так искромсают, изувечат один другого, что родная мать не узнает. Станут легкой добычей смерти и плена. Все обратится в прах: сильные тела, забубенные головы, горячие сердца.

Останутся мальчишки-сироты, чтобы дышать ненавистью и местью, подрасти и уничтожать друг друга, как некогда уничтожали истлевшие предки. И оставят в наследство кровавую стежку, по ней идти их детям. Из поколения в поколение, из века в век. Потемневшая от крови земля равнодушно приемлет в лоно свое бессмысленные жертвы, даже самые беспокойные обретают вечный покой. Вам тесно на земле? Что ж, ложитесь в землю. Сколько войн прошумело в столетиях, победа неизменно оставалась за землей.

Пленный — нет, тогда он еще не был пленным — ломал голову над тщетой, ничтожеством человеческих усилий. Многим не хватает ума прокормить себя и свою семью, устроить собственный скромный очаг, но они туда же лезут, радеют о священном духе предков, жаждут проучить недругов. Отстаивая честь мертвецов, сами быстро оказываются покойниками.

В благодатные дни, когда природа щедро одаряет всех любовью и лаской, они бросают своих жен, детей, оставляют годами нажитый скот и, сознавая великую миссию, отправляются грабить, насиловать, убивать. Вернувшись победителями, испуганно вздрагивают при каждом шорохе, перестуке копыт. Страх перед неизбежной расплатой разъедает их души.

Выпадет спокойный день либо месяц — им не по себе. Развлекаясь, будут пауськивать собак, козлов. Распалятся и сами уподобятся животным, полезут в драку. И пойдет кровавая кутерьма... Потом — могилы, слезы, проклятья.

Мысли пленника домбриста описывали заколдованный круг и не могли его прорвать. В последней надежде он цеплялся за одну: человек не зверь, должен же он в конце концов постичь, что является на свет ради мира, труда, продолжения рода...

Безрадостно и тревожно было у него на душе, когда он видел, как уводили на смерть красавца жеребца с обрубленным хвостом. И жеребец падет жертвой кровавых людских устремлений.

Горькие мысли вселяли в душу мрак и пустоту. В отчаянии он опустился на гнилую подстилку. Его лихорадило, попеременно бросало в пот и в озноб. Он потерянно шарил по земле руками. Надо было излить все, что теснилось в груди. Но как? Руки ничего не находили. Он окликнул стражников, но им было не до него. Они не сводили глаз с юрты Жонеута.

Пленный умолк, задремал.

Он очнулся от грубого толчка. Но не мог взять в толк, чего от него хотят. Стража подтолкнула к выходу. Гремя цепями, преодолевая сонную вялость, он переставлял ноги. Каждый шаг отзывался болью.

В просторной юрте висела гнетущая тишина. Никто не шелохнулся при виде пленного. На почетном месте в окружении аксакалов сидел прямой как жердь старик с раздвоенной седой бородой. Пленный понял — Жонеут.

6

Все сорок дней подле Жонеута были люди. Но он их не замечал. Лишь сегодня к нему вернулись зрение и слух. Он пристально разглядывал пленника.

Невзрачный человечешка. Надо же быть таким тощим, длинноруким, сутулым. Вошел и застыл у порога. Ни малейшего интереса к окружающим, ни тени почтения к Жонеуту. Не обуян ли он гордыней, не спесив ли? Непохоже. Скорее безразличен. Да, именно безразличен в такой фигуре, на бледном, изможденном лице. Он впервые видит этих людей, но не испытывает ни малей-

шого любопытства. Как если б это были давние знакомые и заранее известно любое их слово, любой жест.

Один из аксакалов вывел пленного на середину, снял кандалы. Руки безвольными плетью упали вдоль тела. Глаза оставались безжизненными.

И эта тошная кляча — плата за его убитого сына?!

От негодования у Жонеута перехватило дыхание. Он повернулся направо, налево. Папахи опустились. Аннадурды поднялся и покинул юрту.

Пленный стоял поцуро, безучастно.

Уж не полоумный ли, мелькнуло у Жонеута. На лице ни мысли, ни испуга, ни вызова.

Вернулся Аннадурды, протянул пленнику продолговатый предмет, завернутый в тряпку. Пленный недоуменно уставился на него.

Вдруг бледное лицо осветилось, на нем выступил румянец. Он хотел что-то сказать. Но язык не слушался, заплетался. Робко протянул руку, бережно принял предмет. И тут же сами собой у него подкосились ноги. Он подогнул их под себя. Сжался в комок. Склонил набок маленькую голову.

Лишь теперь он удостоил всех внимания, окинул взглядом юрту.

Равнодушие как не бывало. Пленный нетерпеливо развернул грязную тряпицу. В его руках была домбра. Недоверчиво подержал ее на весу, разглядывая. Осторожно притронулся к колкам. Юрта замерла. Аннадурды на цыпочках прокрался к своему месту и, стараясь не шуметь, сел. Бородатые конвоиры отступили к порогу.

С улицы доносились голоса тех, кто резал пегого жеребца, рычанье и лай собак, опьяненных запахом свежей крови. Через открытый верх юрты наклонно падали лучи осеннего солнца, серебрили бороду Жонеута. Он, не шевелясь, угрюмо возвышался на своем почетном месте.

Пленный снова забыл о присутствующих. Но теперь не от безразличия. Он находился во власти домбры. Опухшие от кандалов пальцы неуклюже двигались по грифу, спотыкаясь на каждом ладу. Домбра рассохлась. Сколько ни крутил пленный колки, звук оставался хриплым, грубым.

Да и откуда было домбре сохранить звук? Ей, бедняге, тоже досталось.

...Ушедший в свои думы, он охотился тогда вдали от

аула и не заметил, как его окружили туркмены. Видно, это были всадники, сопровождавшие Даулета, когда тот ездил к адайцам состязаться с казахскими кюйши. Всадники узнали его, заспорили между собой.

Он не знал за собой вины, никого не обижал, охотился в степи. Что с него взять? Но в голосах вооруженных джигитов звучало недружелюбие, и в его душу закрадывался страх. Он слишком часто видел, на что способны люди, ослепленные злобой. Однако внешне сохранял невозмутимость.

Двое отделились от толпы, отобрали у него ружье, домбру. Он решил: все, больше не видать ему домбры...

Выходит, тогда он ошибся. Домбра снова в его руках...

Мрачная безучастность Жонеута была обманчива. Он следил за каждым движением пленного, за его согбенной фигурой, головой, склоненной над домброй. Пленный напоминал ему мать, кормящую ребенка. Ревниво вглядывался Жонеут в руки домбриста, сухие и негибкие, как ветви старого саксаула. Нет, этому не играть, куда там. Отыгрался.

Он верно оценил: не от мира сего. И то сказать, какой нормальный, угодив в руки отряда, потерявшего вожака, даже не попытается ускакать! Но отряд, ничего не скажешь, тоже хорош. Болван на болване, пустомели как на подбор. Нашли кого брать, кем платить за кровь незабвенного Даулета! Какой-то блаженненький, тощий, в чем душа держится... К тому же — о господи! — никак запаршивел. У висков под тюбетейкой струпья.

Жонеут брезгливо отвернулся от пленного. Недобро оглядел молчаливых аксакалов. Всем было не по себе. Кроме пленного.

Для него сейчас существовала одна домбра. Он самозабвенно колдовал над ней, перебирал лады, ударял по струнам, прикладывал ухо. Можно было подумать: сросся с ней, поделился своей кровью. И домбра обрела голос. Еще несогласно пели струны, нестройно лилась мелодия. Но Жонеут вдруг почувствовал, вот-вот прорвется препона. Он не желал верить этому. Выжидающе замер.

Свершилось чудо.

Горечь обиды, боль, отчаяние — все разом обрушила домбра на Жонеута. Она низвергла водопад звуков, и каждый пронзал сердце.

Он потерял счет дням, сидя в этой безмолвной, как

могила, юрте вдвоем со своим горем. Он хранил неприступность. Не выказывал свою боль, мрачно и гордо сознавая: она никому не доступна.

В первые дни боль доводила до безумия. Он не узнавал близких, впал в забытие. Не поверил в смерть сына и заставил дозорного еще целую неделю стоять на кургане. Он, считавший себя разумным, утратил власть над рассудком. Но все же сумел совладать с собой.

Пока он оставался с глазу на глаз со своей бедой, в лагере на окраине те же сорок дней беда терзала ни в чем не повинного казахского кюйши. Каждый из них страдал в одиночку и по-своему. Но домбра заговорила на общем для обоих языке. Хотя и Жонеут и домбрист считали, что каждый из них непостижим для другого.

Где уж этому дремучему батыру понять меня, подумал домбрист, и мелодия зазвучала гневно, взыскующе... Мысли бежали дальше: батыр презрительно скривит губы и швырнет меня своим псам-джигтам.

В душе Жонеута росла гроза. Домбра объяснила ему самого себя. Он проникся яростным недовольством. Довольно слабости! Надо крепиться, призвать волю и твердость, разбудить, встряхнуть народ!..

Меж тем домбра запела на новый лад, глухо, печально. Ее вздохи перемежались тихим всхлипыванием.

Пальцы кюйши вернули себе былую гибкость. Они бежали, порхали по грифу. Домбра отзывалась на малейшее их прикосновение.

Пленный повернулся боком к Жонеуту. Он никого не замечал. Наступил момент, когда он не нуждался в слушателях. Его лицо хранило отрешенность — ни обиды, ни гнева. Тускло мерцают зрачки узких глаз. Вся жизнь перелилась в пальцы. Они скользят, мелькают в неистовой пляске. Игра оборачивалась наваждением. Пела не домбра, а степь. Оттуда издали ветер приносил мелодию.

Жонеут не находил в себе силы противостоять ей. Он верил и не верил власти этого невзрачного человечка, напомнившего пленца.

Темные пальцы летали над черным грифом. Скорбные звуки, наполняя юрту, обесцвечивали все вокруг. Поблекли лица туркмен, потускнел мех на папах. Стал вовсе незаметен и сам тщедушный домбрист.

Новый кюй наливался крепостью. Звуки все бодрее, определеннее. Обида, боль и печаль отступают перед

трезвым разумом. Мелодия вызывает к размышлениям, как многомудрая речь, способная указать выход отчаявшимся.

Это была победа кюйши, победа над собой.

Долгие годы он наблюдал бесконечные тяжбы, распри, ссоры двух народов-соседей. Он давно пытался излить в звуках свои страдания. Но всякий раз верх брало негодование. Всепрощение не давалось домбре. Музыкант лишился покоя, не знал отдыха от неотступных мыслей.

Нет худа без добра. Сколько пережил и передумал он в неволе. Он мечтал открыть сокровенное этим людям, суровому старнику, потерявшему последнего сына. Он поверил, что может разбудить их сердца. Не слова — звуки переполняли его душу, просиялись наружу. Он падал духом, опускались схваченные кандалами руки. Он мечтал не о свободе — только о домбре. Но понимал тщету мечтаний. Ему оставались тоска и безнадежность. Этим пальцам не извлекать звуков, до конца дней его будут греметь кандалы на ослабевших руках.

Но где-то внутри, ни с чем не считаясь, уже рождался новый кюй. Тайна его своей непостижимостью равна тайне человеческого рождения. Он рвался наружу, пленник грезил домброй. Ее не было, и звуки умирали, так и не выбравшись наружу. Они оставляли по себе мечту. Если б еще раз почувствовать в руке невесомую легкость домбры, молча вздохнул пленный в тиши постылой лачуги. Только один раз. Он создал бы такой кюй, который ворвался бы в сердце каждого... Каждого, кто не лишен сердца.

...Когда его ввели в юрту, он увидел висевший на стене дутар. Он знал, что хозяина дутара уже нет среди живых, и многие чувства, противореча одно другому, охватили душу. Но все были побеждены отчаянием: ему не дадут притронуться к дутару.

И вдруг — о чудо! — протянули собственную домбру. Волнение и неожиданность парализовали тело. Онемели пальцы. Заглохла мелодия, постоянно звенящая в груди. Его обдало жаром, и он услышал, как кровь торопливыми толчками бежит по жилам...

Так, вероятно, чувствует себя верблюдица, когда от нее на несколько дней отлучают верблюжонка. Потом он прибегает, и она, переполненная счастьем, в первый момент не в силах дать молока.

Он взял домбру, поднял голову. В ту минуту ему отк-

рылось все происходившее с этим суровым, скрытным стариком, не разжимавшим побелевших губ. Кюй, который давно просился на волю, был одновременно кюем и пленника, и его властелина.

Тогда-то и ожили пальцы, освободившись от невидимых пут...

Жонеут на миг оторвался от кюйши, взглянул на сидевших по обе стороны людей. Еще недавно все они были одно внимание, обращенное к нему, Жонеуту. Теперь ими безраздельно завладел пленник-домбрист. Это наблюдение скорее удивило Жонеута, чем вызвало горечь. Он открыл в них нечто новое, незнакомое, хотя ему, как он считал, была ведома подноготная каждого. Из их маленьких глазок исчез обычный холодноватый блеск. Да и весь облик потерял извечную воинственность. Не будь грозных папах, их можно было бы счесть за вполне мирных людей, отродясь не державших кинжала, не проливших ни капли крови.

Окружавшие забыли о Жонеуте. Это было все-таки слишком. Он всматривался в одно лицо, в другое. Но его не замечали.

И тогда ему вспомнился бедняга Кёк-боре. Не такой уж он был наивный, когда не уставал твердить, что кюйши и бахши — порождение нечистой силы. Не помогай им дьявол, могли бы они околдовать толпу?

Этот тщедушный, кожа да кости, домбрист покорил его, Жонеута, покорил всех. Такое не прощается. Жонеут почувствовал прилив лютой злобы.

Но ни домбрист, ни слушатели ничего не замечали.

Невольник жил своей жизнью, неподвластной тем, кто его пленил. Домбра вернула ему себя. Не поднимая головы, он знал, что все безотрывно смотрят на него. Это была подлинная власть. Но нужна она была лишь для одного — передать людям все пережитое, передуманное за годы странствий и за дни, проведенные в воюющей хижине. Ничего не утаивая, ничего. Второй такой случай не представится.

Ну так слушайте вы, мохнатые папахы, призванные внушать страх! Пока вы не научитесь довольствоваться необходимым, смирять порывы, черна и мрачна будет ваша душа и жизнь ваша. Пока вам будет тесно в родном доме, в родной степи, пока ненасытная жадность будет гнать вас на поиски кровавой добычи, вам не знать ни счастья, ни покоя. Вам, вашим детям и внукам. Только

из горького опыта минувших лет можно исторгнуть свет для будущего. Не в том мудрость, чтобы слепо следовать предкам. Пора извлечь толк из их недолгой жизни, заполненной яростью и местью. Запомните: поле, унавоженное ненавистью, родит только ненависть. Ваше благоденствие, счастье ваших детей и жен — в дружбе и согласии с соседями. Злоба превращает человека в зверя. Человеком его делает сострадание. Только так, не иначе. Если ты никого не жалеешь, кто пожалеет тебя? Если ты с кинжалом отправляешься в поход, то пеняй на себя, если наткнешься на чей-то кинжал. Не ищи на земле и на небе виноватых в своей гибели. Не проклинай бога и врагов. Прокляни самого себя. Ты жаждешь принести смерть другому — ты сам ее получишь. Таков звериный закон, избранный тобой. Кроме тебя, никто не повинен в твоей участи. Так-то. И не кипятись, не растравливай себя. Лучше подумай раз и еще раз. Не для одной папахи создана твоя голова. Не полагай, будто кто-то за тебя примет разумное решение. Человек тот, кто думает. А тот, кто поровит вонзить в другого зубы и когти, — разновидность четвероногого. Запомни это и не спеши считать себя венцом творения. Откуда твоя спесь? Что дало тебе право считать себя лучше соседа и вершить суд над ним?

Мелодия несла не только обличительный призыв. Минутами в ней звучало сомнение.

Не от скуки ли вы слушаете меня? Вняты ли вам эти звуки и мысли? Доходят ли они до ваших сердец, совершают ли благоую работу? Быть может, ваш слух улавливает напев, но пропускает мысли? Уж не безделью ли обязан я вашим вниманием? Не случится ли так, что, поняв меня сегодня, забудете завтра? Сегодня поплачете, а завтра приметесь за бесчинства?

Все-таки вы мелковаты. Столько перенести горя, столько раз рвать на себе волосы, и ничего, ничего не понять! По-прежнему отравлять друг другу жизнь. Не пришел ли час образумиться и впрямь стать людьми?

Лишь в горе вы напоминаете людей. Да и то не всегда. Вы слишком привержены звериной жизни. Что с вас возьмешь?..

Отчаяние охватило пленника и его домбру. В мелодию явственно прорвались слезы.

Насупленно молчавший Жонеут уловил это. Но истолковал по-своему: ага, пленный запросил прощения и пощады.

Он грозно глянул на кюйши и встретил печально-задумчивый взгляд, в котором, как ни пытайся, не прочтешь ни обиды, ни мольбы. Пальцы домбриста летали над струнами. Мелодия полилась ровно и холодновато. Лишь однажды дрогнула. Это вернуло Жонеута к дням, которые он старался не помнить.

Как-то раз накануне похода на адайцев он застал Даулета с дутаром в руках. Такая же прозрачно-тоскливая музыка наполняла пустую юрту. От звуков щемило сердце, ныли кости. Тогда мелькнуло в уме Жонеута: о чем плачет дутар, что хочет высказать сын? Ответ не приходил, да старик не слишком и доискивался его. Предстояло готовиться к походу.

Может быть, теперь следует подумать?

Пленник заметил, как дрогнул мускул на суровом лице. Но старик быстро совладал с собой. Надо сохранять безразличие. Он отвернулся от кюйши к двери, посмотрел на верхнюю перекладину. Руки выпустили бороду, замерли на коленях. Последний месяц прибавил седины в бороде и волосах, углубил морщины возле рта, на лбу. В глазах осели гнев и горечь.

Ничто не осталось не замеченным домбристом. Ему хотелось понять, откуда этот гнев. Природная жестокость или боль? Глаза жестокого человека всегда невозмутимо ледяны. А старик, похоже, сам распял себя, внушал себе злость, скрывался в ней, как в убежище.

Когда побеждает ярость, человек слепнет. Он страшен, как раненый зверь. Задень его, взбесится, почернеет от испепеляющей злобы.

Но даже раненого зверя удастся смирить лаской. Неужто разгневанного человека не умиротворит музыка?

Домбра заговорила мягко, задушевно. Лаская слух, она добиралась до самого сердца. Как маленький, но упрямый ручеек. Казалось, не музыкальный инструмент, а сам дьявол охотится за душой человека, расставляет силки.

Жонеут не хотел поддаваться, противился. Но силы покидали его. Он сник, обмяк. Куда что девалось, где твердость, мрачная воля? Колдовские звуки парализовали его. Жонеут терял над собой власть. Зачем эта домбра искушает его, чего хочет от него этот дохляк?

Даже в день, когда он вопреки своей бунтующей натуре поверил в смерть младшего сына, сердце не сжимала такая боль, как сегодня. Ошеломленный, он пре-

бывал в кошмарном сне. Однажды его блуждающий взор остановился на предмете, висевшем на стене. Жонеут не сразу сообразил: это дутар Даулета. Рядом копьё и кинжал младшего сына. От тех, от старшего сына и от среднего, тоже осталось по кинжалу и копьё. От этого еще и дутар.

Когда Даулет победно вскочил на пегого жеребца и сподобился благословения стариков, он, Жонеут, собственноручно передал сыну копьё и кинжал.

Нет Даулета, а копьё и кинжал будут висеть, покрываясь ржавчиной, на стене юрты.

Никому из его сыновей кинжал и копьё не принесли славы и удачи. Только смерть. Всем им, старшему, среднему и любимцу сердца Даулету.

Охваченный бешенством, Жонеут вскочил, бросился к стене, где висели кинжалы и копыя. Лицо его почернело, глаза пылали безумием, руки и ноги дрожали, зубы выбивали дрожь. Исступленными ударами о железную треногу он превратил оружие в груды обломков.

Лишь сирота дутар покоился на стене.

Подобной вспышки старик не помнил за собой.

Это было мрачное пробуждение. Полно, пробуждение ли? Всплеск отчаяния, оскорбленной чести.

Вспышка не принесла облегчения, только неутолнимую боль. Не заглушила она и уязвленного самолюбия. Теперь враги будут злорадствовать, думал Жонеут, они узнают, что он своей рукой ломал кинжалы и копыя.

Да, ломал. Но не от бессилия, а от ярости. Вы еще убедитесь в этом...

Великой колдунье — домбре не околдовать его. Он все помнит: и дни мрака, и взрыв ярости, и мысли, пришедшие потом.

Домбрист не отводит от него взгляда. Что ж, пусть попробует прочесть в его душе. А прочтает, содрогнется от ужаса.

Новый кюй лился вольготно, широко, его движение напоминало бег разгоряченной лошади, сбросившей узду. Домбра щедро делилась неистощимым запасом доброты. Нежность звуков захватила самого музыканта. Отступило все пережитое. Он торжествовал: осуществилась мечта. Что может быть прекраснее, нежели возможность открыто, без стеснения, без утайки, без страха и угрозы унижения высказать людям все скопившееся на душе. Он не спешит, не озлобление и не вызов

диктуют ему. Он откровенен. Как это просто, и как бесконечно много! Откровенен перед теми, кто считает его врагом. Они слушают, да, да, слушают сосредоточенно, миролюбиво. Даже воинственные папахи благодушно склонились набок. Старики свесили головы, казалось, погрузились в сладкую дремоту. Но их сонливость не обманула домбриста. Он чувствует: людские сердца открыты его мелодиям. Вон и верзилы-стражники присели у порога, задумчиво оперлись на ручки камчи. Они стерегли его дни и ночи и не догадывались, что тем временем рождалась грустно-томительная музыка, которая льется сейчас из-под гибких пальцев.

В юрте уже не люди, восдино спаянные ненавистью, а одиночки. У каждого своя дума. Каждому теперь не до Жонсута, не до кюйши. Если и есть что-то объединяющее, то оно возвращает к далеким временам, когда мать, нежно склонившись, вела тихую колыбельную, предназначенную только одному — ее младенцу. Или вспоминается другой час — печальный час разлуки. Слезы юной жены, ее горе, тоска по единственному, по возлюбленному, который отправляется в далекий, неведомый поход. Надрывается душа джигита, увешанного с ног до головы оружием. Его мысли, коль не лукавить, не с товарищами, а с молодой женой, ослепшей от слез, с несчастной матерью, обессиленной от горя, с испуганно тарашившими глазенки детьми. Он, разумеется, крепился, не показывал вида. Бодро шагал к привязи, где нетерпеливо ждал оседланный аргамак. Но кто знает, чего ему стоила эта показная твердость, делавшая его таким же внешне спокойным, как и остальные джигиты.

Любо-дорого поглядеть, как лихо и уверенно они вскакивают на коней! Вам никогда не увидите их разбухшее от слез сердце.

Они знают, чем побеждаются тоска и отчаяние. Ненавистью. Надо дать ей волю, снять перед ней преграды, и она заглушит все: и слезы матери, и стон жены, и страх детей. Она пригонит в сердце черную кровь, оно будет биться гневом, только гневом. Ничем другим.

Навстречу несется враг. Он тоже полон ненависти и мести. Его голова тоже кружится от злобы. Славно, очень славно. Поглядим, кто кого. Сойдемся в смертельном поединке. Звон кинжалов и копий заглушит последние человеческие проблески. У джигита уже нет ни дома, ни жены, ни матери, ни сыновей. Его никто не ждет

и ничто не страшит. У него есть враг. У врага тоже нет ни сердца, ни любви, ему тоже неведомы тоска и отчаяние. Нет большей радости, чем на всем скаку проткнуть его собачью грудь, видеть, как падает на землю, как истекает поганой кровью. Вот оно, подлинное счастье джигита! Вот когда ликует его душа, упиваясь мстостью, когда сверкают отважным пламенем его глаза, ширится его грудь. Как хочется догнать еще одного, с ходу поразить его острым копьём и увидеть, как накопечник, пробив ребра, внутренности, сверкнет на солнце своим окровавленным острием!..

Домбрист покушается на эту великую радость джигита, пытается развенчать ее. Выходит, враг тоже человек. Он разделяет с тобой не только взаимную ненависть, но ему ведомы любовь, тоска. Оказывается, у него тоже сжимается сердце в минуту прощания с женой, матерью, детьми. Его терзают сомнения, гложет смутная неудовлетворенность. Он спрашивает себя и тебя: почему все складывается безнадежно и беспросветно, достойна ли человека звериная жизнь?

Нежная мелодия обладает безотчетной силой. Она требует искренности, и ты не в состоянии ей отказать.

Да, случалось тебе в разгар схватки испытать ужас, даже отвращение к самому себе. Это были мимолетные чувства, когда под твоим копьём или кинжалом падал молодой, неопытный джигит и копыта втапывали в землю его еще теплое тело. В горячке боя ты не давал простора недостойным батыра стыду и состраданию. Хорош бы ты был, если б расслабился, распустил нюши. Наверняка сделался бы легкой добычей врага.

Однако потом, когда кончалась схватка, когда ты оставался наедине с собой, испытывая отвращение к самому себе, чувствовал себя не воином, а убийцей. Но не открывать же товарищам свою смятенную душу. Они-то не терзаются совестью. А ты что, лучше других? Будь как все. Не мучай себя понапрасну.

И ты не мучил. Преодолевал минутную слабость. Когда не удавалось преодолеть, фальшивил, обманывал себя и других напускным молодечеством.

Значит, ты совсем не такой прямой и честный, как всегда самодовольно считал себя? Ты способен кривить душой и перед собой, и перед соплеменниками. И кто тебя обличил? Домбрист.

Домбра не может лгать, не умеет. Ее откровенность рождает ответную откровенность слушателей.

Домбра исходила скорбью, убеждала и рассказывала. Отвечая ее струнам, звучали струны человеческого сердца — самые потаенные, самые тонкие. Такие, о существовании которых человек не всегда догадывается.

Домбра взывала, молила о чем-то. Но не унижалась, не била челом, не просила пощады и снисхождения. Даже в горе она сохраняла гордость, независимость.

Жонеут не мог до конца раскусить домбриста. Казалось, он уже все понял. Но нет.

Какие, однако, муки терзают его? Откуда ему ведома мелодия, которую накануне гибели играл Даулет? Откуда он узнал о муках Жонеута? Ведь кто-кто, а Жонеут умеет владеть собой. Как кошмой, он закрывает душу от посторонних и любопытных. Он достаточно силен и мужествен.

В месяц траура люди видели его горе. Но видел ли кто-нибудь его слезы?

Сейчас он, правда, немного ослаб, раскис из-за проклятой домбры. Но, слава аллаху, никто этого не заметил. И не заметит. Он сумеет справиться с собой. Не справься он, все полетит в тартарары.

Вон как размякли, развесили уши. Не зря славный Кёк-боре не выписал музыкантов. Когда Жонеут хотел победить власть домбры, ему на ум приходил Кёк-боре, не изменявший своей неприязни к дутару и женским слезам. Когда отдавался мелодии, всплывал нежный образ Даулета. Сейчас он звал на помощь Кёк-боре. При грозном батыре не осмеливались ни плакать, ни играть. Если и случалось такое, Кёк-боре садился на коня — и нищ ветра в поле...

Крепись, Жонеут, крепись. Да поможет тебе славный дух Кёк-боре. Ты мужественно пережил самое ужасное — гибель последнего сына. Кто упрекнет за мгновенную вспышку, обратившую в обломки оружие сыновей! Так не поддавайся и домбристу-искусителю, не показывай слабость!

Кюйши не отводил взгляда от Жонеута. Взгляд этот торил путь звукам. Они добирались до самых глубин, все сильнее терзали грудь, все властнее становилось их наваждение. Можно подумать, будто им дано растопить лед любой жестокости, любой злобы и нет силы, противостоящей чарам этого кюя.

Жонеут почувствовал незнакомую теплоту в глазах — наворачивались слезы. Это не кюйши, а ненаглядный Даулет обращался к нему с мольбой...

Но Даулета уже нет. Жонеута не собьешь. Что же есть? Опустевшая юрта, одинокий старик.

Жонеут не выдержал взгляда домбриста и отвел глаза. В углу была протянута едва заметная веревочка. В день гибели Даулета на нее наннзали сорок тонких пресных лепешек. Каждый вечер после молитвы мулла снимал одну лепешку и давал ее приехавшим гостям. Оставалась последняя. Сегодня вечером и ее снимут. Исчезнет все, что связано с именем Даулета, с памятью о нем. Останется одно-единственное свидетельство — могильный холмик на старом кладбище...

Мелодия оборвалась. Кюйши в изнеможении опустил домбру на колени.

Слезы текли по усам старого батыра, скатывались на раздвоенную бороду. Судорожными движениями он вытер мокрое лицо.

Словно перед броском, напряжился, замер домбрист. Собрал в комок последние силы. Он не замечал испарины, покрывавшей лоб. Он ждал.

Но то было последнее напряжение.

В юрте — ни шороха, ни вздоха. Тишина, полная еще не умерших звуков. Они всюду — в воздухе, в переплетах решетки, в каждой щели прокопченной юрты. В ушах всех, кто слушал домбриста.

Жонеут опомнился первым. Усилием воли он вернул себе всегдашнюю решимость. Перед ним на корточках горбился маленький бледный музыкант. Он выглядел так, словно один бился с бесчисленной ратью, всех одолел и теперь отдыхал на поле брани. Он устал, глаза его слипались. Он делал над собой усилие, напрягался, поднимал отяжелевшие веки.

Туркмены еще не пришли в себя. Жонеут не открывал рта. В какой уж раз придиричиво, с пята до головы оглядывал щуплого домбриста. Покосился на аксакалов. Все встрепенулись, сбросили с себя оцепенение...

Жонеут выпрямился, властно сдвинул брови, подал знак конвоирам. Они вскочили, надели на пленного кандалы, поволокли к выходу.

Все, удерживая дыхание, повернулись к Жонеуту. Он не нарушил тишины. Лицо его хранило каменную непроницаемость...

Снова курган, размытый дождями, разрушенный долгой чередой лет. На нем едва заметный бугорок, не знаешь — не углядишь. Он сросся с курганом, стал частью его. Только черной могильной глыбе-плите все нипочем — вода, ветер, годы.

Скользя по глинистому склону, Жонеут спустился вниз. Дождь не стихал третьи сутки. Намокло седло, хоть отжимай чепрак, до нитки вымок всадник, одежда облепила тело. Было зябко и бесприютно. За густой кисеей дождя темнело море, обессилившее под бесконечной дробью капель. Оно нехотя ворочало волнами, брюзгливо ворчало.

Пытаясь отогнать невеселые мысли, Жонеут вытянул коня камчой. Но конь не прибавил шагу. Его ноги разъезжались, вязли в глине. Он кое-как дотащился до песчаной тропки, тянувшейся вдоль раскисшей дороги. Хлюпая по лужам, брел в направлении аула.

Жонеут оглянулся назад, на мыс, вдававшийся в море. Священной могилы не было видно. Очертания кургана расплылись, сливаясь с темной водой, падавшей сверху и подступавшей снизу. Вода, кругом вода. Как знойной летней пустыне, ей нет конца-краю. Она смыкает поверхность равнины, несет к морю ветки, кустарник, мусор, мелких тварей, насекомых...

Брюхо коня забрызгано липкой грязью. Он выбивается из сил. Смутно виднеющийся впереди аул помогает преодолеть остаток пути.

Поездка не принесла облегчения. Курган с могилой святого ничего не сказал душе Жонеута. Его душа сейчас что старая щелястая лачуга, открытая ветру.

Разбитым, вконец опустошенным возвратился Жонеут домой. Похоронены последние надежды. В понуром, продрогшем до костей, заляпанном грязью всаднике не узнать батыра, один вид которого когда-то вселял неодолимую бодрость, слово значило приказ.

Видно, когда мельчают люди, то и святые теряют былое могущество. Святые перестают понимать людей, а люди не приемлют их волю. Что же получится? Некогда бесстрашный народ опустится до жалкой жизни, по праву презираемой святыми. Копьями будут шуровать в очаге, кинжалами выковыривать мозг из бараньих костей.

Выходит, он один грезит стариной, рыщет волком, жаждет сражения, размахивает своим выдавшим виды копьем...

До залитого дождем аула Жонеут добрался уже после обеда. Поводок небрежно бросил Аннадурды, выскочившему навстречу, и вошел в юрту.

Это было его последнее путешествие.

Слякотная осень подходила к концу. Степная полынь размокла, обнажила корявые корни. Казалось, ее горечь пропитала насыщенный влагой воздух.

Ночами слегка подмораживало. Утром клубился сильный туман. К обеду он нехотя редел, очищалось небо, нет-нет да и показывалось солнце. Но на севере уже набухали тяжелые темно-фиолетовые тучи.

Едва из-за туч прорывалось солнце, верблюжата веселой ватагой спешили на луг.

Людям тоже не хватало тепла. Чуть прояснилось, они высыпали из юрт.

Иногда Жонеут бродил за околицей. Никто не приближался к нему, и он не искал спутников. Далеко-далеко пасся скот. По склонам увалов в поисках солончака бродили верблюды. Табуны диких коз с цепочкой козлят позади двигались на юг вдогонку уходившему лету. Все живое искало пищи и тепла, тянулось к солнечным лучам.

К вечеру с севера веет холодом. Небо нависает грузными облаками. Люди забиваются в юрты. Но и там мало тепла и уюта. Долго не разгораются отсыревшие кизяки, шипят, чалят. Вонючий дым тянется к потолку.

После сороковин Даулета люди забыли дорогу к юрте Жонеута. Хлопотливая старуха, жена Жонеута, толчет в ступе, крутит прялку-юлу, гремит посудой. Но и она не всегда решается вылезти из своего угла, потревожить старика неуместными расспросами.

Вначале, правда, заглядывала родня, навещали аксакалы. Но разговор не ладился, не клеились беседы. Старый батыр хранил неприступность, нехотя цедил слова.

Только Аннадурды нарушал одиночество Жонеута, пытался отвлечь его от скорбных мыслей. Но то ли не знал подходящих слов, то ли смелости не хватало. А всего вернее, Жонеут дорожил покоем больше, чем

собеседником. Посидит Аннадурды, помолчит, что-то скажет нектати — и домой.

Оживление вносил сыннишка Аннадурды Курбан. Заскочит вечером, подсядет к старику. Пьет чай, зыркает по сторонам, сыплет аульным новостям.

У старика теплели глаза, подобие улыбки появлялось на лице. Но губы не разжимались, словно запечатаны.

Курбан подбрасывал кизяки, раздувал огонь и не переставал тараторить.

Жонеут неподвижно глядел на огонь. Все ли он улавливал в оживленной болтовне мальчика? Вряд ли. Однако точно никто не знает.

Курбан нетерпеливо ерзал на месте, чего-то выжидал и не спешил домой.

Убедившись, что Жонеуту не до него, стал делать старухе какие-то знаки. Она поняла Курбана, но, боясь мужа, нерешительно пожала плечами. В конце концов терпение мальчика иссякло.

Он взвесил возможные последствия и решил, что рискует самое большее получить несколько ударов камчой. Осторожно приблизился к стене, на которой висел дутар Даулета.

Жонеут по-прежнему не обращал на него внимания. Мальчик остановился в нерешительности.

И, поднявшись, не дыша, на цыпочках, неслышно снял со стены черный футляр. Не отрывая глаз от старого батыра, сел, бережно вынул дутар. Его лицо озарилось счастьем.

Жонеут все так же задумчиво следил за тлеющими углями. Загодя заготовленный сухой кизяк, до белизны выжженный солнцем, вспыхивал липовым пламенем, как сено. После него оставалась горстка сизого пепла. И так вновь и вновь.

Разве не сходно устроен человеческий мир? Сильный пожирает слабого. Но не долгоденствие его торжества. На сильного находится более сильный, на того — сильнейший. И все — один за другим — горят, пылают, оставляя после себя пыль, прах. В чем же смысл смертного круговорота, суетного бытия?

Ярче разгорается огонь, жар дышит в задумчивое лицо, согревает старческое тело, манит успокоительной дремой. Однако Жонеут слишком занят своими мыслями, чтобы отдаться сну.

Вдруг какой-то глухой звук раздался за его спиной. Жонеут, вздрогнув, обернулся.

Испуганный Курбан, как если б обжег пальцы, выпустил из рук дутар.

— Вон! — Жонеут почувствовал, что у него перехватывает дыхание. — Вон! Дома у себя тренькай!..

Мальчик схватил дутар, опрометью выскочил на улицу.

Жонеут отдышался, попробовал сосредоточиться. Но ход важных мыслей был прерван, его не удавалось восстановить. Жонеут с досадой облокотился на подушку.

Старуха сняла с треноги казан. Вспомнивая былые времена, шумное и многолюдное застолье, она расстелила перед мужем коротенькое полотенце, поставила на него большую в трещинах деревянную чашу.

Последнее время Жонеута не радует еда. Возьмет два-три кусочка мяса, пехотя прожует, вытрет руки. До горячего бульона тоже едва дотрагивается и возвращает миску.

Старая быстро убирает, опрокидывает миску в сеюру, еще горячую золу. Прибрав, поставив все на место, гасит подслеповато чадающий ночник.

Они укладываются в постель раньше всех, а засыпают всех позже, когда степной аул уже давно отошел ко сну. Осенний дождик монотонно барабанит по юртам. Не лают собаки, не блеют овцы, не реют верблюжата. Холод, ненастье, мрак. Проколченные юрты неразличимы в ночной темени. Уже неизвестно — существует аул или нет, живы его обитатели или вымерли.

Но наступит утро, и возродится жизнь. Незавидная, уныло однообразная, однако жизнь. Жонеут лишен и ее. Люди будут обмениваться новостями, расспрашивать друг друга, вспоминать. Они ощутят себя звеньями в бесконечной человеческой цепочке. Жонеуту теперь неведомо это чувство.

Давненько не кажет глаз Мамбетпана. Кроме дождя и осенних бурь, видно, ничто не тревожит богатые табуны.

Как-то Аннадурды от знакомого охотника казаха — с кем не сведет степь! — узнал, что Дюмкара снялся с насиженного места и ушел в долину, где находится его зимовка. Жонеут тогда ожил, воинственно насто-

рожился. Он прислушивался к топоту, надеясь, что вот-вот нагрянет враг. Он бы уж его не проморгал. Издалека различил бы бег его скакуна. Месть, отрадная месть вернула бы ему сон, покой.

Однажды он уснул перед самым рассветом и увидел сон.

Кто-то из джигитов — он не мог припомнить имя — скачет издалека, машет рукой, зовет Жонеута. Батыр возликовал, радостно забилось его усталое сердце. Наконец-то мчится заклятый враг, свершится расплата.

Он ищет коня, но того и след простыл. «Люди, люди, — зовет Жонеут, — подайте коня!» Однако его не слышат, и сам он не слышит своего голоса. Его захлестывает ненависть, ему не хватает воздуха...

Тут-то и разбудила жена. Он открыл глаза и различил звуки утреннего пробуждения. Соседка гулко толкла что-то в ступе и кричала сыну, пасшему верблюжонка. Ей отвечал ломкий мальчишеский голос. За юртами жалобно блеяли овцы. На улице беззлобно переругивались женщины.

До Жонеута дошли слухи, что Дюимкара разбогател, заделался большим баем, завел несметные стада. Ему не до мести, не до набегов, дай бог управиться со скотом. Дел небось по уши. Где уж тут вспомнить о пленном домбристе. Махнул на него рукой и думать забыл о заступничестве.

Значит, соплеменники не спешат вступить за своего кюйши, не пытаются отомстить за него? Что ж, решил Жонеут, поглядим, удастся ли им отсидеться. И приказал казнить пленного.

...Пусть не сетует читатель на автора за невольные возвращения в прошлое. Не моя в том вина. Я лишь следую за Жонеутом, а его близящаяся к исходу жизнь движется неровно, то возвращаясь мыслью в прошлое, то несбыточной мечтой уносясь вперед. Чтобы понять эту полную страданий и преступлений жизнь, приходится и нам иной раз оглядываться назад.

Казнь пленного домбриста — дело свершенное. Между тем она дни и ночи преследует старого батыра, назойливо сверлит мозг. Особенно ночью.

Раньше, в доброе прежнее время, вернувшись из похода, он падал как подкошенный и спал несколько суток кряду. Можно было стрелять над ним, можно было отрезать уши, он все равно не проснулся бы.

Теперь иначе. Будто не пышная под ним постель, а колючки. Ворочается с боку на бок, пытается отогнать видение. Да какое там...

Неотступно стоит перед глазами котловина. Густо заросшая кустарником, она берет начало у Мангышлака, оттуда, разветвляясь, идет на Хиву и на Балханы. По ней пролегла большая дорога, в любое время года в оба конца тянутся путники, караваны.

Назавтра, после сороковин Даулета, после того как домбрист, излив душу, дьявольски околдовал слушателей и выжал слезы из глаз никогда не плакавшего Жонеута, сорок джигитов отправились к котловине. Они ехали не спеша. Окруженный всадниками, музыкант гремел кандалами. Минувший день забрал у него остаток сил, он падал, и камча поднимала его на ноги.

До места добрались в послеобеденную пору. Но не вылезали из чащи до наступления темноты, следили за караванным путем. После захода солнца выбрались из укрытия, подъехали к дороге, спешились.

Ни души вокруг.

Трое всадников отвязали притороченные к седлам лопаты, засучили рукава. Рыли быстро, споро. Оглянуться не успели, готова яма в человеческий рост. Жонеут подошел к ней, оглядел и кивнул в знак одобрения. Кивнул еще раз, и кюйши опустили в яму. Даже не сняв кандалы.

Считанные мгновения потребовались, чтобы засыпать яму, сровнять с землей.

Из земли торчала голова домбриста.

Жонеут сел на коня, опустились в седла остальные сорок джигитов и помчались в аул. Ни один не оглянулся.

Ночь и заросли поглотили всадников. Под копытами хрустел саксаул. Кони вздрагивали, напрягали животы, прядали ушами. Белая пена падала на ветви.

Жонеут молчал. Молчали спутники. Это несколько не напоминало возвращение из удачного похода — ни смеха, ни оживленных выкриков, ни хвастливых возгласов. Немота сковывала кавалькаду. Папахи приникли к конским шеям.

Перед восходом вступили в аул. Бесшумно, как воры...

Утром никто не спешил покинуть юрту. Загнанные кони паслись за околищей.

Весь день — нет, казалось, ему конца — Жонеут пролежал в постели. Не спал и не бодрствовал. Он не сумел бы определить свое состояние.

Ни один человек не переступил его порога. Он не знал, как это истолковать: осуждение, страх? Или они хотели обособиться от него?

В изнеможении Жонеут закрыл глаза и сразу же широко открыл их. Лунный свет, проникнув сквозь щель, падал на лицо. Жонеут чутко вслушивался. Облака скрыли луну. Ничто не беспокоило зрение и слух. Однако тревога не унималась. Она гнездилась где-то в глубине.

Снова молочный свет залил юрту. Домашняя утварь отбрасывала резкие тени. Жонеут пробовал унять волнение. И не мог. Не знал, что с ним происходит. Но не хотел считать себя жертвой страха.

Однако хотел или не хотел, тревога оставалась. Она заставляла обостренно прислушиваться к себе и к тому, что творится в ауле. Но в ауле ничего не творилось, ничто не давало повода для беспокойства.

Во сне вздыхала старуха. «Она-то чего?» — раздраженно подумал Жонеут. Но смягчился: наверное, переживает за него.

На дне ларя назойливо скребли мыши, где-то завели норку.

Впервые Жонеут испытал страх одиночества, заброшенности. Казнь на караванной дороге провела незримую границу между ним и остальными, между ним и всеми людьми.

Им, остальным, тоже страшно. Они боятся не только врага, они боятся мирного путника, даже конского ржання. Но от их страха Жонеуту не легче. У него свое, он один. Как человек, на утлой лодчонке выплывший в море.

За аулом надрывалась лисица. Выли, шелкали зубами шакалы — делили падаль.

Наступит ли конец этой ночи? Хоть немного покоя, хоть недолгий сон.

Но сознание ясно. Все рисуется с безупречной отчетливостью.

Длинная-длинная дорога белеет в лунном свете. Ни каравана, ни верблюда. По обе стороны сплошная стена зарослей. На обочине из земли торчит голова.

Страшно тебе?

Голова молчит.

По спине Жонеута бегут мурашки. Он поворачивается на бок.

Дорога не исчезает, не меркнет луна. Чаша настолько приблизилась к белой полосе, что, сделай деревья и кусты шаг навстречу друг другу, не будет дороги, скроется голова.

Страшно тебе, домбрист?

Ты тоже, наверно, знаешь, каково это — бегущие по спине мурашки, холодная испарина на лбу. Только не можешь двинуться, стереть пот. Твои руки глубоко в земле, и ноги в земле, и тело в земле, и кандалы твои в земле. Ты обречен на неподвижность. Тебе не убежать от смерти, пальцем не шевельнуть... Сердце гулко бьется в слабой груди. Так гулко, что я слышу его удары. Земля вздрагивает под ними, ходуном ходит...

Жонеут вертится с боку на бок. Как ни поворачивается, перед ним маячит голова. Домбрист смотрит вдоль дороги. Не появится ли кто-нибудь, не придет ли избавление? Чего проще разрыть яму — минутное дело. Он сам выберется. У него целы руки, ноги. Пока целы. Но скоро их не будет. Ржавые кандалы повиснут на костях.

Что-то почудилось ему в чаще, слышались шаги. Не вернулись ли всадники с этим мрачным стариком, подавленным смертью сына? Домбрист твердо знает: они люди. Он видел слезы на глазах старика.

Но ведь по воле старика его бросили в яму, засыпали землей, обрекли на смерть, с ужасом которой ничто не сравнится.

Тебе страшно, домбрист? Не жди помощи. Это лишь тени, лишь скрип веток на ветру. Не заблуждайся понапрасну, не вслушивайся, не всматривайся. Тебя хотели не напугать, а умертвить. Всадники не вернуться, старик лежит в своей постели.

Не верти головой. Видишь? Слышишь? Это не люди. Звери почуяли запах человека. Все ближе мохнатые морды, горящие глаза, оскаленные пасти. Они тебя выкапывают из земли, разорвут на клочья. Ты думал, останутся кости. Не останутся кости. Не останутся. Одни кандалы, разъеденные ржавчиной...

Задышавшись, Жонеут вскочил с постели, бросился к стене, сорвал кинжал. Положил рядом с собой под одея-

ло. Он гладил холодную, знакомую до последней вмятинки поверхность ножен, сжимал рукоятку.

Хвала тебе, кинжал. Тебя бояться призраки. Сразу отступили, растворились в темноте. То-то же.

Не выпуская из рук кинжала, старик присел на постели. Ни звука. Мыши утихомирились на дне ларя. Поделив, видно, падаль, уgomонились шакалы. В маленькой юрте по соседству, где прежде жил Даулет, храпят, намаявшись за день, четверо пленных казахов, потерявших человеческий облик.

Страх развеялся. Не таков Жонеут, чтобы предоставить страху власть над собой. Руки еще держат кинжал. Он в полном разуме.

Ему надо ответить на один вопрос, и тогда наступит умиротворение. Ответить на вопрос, и все.

Эта мысль не сейчас посетила его. Но он не смог с ней свыкнуться.

Жизнь ставила перед ним загадки похитрсе. Он справится, он никогда не жаловался на слабость своего ума. Его авторитет нажит не богатством. Умом, отвагой, верностью...

Так зачем он закопал живьем в землю домбриста?

Жонеут отложил кинжал, скрестил руки на груди — поза, самая удобная для размышлений.

Домбрист ни с кем не воевал, никому не причинил зла. Чего не было, того не было. Жонеут любит судить по справедливости.

Немалая сила танлась в пальцах и в душе музыканта. Он употреблял ее не во зло, а во благо людям. Надо быть честным, надо признать: в тот день он покорил туркмен. Не кинжалом, а домброй. В их сердцах зародил любовь к себе. Жонеут это видел.

По словам Аннадурды, Даулет при поездке к адайцам состязался именно с этим кюйши. Состязание длилось долго. Противники стояли друг друга. Победа склонялась то к одному, то к другому, но не могла сделать решительный выбор. На помощь пришел старый мудрец. Своей речью он положил конец состязанию.

«Вы и впрямь достойная пара, — сказал он, — искусство каждого из вас несравненно. Но одинокий скакун недолго скачет, когда у него нет соперника. Поделите между собой первый приз».

Старый мудрец уравнил в таланте Даулета и дом-

бриста. Жонеут не боится правды, пожалуй, мудрец не ошибся.

Как домбрист угодил в руки туркмен? Проще простого. Невелика их заслуга. Отряд, потеряв Даулета, страшился праведного гнева Жонеута. Он надеялся смирить старого батыра достойной жертвой. Когда на пути попался поглощенный своими думами или охотой знаменитый кюйши, они решили: вот чем старый Жонеут расплатится за гибель своего любимца.

Жалкие болваны с умом лисиц и нравом шакалов! Нет того, чтобы схватить какого-нибудь адайского наглеца, известного батыра. Жонеут разрубил бы его на куски и куски бросил собакам. Колебания не тронули бы его. Если б и пожалел о чем-нибудь, то о том, что жертва все же недостаточная для памяти Даулета.

Но нет, батыр им не попался. Они захватили чудака домбриста, который и пальцем не шевельнул, чтобы спастись.

Предположим, Жонеут отпустил бы его подобру-поздорову. Ответом было бы всеобщее негодование. Все бы в голос завопили: старый Жонеут совсем спятил, лишившись сыновей, превратился в бабу.

Что может быть постыднее, чем прослыть мягкотелым, отходчивым. И враг не преминет этим воспользоваться. Он уверится, что копье выпало из некогда крепких рук. Тогда не оберешься беды.

Но Жонеут не обмяк сердцем. Руки его крепки. Он еще заставит недруга захлебнуться в собственной крови. Не даст в обиду свой народ, землю родную...

Жонеут потянулся к кинжалу. Но, опомнившись, снова скрестил руки на груди.

Он не тщеславен, не о себе его думы. Его заботит честь народа. Не в слепом опьянении обрек он на смерть домбриста.

По большой караванной дороге взад-вперед шастают казахи в Конрат, в Хиву. За одеждами, за зерном. Рано или поздно кто-нибудь из них узнает о домбристе, зарытом живьем на обочине. Узнает и ужаснется. Ужаснется и вознегодует. Слух о небывалом унижении достигнет ушей Дюмкары. Тогда мы поглядим, кто он такой — истинный батыр или хвастун и баба.

Сохранись у него круница гордости, он не стерпит, нет, не стерпит. Жонеут хорошо знает степные обычаи.

Как он мечтает об этой встрече! Да поддержат его духи предков. Он вцепится в глотку врага...

Потом можно будет спокойно умереть. Отомщена ранняя смерть сыновей, гибель единокровного брата Кёк-боре, горе и страдания несчастного народа.

Он, старый Жонеут, не праздный фантазер. Исход поединка неведом. Если не суждено сбыться его мечте, он готов принять ратную смерть. Его жизнь не дороже жизни трех павших сыновей. Ему есть что завещать своему народу. Он завещает месть.

Он не чета этому домбристу. Глядя в глаза смерти, не станет взывать к миру, всепрощению, любви и терпимости. Он оставит по себе ненависть. Умирая, он будет верить, что ни один туркмен не смирится, пока не проломит вражий череп.

Коль он, старый Жонеут, откроет свое сердце жалости, наступит самое ужасное — его соплеменники позабудут о копьях, будут, развесив уши, слушать всяких домбристов и дутаристов, с посохом отправятся пасти овец. С них станется. Не долг час, и они сами превратятся в смиренных овечек.

Правота на его, Жонеута, стороне.

Но он вроде бы забыл о кюйши. Несчастный малый. Надо же было в недобрый час отправиться на охоту... Может, аллах смилуется над ним. Воля аллаха превыше всего. Почему бы казахам сегодня либо завтра не поехать по дороге? Наверняка кто-нибудь спешит в Хи-ву или Конрат и попутно спасет бедолагу.

А если не спешит, если по-прежнему пустынна дорога?.. На душе Жонеута нет греха. Чем домбрист дороже Даулета, или Кёк-боре, или многих туркмен, чьи кости приняла степь? Пусть пеняет на сородичей. Неужто из сострадания к одному — допустим, невинному человеку — оскорбить честь и память сотен погибших? Из-за какого-то домбриста он не запятнает славу батыра. Эта слава от его силы и беспощадности. Любая слабость пагубна. Она на руку недругам, на беду своему народу. А потому будь жестоким!

Не им установлен этот закон степи, не ему отменять его. С него достаточно сознания собственной правоты.

Да, да, он прав. Жонеут самозабвенно повторял это слово: прав, прав, прав... Отходило сердце, выравнивалось дыхание, утихала боль в темноте. Прав, прав, прав... Глаза умиротворенно закрывались.

Наступил вождеденный сон.

И тотчас разверзлась треклятая котловина. Она еще более углубилась. Кустарник превратился в огромные деревья. Они сомкнулись стволами — едва пройдешь, приходится искать щель. Исцарапанный, исхлестанный ветвями Жонеут пробирается сквозь чащобу. Из-под ног разбегается зверье. Слышен пронзительный свист, срывающийся на визг.

Ага, вот и край впадины. Деревья реже, ниже кустарник. Теперь будет легче, и дорога уже неподалеку. Однако не тут-то было. Ноги вязнут в зыбучем песке. Одну вытащишь, другая погружается. Остановиться бы, перевести дыхание. Но нельзя, надо торопиться. Все ближе за спиной цокот. Стоишь, его не слышно. Пойдешь, приближается.

Это началось еще у аула. Едва он отошел, позади раздался топот. Оглянулся, никого. Но Жонеут непрост, не так легко его провести. Он разгадал намерения преследователя. Тот надеется выследить старого Жонеута и поднять на смех: сам наказал пленного кюйши и сам, не выдержав, помиловал. Будет над чем посмеяться людям, чему порадоваться врагам...

Снова прислушался. Тишина. Сделал шаг, другой. Тишина. Уж не померещилось ли ему? Все спокойно. Луна озаряет широкий караванный путь. На обочине темнеет пятно. Надо подойти. Из земли торчит голова домбриста.

Никто, значит, его не видел, не освободил.

Лишь бы был жив... Голова понуро клонится к земле. Устал за день, все глядел и глядел на дорогу, надеялся увидеть путника. Потом, отчаявшись, задремал. Конечно, задремал. Иначе услышал бы шаги.

Ноги Жонеута подкашивались от волнения, от тревоги, от, грех признаться, радости: кюйши еще жив!

А чему, собственно, радоваться? Уж не собирается ли Жонеут его откопать, освободить? Нет, речи быть не может. Тогда поговорить с ним? О чем? Что сказать ему? Как быть, если он проснется и узнает старого батыра? Или к чему это. Всего лучше спрятаться неподалеку, за этим хотя бы кустом. Так, чтобы была видна голова несчастного. Надо ночью сторожить ее от зверя и птицы. Птица может выклевать глаза. Он ведь совсем беспомощен. Закованные в кандалы руки покоятся в земле.

Днем ни зверь, ни птица не опасны, днем беды не

случится. Пройдут сутки, вторые, от силы — третьи, и появится путник, вызволит пленного. Со спокойной душой Жонеут вернется домой.

Жителям аула он скажет, что охотился. Хотел развлечься и отправился на охоту. Вполне убедительно.

Голова чуть заметно поднимается над обочиной. Еще несколько шагов, и можно будет ее разглядеть.

А вдруг домбрист услышит шаги, заметит приближающегося человека, и сердце его не выдержит, разорвется? Похоже, голова встрепенулась, домбрист что-то почувствовал. Быстрее развеять его страх...

Но разве это голова кюйши? Ни малейшего сходства. Однако черты щемяще знакомы. Даулет!

Как он тут очутился? Отвернулся, не хочет смотреть на отца, не хочет узнавать. И не надо, не надо.

Жонеут голыми руками роет землю. Она легка, как пух. И, как пух, выскальзывает из ладоней. Он черпает землю, но не может отрыть даже маленькой ямки — земля уходит меж пальцев.

Даулет не желает повернуться к нему. Будто не отец рядом, а кто-то чужой, ненавистный.

Отчаявшись, Жонеут перестал копать. Тяжесть сдавила грудь, першило в гортани, слезы щипали глаза. Комок в горле разорвался диким криком:

— Родной мой! Почему ты молчишь?

Во сне или наяву раздался этот крик? Жонеут слышал голос — чужой, хриплый. Но кому было кричать, кроме него?

По юрте растекался слабый свет зари. Кошма, решетки, нехитрое убранство — все было пепельно-серым, призрачным. Жонеут судорожно вцепился в толстое одеяло. Он проснулся, но еще не совсем. Следует собраться с мыслями, прочитать молитву.

Старуха уже хлопочет на улице. Вряд ли она слышала его крик. А то бы прибежала. За юртой протяжно стонет верблюжонок. Мирные звуки обыкновенного утра. Ни о чем не думая, Жонеут откинулся на спину, уставился в светящуюся щель. Он вспомнил свой сон, наивный сон. Только и заботы ему — освободить обреченного на смерть пленного. Хорош бы он был, если бы так поступил наяву.

...Он считал, что одолел ночные кошмары. Но ошибся. Кошмаром стала сама жизнь. Исчезла грань между сном и бодрствованием, между днем и ночью. Он поте-

рял счет времени. Чувствовал вялое его течение, не отличая недели от месяца.

Раньше оно пролетало с быстротой небесной птицы. Теперь, забившись в юрту, как в нору, Жонеут томительно ждал, когда взойдет солнце и когда оно опустится. Дни сделались длинными, ночи еще длиннее.

Раньше можно было мерить время походами — удачными или неудачными, новостями, принесенными издалека, приездом гостей, праздниками и ссорами. Сейчас он потерял меру. Время обладало лишь одним свойством — оно изнуряло. Он ворочался с боку на бок в ожидании то сна, то пробуждения.

Можно, оказывается, мерить время еще и снами. Прежде он, бывало, говорил: «По прошествии двух дней после отъезда Мамбетпаны», или: «За три дня до моего набега на адайцев». Отныне шел иной отсчет: «В ту ночь, когда мне впервые приснился күйши», или: «В тот день, когда я вдруг уснул и жаловался домбристу».

Все забыли о его существовании. Даже те, кто делил с ним походы, смотрел ему в рот, ловил его слово.

Иногда Жонеут задумывался: куда они подевались? Но не так уж это его беспокоило, чтобы ломать голову. Достаточно того, что он помнил, когда они последний раз безропотно повиновались ему. Сорок отборных джигитов, один к одному, были послушны каждому его жесту. Они покорно следовали за ним сквозь ночную чащу, ни один не посмел перечить ему. Они работали на совесть. Никто не пикнул. Молча сели на коней. Молча ехали всю дорогу. Молча вернулись в аул.

Молчанье окружало Жонеута. Ни один из сорока не явился ему больше на глаза.

Раньше он постоянно был в пути, лучше кого бы то ни было знал все, что происходит в округе. Сейчас не покидал свою юрту. Зачем? Ему и без того известна нудная жизнь аула. Джигиты возятся рядом с женщинами и ребятишками. Чинят сапоги, мнут кожу, лудят старые казаны. Жонеуту нет до них дела.

В прежние времена аксакалы вспоминали о воинственных предках, сказочных батырах, несравненных мастерах колья и кинжала. Ныне не то. Они чешут языками о чем угодно — о пастбищах, покосах, водоемах. У них на уме житейские мелочи.

Когда-то они побаивались сурового Жонеута, взве-

шивали слово, прежде чем произнести. Сейчас мелют что придется. Не аксакалы — болтливые бабы.

Жонеут осуждающе хмурится. Но кто этого страшится, кто видит грозно сведенные брови?

Никто. И не надо. Он сам не желает никого видеть. Не по нему повседневная суета, когда люди стучат молотком, скребут котлы. Жонеут заранее знает их вздорные пересуды: убежал паршивый козленок, затерялся верблюд...

О чем с ними говорить, горько усмехается Жонеут. Лишь один человек достоин быть его собеседником, лишь ему можно поведать свою печаль. Он все поймет.

Этот человек — пленный кюйши. Жонеут помнит, как смотрел он тогда, подняв голову от домбры. Всепостигающей мудростью светился его взор.

Но не удастся толком поговорить с ним. Кто-то подглядывает, подслушивает. Делается не по себе. В таком состоянии не излить душу.

Надо думать о другом. О чем же?

Велик мир. Но лишь темнеющая на обочине точка притягивает к себе Жонеута.

Во сне жалость плавит его сердце. Днем сжигает стыд за недостойное сострадание.

Во сне он добр и независим от людской молвы. Наяву смелость покидает его. Он отталкивает от себя домбриста, с раздражением думает о пустых людях, предающихся жалким житейским треволнениям. Им недоступно ничто возвышенное, их души забыли порывы, там поселились муравьи. Он жалуется кому-то, и этот кто-то внимательно слушает его, понимающе кивает головой. «Что сказать тебе? — сокрушенно говорит голова. — Все, что я думал, высказал тебе последним кюем. Не забыл?»

Иногда между ними доходит до спора. Жонеут горячится, сыплет доводами: «Дашь народу волю, он все распустится, забудет предков, священные заветы, уйдет в свои будничные заботы. Решит, будто свет клином сошелся на его детях и жене. А разве нет опасности, что какой-нибудь негодяй воспользуется этим, навяжет людям свою власть?»

Домбрист не возражает. Он тихо улыбается. Жонеут научился читать эту улыбку. «Я, дескать, давно нашел ответ на твои искания. Но он непригоден тебе. Ты считаешь, что лишь жизнь в вечной тревоге — это жизнь,

достойная твоих соплеменников. Я не принимаю это за счастье. Много ли радости доставили им твои походы, не они ли расширили кладбище за аулом?» Его печальные глаза устремлены вдаль. Взаимное понимание утеряно.

Едва Жонеут открывает глаза, отчаяние, гнев, сомнения, терзавшие во сне, исчезают. Их место занимает тоска. Такая тоска, точно он один-одинешенек в пустыне: сколько ни скачи в любой конец, не встретишь живой души.

В такие минуты приходит трезвое раскаяние. Боясь молвы, сплетен, праздных разговоров, он не решался спасти ни в чем, ровным счетом ни в чем не повинного кюйши.

Его кровный враг Дюимкара пальцем не двинул, чтобы отомстить за домбриста. Знать, домбрист этот не слишком дорог разбогатевшему батыру. Но и Дюимкара наверняка был недорог музыканту.

Неожиданная мысль поразила Жонеута. Что общего между Дюимкарой и кюйши? Племенное родство? Безусловно. Но даже в одной семье случаются неприязнь, вражда.

Теперь Жонеут близко знал кюйши и не заблуждался. Конечно, тот не ценил Дюимкару. Он слишком любил свое искусство, чтобы любить грабителя, насильника... Эта мысль впервые посетила старого Жонеута. Ясности, которой ему иногда удавалось добиться прежде, как не бывало. И больше уже не будет. Порочный круг намертво замкнулся.

Когда Жонеут уснул, им завладел бред. Из вереницы уродов и страшилищ вынырнула, оскалась, волчья морда. Жонеут не впервые видел ее. За ней последует нечто ужасное. Так оно и есть. Волк с рычанием бросился на торчавшую из земли голову. Жонеут вскинул ружье, прицелился в зверя. Но голова нечеловечески закричала:

— Не стреляй! Лучше убей меня!

Волк скрылся в кустах. Голова поникла. Жонеут пытался объяснить с ней. Объяснения звучали жалко, невнятно. Он обрек кюйши на мучительную казнь, дабы расpalить ненависть Дюимкары, а тот и не подумал отомстить за соплеменника...

Жонеуту было не по себе из-за собственного лепета. Домбрист и вовсе не внимал ему, устал стоймя стоять в сырой земле.

Жалость пронзила Жонеута, жалость к домбристу и к себе. Он лишился единственного собеседника. Он считал себя ревнителем народной чести и справедливости, заступником за слабых. Все это чепуха. Он способен обречь на смерть слабого и невинного. Он палач.

Жонеут пробудился от этого слова. Оно наповал сразило его. Перечеркнуло его жизнь, былую уверенность, сознание своей правоты и своего права на жестокость. Осунувшийся, с безумно блуждающими глазами Жонеут сделал еще один шаг навстречу неизбежному.

...Сегодня снова дождь. Весь день Жонеут прислушивается к монотонной музыке капель. Недолгие пробуждения сменяются забытием.

В бесовском хороводе проносились тени. Заросшая котловина... зыбучий песок... разливанное море грязи... караванная дорога... перепачканные трясущиеся руки... темное пятно на обочине... Стоп. Хоровод замер. Перед Жонеутом лежал череп. Зияли глубокие глазницы, желтели зубы.

Время остановилось. Череп не исчезал. Как замороженные, они глядели друг на друга. Жонеут и череп.

Завывал ветер, откуда-то — уж не из-под земли ли? — доносился скорбный напев домбры.

Надо было прервать эти звуки, уйти от взгляда пустых глазниц. И Жонеут закричал что было мочи.

Упало на землю одеяло, Жонеут кинулся к двери. Споткнувшись, рухнул у порога, ударившись лбом...

Аннадурды сидел дома, в блаженной расслабленности слушал Курбана, в руках у которого дутар Даулета.

Грех роптать, аллах не обделил сынишку талантом. Один лишь раз, спрятавшись за юрту, мальчуган слышал, как знаменитый невольник-домбрист играет этот кюй. Теперь же сам услаждает им отца. Аннадурды доволен, он просит повторить, и сын с готовностью выполняет его волю.

Крик Жонеута слился с последним звуком дутара. Аннадурды застыл в тяжком предчувствии. Крик не повторился.

Он быстро зашагал к юрте Жонеута.

Старый батыр распластался у порога. Аннадурды приподнял его за плечи, приложил ухо к голой груди. Долго прислушивался. Ухо уловило последнее тепло, уходящее из бездыханного тела.

Перевод В. КАРДИНА.

ХАТЫНГОЛЬСКАЯ БАЛЛАДА

То ложь иль правда?
Все, кто знает это,
Давным-давно в объятиях земли...

Еркин Ибитанов

1

Он проснулся, когда бледный холодный свет осенней зари только-только проник в шатёр. Бывало, проснувшись, он еще долго чуял медовую истому безмятежного сна. То время исчезло. Бывало, стоило склонить голову к рукоятке камчи, которой опирался на луку седла, стоило лишь слегка подремать, не слушая монотонного боя копыт, и возвращалась легкая бодрость. Та самая бодрость, какую испытываешь в девичьих объятиях. Давно не испытывал он той бодрости. Бывало, укладываясь в прощупанную семью рабами и раскинутую семью красавицами постель из птичьего пуха, он думал о том, что ненамного, должно быть, лучше и в самом Эдеме, о котором бесконечно и нудно толкуют люди. Теперь шелестящая ткань касалась его тела холодно, словно острие меча. Жадные до человеческого тепла шелка обжигали льдом, он зябко вздрагивал, словно его заживо предавали земле. И он подолгу не смыкал глаз. Тоскливо становилось в его неуютной душе, встревоженной думами. Он думал о том и об этом, невесело и с трудом удавалось ему окунуться в короткое забытие. Теперь так редко радуется дряхлое сердце... Но по утрам, проснувшись и убедившись в том, что еще жив, он ощущает подобие радости. В одиночестве, когда можно не бояться постороннего глаза, он долго разглядывает свои жилистые, в набухших сосудах руки, словно видит их впервые, по очереди ощупывает все десять своих пальцев, униженных дорогими перстнями, будто радуясь, что никто не отрубил их во время сна.

Да-а...

Каждый из перстней имеет свою судьбу. Вот этот ярко-красный рубин, будто капля крови, оброненная в снег белым маралом, достался после набега на Бухару.

Тогда была молодость. В бескрайних равнинах рыжей степи, словно чесоточные волдыри на человеческом теле, возникали бугры городов, и на них обрушивались стаи его несметных туменов. Когда густая белая пыль обволакивала все небо и нарастал гул миллионов копыт, под которыми прогибалась земля, серый конь его начинал горячиться, подплясывать и нетерпеливо мотать головой, прося повод, и он с трудом сдерживал его и себя. Помнится, с одной стороны бесновалась дикая орда Зеравшана, с другой, будто пораженный проказой, маячил среди барханов и дюн пестрый город. Когда воины наконец разрушили крепостные стены и ворвались в город, он вскочил на ступени величавой мечети, увенчанной синним куполом:

— Город пал, теперь не время сдерживать коней!

Что тогда началось! Длинные пики, которые только что прокалывали тела, начали тыкаться в окна домов, эти слепые глаза шайтана. Тяжесть дубин крошила двери, кривые сабли повисли над затылками стариков, женщин, детей. Разве для кровожадных вояк, для тех, у кого ястребиное сердце, а глаза подобны глазам стервятника, не звучит приятней свирели змеиный шелест сабли, в ярости выхваченной из ножен? Есть ли большая радость и наслаждение, чем видеть умоляющие глаза и дрожащие подбородки? Трясущиеся руки и подламывающиеся ноги? Что толку от меча, если он никогда не был окровавлен? Что толку от ярости, не нагоняющей страха?!

Черная кровь, рекой залившая землю, еще не свидетельство достойной победы. Залог победы — это тускнеющие глаза и бессмысленность жалких слов, глаза, потерявшие блеск, и речь, лишенная смысла. Ты можешь по пояс бродить во вражьей крови, но отраднее увидеть хотя бы одну слезу унижения. Потому-то он после каждой битвы и оглядывает, ощупывает взглядом своих пленников. Их проводят мимо него вновь и вновь, до тех пор, пока он не увидит, что слезы бороздят их лица. Только тогда он круто обрывает свой безмолвный допрос. Горе тем, у кого в глазах не увидит он покорных и жалких слез: тогда от города не остается камня на камне. Да, к милости победителя может взывать не гордый дух вонна, а лишь слезы жалости.

К вечеру того дня, когда пала Бухара, предводители войск привели к его золотисто-пестрому шатру женщины

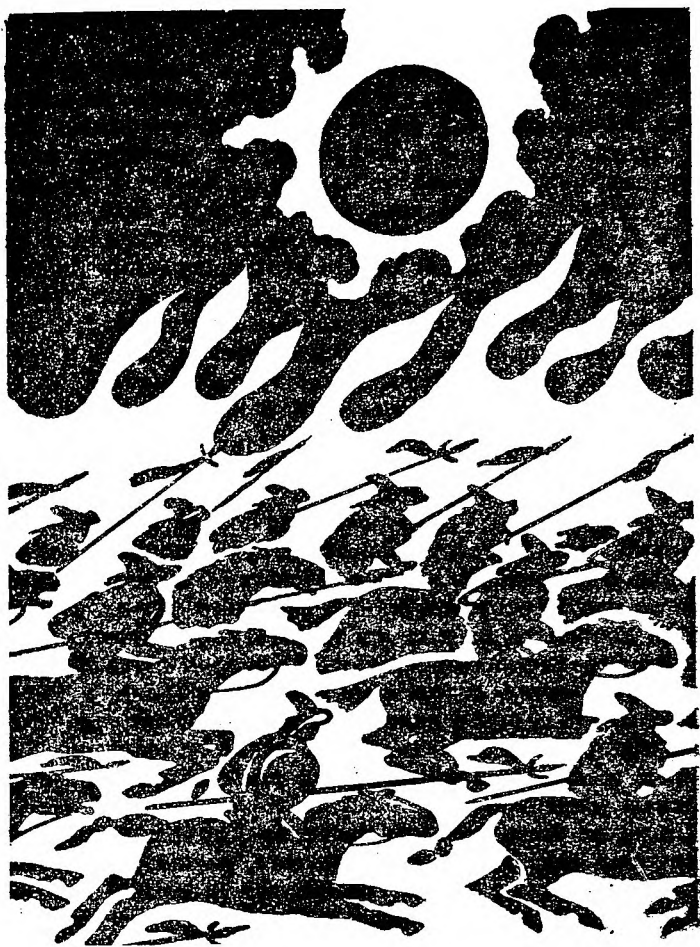
побежденного города. Перед глазами, будто купеческий караван, прошли пленные красавицы. Жена городского начальника вошла в шатер, не склонив головы. Два стража, стоявшие у входа, уже подняли было сабли, чтобы снести голову гордячке, но он остановил их. Стражи силой поставили ее на колени, но женщина продолжала высоко и дерзко держать голову. Может быть, она, лишь недавно яркой звездой украшавшая образованное и высокородное общество, чтит честь мужа и своих соплеменников? Словно говоря, что стоять на коленях еще не значит быть покорной, она устремила глаза к небу и зашептала молитву. Выходило, что она молилась не ему, а всевышнему. Про себя он подлюбовался умом и находчивостью упрямой красавицы. Когда она подняла руки, чтобы провести по лицу ладонями, на ее тонком длинном пальце ярким огнем блеснул драгоценный рубин. Она закрыла глаза, благоговейно пошевелила губами и отняла от лица руки. И в тот же миг он подал страже знак. Кривые сабли блеснули за спиной женщины, и десять белых, тонких, словно корешки камыша, пальцев упали к ногам повелителя. Теперь они были похожи на сухие ветви жузгена. Изогнутые губы гордячки плотно сжались, белое, как мрамор, лицо мгновенно вспыхнуло. Из больших, словно плошки, глаз выкатились две слезы, но, смертельно побледнев, она тут же застыла, словно окаменела, упрямая и непокорная.

И рубиновый перстень женщины, которая не убожалась властителя, сумевшего смять, как сухую траву, целых полмира, с тех пор по праву принадлежит ему. Старая память о несломленной женской гордости...

А это серебряное, слегка потускневшее кольцо? Оно досталось ему от старого кузнеца. Когда был захвачен Отрар, кузнец так хитро и неожиданно подкрался к нему сзади, что едва-едва не снес топором голову. Вот эта жемчужина принадлежала богобоязненному мусульманину, не оставившему самозабвенной молитвы, когда они ворвались в знаменитую, тягавшуюся по красоте с самим небом мечеть Самарканда. Бриллиант на указательном пальце был снят с мизинца честолюбивого сына Кавказских гор: перехватив вожака, он схватил кинжалом по горлу своего длинношеего аргамака. Кольца и перстни отбирались у всех, кто не испытывал трепета. А до чего же слепы и безумны люди! Он думал вначале, что



их очень немного — тех, кто не ощущает страха перед владыкою мира. Но одни лишь перстни и кольца этих безумцев стали грузом для многих его караванов. Он не мог победить не только бесстрашную гордость, но даже такие неизменные людские пороки, как скупость и ненасытную жадность. Однажды — это было на базаре Термеза — какой-то купчишка на его глазах лихорадочно стянул с пальца и мгновенно проглотил перстень. Он приказал своему нойону проткнуть поганое скупердьяй-



ское брюхо и вытащить перстень. Вот он, тот золотистого цвета яхонт.

Сколько же тысяч пальцев отсекли его воины! Сколько их было, тех дерзких рук! Он определяет их число лишь примерно, по числу верблюдов, навьюченных кольцами. Да, это так: многие смертные не пожелали покориться ему. Но его войска знали, что делать там, где встречались такие люди: женщинам вспарывали животы и вырезали их материнскую утробу, а мужчин ловили и

оскопляли, истребляя непокорное вражье семя. Иначе на земле не исчезнут непокорные...

Но в затеянной им кровавой гульбе уцелеют руки и ноги других людей. Тех, кто не способен думать ни о чем, кроме собственной шкуры. И потому от шкурников будут рождаться только шкурники, со временем одни шкурники будут прозябать на земле. Хребет шкурника хрупок и слаб. В будущем и он, и его Чагатай, и Угедей, и Джучи, и все многочисленные, раскиданные по свету их потомки увидят только этих презренных людей, чьи головы будут трястись, как хвост чесоточной годовалой козы. Трясущаяся голова не в силах увидеть, что творится вокруг; люди потеряют не только ум, но и зрение. А зачем ему, его потомкам людское зрение? Довольно будет одних мускулистых рук и переступающих по приказу ног.

Увидев, что кольца на всех десяти пальцах в целости и сохранности, он повеселел.

Ему приснился сегодня сон: обнаженная и белотелая, с яркими, как звезды, глазами, юная девушка жарко ласкала его, повиснув на шее. Может быть, это видение помогло ему проснуться бодрее обычного. Да-а... Давно уже не появлялся он в своем гареме, где томились красавицы, собранные со всех четырех сторон света. Должно быть, он начал стареть: память не сохранила имен многих из них. Годы и дальние походы утомили его. Чтобы не обнаружить невзначай старческой немощи, он уже избегал женщин, но сегодняшний сон снова вернул ему мужскую уверенность.

Он хотел было позвать охотника Кахара, чтобы тот истолковал сон, и тут же раздумал, решив, что жизнь тот же сон, так же лжива, обманчива, и потому невозможно всерьез верить обычным снам. Давным-давно, когда он неприкаянным мотался по свету, терпя нужду и лишения, он уснул однажды в каком-то углу и увидел сон: в голой безлюдной степи на его обглоданном черепе сидел стервятник. Тогда он проснулся в жутком страхе. Но не прошло с того дня и месяца, как его подняли на белой кошме, объявили ханом.

Он позвонил в колокольчик, вызывая стоявшего за дверью вооруженного слугу. Одежда, которую тот внес в шатер, была холодна.

— Почему так?

— Сегодня ночью выпал снег, — ответил страж.

И ему вспомнилось, что ежегодно, сопровождаемый метким стрелком Кахаром, он по первому снегу выезжал на охоту.

2

Во время охоты он не отпускал Кахара ни на шаг от себя. Кому неизвестно, что хороших стрелков опасно держать на большом расстоянии? Это плохих стрелков гораздо лучше держать подальше от себя.

Ему нравился его серый: хоть и низкоросл был конь, зато широк и длинен, с плоской, как лопата, спиной. На этой спине сиделось как на подушках собственного шатра. Сидеть на коне с коротким корпусом все равно что стоять на краю обрыва.

День был на редкость хорош. Пестрели вдаль холмы, а в низинах сплошь белели снега. Как ни гляди вдаль, как ни приставляй козырьком ладонь, но легкий молочный туман размывает горизонт, смягчая и скрывая окрестности прозрачной завесой. Оба коня, разрывая эту завесу, приближались к распадкам нагорья: обросшее густым кустарником, оно было привольем для разного зверя.

На охоте он оставлял своих слуг позади, чтобы они не пугали дичь и не мешали ему. Они следили за ним издали. Но Кахар был давнишним преданным другом, сопровождавшим его еще в те времена, когда, гонимый судьбой, он скрывался от людей и скитался по свету. Тогда, в безлюдных горах, они жили совсем одни, вдвоем, и говорили друг с другом свободно и просто. Бывалый охотник не раз заставлял будущего властелина носить на спине убитых зверей, собирать кизяки и варить на костре ужин. Став повелителем, хан из далеких и диких гор призвал к себе друга-охотника. Стрелок Кахар беспечно ввалился в его золотисто-пестрый шатер, порывисто бросился к нему, не сдерживая смеха и слов. Сидевшие в шатре приближенные удивились, недовольно вытянув шеи. Уж не свихнулся ли этот малый?

Спустя два-три дня охотник сказал:

— Благодарю за радушие, но теперь я вернусь в горы.

— А что ты забыл в горах?

— Э, господин мой, поймешь ли ты все это? Мне скучно без сладкого кизячного дыма. Кизяк так вольно горит на ветру между слоистыми камнями. Я тоскую по

дымному бульону из архарова мяса, а тебя кидает от него в пот, я истомился по своему лежбищу, покрытому шкурой медведя. Ее шерсть так нежно щекочет. В своей черной лачуге я волен греть у огня ноги и плевать во все стороны.

Когда он расхохотался, охотник Кахар обиделся и, не сказав ни слова, пошел прочь, а он смотрел вслед другу и, держась за живот, все хохотал, хохотал, пока слезы не выступили из глаз, и в шатре недоуменно переглянулись, не понимая, кто из этих двух лишился рассудка. Но однажды в том же шатре из желтого шелка его настигла тоска. Тело, облаченное в дорожные одежды, лишенное степного вольного ветра, неодолимо зудело. Забываясь, он то и дело поднимал руку, чтобы запустить ее под эти изнурительные шелка и чесать, всей пятерней чесать зудящую кожу, но взгляды сидящих вокруг сподвижников останавливали его, и он в ярости хватался за подбородок, тербил рыжую реденькую щетину. Они, его заправила, набившиеся в шатер, целыми днями не спускали глаз с повелителя. Тогда-то он понял бремя славы и власти. Ему стало понятно, почему охотник Кахар так рвался в горы. Те, что день за днем торчали в его шатре, раздражали и нагоняли скуку; он ни с кем не мог пошутить, не мог разрешить себе рассмеяться. Стоило губам его чуть вытянуться, как вокруг разом подобострастно рождались улыбки, если же он внезапно начинал хохотать, у тех глаза от ужаса лезли на лоб. О несчастные, они могли лишь вежливо улыбаться, словно рты их были залиты смолой.

Когда его совсем одолевала тоска, он приказывал подать коня и объезжал тумены своих войск. При этом он никогда не ночевал в шатрах предводителей, устраиваясь где-нибудь на холме, у караульных постов.

Внизу, вокруг холма, мигали и, словно звезды ночного неба, ронились бесчисленные огни, зажженные у походных юрт, а в небе мерцали, переливались звезды, словно огни несметных костров его войска, густо усеявших землю. Иные из этих звезд горели ярко, другие тускло тлели, будто угасающий уголек очага. Ниже, у подножия холма, фыркали кони, звучали разноязычные речи, чуялись шорохи и голоса. Причудливо сливаясь, они то звучали у самого уха, доносимые прохладным степным ветром, то приглушенно удалялись куда-то далеко-далеко, в безбрежную ширь степи. Время от време-

ни с подветренной стороны доносился острый, кисловатый запах пасущихся лошадей. Запахи соленого пота, неукротимой ярости, пыли бесконечных и неоглядных дорог, запахи многих известных и неизвестных трав мешались и словно бодрили эту безмятежную, охваченную истомой ночь, призывали к чуткой бдительности. Они напоминали о том, что, как бы ни был отраден покой, завтра опять начнутся походы, опять предстоят битвы и муки, и запахи эти, как грозное предостережение, будоражили, ярили и волновали его.

Смывалась, исчезала грань между землей и небом, густой мрак окутывал окрестности. Вдали роились огни, и он забывал, что ходит по земле, что он сын земли, он ощущал себя божеством, самым создателем, пребывающим где-то на небе в окружении ярко светящихся звезд. И эти бесчисленные, трепещущие вокруг — на земле и на небе — огни казались ему робкими свечками в руках презренных созданий, упавших перед ним ниц; он, только один он мог, нанизав как бусы, зажечь эти огни, он же был волен погасить их одним дыханием.

Тогда ему становилось тесно между землей и небом, грудь распирало от непомерной власти и силы, и его взбудораженное нутро мог утихомирить лишь тот же терпкий резкий запах, доносимый движением ночной прохлады. Щекочущий ноздри запах этот был приятней ему, чем струящийся и убажжающий сердце чистый степной воздух. Он подзывал к себе слуг, приказывал расстелить на вершине холма белую кошму, а любимое седло поставить у изголовья, с подветренной стороны. Вокруг кошмы слуги бросали волосяной аркан. Говорят, нет на свете такой твари, которая не пугалась бы запаха конского пота и жесткого лошадиного волоса. Даже разная погань — порождение самого дьявола, сеющего страх и ужас под покровами ночи, — и та отступает, бежит прочь, едва почует острый запах жеребьячьего пота. Так оберегал он себя от гадов и разной ползучей твари. А от неожиданных набегов, от покушений круглоголовых двуногих существ его охраняла стража из сорока верных воинов, которые до солнечного восхода не смели моргнуть глазом. На тот же случай, если среди них найдется кто-либо с черным помыслом, был у него преданный друг, меткий стрелок Кахар, способный за версту поразить в глаз дикую козу и услышать в ночи шорох бегущего муравья.

Но как бы крепко и безмятежно ни спалось повелителю, едва занималась заря, он вскакивал с постели. Войны еще вставали, а он уже давно был на коне, и никто, кроме стражи, не догадывался, где провел ночь властитель вселенной. Он любил объезжать войска, и при этом не чувствовал усталости, но всегда опасался, что от частых посещений и совместных трапез этот шумный сброд может слишком привыкнуть к нему. Даже в шатрах предводителей туменов он не засиживался; не подъезжал к юртам, где шумно и радостно готовилось в его честь обильное угощение. И в своем шатре он редко собирал военачальников, предпочитая вызывать их поодиночке и говорить с ними только наедине. Предводители туменов видели друг друга раз-другой в году и то лишь в крайних случаях.

Он и теперь старается не выказывать благосклонности к тем важным особам, которые бывают в его шатре. Заметив, что кто-то уже успел приноровиться к нему и принимает близость с ним как должное, он тотчас отправляет его куда-нибудь подальше. А те, что однажды были изгнаны, не стремились больше попадаться ему на глаза.

Каждый властелин похож на женщину, которая пригожа лицом, но имеет изъян на теле. Она привлекает мужчин своей внешностью, возбуждает в них страсть и любовь, но про себя постоянно терзается своим недостатком, ее преследует вечный страх потери. Ибо она предчувствует, что в тот день, когда откроется тайна, ее уже не будут считать красавицей. Так и всеильные мира: стараются вызвать к себе благоговейный трепет, а внутренне постоянно побаиваются приближенных, больше всего опасаясь, что кто-то невзначай заглянет в их зачистую гнилое нутро. Ведь всех придворных испокон века так и подмывает поскорее увидеть недостатки своих владык, как подмывает похотливых мужчин увидеть нагое женское тело. Поэтому он, властелин мира, сам пристально следит за своими придворными, убирая подальше от себя всех подозрительных, иначе ему самому не миновать беды. Ибо судьба правителя похожа на судьбу красивой женщины: он потеряет власть в тот день, когда людей перестанут удивлять и восхищать его дела и поступки.

Да, он многих заставлял поражаться. Сначала поразила своих родичей, которые долгое время косились на него: он заставил их подчиниться себе. А подчинив, уди-

вил тем, что снял им головы. Одних ошеломил он незаслуженным повышением, а других беспричинным своим гневом. Ему было все равно, одобряют или не одобряют его поступки, важнее было поражать, удивлять, оглушать. Больше того, ему иногда дороже было недоумение, чем одобрение глухой толпы. Он не пускал в свой шатер тех провидцев, которые читали бы его сокровенные мысли, ему были больше по душе недалекие тугодумы, способные лишь восхищаться и удивляться каждому его слову. Потому-то он и держал при себе меткого стрелка Кахара. Тот мог за добрых полверсты услышать шорох ползущего муравья, но был совсем равнодушен к тому, что думали и делали люди. Кахар всегда удивлялся непостижимой доброте грозного и всецельного хана, который других заставлял грызть землю за малейшую провинность. Да и вообще многое в повадках властелина было Кахар-мергену совсем непонятно, как непонятен был знаменитый тибетский шаман-фокусник, который жевал раскаленные угли и живьем проглатывал змей. А ему, великому хану, властителю мира, разве все сразу становилось понятным? Так стихи льстивых и лживых акынов, высокопарно воспевающих каждый его шаг, слагающих в честь его длинные дастаны, казались ему вначале пустобайством и словоблудием. Теперь он с явным удовольствием прислушивался к этим стихам...

Ночью выпал снег, и звери притаились, должно быть, дремали в своих норах, берлогах и лежбищах. Он ехал к черному узкому ущелью, где было устроено много западней и приспособлений для ловли зверя. Сосны и лиственницы, росшие на изъеденных ветрами камнях, были в снегу, от едва заметного дуновения, шурша, осыпалась снежная навись. День выдался погожий, легкая, как пух, снежная мгла долго не рассеивалась. Кони осторожно ступали по каменистой тропе ущелья, повороты становились все круче и все труднее. Сбоку скатывалась горная речка. Она легко испарывала и рассекала пушистый снег на дне ущелья. От черной-черной воды густо валил пар. По берегам стили громадные валуны, наваленные когда-то неукротимым потоком. Темные снизу, белые сверху, они были похожи на сказочных гигантов, одетых в короткие не по росту шубы. Рядом с шаловливой речкой, задиристо, весело несшей свои воды, замерзшие, безжизненные, словно околевающие кони, валуны казались совсем неприглядными. Вот так и жизнь, она похожа на мча-

щийся по старому руслу поток. Куда только спешит эта рокочущая, белопенная речка? С упрямой настойчивостью рвется она куда-то, словно войско вслед за врагом. И ей все равно, с какой горы начинались ее истоки, каким неприступным кручам она грозит, через какие валуны победно скачет. Где оборвется ее безумный бег? То ли упадет она в объятия бескрайнего могучего моря и исчезнет бесследно, то ли затеряется и заглохнет где-то в песках — об этом она не думает. Кто знает, может быть, и сама жизнь, которая так же невеста куда несет нас по своему течению, тоже бессмысленна, лжива, неопределенна, как этот бездумный поток...

Бурная речка существует, пока течет, смысл человеческой жизни в том, что она проходит. Ничтожный человек что щепка, гонимая волнами: волны подхлестывают ее, и щепка, все более оживляясь, дрожа, заражаясь яростью волн, мчится поверх течения, то натываясь на камни, то попадая в воронки. И, попав в эту круговорот, она уже не в силах остановиться. Бессмысленность этого неугомонного течения, ничтожность собственного существования человек поймет лишь тогда, когда волна вышвырнет его однажды на берег и он застрянет в топкой грязи, как те валуны. Но будет уже поздно: речка не потечет вспять, жизнь не начнется сызнова. Раз вышвырнет тебя из течения, веки вечные торчать тебе в грязи, словно вконец обессиленному драматеру: будут омыwać тебя дождевые потоки, обдувать ветры, и ты загниешь, превращаясь в прах. Но если ты даже не щепка, а камень, сорвавшийся с вершины скалы, все равно нет тебе возврата: острую, как нож, грань загладят, затупят, выровняют вода и ветер, твоя грозная тяжесть со временем улетучится, исчезнет. И ты не заметишь, как станешь однажды легким, словно перекапти-поле. Слишком поздно жалкие люди понимают свою жалкую участь. Разве те несчастные, которые когда-то выбирали его ханом, подняв на белой кошме, думали о том, как он поступит с ними завтра? Нет, не думали, хотя до этого вдоволь испытали немилость других правителей. Только два или три предводителя родов, выказывая безумство, отвернулись тогда от него, не желая признать его ханом. И он сказал им: «Уж коли вы лишились рассудка, я найду, чем излечить вас». Потом, когда он подчинил себе ничтожный сброд, он настиг строптивых смутьянов, разграбил, утопил в крови их аулы.

С тех пор он многое видел под этим небом. Во многих пышных дворцах на виду у грозных правителей помочился его конь. Молва о его жестокой силе распространилась по всему свету, и немного ныне сыщется храбрецов, которые не трепетали бы перед его именем, как перед самим Азреилом. Красавица гордится своей красотой, батыр — удачью, шешен-говорун любит свой собственный красноречием. Он же упивался непомерной властью. Красавица находит наслаждение в том, что нравится мужчинам, батыр — в победе, шешен — в гладкой, красочной речи, он же — в своей безграничной жестокости, которая наводит на всех ужас и страх.

Так бы и упивался он своей грозной властью, шел бы по земле победной поступью, пока не завоевал бы весь мир. Но в тот день, когда он напал на один из городов на севере индийского государства, приснился ему сон.

После того как множество городов с синими куполами стер он с лица земли и, словно скорлупки ореха, расколол черепа врагов, закатил он невиданный пир. Ему снилось, как после пира он спал в шатре и вдруг начал задыхаться. Тяжко озирался он по сторонам, не мог шевельнуться, будто свинцом налилось тело. Хотел было позвать стражу, но голос исчез. Казалось, что тело приросло к постели. И вдруг, шурша атласным пологом, кто-то живо юркнул в шатер, кошачьей походкой неумолимо подкрался к постели. Из длинных черных одежд блеснула кинжальная сталь, а он все лежал, не в силах пошевелить пальцем. Ночной пришелец приблизился, внимательно заглянул ему в лицо. Потом не торопясь поднял кинжал, приставил к его груди. Страх и ужас ворвались в душу, и закричал бы он диким, не своим голосом, завопил бы, но голоса не было, а кинжал вонзился острием в горло и вдруг упал ему между ключиц. Пришелец все той же кошачьей походкой направился к двери, обернулся. Где и когда он видел этого кадыкастого рыжего? Разве не каждый божий день видит он эти подстриженные медные усы и остроконечную бороду? Серые узкие глаза шурились и смотрели в упор, словно прицеливаясь. И голову он выжидающе, настороженно втянул, будто замороженный тигром. Да, это был самый опасный, самый грозный взгляд. Взгляни так на человека, любой — даже не робкого десятка — непременно смутится. Не говоря ни слова и не здороваясь, пристально, в упор ощущай таким вот придиричвым, недобрый взглядом, и даже

самые отчаянные храбрецы, сердца которых обросли шерстью, и те растеряются, обмякнут, как обмякает воробышек, замороженный змеей. А уж коли человек в замешательстве, заставить его открыться, подчинить его своей воле — проще простого. И потому он издавна предпочитал начинать допросы таким вот безмолвным взглядом. Теперь этот пришелец, незванный ночной гость, безмолвно допрашивал его самого и, казалось, видел насквозь. По спине его пробежал мороз, а пришелец скинул с плеч черную одежду и направился к выходу. На нем была безрукавка из медвежьей шкуры. Теперь он узнал его. Господи, так это же он сам! Когда его по пятам преследовали враги и он скрывался в ущельях вместе с охотником Кахаром, он выглядел точно так же.

Человек в медвежьей шкуре осторожно приподнял край полога и быстро выскользнул из шатра. У двери, под пологом, черным медведем возвышалась брошенная одежда.

Что это — сон или явь? На груди, обжигая холодом, лежал кинжал, он дотянулся, пощупал — никакого кинжала не было. Только на месте, где лежало оружие, кожа словно бы оледенела, и он проснулся в испуге.

Оказывается, он плакал во сне. Холодные слезы, стекая по редкой острой бородачке, омыли всю его грудь. Он поднял голову, глянул в сторону двери, но ничего не увидел, кроме жидких, тусклых лучей стоявшего за шелковым занавесом светильника. Больше он не мог уснуть, до утра пролежал с открытыми глазами. А утром ему захотелось, чтобы его сон истолковали, но он тут же решил, что люди, узнав, как беспокойно на душе у их повелителя, начнут судить и рядить. Нет, лучше не говорить об этом никогда никому.

Помнится, встал он, едва забрезжил рассвет, оседлал игреневого жеребца, поднялся на караульный холм. Внизу, у ног, словно истерзанная постель, лежал поверженный и разграбленный город. На улицах не было ни единой души, бесчисленное войско его, располагавшееся на ночь вокруг разрушенного города, только-только просыпалось. Ярко занималась летняя заря, то здесь, то там призывно играли кернан. Но он чувствовал себя разбитым и усталым.

С того дня он лишился хорошего сна. Ни храп, ни ржание коней, ни победные кличи воинов уже не бодрили. Каждый раз, когда кто-либо входил в шатер, он це-

вольно вздрагивал, старался скорее пройти мимо полога, ему чудилось, что кто-то подстерегает его за занавесом.

Но, когда исчезает сон, ум обуревают всякие думы. В огромном мире, погруженном в безмятежный сон, казалось, бодрствовали только страх и опасность; будто притаились они по углам просторного шатра и следят за ним, выжидают, когда у него закроются веки. Ночная безмерная тишина казалась ему намного страшней и опасней, чем поле битвы, над которым со свистом проносятся стрелы. На поле брани тебя бодрят, волнуют душу топот скачущих войск, ржание коней, грохот, крики, свист стрел и льющаяся повсюду кровь. А вот в такую скованную тишиной жуткую ночь сомнения и думы, словно ядовитые змеи, подкрадывающиеся в траве к твоим ногам, угнетают и вселяют изнурающий ужас.

Много прошло времени с тех пор, как он покинул родные края. И хотя каждое желание его исполнялось, как говорится, каждая стрела достигала цели, а по всей земле гремела его слава, он до сих пор не задумывался о бессмысленных, впустую потраченных прежних годах, годах той отпущенной ему жизни, которая уже начала его утомлять: ведь год, как он теперь понимает, — это всего лишь каверзная шелковая петля в руках костлявой старухи смерти, которую она кидает тебе на шею и медленно, чтобы не отпугнуть, подтягивает тебя к себе. А он до последнего времени даже не думал об этом. Между тем даже он, всемогущий повелитель, потрясший мир, однажды во сне обливался слезами: видно, и в нем что-то стонуло и дрогнуло в страшном предчувствии. Значит, и его испугали старость и смерть, наводящие ужас на бездумных и глупых людишек.

Когда-то он отправился в путь, чтобы захватить соседние страны — Сартаулы¹, и, не сдержав горячку возбужденного несметного войска, забрался далеко-далеко, за тридевять земель. Головная часть его войска давно уже перешла Абескун² и вытряхивала пыль из другой половины света, а он едва-едва успевал за своими полчищами, сметающими все на пути. И хотя над его головой все тот же золотисто-пестрый шатер, родные края остались далеко позади. Поработив чужие народы, он с трудом удерживает их на привязи, а на чужбине тебя всюду подстерегают опасности и расплата. К тому же и возраст не

¹ Так монголы называли мусульманские народы Средней Азии.

² Древнее название Каспийского моря.

тот, чтобы скакать без оглядки за безудержным войском через горы и доли. Родная безбрежная степь осталась где-то далеко, и кто знает, что там творится сейчас, пока он, опьяненный победами, неудержимо носится здесь... Пора, наверное, пора завещать остальные походы сыновьям и верным бахадурам, а самому спокойно править завоеванными народами. А то, не ровен час, застрянешь где-нибудь на чужбине, словно потерявший берлогу старый медведь. Да и до каких пор мотаться по белу свету? Года уже велики, силы его убывают, и однажды во время бесконечных набегов он явит воинам свою слабость и дряхлость. Не лучше ли, пока ты в силе и ступаешь в гору, вернуться в родные края, где за спиной не подстерегают враги? Ведь и со стороны, издавлек, с почетного места золотисто-пестрого шатра можно нагонять ужас и трепет на несметное войско, на бахадуров и сыновей, между которыми он разделит потом свое владычество.

Да-а... И вот он вернулся домой, и немало уже лет вновь ступает по родной земле. Он утомился в бесконечных походах, он изнурен нескончаемой верховой ездой и только теперь по-настоящему понял это. Но, хоть перина и стала милее седла, сонная мирная жизнь нередко раздражала его. Давно ли во время походов он общался лишь с предводителями туменов, решая судьбы завоеванных стран? Много было разных забот, и он на таких советах неизменно выказывал превосходство, после каждой битвы поражая воинов своим величием. Теперь вот нет ни высоких собраний, ни достойных советчиков. Никого не ослепляет его ум вкупе с безбрежной властью, разве что изредка из далеких стран наведываются послы либо нарочные. Да, теперь в его шатер заходят одни слуги, и здесь звучит один-единственный разговор: о еде и постели. Вчерашний грозный повелитель стал для них капризным, избалованным отроком, все только и хлопочут, чтобы угодить его прихотям. Не теперь сказано: если уж подвластный тебе люд однажды поставил тебя над собой, держи его в узде и страхе, ведь когда он перестанет тебя бояться, ты лишишься достоинства. Но если ни с того ни с сего, по всякому поводу кричать на своих рабов, то не мудрено отпугнуть беспредельно преданную тебе чернь. Вот почему, хоть и заблаговременно вернулся он в родной край, сорок сороков всевозможных дум изнурили его, вконец лишили покоя, и даже забавы охоты не могут развеять мрачных мыслей.

Минувшей ночью ему приснилась обнаженная женщина. К чему бы это? Ведь женщина снится обычно тому, у кого ничего не осталось, кроме игривых мечтаний о женских прелестях, или похотливому мужчине, проводшему в блуде всю пустую и праздную жизнь. Выходит, и у него не осталось уже других желаний и целей?..

Позади послышался пронзительный крик. Тихос, с утра охваченное дремой ущелье вздрогнуло. Он только теперь заметил, что кони уже сошли с горной, огибающей скалу тропинки и вышли на небольшую, обросшую сосняком полянку. Прямо за спиной что-то шлепнулось, из-за ели, густо обсыпанной снегом, заполошенно вымахнул крупный заяц и полетел мимо что было духу. Кто-то из стражи, предупреждая, зычно гикнул сзади. Выхватить из колчана стрелу было делом одной секунды. Несчастный зверек, метнувшись в предсмертном страхе, еще раз неступленно прыгнул и, окровавленный, ткнулся в сугроб.

Вместе с Кахаром крупной рысью подъехали к добытой дичи. На белой-белой снежной пороше ярко алела кровь, ему опять вспомнился ночной сон:

— Интересно, есть ли на этом свете женщина с таким же белым телом, как только что выпавший снег?

Кахар-мерген перерезал горло еще трепыхавшемуся зверьку, сказал:

— Говорят, будто у бурхана тангутов Шидурге есть жена по имени Гурбельжин. Еще говорят, что когда она входит в ночной дом, то становится светло, словно бы днем. Только ее тело может быть белей первого снега.

— Ты говоришь, у тангутов?..

Чингисхан задумался.

3

Да-а... Было это семнадцать долгих лет тому назад. Там, где с черного склона высоких мохнатых гор, закипая, вытекает черная речка и, направляясь к северу, вдруг снова встречает на пути кряжистые горы и круто сворачивает на восток, в ущелье, находилось тогда на привале его войско. Днем и ночью, со всех сторон, вздвигаясь вперед на низкорослых лохматых лошадках скакали бесчисленные воины, и твердая песчаная земля была истерзана, она превратилась в пыль, будто ее толкли в ступе. Надвинувшиеся с двух сторон, окутанные вечным

мраком черные горы и величая прозрачная река были густо покрыты серой пылью. Стояла осень. Дули холодные ветры, ночами на траве лежал иней. Воины, начавшие поход в середине лета, стали мерзнуть, они, не жалея, жгли можжевельник, росший по горным склонам. Столица тангутов даже близко не подпускала к себе. По донесениям редких перебежчиков, все горожане во главе с их правителем Ан-Цюанем днем и ночью находились у крепостных стен. Стоило только приблизиться к городу, как с той стороны, с высоты укреплений, на голову градом летели камни, лились кипятки и расплавленная смола. И как бы ни было много их, монгольских, облаченных в овечьи шкуры воинов, как бы ни копошились они вокруг, они были бессильны против хитростей этой дьявольской крепости, насккивали и тут же откатывались назад.

Между тем надвигались зимние холода, и Чингисхан созвал в своем шатре всех тысячных и предводителей туменов, чтобы держать совет. Решили, что если город — порождение самого дьявола — будет сопротивляться и дальше, то нужно перекрыть реку и затопить крепость водой. Бесчисленные воины совместно с невольниками, нагнанными со всех окрестностей, спешно принялись строить плотину. Черная поливодная река, с грохотом падавшая с дремучих гор, изменив русло, хлынула в город. Вскоре подмыло грунт, и дома один за другим начали рушиться. Люди, словно муравьи, смытые половодьем, оказались в воде. Раздувшиеся утопленники, подталкивая друг друга, тысячами плыли вниз по течению, а те, у которых в груди еще тлела жизнь, карабкались на крыши уцелевших домов и неотрывно смотрели на хмурые ущелья мрачно насупленных гор, надеясь, что соседние племена-шуршуты придут на помощь. Но напрасно они надеялись, тщетно молились создателю, никто не пришел на помощь... Дремучие горы были безмолвны. Ко всему в одну из беспросветных ночей промозглого месяца акрап¹ обрушился невиданный ливень, будто прорвался небесный купол. Селевой поток казался забавой в сравнении с этим потоком. Основания обнажались у пышных дворцов, стоявших твердынями до сих пор; еще вчера могучая столица тангутов, державших в страхе и повиновении Тибет и Северный

¹ Название октября по звездному календарю.

Китай, стала похожа на растрескавшуюся чашу, наполняемую мутной водой. Казалось, что взбесившийся, все сокрушающий поток вот-вот снесет с лица земли весь город, не оставит камня на камне. И жизнь кончится, хлынув в долину грязной, помойной жижей.

Но тут стоявшие на крышах тангуты увидели вдруг, как забегали, отчего-то засуетились монголы, как там, внизу, за городскими стенами, все разом пришло в движение. Оказалось, что неукротимый поток разрушил плотину, и теперь вода стремительно обрушилась на осаждающих. Растерянные монголы в панике бросали свои походные юрты, спеша на лошадях подальше от гиблого места.

Ливень выдохся лишь на исходе дня. К вечеру монголы отправили к тангутам посольного, и обессиленное, измученное войнами государство признало свою зависимость от монгольского ханства, а правитель Ан-Цюань согласился отдать любимую дочь Чингисхану. Так Чахэ стала третьей женой великого повелителя. Чингисхан решил, что, взяв себе в жены тангутку Чахэ, он породнится со строптивым, умеющим строить города и крепости племенем и тем будет держать его в своей властной руке.

Однако эта родственная близость длилась недолго. Восемь лет спустя Чингисхан отправил к новому правителю тангутов Дэ-Вану своего посольного с таким наказом: «Когда-то вы обязались быть моей правой рукой. Но все эти годы я не беспокоил вас ни единой просьбой, вы не испытали тяжести моей власти. Черед ваш теперь настал. Я не могу быть спокойным, пока не захвачу соседние племена Сартаулы. Я готовлюсь в поход, пусть же и ваше войско примет участие в нем».

Но едва успел посольный передать наказ повелителя, как один из знатных князей по имени Аша-Гамбу, не дав Дэ-Вану даже раскрыть рта, сказал: «Передай Чингисхану: нечего ему замахиваться дубиной, которую он не в силах поднять, а коли он бессилен, пусть отрекается от ханства».

Разве такой ответ ждал он от тангутов? Посольного, принесшего эту весть, он в ту же ночь приказал казнить, а месяц спустя пошел походом на Сартаулы. Немало городов потопил он в крови, не один десяток тронов опрокинул после того, и уже забылись было обидные речи тангутского князька. Но, когда он находился в Индии,

тангуты снова поднимали голову. Они посылали своих нарочных в соседние страны, призывая объединиться, чтобы сообща разгромить монголов. Такая до него дошла весть, и это была одна из причин его спешного возвращения на родину. Однако он умел хранить свои тайны. Никто не узнал об этой причине.

Вернувшись, он, чтобы удивить тангутов, начал мирную жизнь, без набегов и войн. И тангуты были поражены: грозный правитель, подмявший под себя полмира, вдруг безнаказанно проглотил их оскорбление и даже не помышляет о мести. Но, когда они окончательно поверили в его миролюбие, Чингисхан, выжидавший столько времени, решил поразить их.

Да, он терпеть не мог преждевременную хвастливую трескотню, он предпочитал все, что бы ни делал, совершать неожиданно, как повеление самой судьбы, самого рока, решительно, с лету, чтобы сразу ошеломить врага, не дать ему опомниться.

И то, что он увидел во сне белотелую красавицу Гурбельжин, он воспринял как предзнаменование, как доброе напутствие судьбы на большое новое дело.

Посол Чингисхана принес тангутам его слова: «Помня о вашем обещании быть моей правой рукой, я перед тем, как отправиться в поход на давно тревожившие меня племена Сартаулы, обратился к вам с просьбой дать мне ваших воинов. Но вы не только отказали, тем самым нарушив священную клятву, но и оскорбили, унизили мое всему миру известное имя. Я был тогда так занят, что не мог потребовать с вас ответа за эту дерзость. Поход в страны Сартаулы окончен. С помощью и поддержкой самого создателя я направил страны Сартаулы на путь истинный и благополучно вернулся на родину. А теперь, бурхан¹, я думаю, настал час расплаты за сказанные тобою слова».

С таким грозным наказом отправлен был посыльный к тангутам, и целых пятнадцать дней не было о нем слуха. Только на шестнадцатый день, еле живой, посол появился перед золотисто-пестрым шатром и, едва переступив порог, бросился на колени, согнулся в поклоне. Взглянув на искаженное лицо посланника, Чингисхан сразу понял, что тангуты в зеленых чапанах² не приняли

¹ Так монголы называли главу тангутов.

² Верхушка тангутов носила одежду зеленого цвета, низы платья надевали черное.

условий. Сидевшим в шатре было заметно, как мнется растерянный посол, они привстали было, чтобы выйти, но повелитель поднял правую руку, и все разом застыли на своих местах. Обычно великий из великих беседовал с послами наедине, потому и удивил этот жест всех присутствовавших. Посланник заговорил.

Узнав об условии Чингисхана, о том, что Дэ-Ван должен или прислать ему сына в заложники, или немедленно оседлать боевых коней, правители тангутов опешили, будто пораженные молнией. Знатные князья завопили в один голос: «О повелитель! Монголы — это все равно что дикие звери, рыскающие по степям и горам. Уж лучше, когда этот зверь лежит, оскалив зубы, чем кидается на тебя, разинув пасть. Если ты не отправишь своего наследника монгольскому хану, твой народ обречен на гибель». Дэ-Ван, дрожа всем телом, вскочил с трона:

«Я не могу единственного сына толкнуть в пасть льва, швырнуть в драконье логово! Разве мы не народ?! Разве нет у нас чести?! Соседние страны и народы сочувствуют нам». Потом, повернувшись к посланнику, Дэ-Ван сказал: «Передай своему повелителю: «Пока я жив, мой сын будет со мной и в моем дворце».

Чингисхан усмехнулся. В шатре переглядывались. Чингисхан подозвал посланника ближе и подал знак; удивляясь, недоумевая, зная потянулась к выходу.

4

— Где бурхан? Горе! Монголы захватили Черный город.

— О мой повелитель! Сучжоу сровняли с землей! Жители перерезаны поголовно.

— О мой повелитель! Лянчжоу без боя сдался монголам!

В течение трех дней только такие донесения слышал прикованный к постели Дэ-Ван. Со всех концов страны, загоня лошадей, скакали к нему посыльные с плохими вестями, но он не проронил ни слова. На четвертый день, рано утром, тяжело дыша, вбежал к нему измученный спешной ездой очередной гонец и, увидев бездыханное тело повелителя, как оглушенный, застыл у порога.

Окутанная маревом, притягивающая взор роскошная Сэ, последняя столица тангутов, превратилась в развалины. Богатство и слава еще вчера могущественного государства тангутов, вселявшего в одних надежду, в других — ужас, теперь улетучились, разлетелись, словно стая трусливых ворон, наклевавшихся мертвечины.

Скоро, очень скоро городские развалины обернутся буграми рыжих холмов. А потом и холмы зарастут травой, похожей на овечью шерсть весенней стрижки. Ничего не останется от шумных людских пристанищ, одни суслики начнут шастать вокруг. И будет одиноко торчать в степи безымянный, всеми забытый холм. Может быть, утомленный дальней дорогой путник взберется на его вершину, чтобы оглядеться окрест, стреножит коня, а сам падет на сухую некошеную траву, потянется телом, избитым монотонной верховой ездой, и немного вздремнет. И ничего не подумает, даже не приснится ему, что под этим холмом звенел когда-то смех, шумела толпа, что когда-то тут яростно спорили, бились, любили и рожали детей. Безмятежно подремлет просозный, встанет, потом развяжет пояс, чтобы тут же, на вершине безымянного холма, хранящего неведомую потомкам историю, справить немудреную свою надобность. И опять, взобравшись в седло, пустит коня все той же монотонной рысью.

Это будет потом. А сейчас следы вчерашней жизни еще не исчезли совсем. Вон на отшибе, словно громадный, опущенный на колени одnogорбый верблюд, дымится руина — это все, что осталось от дворца тангутских правителей. Слышно, как в громоздких корджунах, переметных сумках, гремят и звякают тангутские драгоценности, еще вчера они бережно хранились как нечто неприкосновенное. Даже несчастная тварь — собаки и те разбежались по окрестностям. По ночам они воровато подкрадываются к разрушенному городу, обнюхивают холмики в тщетных поисках родного жилища, привычной конуры, лоханки, хозяина, при виде которого, бывало, так приветливо махали хвостами. Тоскуют собаки по родным дувалам, где, не щадя ног, бегали с громким лаем, едва услышав дальний мало-мальски подозрительный шорох. Еще вчера вся эта жизнь казалась им неизбежной, теперь же все превратилось в прах. Игривый ветер, дразня чуткие ноздри, доносит запах свежей конины и

прокопченных, покрытых жиром котлов, но обездоленным псам никогда не осмелиться подойти к чадным кострам. Спасаясь в пустынной степи, они то жмутся к земле, терзаемые тоской, то становятся в ряд, вытягивают морды и, водя отощавшими боками, воют, воют до хрипоты, до изнеможения. Запах, идущий от незнакомых котлов, мешается с запахом крови и разлагающихся трупов, у собак тошнотворно кружатся головы и темнеет в глазах. И они продолжают выть, выть до рези в брюхе. А что еще может собака, кроме как лаять в мирное время и выть, когда приходит напасть? То ли утомил пришельцев этот вой, то ли искали они забавы в незнакомом краю, но эти люди обрушились теперь и на псов. Многих собак пронзили стрелы, проткнули пикн. Вокруг поверженного, разрушенного города стоял неслыханный гвалт, шум и визг. У разваленных дувалов остались лежать вперемешку рабы и знатные князья, простой люд и собаки побежденной земли.

...Целый год мужественно продержалась столица тангутов Сэ, но не смогла устоять. Пока город держался, монголы захватили все земли тангутов, и этот рыжий холм стал местом последней битвы не сдававшегося живым народа.

В минувшем году, когда враги впервые на белом песчаном плоскогорье открыто схлестнулись друг с другом, тангуты гордо и даже с вызовом выехали из каменной крепости. Вначале появились всадники на богато украшенных конях. Шли они ровными рядами, важно и грациозно. Каждый сидел в седле, явно красуясь, будто не воин, а жених со свитой, отправляющийся к невесте. Грудастые, как на подбор, длинношене скакуны до самых колен укрыты были богатыми попонами, одно седло и сбруя могли бы стать поклажей для верблюда. Стальные высветленные стремяна ослепительно блестели, дерзко перемигиваясь с самим небесным светилом. На рослых, громадных конях, под тяжестью которых прогибалась земля, восседали закованные в доспехи воины, длинные тяжелые копы в их руках, казалось, угрожали не только монголам, но и всему миру. Мощная конница приближалась, звеня, бряцая и грохоча, будто хотела раздавить и смять единым махом невзрачных монголов вместе с их низкорослыми лохматыми лошаденками. Вид тангутской конницы был страшен, а железные доспехи и украшения клацали и скрежетали так, словно само чудо-

вище Молох точило перед бойней зубы, и от всего этого скрежета съеживалась на голове кожа. Это были прославленные «железные ястребы». Они не однажды терзали китайские и тибетские полчища, теперь же неумолимо и уверенно, вразвалку, точно вышедшие на выпас молодые и сильные самцы-верблюды, сплошной стеной надвигались на монголов. И от гулко-го боя кованых копыт дрожала земля.

Немало стран поработил Чингисхан, немало народу истребил, но такого грозного величия и пышности еще не видывал. Перед этими закованными в железо «ястребами», даже на смерть взиравшими с гордым презрением, его вояки казались полуголыми мальчишками, посаженными на стригунков.

Скрежет и грохот тангутской конницы приближались; впереди ровной, стройной цепью в кольчугах и латах цвета крови шли военачальники. Железные шлемы с золотистыми гребешками издали манили к себе, сверкали и слепили глаза. По поясу, ниже панцирей, туго затянуты яркие широкие кушаки, золотые кисти которых закрывали колени и развевались, словно шерсть на задних ногах холощенного верблюда. Сзади, на расстоянии ягнячьего перегона, шли главы войсковых тысяч, в серебряных шлемах, а еще чуть поодаль, в стальных шлемах, — сотские. Прежде чем обе стороны сойдутся лоб в лоб, те, что в золотистых и серебряных шлемах, раздвинутся и отойдут на фланги, а в бой, презрев опасность и смерть, ринутся закованные в сталь «железные ястребы».

И он подал знак предводителям туменов. Легкие, верткие воины на лохматых лошаденках диким наметом обрушились на левый фланг тяжелой тангутской конницы. Конники развернулись и встали перед монголами железным заслоном. Немало монголов, налетавших на всем скаку на этот заслон, в мгновение ока затрепыхалось на концах тангутских копьев, многие полегли и от секир, вытащенных тангутами откуда-то из-под ног. Сходясь лоб в лоб с «железными ястребами», монголы, точно овечьи тушки, вылетали из седла в воздух и, пронзенные, изрубленные, замертво падали под копыта коней. Но шедшая чинным строем тяжелая конница, должно быть, растерялась от этих бесшабашных, безумно дерзких наскоков опытных, ловких, стремительных монголов и, отражая эти наскоки, устала сама, обессилела, будто

неуклюжий ожиревший пес в драке с шавкой. Изворачиваясь и уклоняясь от тяжеловесных ударов тангутов, монголы все чаще и чаще наносили быстрые, точные ответные удары, одну за другой сносили головы в железных шлемах. Со звоном и грохотом скатывались головы «ястребов» под ноги коней, но обезглавленные тела, наглухо закованные в железо, не валились, а оставались в седлах, лишь слегка наклонившись вперед. Все смешалось на белом, голом плоскогорье. К полудню «железные ястребы» были наголову разбиты. Густогривые, статные скакуны, неся в седлах обезглавленные тела в кольчугах и латах, все тем же единым, ровным строем понеслись в безлюдную степь.

Но городские ворота вновь распахнулись. Теперь оттуда вымахали грудастые, с громадными, туго палитыми горбами и с развевающимися на шеях черными лохмами племенные верблюды, а с неба тотчас же посыпались, повалились камни. Прикрученные к верблюжьим седлам каменеты обрушили на легкую монгольскую конницу каменный град: булыжники с устрашающим свистом опрокидывали коней и всадников. Монголы повернули обратно, а когда более быстрые, чем верблюды, кони вынесли их из-под каменного дождя, на них бросились пешие воины тангутов. Изнуренные сечей с тяжелой тангутской конницей, монголы не выдержали неожиданного натиска, дрогнули, обратились в настоящее бегство. Разгоряченные тангуты, почувствовав близость победы, бросились догонять врагов и вскоре рассыпались по степи отдельными группами. Тут-то и появились из засады свежие тумены и с криком и воплями вихрем обрушились на усталых тангутов.

Так наказал он тангутов. На поле брани от прославленной, грозной армии остались одни трупы. Шидурге, занявший трон после смерти Дэ-Вана, с малочисленным уцелевшим войском укрылся в крепости. Чингисхан прекрасно знал, сколько войска осталось у Шидурге, не стал напрасно тратить свои силы и решил взять тангутскую столицу измором. Перед крепостными стенами занесли шатры и походные юртчонки монголов. Рядом с непокорным городом обосновалось множество шумных, оживленных аулов. Чингисхан твердо решил не снимать осады, пока не перемерут с голоду укрывшиеся в крепости тангуты. Бои прекратились. Но, сколько ни ждали монголы, вослы с белым знаменем не спешили появляться у

стен, и упрямое, безмолвное выжидание длилось целый год. Над городом тучей кружилось черное воронье. Оно тяжело хлопало крыльями, довольно и сыто каркало, словно хохоча над людским безумием, и от этого несмолкавшего грая холодела душа.

Прошла зима, наступило лето, но Шидурге все еще не сдавался. В амбарах и складах, должно быть, давно кончились все запасы, а ворота не открывались. Чингисхан упрямылся и терпеливо выжидал своего. Над городом все реже и реже вился дымок; тангутских голов, то и дело высывавшихся из-за стен, становилось все меньше. И тут монгольские войска, изнывавшие от затянувшегося безделья, не в силах больше терпеть, бросились в бой. Но биться было уже не с кем, в городе нельзя было ступить ногой: всюду валялись трупы. Когда монголы ворвались в город, столько черных ворон, оглушительно каркая, поднялось в воздух, что на миг скрылось солнце, и вокруг стало темно и жутко, как при затмении. Шидурге, потерявший надежду на помощь соседей, был равнодушен к падению своей столицы. Скорей всего он был доволен, что наконец-то кончились страдания и муки этой позорной жизни, изнурившей народ. Зная то, Чингисхан еще три дня продержал его в собственном дворце, не выпуская и не убивая, заставив терзаться бессилием и неведением.

На четвертый день стража привела к хану измученного голодом бледного Шидурге. Правитель тангутов был в расцвете лет, должно быть, ему было немногим более тридцати, но от него остались одни кости. Он старался с достоинством держаться перед надменным завоевателем, он облачился, как и подобает правителю еще недавно могущественного государства, но тонкая, как былинка, совсем прозрачная шея едва выдерживала тяжесть короны. Как бы ни свирепствовал голод в осажденном городе, не должен был так изнурить себя правитель: видно, Шидурге был человеком самолюбивым и мнительно суетливым.

Чингисхан недолюбливал свое важное место на троне, он сидел на медвежьей шкуре, поджав под себя ноги. Когда Шидурге, не склонив головы, вошел в шатер, Чингисхан не уставился, как обычно, на пришельца в упор, а лишь покосился, не заговорил он и с предводителями туменов, чинно сидевшими по обе стороны. Он подозвал к себе двух-трех слуг и долго давал распоря-

жения по поводу завтрашнего — в честь победы — грандиозного пира. Потом обстоятельно, до мелочей, расспрашивал об этом же пире еще двух и лишь после этого разрешил им покинуть шатер.

В шатре воцарилась мертвая тишина. Чингисхан все еще не удаивался взглядом Шидурге. Вошли двое совсем еще молодых предводителей сотни и, робея перед многолюдной ханской свитой, смущенно устроились у порога. Чингисхан устремил взгляд на них, хриплым, тихим голосом начал речь. Говорил он едва слышно, чтобы слушали особенно внимательно и напряженно, он ронял каждое слово ровно, без особого выражения, иногда растягивал, оттеняя и подчеркивая слова. Его лицо не выражало ни снисходительности, ни ложного сострадания. Насколько мягок был голос, настолько суровым было выражение лица: ни на низком покатом лбу, ни в узких темно-серых глазах никто никогда не нашел бы следов свирепого гнева или необузданной ярости, мстительности или пронизывающей насквозь ненависти. Только под тонкими кончиками усов скрывалась едва заметная, таинственная ухмылка, и холодок этой ухмылки на невзрачном, унылом, как осенняя степь, плоском сером лице озадачивал, навеяв невольный страх.

Но и ухмылка Чингисхана, и его скользкий, быстрый взгляд не произвели на тангутского пленника никакого впечатления. Шидурге старался и не мог понять: как невзрачное это существо, не имеющее ни привлекательной внешности, ни грозного вида, этот маленький, в комок сжавшийся, незаметный человечек, словно дряхлая старушонка, сидевший перед ним на медвежьей шкуре, мог со своими невежественными вояками победить могущественную страну? Сломить, несмотря на отчаянное сопротивление, народ со столь развитым искусством, наукой и благосостоянием, о чем завоеватели даже не имели понятия? Он никак не мог себе объяснить: каким образом эта серая личность, похожая на птенца пустыни, могла смешать с землею столь именитых, будто само небо, могущественных правителей и владык? Кому и чему поклоняется безумие этой дикой орды, разрушающей города и селения, захватывающей бесценные, созданные трудом человека сокровища, швыряющей их в своем невежестве под ноги, топчущей все на земле?! И вот он сидит, великий завоеватель, будто тушку ярки, подмявший под себя полмира, и, словно стервятник на падали, впри-

щур поглядывает вокруг. А ведь когда эти дикари хватали друг друга за глотку и, подобно бешеным псам, грызлись из-за тучных пастбищ и полноводных озер, занятые суетой жизни люди и не ведали, о чем помышляют племена за горами, были беззаботны. И вот какой-то проходимец, возглавив невежественные полчища, вырубил на корню, уничтожил все, как саранча уничтожает посевы.

Словно желая показать, что он прекрасно понимает, о чем сейчас думает Шидурге, Чингисхан смерил его долгим, испытующим взглядом и снова отвел глаза.

От унижения давно уже все кипело внутри Шидурге: он больше не мог сдерживаться и громким, резким, как клекот, голосом, чтобы услышали все, кто сидел сейчас в золотисто-пестром шатре, воскликнул:

— Эй, Чингисхан!..

Чингисхан обернулся, но, не давая Шидурге закончить, распорядился, чтобы в шатер позвали охотника Кахара.

— Где, ты говоришь, есть единственная на свете женщина с телом белее снега?

— Мой повелитель! Я слышал: если есть такая женщина на земле, то это может быть только Гурбельжин, жена хана Шидурге.

— Тогда я поручаю охрану Гурбельжин тебе. Завтра, когда кончится пир, ты приведешь ее ко мне. А если до этого ее коснется хотя бы ветер, я сниму твою голову.

Охотник Кахар вышел. Теперь Чингисхан весь повернулся к Шидурге. Лицо Шидурге побелело еще больше, глаза лихорадочно заблестели:

— Эй, ты! Кичливый и глупый хан! Если на земле останется хотя бы один тангут, час возмездия грянет и над твоей головой. Жизнь моя в твоей воле. Казнишь или помилуешь — тебя самого покарает судьба, умрешь — кара постигнет твоих потомков!

Шидурге больше ничего не мог сказать: задохнулся от гнева.

Никто из сидевших в золотисто-пестром шатре не проронил ни слова. Вся эта орава сановитых и досточтимых застыла в выжидательных позах, с любопытством, будто на драку двух разъяренных псов, глаза на поединок. Ни у кого на лице не было недоумения, из-за страха перед Чингисханом все скрывали праздный зуд любопытства:

«Что же будет дальше?» Чингисхан, уставясь на Шидурге, хитро усмехнулся. Он давно уже знал, что тангуты упрямы, самолюбивы и мстительны. Это у них существует обычай: не оставлять в покое обидчика, пока не отомстишь ему сполна, пока не проглотишь несколько ложек его ненавистной крови. Это им принадлежит страшная клятва: «Если я не отомщу врагу, пусть с головы моей спадут волосы, пусть останусь без пищи, пусть жена и дети пойдут по миру и околеют с голоду, пусть подохнет весь мой скот!» И если в семье тангута не найдется мужчины, способного мстить, он пригласит к себе в гости всех соседей и родичей, уважит и угостит их от всей души, а потом начнет умолять, чтобы кто-нибудь потребовал от врага кровную плату.

Вот на что намекал сейчас Шидурге! Он был уверен в том, что когда-нибудь потомки тангутов, торжествуя, злорадствуя, из черепа владыки, сокрушившего полмира, выпьют вино, смешанное с кровью сивого пса. Вот чего он захотел! Безумная надежда всех поверженных — возлагать мечты и чаяния на потомков.

Чингисхан гневно уставился на Шидурге.

— Никто, кроме самого всевышнего, не посмеет мне угрожать. И если найдется желающий отрубить мне голову, что ж, поживем — увидим. Ну а тех, кто хочет тревожить покой моих потомков, лучше истребить поголовно! Чтобы после не было досады.

И двое вооруженных секирами воинов поволокли Шидурге из шатра.

6

Долго вглядывалась она в уродливые развалины и груды камней — остатки мощной стены, огнившей бурханский дворец, но бурхан Шидурге исчез, словно канул в воду. Всадники в черных железных шлемах, оцепив дворец, выстроились на своих низкорослых конях на расстоянии десяти шагов друг от друга. Ни одна живая душа — ни с той, ни с другой стороны — не могла проникнуть через это кольцо. Над головами мрачно застывших воинов грозно ошестинились пики, и даже птицы покинули некогда тихий, уютный дворцовый сад. Стояла выморочная тишина. Казалось, все живое забилося в норы и затаило дыхание. В огромных, растянувшихся на расстояние коных скачек дворцовых покоях тоже будто не осталось людей: ни шагов, ни скрипа дверей не было слышно.

Мучительно прошли для нее три бесконечных дня. Сегодня в полдень у разрушенных ворот вдруг появилось несколько человек с кривыми обнаженными саблями, и при виде их Гурбельжин как будто почуяла облегчение. Она знала, конечно, что эти люди идут вовсе не для того, чтобы сообщить хорошую весть, но ей чудилось избавление от нестерпимой, изводившей ее тишины. Она оторвалась от окна, поспешила к зеркалу. Презренный враг не застанет ее врасплох, простоволосой и неодоетой, кроважадные, все замечающие глаза палачей не увидят ее неряшливой, она не даст стервятникам повода для злораства.

Внимательно осмотрев себя в зеркало, она взошла на четырехугольное возвышение из слоновой кости, стоявшее в глубине просторного зала. Опустилась на колени и аккуратно, со всех сторон, подоткнула одежду. Вышитую золотом шапку, щедро украшенную драгоценными камнями, с трудом выдерживала ее слабая шея, однако ханша высоко держала голову. Она сложила руки крестнакрест и застыла, спокойно глядя на дверь. Казалось, весь зал наполнился грохотом, но этот гулкий топот пронесся мимо. Она не шелохнулась, продолжая сидеть в той же позе. Все дальше и дальше удалялись шаги, вскоре они и вовсе затихли, зловещая тишина опять застыла в порогах ханши.

Она расслабила онемевшую от напряжения шею и подошла к окну: по каменным плитам двора люди с кривыми саблями вели ее Шидурге. Воины на лохматых конях расступились, пропуская стражу с пленным бурханом. Между сверкавшими на солнце обнаженными саблями блеснула золотая корона Шидурге и тут же исчезла.

Ханша долго и неосмысленно глядела на опустевший двор. Перед ее глазами все еще не исчезало видение: Шидурге, небольшого роста, с надменно поднятой головой гордой походкой шел среди сверкающих сабель. Он все шел и шел по давно не метенным, пыльным, уныло-серым каменным плитам, и она, не отрываясь, следила за ним, надеясь, что он обернется и скажет ей что-нибудь на прощание. Нет, Шидурге не обернулся. Вот идет он все дальше, гордо неся голову в окружении обнаженных сабель, и нескончаемо тянется эта площадка, покрытая густой серой пылью...

В дверь неожиданно постучали. Ханша не поняла, что это был за стук, оглянулась. Правая створка огромной

позолоченной двери окрасилась в цвет крови. Кровь разливалась все шире и шире, она заливала дверь и стену. Ханша брезгливо отвела взгляд от кровавой стены и посмотрела на дверь. Там, у порога, низко, до самого пола, клала поклоны служанка. И дверь, и стены, залитые кровью, вдруг разом исчезли, зал обрел свой прежний унылый вид.

Прямо перед ней стоял старый казначей. Как это было принято в мирное время в тангутском дворце, он был облачен в длинный багрово-красный суконный халат. Изпод подола, украшенного позументами, высывались синие кожаные кавуши с загнутыми носами. Обеими рукавами старик как бы упирался в наборный блестящий ремень, затянутый ниже пояса. Лоб казначея бороздили глубокие морщины, продолговатые глаза были потуплены. Густая, с сильной проседью растительность начиналась у него прямо под большими торчащими ушами и заканчивалась под подбородком, концы усов поникли, прикрывая уголки рта.

Ханша с удивлением глядела на вытянувшегося перед ней старого казначея. Бледные, дряблые стариковские губы шевелились, должно быть, он говорил что-то, ханша, ничего не понимая, кивала ему головой.

Казначей взглядом указал во двор, дернул плечами. Ханша глянула в окно: во дворе было по-прежнему пусто. Она опять посмотрела на старика. Тот, явно поражаясь, долго смотрел в ее бессмысленно-пустые глаза, потом подал служанке знак. Та, не разгибаясь, послушно вышла на середину, достала из длинного широкого рукава круглое серебряное блюдо, поставила его на четырехугольное сиденье у стенки. Потом отступила и встала позади старика.

Низко и глухо гудел в огромном зале голос старого казначея. Ханша ничего не понимала, она словно застыла в оцепенении.

Старик наконец сделал паузу, выжидательно уставился на ханшу. Но она молчала по-прежнему, и тогда он снова дал знак служанке. Служанка, размахивая длинными рукавами, вновь подошла к четырехугольному сиденью, со звоном положила что-то в серебряное блюдо и тут же отступила на прежнее место. Гурбелъжин заметила на блюде широкий, с небольшим голубоватым камешком золотой перстень.

Снова, заглядывая в лицо ханши, ожидая ответа, заговорил старик. Он сам направился в глубину зала, склонившись, осторожно взял из блюда кольцо, извлек из него дымчато-голубой камешек и показал на дне углубления несколько зеленых кристалликов. Что говорил старик, что он от нее хотел, Гурбельжин не поняла и на этот раз.

Тогда он поставил камешек на место, положил кольцо на блюдо, отнес к сиденью и сказал что-то служанке. Та вдруг смутилась, растерянно глядя то на старика, то на ханшу. Казначей отвернулся. Служанка, не спуская со старика глаз, медленно развязала пояс. Из-под атласного халата блеснуло гладкое, с розоватым оттенком, лоснящееся и совершенно обнаженное тело. Ханша вздрогнула. Только теперь она вышла из оцепенения и, словно замороженная, смотрела на служанку. А та вдруг согнулась, сунула руку куда-то под халат и непостижимо откуда извлекла желтоватый, длиной с дождевого червя, предмет, узкий и плоский. Запахнув халат, она хотела было положить этот предмет на серебряное блюдо, но старик, стоявший спиной, вдруг подскочил к ней и схватил за руку. Служанка остановилась, она вся побледнела. По тому, как она до крови закусил губу, было видно, какой страшный стыд испытывала она в ту минуту.

Старик вытащил из кармана своего багрово-красного халата точно такой же, только розового цвета, предмет. Словно желая еще более удивить изумленную ханшу, он открыл этот продолговатый предмет, извлек из него что-то совсем тонкое, блеснувшее стальным блеском. Из другого кармана казначей достал плетеную маленькую камчу и один конец подал служанке. Едва коснувшись блестящим предметом сыромятного ремня, он развалил его на две части и посмотрел на ханшу, как бы спрашивая: «Поняла ли ты наконец?» Он открыл маленький розовый футлярчик, вложил туда острый блестящий предмет, отнес к серебряному блюду и опять указал на двор. Совершив все эти манипуляции, старик и служанка, словно опытные фокусники, начали учтиво откланиваться, шаг за шагом отступая к выходу. У двери оба, едва не коснувшись лбами пола, поклонились еще раз и неслышно исчезли.

Гурбельжин стояла в недоумении, не зная, сон это или явь. Она смотрела то на дверь, за которой только что

скрылись служанка и казначей, то на четырехугольное сиденье, где лежали в серебряном блюде два загадочных предмета: золотой перстень и розоватый футлярчик...

Уже солнце перевалило зенит, а Шидурге не возвращался. Все длиннее становились тени, его не было, а были все тот же унылый и пыльный двор, все те же застывшие в безмолвии сарбазы, сидящие на мохнатых конях. Дворцовые пристройки по обе стороны двора с выбитыми окнами и сорванными дверьми зияли жуткими провалами, нагоняя страх и тоску.

Тишина опять давила, ломила, впивалась, словно когтями, и ханша с трудом дотащилась до постели. Казалось, в этом унылом пустом мире и от нее ничего не осталось. Даже горе, вот уже целый год изводившее ее изо дня в день, и страх, от которого кожа съеживалась на макушке, и гнев, и ненависть, раскаленным углем обжигавшие сердце, — все, все вдруг начало угасать. Тревога и думы, так долго терзавшие душу, словно крысы, покидающие разрушенные жилища города, вдруг разом исчезли.

Она не в силах была сейчас понять загадочное посещение служанки и казначея: может, в эту беспросветно-унылую пору хотели они ее позабавить, старались утешить объятую горем душу, хоть как-то развеять тоску и ободрить сердце — кто знает... У нее не было ни сил, ни желания, ни терпения обдумать все это.

Бурхан Шидурге не приходил к ней.

Страх, только что покинувший ее, вдруг снова вернулся. Казалось, вновь ожило онемевшее тело, кровь ударила в жилы, и Гурбельжин вскочила с постели. Она подбежала к черепу горного барана посреди зала на мраморной подставке. Рога как символ доброго предзнаменования подарил ей отец в день свадьбы, и они стояли на мраморном столике в середине зала, на священном месте дома. Вдвоем с Шидурге они, бывало, подолгу разглядывали эти рога, разгадывая судьбу. Один рог был чуть больше другого и загибался круче — он принадлежал Шидурге, другой, поменьше, достался ей. Раньше, сколько бы они ни рассматривали гладкую, будто отполированную поверхность, на ней не появлялось никаких знаков, и это успокаивало и радовало молодую чету. Казалось, что и власть, и богатство их, и счастье навсегда останутся незыблемыми, а сами они — бессмертными. Лишь однажды, еще в минувшем году, Шидурге, войдя в зал,

по привычке глянул на мраморную подставку — и изумился. «Что случилось? Чем ты так удивлен?» — спросила она. «Полюбуйся, — ответил он, — как блещут сегодня рога!» Она внимательно осмотрела череп архара и тоже удивилась необыкновенной красоте рогов. Толстые, гладкие, круто закрученные, они тускло мерцали, а внизу, у их основания, чудилось, были надеты серебряные кольца. Оказалось, только перед этим слуги смахнули с рогов пыль и покрыли их лаком, к тому же в тот летний день весь зал был залит ярким солнечным светом. На следующий день приказал долго жить престарелый хан, и на опустевший трон сел молодой Шидурге. Не однажды пристально рассматривали они потом рога, но никаких перемен в них так и не высмотрели. И даже когда обрушилась эта черная беда, принесшая их стране столько горя, круторогий череп горного барана оставался прежним. Враг захватил страну, взял столицу в осаду, день и ночь громил и разрушал крепость, рога ничего не предсказывали, будто ничто не угрожало Гурбельжии с Шидурге. Но не по себе становилось после гадания... Долго, очень долго длилась осада. Шидурге целыми днями пропадал где-то с войском, возвращаясь по вечерам усталым, измученным. Они садились к мраморной подставке и гадали, внимательно разглядывая рога. Когда начинало рябить в глазах, они смотрели друг на друга. Она испытывала острую жалость и боль, когда глядела вот так на неузнаваемо осунувшееся, почерневшее от горя, усталости и бессонницы лицо мужа. Такого чувства — жалости и сострадания — она ни разу не испытывала за полтора года супружеской жизни, и ей было непонятно, почему вдруг так потеплело ее сердце к этому измученному, глубоко несчастному, невзрачному с виду мужчине. Может, оттого, что изнуренному в сражениях бурхану некогда было даже разделить постель со своей молодой супругой... Ведь ханша, чего уж скрывать, немало ночей провела без сна в ожидании Шидурге, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому шагу за дверью. Желание томило ее, и она, злясь на бесчувственного мужа, бывало, думала: «Пусть стыдно, а утром я ему прямо скажу об этом». Но наутро она видела разрушенный город, кровь умиравших людей, вконец измотанного, страшно похудевшего мужа, слушала о боях и сражениях и уже не решалась говорить о своей женской обиде. Однако чувство, которое охватило ее в последние месяцы, было

совсем другим. Даже в первый месяц замужества, когда оба были опьянены любовью, она не ощущала в себе такого трепета и тоски по нему...

Гурбельжин до замужества ни разу не видела в лицо Шидурге. А какая девушка в годы цветения не видит себя в объятиях самого красивого, самого храброго, самого умного, взлелеянного в мечтах джигита, который совсем-совсем непохож на тех, кого она видит в жизни? И когда ханша впервые увидела своего мужа, она сильно разочаровалась: так непохож он был на того, что жил в ее девичьих мечтах. И даже на супружеском ложе ей продолжали сниться девичьи сны. В этих снах она была влюблена в сказочного принца, искала его, уходила далеко-далеко в степь, покинув родные края, поднималась на скалы, чтобы оттуда, со страшной высоты, кинуться в пропасть... И тут каждый раз она просыпалась. Тот, кто лежал рядом, данный ей богом супруг, казался незнакомым, совсем чужим. После таких снов она вставала, убитая стыдом, и не могла поднять глаз на мужа.

Совсем недавно ей снова приснился сон. Она опять стояла на краю скалы, а сзади приближались преследователи, и впереди зияла страшная пропасть. Она повернулась к своему спутнику, и вот им оказался не тот сказочный и желанный незнакомец, а ее же муж Шидурге. Перед тем как броситься со скалы, она со вспыхнувшей вдруг любовью и благодарностью к нему горячо сжала его длинные, тонкие пальцы.

С того дня Гурбельжин ощущала новое, особое чувство к Шидурге, прилив неведомой раньше нежности.

Одиноко и тоскливо ей было в громадном и пыльном дворце. Ее охватывала горечь оттого, что из-за этой неожиданной беды безрадостно проходят самые лучшие дни, отведенные для любви. В такие минуты она жалела, что не дал ей всевышний того крохотного существа, которое хоть плачем своим изредка нарушало бы тягостную тишину этого громадного выморочного дворца, хоть на мгновение отвлекало бы от изнурительных дум об этом затянувшемся побоище. Но не было вокруг никого, кого бы можно было приглубить и приласкать, она была одна-одинешенька. Чтобы хоть как-то развеяться, она гуляла в саду, в сопровождении слуг ходила по городу, по подземным переходам поднималась на крепостные стены. Но от этих прогулок становилось еще тягостнее, и, возвращаясь, она благодарила всевышнего за то, что не дал

он ей в такое смутное время ребенка. Потому что он родился бы только на горе себе. Теперь она, как никогда раньше, видела, что в этом маленьком, с ладонь, мирке, окруженном лютым врагом, нет для нее более близкого и родного человека, чем ее Шидурге. И от этих дум в груди все росло и ширилось до сих пор неведомое ей чувство. Оно было совсем непохоже на ту жадную, нетерпеливую страсть, что приходит с мужской близостью, это было очень нежное, робкое и доброе чувство, которое она боялась высказать, опасаясь, что муж не поймет его, сочтет за обычное проявление привычных супружеских ласк. Она боялась и не хотела этого. Вечерами, глядя на мужа, она чувствовала, как появляется желание прижать к себе его голову с рано поседевшими висками, пригладить волосы, губами коснуться озабоченного и горестного лба. Вот она уже невольно протягивает к нему руки, но стыд побеждал это желание, и ханша смущенно замыкалась в себе...

А Шидурге каждый вечер сидел у нее, сидел молча, затем, подавленный, уходил к себе. Она видела, что он порывается что-то сказать, что-то очень важное, но не говорит, молчит. И сколько она передумала дум, терзаясь и стараясь угадать, что же это за слово, которое никак не решается высказать ее муж. Она готова беспреклословно исполнить любое его желание, любую его волю. Но Шидурге молчал, оставляя ее в тяжком неведении, она видела в его печальных глазах не любовь, а жалость и сострадание. Так было и три последних дня, когда бурхан подсаживался к ней, долго, понуро молчал, потом смотрел на нее загадочным, полным сомнений взглядом и, тяжело вздохнув, удалялся к себе.

Вчера он зашел особенно хмурым. Его лицо выражало решимость, но и на этот раз он промолчал. Он даже не смотрел на нее так пристально и жалостливо, как прежде, а все прятал глаза, и, лишь уходя, глухо заметил:

— Завтра к тебе придет казначей.

Не успела она спросить, зачем придет к ней этот старик, как Шидурге уже не было рядом. Всю ночь ханша не сомкнула глаз, ей даже хотелось самой пойти к бурхану, униженно проникнуть в его комнату. «Будем ли мы завтра или уже нет? Может быть, это наша последняя ночь...» — такие тревожные мысли не оставляли ее, страх охватил все ее существо. Она измучилась за этот

год, в груди камнем лежало горе. Забыться хотя бы на одну ночь, ослабив до предела натянутые сердечные струны, горячими слезами облегчить остывающую, окаменевшую душу. Несколько раз вскакивала она с постели, решительно бросалась к двери и каждый раз, почти невнятная, возвращалась назад.

И теперь она не могла выйти из оцепенения. Казалось, ее крепко-накрепко связали веревками из конского волоса, и словно тем же арканом опутаны были ее думы, мечты и мысли. Наступило утро, но она и себя, и все, что творилось вокруг, воспринимала как в сонном тумане. Ощущение действительности исчезло, мысли лихорадочно путались, ронлись, взгляд блуждал. Невыплаканные слезы застыли в ее глазах. Она случайно взглянула на череп горного барана и вдруг на лобовой кости, между рогами, увидела небольшую трещину. Исчезло стоявшее перед глазами зыбкое марево, она очнулась и, не веря себе, внимательно осмотрела череп. Рога были все те же, но на желтоватой, еще не совсем высохшей кости ясно обозначилась небольшая трещинка. Как же они, гадая на рогах, не замечали эту кривую, словно серп молодой луны, трещину?

Словно дивное таинство, притягивала ее взор едва заметная черная линия на середине желтой лобовой кости. Ханша не могла оторваться от нее. Что предвещает эта трещина, которую она увидела только сегодня?

Это было так неожиданно, так поразительно. Уж не померещилось ли ей все это? В такое несчастливое время разве может эта трещинка предвещать удачу и радость? Как убедить себя, что это к добру?

Отгадка такого откровенного предзнаменования не приходила ей в голову, и не хотелось думать о зловещем знаке судьбы.

Как утопающий хватается за соломинку, так и она, отгоняя мрачные мысли, удивлялась лишь одному: почему раньше не замечали они эту ясную трещину да еще на таком заметном месте? Мысли ее кружились вокруг этого, как кружится спутанная лошадь вокруг прикола. Не в том ли все дело, что всегда каждый из них пристально разглядывал только «свой», ему отведенный рог и никогда не обращал внимания на лобовую кость посредине? Каждый замечал изменения только на своем роге, а срединная кость, соединявшая могучие, крутые рога, не касалась ни ее, ни его. Видать, потому ни один

из них не заметил зловещего знака рока, коварную трещинку, притаившуюся между рогами. Ведь стоило незначай охватить взглядом оба рога вместе, и в глаза сразу бросилась бы эта трещина, так четко, так явственно разделившая рога.

Конечно же, это было предначертанием самой судьбы, означавшим конец их былого могущества и всей жизни. Коварный враг, со всех сторон оцепивший их город, не сегодня-завтра разрушит крепость и выкурит их, как охотник выкуривает из норы зверя. И тогда повесят обоих коронованных — и Шиндурге, и ее повесят, и это будет концом жизни. Разве не это предвещает трещина меж рогов? Кто знал, кто только думал, что такое может случиться? Ведь этой черной, зловещей линии никто даже не разглядел до самого рокового часа. Не заметил ее и отец, иначе разве подарил бы он эти рога? Как неожиданное горе, обнаружилась эта трещина в самый безысходный момент ее жизни. Каждый день склонялся над этим черепом Шиндурге, а ведь тоже ничего не заметил. Иначе он ведь сказал бы ей. Но что он скрывал от нее в последнее время? Может, он уже видел виселицу, на которой повесят их обоих? Но об этом он знал еще год назад, когда было разгромлено его войско, а столицу взяли в осаду. Да, да, уже целый год они терпеливо и мужественно, не давая повода для злорадства врагов, ждут своих палачей, и не это было причиной печальной подавленности Шиндурге. Он давно уже был готов к смерти, давно чувствовал неотвратимость конца. Так что же тогда он скрывал от нее? Какие слова столько раз порывался сказать, да так и не высказал? Почему он с такой болью и жалостью глядел на нее и почему в глазах его была мольба о прощении? Ведь за этот год она испытала, перечувствовала и пережила то же самое, что и он. У них была одна судьба, их обоих ждала общая смерть. К чему же тут его жалость, печаль и мольба?

Ах, она чуть не забыла... Поспешно подошла она к четырехугольному возвышению у почетной стены, взяла из серебряного блюда перстень. Потом извлекла из гнезда драгоценный камешек: зеленые кристаллики в его углублении были ядом. А в крошечном гладком костяном футлярьчике оказалось тонкое обоюдоострое стальное лезвие, и теперь ей стало понятно, зачем приходили к ней старик казначей и служанка. Кажется, догадывалась она и о том, что порывался сказать ей Шиндурге.

Но только к чему это? Зачем ей кончать самоубийством, если она все равно предстанет перед палачом? Или боялся он, что она не вынесет смертных мук? Но если она выстояла в этом длившемся целый год аду, то почему бы не вынести ей мгновение под перекладной виселицы или под топором палача? Она вытерпит, ей уж нечего бояться теперь. Жизнь ее не дороже поработанной страны или жизни мужа. И если ее повесят, то вместе с ним, с человеком, который дан ей самим богом; если решат обезглавить, то вместе со своим Шидурге она положит на плаху голову. Белый свет будет для них одним до последнего их дыхания, и вместе уйдут они из этой жизни. Никто и ничто не разлучит их, между ними не останется даже сама смерть. Но, может быть, что-то другое задумал подлый враг? Что предрекает тонкая, как серп новорожденной луны, трещина? Быть может, враги хотят обречь одного из них на подлое одиночество, оставив на поругание один лишь рог?! Всевышний бог! Почему его нет?!

Гурбельжин вновь подошла к окну. Солнце уже склонилось к западу, вечерело. Вдоль развалин крепостной стены, оцепив дворец, маячили враги на низкорослых лохматых конях. Неожиданно стража расступилась, давая кому-то дорогу. У ворот, махая кривыми саблями, показалось несколько человек. Ханша, не отрываясь, смотрела на них, пока они не подбежали к дворцу. Шидурге среди них не было.

Теперь она окончательно убедилась в коварстве врага. И, уже слыша топот по переходам дворца, тангутская ханша кинулась к четырехугольному возвышению, на котором стояло серебряное, принесенное казначеем блюдо.

7

Целую неделю шел хмельной пир, всколыхнувший побережье Черной реки. Бесстыжее солнце, равнодушное к диким земным разгулам, выкатилось на вершину холма, который остался от разрушенного города, и ослепительно, радостно улыбалось. Муравьи копошились на пепелищах, суетливо бегали в своих бесконечных житейских заботах. Суслики успели вырыть себе норки под развалинами и теперь, блаженно посвистывая, грелись на солнышке. И время шло своим чередом, безразличное ко

всему, что творится на белом свете. На месте кровавых луж выросла густая зеленая травка...

Шестьдесят пленников — все, что осталось от многолюдной тангутской столицы, успели уже привыкнуть к шуму и гвалту, к гортанным крикам и грубым забавам весело пировавших захватчиков; им не было дела до тех, кто, вырыв на склонах холмов сотни земляных очагов, с утра и до поздней ночи варил душистое, исходившее паром мясо, пил кумыс и вино, празднуя лихую победу. Печальными, как у верблюжонка, глазами смотрит пленник на окутанные маревом синие горы, на тучные пастбища и луга, где еще недавно тангутские пастухи мирно пасли скот, на прозрачную, звучно плещущуюся Черную реку.

Сегодня последний день недели. В первый же день, когда Чингисхан закатил доселе никем не слыханный пир, волосы узников шевелились и ныло нутро, а руки и ноги дрожали. Пленников душила бессильная ярость позора и унижения. Но потом, когда этот содом стал продолжаться изо дня в день, ярость их притупилась, и лишь где-то в глубине осталась одна глухая, щемящая боль. Сегодня возле шатра Чингисхана все чаще собиралась толпа, и несчастные, измученные горем сердца узников задрожали от черных предчувствий.

После полудня, закованных в кандалы, их выгнали на круглый бугор возле шатра повелителя.

Торжество Чингисхана все еще продолжалось. Дастархан был заставлен драгоценностями, инкрустированной золотой и серебряной посудой, изготовленной чародеями-ювелирами Сартаулов, Кавказа, Индии и Китая. Обычно серое, бесцветное лицо Чингисхана сегодня было красным и пухлым. По затылкам шестидесяти пленников прошла семигранная сыромятная плетка, их поставили в стороне на колени и привели закованного в пожные кандалы Шидурге.

Чингисхан обратился к нему:

— Ты, помнится, говорил вчера: если останется на земле хоть один тангут, он отомстит за тебя. Так ли ты говорил?

— Да! И будет так, как сказано.

— Но из всего тангутского племени остались в живых только шестьдесят этих и ты сам. Остальные перерезаны, как козлята. Из женщин я оставил одних пригожих, отныне от них родятся только дети монголов.

Этих шестьдесят на твоих глазах я отправлю на тот свет!

Стон прошел среди пленных тангуток, согнанных в круг поодаль: словно мечи палачей вспороли их животы и заживо всунули туда вражьи щенята... И тотчас над затылками шестидесяти пленников разом блеснули шестьдесят секир. Шидурге не успел бросить прощальный взгляд на однородных своих собратьев, к его ногам, словно кусты перекасти-поля, покатались головы. Обезглавленные тела, застыв на мгновение и подавшись вперед, грузно валились на землю.

И снова раздался голос Чингисхана:

— Мухули мусхули угай балган! ¹

Голос его прозвучал резко, как клекот орла.

— Отныне, чтобы не забыть этот день и этот час, каждый раз, садясь за трапезу, кричите: «Мухули мусхули угай!»

И тут же эхом откликнулось все ущелье:

— Мухули мусхули угай!

Чингисхан снова повернулся к Шидурге.

— Теперь, кроме тебя, на всей земле не осталось ни одного мужчины-тангута! Все брюхатые бабы заколоты, ни один тангут не родится больше на свет! Скажи, кто будет мстить за тебя?

Невдалеке от пленных тангуток, на отшибе, восемь сильных монголов держали на плечах паланкин, со всех сторон покрытый шелками. В нем, кусая губы, сидела бледная ханша Гурбельжин, она все видела и все слышала через тонкую кисею паланкина.

Шидурге встрепенулся и резким, гневным голосом выкрикнул:

— Эй, не возносись, Чингисхан! И над тобою грянет возмездие!

Он заскрежетал зубами, но собрал всю волю и сильно потряхнул головой, чтобы смахнуть со лба капли смертного пота.

Чингисхан не сказал в ответ ни слова и подал знак двум палачам. За спиной Шидурге, скрестившись, лягнули секиры, и голова из-под золотой короны скатилась к ногам повелителя вселенной.

— Мухули мусхули угай! — громом прокатилось по долине Черной реки. Чтобы не вскрикнуть, ханша, слов-

¹ Мы истребили все вражье семя! (монгольск.)



но клая, сунула в рот край одежды. По белым, как мел, щекам сыпались горькие, как отравы, слезы. Обезглавленное тело Шидурге дернулось, подалось вперед и рухнуло плашмя рядом с перекатывающейся по земле короной. Конные распорядители пира и разносчики поскакали к холмам, чтобы собрать праздничные дастарханы.

Чингисхан порывисто встал, перешагнул через облитую кровью золотую корону тангутов и направился к шелковому палаатину.



С удивлением и ужасом смотрела Гурбельжин на костистую фигуру кадыкастого старика, тяжелой походкой подвигавшегося все ближе и ближе к ней. Белая рука ханши бессильно упала, из глазка перстня посыпались на подол ядовито-зеленые кристаллики.

...Довольная всем и собой, несла свои воды Черная река. Она звонко плескалась о берег, журчала и бормо-

тала, как и много тысяч лет назад. Чингисхан в сопровождении охотника Кахара и еще пятерых слуг спустился меж крутых скал к реке. Он знал, что теперь возле золотого шатра соберется немало любопытного и праздного люда, а ему хотелось уединения, хотелось укрыться от всевидящих человеческих глаз. Сюда верхом на коне доставили и ханшу Гурбельжин: здесь, среди зубчатых высоких скал, никто и ничто, кроме небесного светила, не увидит его.

Да, в такой, как сегодня, яркий, солнечный день можно вдоволь налюбоваться белым, как только что выпавший снег, телом красавицы Гурбельжин. У самого берега на нетронутой зеленой траве поставили небольшой шатер, в тени шатра рабы начали раздевать ханшу. Они помнили предсмертные слова Шидурге, они должны тщательно, с головы до ног, осмотреть тело красавицы. Когда скользнуло вниз вышитое золотом парчовое платье и обнажилось молочно-белое, как луна, женское тело, семеро мужчин, разинув рты, застыли в изумлении. Да, они никогда не видали такой красоты, они даже не заметили, как из-под одежды, с шуршанием упавшей к ее ногам, выпорхнул в небо белый голубь. Дрожа, они схватили ханшу за белоснежные руки, чтобы скорей отвести в шатер.

Чингисхан только теперь успокоился и пришел в себя. Оставшись в шатре один на один с прелестной тангутской ханшей, он прислушался: по условию, слуги должны были отойти от шатра подальше и зорко следить за тем, чтобы никто случайно не подошел к шатру. Видимо, слуги уже успели уйти, он ничего не услышал, кроме всплесков воды.

Он приблизился к юной, обнаженной слугами ханше, она дрожала, как косуля в капкане. На ней не было ни единого лоскутка, под которым можно было бы спрятать какое-либо оружие. Еще раз испытующим, подозрительным взглядом окинул женское тело Чингисхан. И браслеты, и кольца, и перстни, и серьги, и чолпы из волос — все-все сняли слуги с этой женщины. Закинув голову и белея тонкой длинной шеей, тангутка упала навзничь. В глазах великого повелителя потемнело, сейчас он ничего не видел, кроме ее нежных и полных губ и чистых, как у верблюдицы, черных глаз. Колени его словно обожгло раскаленными угольями: то были гладкие, как шелк, горевшие от стыда, позора и поруганной

чести бедра ханши. Давно не испытывал он такой безумной и слепой страсти. Тяжело и сдавленно дыша, словно выброшенная на берег рыба, он жадно вдыхал запах жаркого и божественно-молодого женского тела.

Чингисхан только было принял к ложбинке меж ее тугих, будто гранат, грудей, как вдруг охнул, задрожал и обмяк. Его скрученное от боли тело мешком свалилось рядом с ханшей.

Гурбельжин схватила что-то случайно оставшееся от ее одежд и бросилась из шатра.

Великий повелитель сел на корточки, с ужасом взирая на кровь, оросившую его дряблые ляжки. Он не посмел позвать сейчас своих слуг, заскрежетал зубами так, будто хотел раскрошить их, и ничком рухнул в постель.

8

Неожиданно и тяжело заболел великий повелитель. В ту же ночь были обезглавлены все его слуги, кроме верного Кахара; и лекари, и знахари, приходившие к больному хану, бесследно исчезали в шатре.

Монгольское войско поспешно покидало дотла разоренную столицу уничтоженных тангутов. В пути многие пытались навестить хана, расспросить о его здоровье, но он никого не велел пускать в шатер, он не говорил ни с кем, лежал целыми днями с закрытыми глазами, погруженный в какие-то только ему одному известные думы.

Лишь на третьем месяце пути войско остановилось на широком лугу в долине реки Чжан-Хак. Глядя на высокие луговые травы и на зеркальную гладь реки, Чингисхан впервые за время болезни произнес:

— На таких дивных лугах только и кормиться старому оленю да отдыхать старому человеку.

В этой долине и остановилось кочевье. На зеленом лугу у самого берега реки обосновалась ханская орда — ставка из двух огромных, спаренных юрт. Когда орда была установлена, Чингисхан приказал постелить у стенки и лег в постель. Стоял теплый, тихий летний день. В траве трещали кузнечики, щебетали птицы. Над ордой то и дело пролетали стаи диких, перепуганных гусей и уток. Развьюченные верблюды и расседланные кони дружно хрустели сочной свежей травой.

Чингисхан лежал, любясь этой незамечаемой им раньше картиной мирной жизни, потом вызвал охотника Кахара, единственного живого свидетеля его уединенной встречи с ханшей у Черной реки. Он приказал ему принести рубашку тангутской красавицы. После того события было обшарено все ущелье, но, кроме этой рубашки, найденной на острой, как птичий клюв, вершине скалы, ничего не осталось от прелестной тангутки. Потом, боясь ненужной огласки и кривотолков, хан приказал прекратить поиски. Прижимая к груди скомканную одежду, уже утратившую запах молодого женского тела, Чингисхан задумчиво помолчал и вдруг обратился к Кахару.

Одежда Гурбельжин, сказал он, должна храниться в отдельной, отведенной для этого юрте, и пусть эта юрта именуется Малой ордой великого повелителя. Каждый год в этот день месяца, точно на этом месте, после того как он уйдет в иной мир, должна проводиться тайлыга — грандиозные поминки в честь великого хана, где в жертву должен быть принесен человек. Когда великого повелителя настигнет смерть, никто не должен входить в юрту, кроме тех, кто будет обмывать и готовить его тело к загробной жизни. Потом, когда гроб с его телом закроют, кто-нибудь из наследников обязан обезглавить всех, кто видел нагое тело властителя.

Охотник Кахар отправился к наследникам, чтобы передать им желание великого хана. Вечером, в сумерках, он вернулся в орду, где в одиночестве почивал повелитель.

Чингисхан налил в ярко расписанную китайскую чашку какой-то напиток, протянул его Кахару, сказав, чтобы он выпил половину, а остальное вернул ему. Кахар удивился, однако не мог не исполнить приказание своего господина. Он выпил ровно половину загадочного напитка и тут же передал чашку маленькому сгорбленному старику, сидящему на пышной постели. И едва передал он из рук в руки чашку, как повалился к ногам хана. Но он еще успел увидеть, как великий повелитель, чьей грозной воле подчинялась половина мира, залпом выпил из китайской чашки то, что осталось после него, недостойного стрелка, всю жизнь по горам и ущельям гонявшего диких архаров. Кахар успел еще звучно цокнуть языком, чтобы выразить удивление, и это было последнее удивление охотника Кахара поступкам своего великого повелителя.

Одну из рек Восточно-Азиатского материка китайцы называют Хуанхэ — Желтой рекой. Тибетцы прозвали ее Мачу, то есть Красной рекой, а монголы — Хара-Мурэн — Черной рекой. Но в народе многие называют эту реку Хатын-Гол, рекой ханши.

Возле этой реки, прозванной так в честь тангутской красавицы, недалеко от города Тайхуачэн, возвышается необычайный холм. В утренние часы он кажется опрокинутой чашей, в полдень — большой юртой, поставленной в безлюдной степи, а вечером — круглым бугром, подножие которого окутано маревом, а вершина — тучами. Этот холм называется Темир-Олхо.

Когда Гурбельжин силком привели в шатер Чингисхана, она выпустила голубя, к ноге которого было привязано письмо, в нем было написано, как она собирается отомстить насильнику.

Там, где висится теперь Темир-Олхо, нашли тело прекрасной Гурбельжин.

Местные дехкане, поклоняясь праху женщины, отошедшей самому Чингисхану, бросали здесь по лопате земли, так на ее могиле вырос, как памятник, высокий и остроголовый, словно кончик копья, холм. И с тех пор каждый прохожий, каждый путник оставляет у священного холма горсть земли. Темир-Олхо напоминает всем живущим на земле: возмездие неминуемо, тот, кто приносит людям зло, найдет суровую кару, и не бог покарает его, а руки людей. Считается, что человек, который поведал другим эту историю, также добавил горсть земли к кургану Темир-Олхо.

Благодаря этому обычаю легенда переходила из уст в уста, из страны в страну, из поколения в поколение.

Вот и я, дорогой читатель, бросил к Темир-Олхо горсть земли, поведав тебе эту древнюю историю.

Перевод В. БЕЛОВА и Г. БЕЛЬГЕРА.

КОЛОДЕЦ

1

В тот день Енсеп не знал, не ведал, что ему больше не суждено будет опускаться в эту преисподнюю...

Он напился чаю и, едва спала жара, опять пошел к колодцу. Присел у краешка на серый песок, достал белую табакерку из рога с серебряной цепочкой, ухватил пальцами завитушки насыбая. Не торопясь, поочередно заложил его в ноздри — крепкий, терпкий табак пробрал насквозь, обжег носоглотку, и он несколько раз громко чихнул.

Смахнув выступившие слезы тыльной стороной ладони, Енсеп набрал полную горсть песка и стал внимательно разглядывать его. Удивительное дело — песок, извлеченный из глубины колодца, не успел за два часа просохнуть, несмотря на адский зной. Он был тяжел, влажен, приятно охлаждал руку. Да, не сегодня-завтра колодец наполнится водой.

К Енсепо подошли до испарины надувшиеся чаю его помощники и тоже принялись баловаться насыбаем. Потом развели тары-бары о том, о сем; больше всего их волновал, конечно, той, который устроит бай Байсал в честь нового, только что вырытого колодца. Все сошлись на том, что той состоится позже, когда похолодает и аулы возвратятся на зимовку. Перебрали знаменитых скакунов и борцов-богатырей, которые наверняка примут участие в состязаниях на торжестве. И даже не поленились, высказали предположения о призах и подарках, которые отвалит известный на всю степь бай Байсал.

Колодец этот будет самым глубоким и самым обильным на всем Устюрте. Уже сейчас черный атан¹ тянет чигирь на двести с лишним шагов. Со вчерашнего дня песок на дне резко убавился, влажными кусками пошли супесь

¹ А т а н — холощенный верблюд.

и глина. Не исключено, что вода окажется пресной. И когда Енsep пробьет последний плотный слой глины и доберется до медово-сладкой родниковой воды, бай Байсал ханом возомнит себя, ей-ей, ханом да и только! Вот уж тут он расщедрится! Тут он покажет свой размах, закатит той на всю округу, не пожалеет богатства.

Енsep не вмешивался в веселый разговор джигитов. Поглядывая на две лачуги, предназначенные для колодезкопателей, он думал о своем. Вон она стоит, прокопченная, жалкая юртишка степного ремесленника. Сколько бы ни заработал он голов скота или денег, не обновится ее прелая кошма, почерневшая от времени, дождей и жары. Его жена и дети в ауле — там, где есть вода. Сколько же прошло с тех пор, как он их видел в последний раз? Считай, почти год ковыряется он в этой чертовой норе. И лишь холодной, далекой уже теперь весной ненадолго навестил он семью. Да и то явился, чтобы поглазеть на хозяйство, как раз был овечий окот.

В этих лачугах мыкаются одни мужики. Двое подростков готовят пищу и стерегут жилье, пока остальные возятся у колодца. Днем мальчишки отправляются за питьевой водой. Седлают после полудня двух атанов, навьючивают на них кадки, кладут в рот курт — комочек кислого овечьего сыра — для утоления жажды, набрасывают на головы чапаны, чтобы не припекло солнце, и трогаются в путь. Возвращаются на другой день, спозаранок. Устают здорово, какой уж тут порядок, уют!

Вся жизнь потомственных кудукши¹ проходит вот так, в бесконечном скитании по безлюдной и знойной пустыне. Все потомки рода Караш, для которых копать колодцы, добывать людям воду стало наследственным ремеслом, с самой колыбели только и слышат разные смешки да пересмешки. «Эх, Караш, жилье его — шалаш, похлебку варит в котелке, собаки его — брехуны, девки — пусто-смешки, в белой юрте ему не жить, сапог добротных не носить, на верблюде не сидеть...» — так поддразнивает их род всяк, кому не лень. Ладно, и на том спасибо, что не говорят: «Караш-род и без пищи проживет». А то недавно отправили было парня к Утесу, брату бая Байсала, с просьбой дать двух дойных верблюдиц, чтоб было хоть в зной чем утолить жажду, так тот, негодяй, принялся насмешничать: карашцам-де верблюжье молоко не пойдет

¹ Кудукши (от кудук — колодец) — копатель колодцев.

винок, они ведь привыкли хлебать одну похлебку. Вернулся проситель ни с чем — и так бывает...

Сапожники и кузнецы хоть на язык остры. Случается, исподтишка ужалят — взвоешь. А кудушки — нет, не горазд на слово. Да и зачем ему, кто оценит его слово под семью пластами земли?!

Енсеп плюнул в сердцах. Ну, досада досадой, а дело делом: завернул он штанины выше колен, перепоясал себя волосяным арканом, направился медленно к колодцу. Джигиты прервали оживленную свою беседу, пошли за ним, дружно взялись за аркан.

Нутро колодца черно и беспросветно. Енсеп посмотрел на небо, выжженное добела нещадным солнцем, опустил ноги в зияющую пустоту, нащупал вырубленную в стенке ступеньку. Горячие ступни ощутили промозглую сырость. Прежде чем окунуться во мрак, Енсеп еще раз бросил взгляд на темневшие вдали лачужки.

Несобъятный голубой простор, окутанный дымчатым маревом, отгородили от него до черноты загоревшие ноги джигитов. Привычно держась за волосяной аркан, Енсеп откинулся всем корпусом назад и опустился еще на одну ступеньку. На дубленых и жестких, как ремень, лицах его помощников выступили капельки пота; джигиты напряженно следили за ним.

Енсеп коснулся следующей ступеньки. Небо, огромное, как море, небо сейчас превратилось в небольшую, опрокинутую над его головой круглую чашу. Каждой клеточкой тела он почувствовал ненстовый холод. Он нащупал ступеньку пониже. Солнечный свет остался там, высоко, вместе с джигитами; здесь царил сумрак. Казалось, свет сбегал отсюда, скопился вверху, у входа в колодец, и слегка дрожал.

Чем ниже, чем глубже спускался Енсеп, тем сильнее обжигал холод его голые ступни. Когда поднимаешься вверх, с каждой ступенькой становится веселей, радостней на душе. Енсеп, считай, всю жизнь, с детства, копал колодцы, но каждый раз, когда он спускался в безмолвное чрево земли, ему казалось, что он ощущает, как стареет. Иногда подкрадывался страх, чудилось, будто там, под ногами, в черной пустоте, притаился страшный, неведомый зверь. Он никогда не смотрел вниз, а пристально, с тоской вглядывался в маленький, с ладонь, родной клочочек неба над головой. Клочок становился все меньше и меньше; все крохотней, призрачней стано-

вились и фигуры джигитов, держащих аркан. Да и сам аркан на глазах делался тоненьким, как волосок.

Вот Енsep добрался до каменистого пласта. Совсем исчезли сумеречные тени. Его окутал плотный мрак. Сначала Енsep ничего не видел, но вскоре освоился и уже мог различить ощерившиеся каменистые стены. Устье колодца напоминало теперь отверстие наперстка, а люди — чуть шевелящиеся точки. Глубина в двести шагов...

Ноги безошибочно находили ступеньки: еще бы, попробуй полазить взад-вперед изо дня в день целый год... Бр-р! Стужа-то какая! Аж в висках заломило.

...Ну вот, наконец-то дно!

Енsep крепко зажмурил глаза, постоял недвижно, дал успокоиться сердцу и нервам. Потом быстро развязал на поясе аркан, резко дернул его, давая знак тем, наверху. Аркан тут же пополз вверх. Кончик, извиваясь, задел его грудь. Енsep вздрогнул, словно от прикосновения змеи. Аркан, связывавший его — пленника каменного мешка — с товарищами, с земным светом, с горячими, живительными лучами солнца, радостно, стремительно летел к крошечному, как игольное ушко, отверстию. Енsep остался совсем один — за семью пластами, в жутком, ледяном подземелье.

Его глаза уже совсем освоились с темнотой; Енsep хорошо видел неумолимо обступившие его влажные стены колодца. Вскоре вниз двинулся круглый черный предмет. Преломляясь, рассыпаясь веером, косые бледные лучи осветили его на миг и тут же отстали, не в силах угнаться за ним. Всякий раз, когда это малюсенькое светлое отверстие исчезает, вздрагивает вечно встревоженное сердце Енseпа, его охватывает страх. Он с опаской смотрит вверх, пока не разгадает, что за предмет закрыл это отверстие: дубовая бадья, в которой посылают наверх песок и глину, ком земли, камень или еще что-то.

На этот раз опускали дубовую бадью с двумя железными крюками. В бадье его теплая безрукавка и сшитые из шкуры жеребенка сапоги на высоких каблуках, с голенищами до самых бедер. Ради удобства Енsep всегда спускался в колодец без верхней одежды.

Приятно облачить озябшее тело в теплую одежду. Даже страх, голодными волками обступивший Енseпа, куда-то исчез. Енsep пошарил рукой по холодной стене. Песчаник повлажнел, отяжелел. Интересно, горькая влага или пресная? Он столько раз дотрагивался губами

и языком до влажного грунта, что уже не различал вкуса.

Стоило ему взяться за привычную работу, тысячекратно заученными движениями начать долбить землю, как к нему вернулись столь же привычные воспоминания, тысячекратно передуманные мысли.

Хотя что ему вспоминать? Жизнь кудукши небогата впечатлениями. Что он видит, кроме душной непроглядной дыры, осклизлых стен колодца да сырого песчаника? А о чем ему думать? Опять-таки о колодцах — этих каменных могилах, да о своей обездоленной, бедной судьбе?

Не знающие отдыха, мозолистые руки Енсепа принялись ковырять землю. А его истомленная унылой, однообразной работой душа начала блуждать по закоулкам и тропинкам памяти, по безрадостно прожитым годам.

2

Ему обычно вспоминалась недолгая жизнь там, на земле, тот пронизанный светом мир, который здесь, в глухом подземелье, казался фантастическим, нереальным. Енsep и сам не знал, отчего с годами он стал все чаще обращаться мыслями к этому короткому, будто мгновение, отрезку своей жизни. Все события, перипетии тех лет вставали перед глазами явственно, словно только-только произошли. Когда Енсепу становилось совсем невмоготу, когда его охватывало лихорадочное беспокойство, эти воспоминания приносили ему облегчение, снимали вечное напряжение и тревогу. Он успокаивался на время.

Мог ли он когда-нибудь раньше думать, что начнет тосковать о далекой той поре, сладко грезить о ней?

Когда Енsep был чумазым аульным мальчишкой, самой заветной его мечтой было заполучить бабку горного барана, да еще вдобавок залитую свинцом. Детская мечта осуществилась, и вскоре он забыл о ней. Тогда он еще не осознавал, что переменный успех (сегодня победишь — завтра проиграешь, сегодня займешь — завтра потеряешь) присущ не только игре в асыки, а жизни вообще и что все в его судьбе будет преходящим и скоротечным. Бывало, набив рубаху выигранными асыками, Енsep возвращался домой, не чуя земли под ногами. В такие часы в его головенке роились чудесные планы.

Ему хотелось стать таким же могущественным, как волею правитель Бигельды. Под ним будет аргамак с

лебединной шеей, точеное синее седло с посеребренной лукой; в руке — четырехгранная, с кисточкой, камча, рукоять ее залита серебром и позолочена сверху; его сопровождает всюду свита из бойких и услужливых аульных джигитов. Как ветер, носится он из аула в аул. На ночевку остановится у бая, у мурзы отобедает. А как надоест мотаться по аулам, соберется он с двумя-тремя надежными дружками на охоту, потешится вдоволь в степи, подалее от людских глаз. А наскучит ему и эта забава, отпустит приятелей домой, а сам нагрянет к разбитной вдовушке, красавице Жанель. Она только и мечтает о нем, юном волостном. Развалится он у нее на пуховых подушках, побалуется густым ароматным чайком, который будет подливать ему игривая хозяйushка, жеманно отставляя при этом мизинчик. Одного не учитывал в своих мечтах Енсей — к тому времени, когда он подрастет и станет волостным, красавица Жанель безнадежно постареет...

Потом отвернулась судьба-капризница от своего баловня Бигельды. Сначала за ним длиннющим хвостом тянулись слухи да сплетни, а на выборах его с треском провалил новый волостной — рыжебородый бий Шонмурун.

У Шонмуруна был непривлекательный вид. Ворот белой рубахи всегда нараспашку. Толстый бий постоянно исходил потом. На крутой жирной груди его покоилась неопрятная рыжая борода. Говорил он медленно, важно — не говорил, а изрекал слова. Его всюду сопровождала свора угодливых, лстивых подпевал, готовых по первому знаку своего повелителя исполнить любую его волю. И мальчуган все больше склонялся к мысли, что, пожалуй, получить такую власть и таких верных джигитов, как у бия Шонмуруна, очень здорово.

Одним словом, Енсеу никак не хотелось оставаться навечно мальчишкой на побегушках потому только, что у тебя всегда потрескавшиеся грязные пятки и неумытая физиономия. Ему претило, что над ним безнаказанно куражится каждый кому не лень. Но меньше всего ему хотелось быть похожим на своего отца Кулжана. Жил он на краю аула, в лачужке, кое-как покрытой сопревшей кошмой и изодранной в клочья алашой¹; торчал с раннего утра до позднего вечера под открытым небом, рядом с раскаленными саксаульными углями и дряхлым латаным кузнечным мехом. Хотя женщины, но-

¹ А л а ш а — домотканый палас.

сившие Кулжану лудить прохудившиеся казаны и самовары, вежливо называли его «каин-ага» — старшим деве-рем, в ауле, однако, над ним подтрунивали и стар и млад. Мальчик не ведал, почему к отцу прилипло, например, прозвище «Упрямец Кулжан», «Строптивый Кулжан», а спросить не решался.

Отец возился в кузнице целыми днями, раздувал мехи, совал какую-нибудь железку в ярко пылающие уголья и стучал да постукивал по ней. Дома он обычно не разговаривал. К матери обращался редко, да и то с коротким вопросом: «Чай готов?», или с коротким приказом: «Подай это — подай то!» Енсеп ни разу не видел, чтобы отец с кем-нибудь беседовал по душам, но не раз слышал, как он крепко осаживал людей в споре. Может, оттого и величали отца «упрямцем» и «строптивым», что он обладал крутым, неуживчивым нравом и больно жалил других языком. Может, это из-за своей гордыни он возится всю жизнь с железками, кузнечными щипцами и молотом, в то время как остальные мужчины рода Караш копают колодцы.

Дети побанвались своего сурового и нелиудного отца. Он никогда их не бранил, не повышал голоса, лишь изредка поглядывал строго из-под насупленных бровей. И дети при нем притихали, помалкивали.

Енсепу пошел пятнадцатый год, когда отца свалила болезнь. Целый год промыкался он на полосатом паласе в углу лачуги. Знахарей, однако, не подпускал к себе близко, отваживал их богопротивными словами: «Не на ярмарке я купил свою душу. Бог, однажды расщедрившись, дал ее мне, а теперь он стал скупердям, пусть берет ее обратно».

Как-то раз, вконец измученный болезнью и голодом — пища не проходила через горло, отец, должно быть, потерял терпение. Изможденный, худой, он приказал матери подать пятигранную камчу, что висела на стене, и нож из маленького ящичка для инструментов. Он отрезал у самого основания распущенный кончик плети с вплетенным в него свинцом и густо намазал ее маслом. В лачуге все со страхом переглядывались: никто не догадывался, что задумал отец. Тщательно, до блеска смазав камчу, он в последний раз провел по ней жирной ладонью и потребовал кумыс. Он обмакнул камчу в большую деревянную чашу с крепким кумысом. Губы его слабо зашевелились, он принялся шептать что-то невнятное. По-



том запрокинул голову, выставив вперед редкую острую бороденку. С трудом унимая дрожь в руке, отец вытащил камчу из кумыса и затолкал один конец в рот. Пропитанная терпким конским потом, маслянистая, скользкая, словно змея, камча медленно поползла в глотку. Высохшая отцовская рука, заметно дрожа, с усилием толкала ее все дальше и дальше; тощая — одна кожа да кости — рука отчаянно пропихивала ее вглубь. Глаза отца были плотно закрыты. Непомерно большой для тонкой шеи ка-

дык судорожно двигался вверх-вниз под пергаментной кожей.

Но вот о зубы шелкнуло железное кольцо у основания рукоятки. На бледном лице отца не было ни кровинки, оно стало синюшным. Одной рукой он продолжал держать камчу за рукоять, другой — сильно надавил на грудь. Он намертво вцепился в камчу зубами, будто хотел ее перекусить. На лице выступил пот. И тогда он резко выдернул камчу. Из горла хлынула кровь. Дети, следившие с замиранием сердца за каждым движением отца, заревели в голос, бросились вон. Мать, не смея голосить при муже, закусил губы, кончиком жаулыка вытерла слезы и торопливо подставила ему тазик.

Отцу не полегчало. Пища по-прежнему не проходила через горло. А тут началась такая невиданная жара, что даже здоровый человек не мог найти себе места. Отец ужасно страдал от жажды.

В середине знойного лета он навеки закрыл глаза. Перед кончиной Кулжан позвал к себе жену и детей.

— Ну, родные, пришел мой конец. Не обессудьте, что не накопил вам никакого добра, — он настолько ослабел, что голос его был едва слышен, — пока будет стоять земля, род Караш не помрет с голоду. На худой конец будете ковырять колодцы.

Тогда-то впервые и задумался Енsep о том, что на свете существуют горемыки, именуемые кудукши. Из разных аулов, где они промышляли своим ремеслом, собрались мужчины рода Караш и похоронили отца. Вернувшись с кладбища, пять стариков вызвали во время поминок Енseпа — старшего из детей покойного Кулжана.

— Ну что ж, милый, отца ты лишился. Хотя и строптивым и упрямым бывал покойный, однако в трудолюбии и упорстве отказать ему было нельзя. Жаль, ничего не нажил. Алашу, чтоб завернуть тело, и ту еле нашли в доме. Отрекся он от дедовского ремесла, а оно хоть и никого особо не обогатило, все же семью кормит досыта. А потому не иди ты по стопам отца, а держись за испытанное ремесло нашего рода. Ты теперь опора и кормилец бедняжки матери и малых братьев. Твой дядя Даржан намеревается забрать вас к себе. Держись за него цепко!

Так напутствовали Енseпа аксакалы и, сложив ладони, благословили его.

Е отличие от покойного брата Даржан был крепкий,

рослый и закаленный; обычно он ходил по пояс обнаженный. Разработанные мышцы играли, перекатывались на его мощном теле. Маленькие, словно обрубленные уши были закрыты длинными волосами. У него был плоский, с широкими ноздрями нос, лихо закрученные усы, черная борода, напоминавшая конский хвост, густая и огромная, видно, ее никогда не касалось лезвие. Его гладкий, с большими залысинами лоб маслянисто поблескивал, а огромные, чуть навывкате глазищи с красными прожилками всегда беспокойно шныряли вокруг, будто старались что-то обнаружить.

Даржан был великим молчуном. Дома, на людях он обычно не произносил ни ласковых, ни бранных слов. Если ему что-нибудь претило или он был сильно не в духе, то, глухо пробурчав «У, в могилу тебя!..», он снова надолго умолкал.

Люди поговаривали: «Эх-хе-хе, мыслимо ли, чтобы строптивый Кулжан и увальень Даржан родились от одной матери?!»

Когда волосатый, сплошь вымазанный глиной Даржан вылезал из колодца, он, ей-ей, походил на чудовище, выбравшееся на свет божий.

Его жена Ханум была миловидной, крупной, широкой в кости женщиной. Ее круглые глаза излучали мягкий свет. Она пользовалась почетом у родственников и сородичей, к ней тянулись и стар и млад. И только Кулжан, не пожелавший избрать для себя участь колодцекопателя (что это, мол, за существование, сегодня находишь кров возле одного, завтра — возле другого куста, как ворон с перебитыми крыльями!) и предпочевший ремесло кузнеца в кочевом ауле, оставался к ней холоден, как ни старался добряк Даржан возбудить в брате родственные чувства.

Ханум с искренним радушием приняла осиротевшую семью. В честь снохи зарезала ярку и, как положено по доброму обычаю, потчевала родственников. Из инкрустированного, с потайным замком сундука она достала материю, сшила вдове платье и новый головной убор — жаулык. Забот у Ханум заметно прибавилось, она почти не расставалась с иглой и наперстком; ходившие в рванье дети отмылись и приоделись. Даже коньма на бедной юрте обновилась.

Ханум не испытала, к горю своему, радости материнства. И теперь, когда рядом поселилась семья старшего

деверя и в ее юрте зазвучали звонкие детские голоса, она расцвела, похорошела. В самом младшеньком, Тенселе, она души не чаяла, баловала: то пицкала свежими сливками, то пончики румяные совала, то ласкала нежной рукой.

Каким бы усталым ни возвращался домой Даржан, завидя детей, он широко улыбался. Воспитанные отцом в суровости, дети вначале сторонились и Даржана. Но вскоре почувствовали безошибочным ребячьим чутьем, что этот заросший волосами, страшный, молчаливый верзила добр и любвеобилен. Едва он садился за чай, как вся малышня, естественно, кроме Енсепа, облепляла его. Кто лез на плечи или голову, кто повисал на шее, кто карабкался на колени. Даржан все это терпеливо сносил и только довольню ухмылялся.

Теперь, вспоминая ласку Ханум и Даржана, поразительную щедрость их души, что согрела его сиротское сердце, Енsep ощущал, как горячая волна подкатывает к груди, а сердце щемит от тоски, оттого, что тех дней не вернешь. И как бы потом ни разочаровывался он в людях, какие бы ни терпел от них обиды, он всегда благоговейно хранил в себе бескорыстную любовь и безоглядную доброту дяди и его жены. В самые отчаянные периоды жизни, когда грудь, кажется, не выдержит, разорвется, когда белый свет не мил и хочется уйти, скрыться от всего и всех, недолгие светлые дни детства были ему опорой и утешением. Видно, душа человеческая что старая кружка нищего, стоящего на обочине большой караванной дороги, по которой взад-вперед снуют люди. Почти каждый что-то в кружку кинет. Так и в душу — кто капнет яд, кто — мед. От одного яда человек давно бы погиб, но жизнь на том и держится, тем и сладка, что нет-нет да и подкинет ему скупердяйка судьба каплю меда. Потому и не сдается человек, все к чему-то стремится, во что-то верит, питает обманчивые надежды.

Даржан не сразу привлек Енсепа к своей работе: жалел не окрепшего еще юнца, щадил его, считал, что тот успеет намыкаться с колодцами. Два года Енsep жил вольно и беззаботно. За это время он вытянулся, окреп, стал ладным и пригожим парнем. В знак того, что он стал джигитом, решила Ханум подарить ему коня. Даржан, слава богу, имел работу, а значит, и заработок. Сундуки их, правда, от добра не трещали, но овечку ре-

зали для гостя всегда, а для близкого родича на привязи стоял конь. Даржан один содержал безбедно два дома: все одеты, обуты и, как говорится, дно казана сухим не бывало. Из имевшихся в хозяйстве лошадей Ханум выбрала для Енсепа четырехлетнего гнедого со звездочкой на лбу, красивое седло и уздечку.

Как-то летом, когда она с мужем отправилась гостить к своей родне, Ханум взяла с собой и юного Енсепа. Родственники Ханум были не из тех, кого в народе презрительно кличут «воночими богачами». Они жили широко и весело. Дастархан их был щедр, в юрте — достаток, девушки — красивы, джигиты — храбры. В округе их аул называли «белогрудый Арын из шестидесяти юрт».

Разъезжать по степи, странствовать было страстью арынских джигитов. Одевались они нарядно и богато. Черные приталенные бешметы из сукна, привезенного аж из самого Оренбурга, ослепительной белизны шелковые рубахи были излюбленной их одеждой. Когда они приближались к любому аулу на породистых своих вороных или гнедых скакунах, там начиналась суматоха. Девушки и молодухи спешно прибирали в юртах, пожилые женщины и старухи мыли, перетирали посуду. Спешивались джигиты из аула Арын чинно; они сидели в седлах до тех пор, пока хозяева с поклоном не принимали из их рук поводья и не помогали спуститься на землю. На постель поглядывали придирчиво: не дай бог, чтоб под периной оказалось хоть крохотное зернышко. Тут же его примечтят, на смех поднимут хозяев — все сплошь шуточки да озорники. Язычка их побанвались: если что не так, мигом раззвонят по окрестным аулам.

Енsep быстро здесь освоился; парни отнеслись к нему без спеси, не как к чужаку. Ловкий, пригожий Енsep прилично джигитовал на коне, у него был сильный и приятный голос.

Пел он на свой, особый, манер — протяжно, нежно, с чувством, лаская слух ценителей песни. Для юноши из степи это имеет значение, и немалое. Ведь он доставляет радость людям из затерявшихся в степи аулов, которые всю жизнь только и знают, что пасти овец да косяки лошадей. Проникновенная песня бередит души, окрыляет джигитов, будоражит сердца юных, расцветающих девушек, смущенно краснеющих возле родителей или старших невесток, волнует игривых молодок, которые, подавая певцу пиналу с чаем, так и норовят коснуться, будто

невзначай, белыми пальчиками руки джигита и обжигают его горячим взглядом. Одним словом, умение петь вполне оправдывает выпитый чай и съеденное мясо в доме, где потчуют желанных гостей.

Когда Енсеп на вечеринках пел под аккомпанемент домбры, или обрушивал на слушателей искрометное терме¹, или увлекал их мудрыми сказаниями — кисса², увлажнялись глаза пожилых мужчин, чьи лица из года в год облизывал шершавым языком лютый мороз, а сердца исцарапаны были острыми шипами прожитых лет. Честолюбивые джигиты впадали в задумчивость и печаль, и перед их глазами, словно мираж в степи, маячили дерзкие, но, увы, неосуществимые мечты. И лишь девчушки-подростки, чьих щек не коснулась пыльная, а чести — малое пятнышко, испытывали неведомую, сладкую, волнуемую кровь истому. С восхищением, благоговением даже слушали они смуглого певца, вдохновенно хлеставшего пальцами по струнам домбры. Щечки их пылали, сердца таяли, на глазах выступали счастливые слезы, и под атласными платьями, там, где чуть заметно возвышались стыдливые девичьи груди, волной пробегала дрожь.

Юноша пел, не щадя голоса, не винкая в смысл извергаемых им слов; мелодия лилась стремительно и свободно, рука привычно ходила по домбре. Если взгляд Енсепа невзначай встречался со взглядом какой-нибудь жадной до ласки, опытной молодухи, он еще больше воодушевлялся, словно взмывал вверх на легких крыльях. Однако могущественным повелителем толпы он чувствовал себя лишь пока пел; когда же кончалась песня, он совершенно терялся под любопытными взорами, смущался от благодарных, хвалебных слов, краснел, как девчонка. Заметив это, юные девушки, чьи сердца он разбудил, втайне жалели его, а молодайки глазели на него еще пристальней, еще зазывней. Смутный жар пробегал по жилам Енсепа.

Увы, пора юности коротка, как весна в степи. Только-только зацветет девушка, ее выдают замуж. Только-только появится пушок на подбородке юноши, его заарканит работа... Безмятежная юность Енсепа тоже была короткой и сладкой, будто сон путника, всю ночь проведенного в дороге и лишь на заре остановившегося на привал.

¹ Терме — стихотворно-песенный жанр в форме речитатива.

² Кисса — эпическое сказание большей частью религиозного характера.

Когда мысли Енсепа блуждали по закоулкам невозвратных тех лет, к немолодому уже сердцу подкрадывалась грусть. Мышцы, затвердевшие как камень за бесконечные годы тяжелой работы, и те в таких случаях расслаблялись, мягчали.

Енсеп не испытывал тоски пожилого, обремененного семьей человека по минувшему прошлому, по беззаботной юности. Однако ему, как и всякому живущему на земле не один десяток лет, были свойственны сомнения, обострявшиеся со временем, — а был ли он счастлив, изведаль ли счастье? И что такое вообще счастье? В сознании гнездилась мысль, что настоящее счастье так велико, что его не замечаешь. Человек может изведать счастье только в молодости. А чем больше человек раздумывает о нем, домогается его, стремясь догнать на кляче времени, тем дальше убегает от него счастье.

Да, это короткое слово вмещает в себе все, о чем только мечтает слабый человеческий разум. С момента, как человек начинает грезить о счастье, до той роковой черты, когда он уже теряет веру в него, сколько всего выпадает на долю людскую! Судьба без пощады нахлестывает своим бичом человека. Под градом этих ударов, исполосованный и окровавленный, он может достичь желанной цели — власти, богатства, славы. Но разве в них счастье?

...Енсеп заполнил дубовую бадью с верхом. Однако, занятый дорогими видениями прошлого и грустными мыслями о настоящем, не замечал, как грунт сыпался уже через край. Потом он дернул аркан, и бадья, скрипя, поползла к отверстию, к людям.

Каждый раз, когда бадья уплывала от него, мысли Енсепа, да и сам он словно замирали. Только было согрелся от работы и от дум, как снова пронизывающий душу и тело холод сковывал его. И он усаживался на дно колодца потерянный, будто забыл начисто что-то жизненно важное. Воспоминания, обступившие его недавно, как вода в половодье, разом исчезали. Во рту пересыхало, голова наливалась тяжестью; на скулах возникали желваки — признак нарождающегося гнева... Енсеп достал табакерку, понюхал насыбай. Затхлая колодезная сырость отступила перед крепким табаком, и он чихнул. Еще раз, еще и еще. Тоска, тисками сковывавшая грудь, постепенно исчезала, и Енсеп опять предался воспоминаниям.

Сколько бы ни гулял и ни озоровал Енsep вместе с джигитами аула Арын, Даржан не журил его. Парень уж стал подумывать, что дядя так никогда и не заявит ему: «Ну, молодец, погулял, и хватит. Пора и за работу приниматься». Мать начало беспокоить затянувшееся безделье сына, и она однажды сказала, что ему давно пора оказывать посильную помощь дяде, ведь нельзя бесконечно злоупотреблять его добротой.

Енsep и сам это понимал. И правда — сколько можно слоняться в праздности по аулам. Своего Гнедка со звездочкой на лбу он отпустил в табун и, когда была надобность, седлал сивую рабочую лошадку.

Даржан рыл в ту пору колодец по заказу бая Токена. К тяжелой работе племянника он не допускал — жалел по-прежнему. Енsep стряпал для колодцекопателей: варил мясо, кипятил чай. Пришла весна, степь зазеленела, проснулась; норки, нарытые разным зверьем, наполнились звуками. Жить на захламленных зимовках людям становится нелегко, и аулы поспешно откочевывали на летовку.

Каждый день перед заходом солнца Енsep седлал сивую лошаденку и устремлялся подальше от безрадостной лачуги колодцекопателей. Останавливался в каком-нибудь ауле, прислушивался к разговору стариков, степенно обсуждавших хозяйственные проблемы, любовался привычной для обжитого места суетой. И блеяние овец, и цокот копыт, и воркующее «тубай-тубай», которым женщины уговаривали овцу подпустить к соскам ягнят, — все ласкало слух джигита.

Енsep всем своим нутром осознал, почему отец изменил дедовскому ремеслу и стал кузнецом, отчего предпочел бедную, зато на людях, аульскую жизнь сытому, но одинокому, замкнутому существованию кудукши. Чалая лошадка, почуяв запах жилья и заслышав лай собак, и та бежала веселее, а когда Енsep возвращался обратно, шла понуро, еле волоча ноги.

Легкий весенний восток, пропитанный запахами бурно тянущихся из земли трав, вобравший в себя силу пробуждения, мощь бытия, бодрит, обновляет, наполняет хмельной радостью все живое. Разомлевшая земля подстилала грудь благодатным солнечным лучам, стараясь

согреть, выпестовать расцветающую вокруг робкую, полную таинств жизнь.

Всех — от мала до велика — всколыхнула весна. Лишь Енsep ходил удрученный и грустный. Шальной ветер и пьянящие запахи сочных трав будоражили кровь, навевали истому — они будто теребили Енseпа за рукав и звали, манили в неведомые края. Он попадал во власть смутного и неодолимого беспокойства, ему страстно хотелось бросить все, покинуть навечно убогую лачугу, прилепившуюся к зияющей яме колодца. В такие минуты его грудь распирала какая-то горечь, глаза туманились, он ощущал себя вялым и разбитым, и уже не было сил и желания хлестнуть разок-другой лениво потрухивавшую под ним лошадку. И чалае все той же скучной трусой бежала по знакомой тропинке и покорно останавливалась у жилья кудукши.

За весной грянуло лето. Травы налились соком. Ягнята и козлята — весенний приплод — окрепли; их уже можно было гнать на выпас с отарой.

Из аула Арын пришла весть: собираемся на джайляу, пусть дочь и зять пожалуют на проводы. Ханум опять взяла с собой к родным Енseпа.

В ауле царил суматоха. Мужчины ловили и ставили на привязь лошадей, навьючивали тюки на верблюдов; женщины складывали утварь и связывали тюки. Мальчишки, умевшие держать повод, укрощали стригунков, на которых собирались отправиться на кочевку. Аксакалы сходились в круг и в подробностях обсуждали предстоящую дорогу и удобные места для привалов. За день до откочевки в каждой семье резали по овечке с белой отметиной на лбу. За дастарханом почтенные старики произносили длинные молитвы — дабы путь был удачен, а пастбища — обильны.

Енsep весь день был взвинчен и не мог ночью уснуть. Он хотел остаться наедине с какой-нибудь соблазнительной молодойкой. И они, одним ухом внимая сладостным, игривым намекам красного джигита, другим чутко прислушиваясь, чтобы — не дай бог! — кто-нибудь не услышал этих речей, млели и многообещающе улыбались. Не один искусно вышитый, окаймленный бисером шелковый платок — это безмолвное выражение чувств и желаний женщины степи — достался в ту ночь Енseпу.

На следующий день аул проснулся спозаранок. Раньше всех повскакали с постелей мальчишки и опрометью



бросились к своим стреноженным стригункам. Старухи с высоченными тюрбанами на головах, опираясь на посохи, зорко следили за девками и снохами и давали указания.

Такие сборы — всегда испытание для молодых снох: ведь от их расторопности зависит, чье кочевье первым тронется в путь. Привередливые, строгие свекрови начинают в подобных ситуациях ворчать, а то и размахивать посохом; спокойные же, рассудительные наблюдают молча.

...Тюки сложены; верблюды навьючены. Меж горбов этих сильных и покладистых животных устраиваются сиденья на манер балдахинов для бабушек и малых детишек. Пышнотелые, кровь с молоком, байбише — старшие жены, облачившись по торжественному обычаю в щегольские наряды, важно восседают впереди, возглавляют кочевки.

— Э, бисмилля!

— Да будь благословенен наш путь!

С трудом, медленно поднимаются навьюченные верблюды. Головная часть кочевья уже выбралась на дорогу. Его сопровождают, выстроившись по обеим сторонам в чинные ряды, девушки верхом на лошадях. Позванивают их украшения, нежно колышутся перья филина на головных уборах. Мужчины еще не сели на коней: ждут, пока аксакалы закончат благодарственную молитву в честь прошлогодней, удачной стоянки. Но вот сложены вместе ладони, вот с именем аллаха на устах старики провели руками по лицу и поднялись, опираясь о колени друг друга. Джигиты, вытащив камчи из-за голенищ, как по команде устремились к коням.

Мужчины поопытнее тут же умчались рысью вперед — заблаговременно подыскать для остановок пастбище и водопой. Молодые присоединились к девушкам и молодым. Кто шутил, громко хохотал; кто украдкой от пожилых женщин спешил обнять нарядных девушек или будто невзначай коснуться талии или руки. Совсем еще зеленые девушки и парни разговаривали взглядами, сами еще не понимая смутных своих чувств. Джигиты посмелее цеплялись к молодым женщинам: «Подари платок, красавица! Устроим скачки, чтобы сон разогнать». И при этом держали коней бок о бок, стремя в стремя. Притворяясь, что хотят отобрать платок, щипали их, хватали за что попало, выдавая баловством жадных своих рук тайное желание. Молодухи расцветали, испытывая острое волнение от прикосновения сильных, нетерпеливых рук. Чтобы продлить жгучее удовольствие от этой игры, сопротивлялись, пререкались, загадочно улыбались. Стрельнув из-под густых ресниц хитрым взглядом, озорницы умудрялись обнажить нежные смуглые свои руки. Увертываясь, звонко смеясь, припадали они к гриве коня, распаляли и без того сгорающих от запретного жара джигитов.

Долго длилась эта любовная забава. Обессилев от

нее, от томительной слабости, разлившейся по всем жилам, какая-нибудь из проказниц вынимала из кармашка узорчатый платочек и дарила его ошесчастливленному наезднику. Вскинув платок над головой, гикнув, тот мчался вперед, а за ним пускали вскачь коней и остальные джигиты.

Когда кочевье взбиралось на яркий и пестрый от разнотравья перевал, было видно, как по необъятной степи во всех направлениях гуськом тянулись кочевья разных аулов. Любопытные мальчишки вихрем неслись им навстречу, чтобы разузнать о них и доложить взрослым. «А-а, так это аул такого-то, — говорили взрослые, — надо подъехать, пожелать ему доброго пути».

Впереди каждого кочевья величественно восседала на украшенном коврани верблюде старуха. Она извлекала из курджуна и раздавала куски вареного мяса почти-тельно приветствовавшим кочевье джигитам, а мальчишкам — баурсаки.

— Спасибо, аже! Удачи вам, бабушка! — благодарили молодые ветрогоны и тут же спешили к следующему кочевью, чтобы и там разжиться гостинцами. Вот так всю дорогу и носились джигиты от одного кочевья к другому, пока не добирались до места назначения.

Провожая вместе с дядей и его женой аул сватов до перевала, Енсеп смотрел на знакомые ему с детства картины кочевой жизни с жадным вниманием, с замиранием сердца.

Сонная, безмолвная обычно степь сегодня наполнилась движением и звуками. Все были при деле, возбуждены, все куда-то рвались, спешили. Безразличные ко всему на свете верблюды и те шагали бодро, легко выкидывая вперед длинные, нескладные свои ноги. Высокие тюрбаны старух, белевшие за решетками балдахина, издадала казались готовыми взлететь лебедями.

Кочевье — самое большое торжество в скупой на радости, дремотной степи. Возбужденные, ликующие люди рвутся не просто к обильному пастбищу, к новому месту — они полны надежд, ожиданий чего-то неизведанного, что непременно принесет благотворные перемены в их жизнь.

Во время кочевья даже ленивые, флегматичные, окостеневшие от хвори или безделья люди обретают молодую бодрость и оптимизм.

Утомленная мелкими изо дня в день работами, ору-

бевшая душа вдруг обретает крылья, трепещет, как бабочка в погожий день. Вольный ветер степи выметает, выбивает, будто из старого сопревшего тряпья, пыль из застоявшегося в зимовьях быта. И гонит-погоняет аулы в обетованные земли.

Енсей с тоской глядел на все удалявшееся длинное кочевье. Караван величаво ступавших верблюдов увозил на своих горбах не только юрты, еще вчера белевшие по всей степи у подножия холмов, но и веселье, смех, суматоху — саму жизнь.

В степи, покрытой сочной зеленью, темнели, словно болячки на здоровом теле, проплешины бывших стойбищ. И даже они, эти проплешины, радовали Енсепа каждый раз, как он отлучался в степь из лагучи колодезкопателей.

Жизнь тех, кто роет колодцы, тускла и беспросветна. Всей радости в ней — углубляющаяся с каждым днем дыра в чреве земли да возрастающая рядом куча грунта. Маленькие серые лагучи вокруг будущего колодца казались безнадежно затерянными в огромной пустыне. Енсей завидовал верблюдице, молоком которой он и его товарищи забеливали чай. Она свободно бродила по степи, на выпасе; они же, мученики, день-деньской, как кроты, ковырялись в земле.

Солнце высушило весенние кизяки — единственное свидетельство того, что и здесь была когда-то жизнь. Заросла травой и тропинка, по которой Енсей трусил на своей чалой лошадке в аулы.

Енсей, как и его предки, взялся за лопату. Неокрепшие мышцы ныли, руки повисали плетью, спина не разгибалась от усталости и напряжения, в голове шумело, перед глазами плыли круги. От тоски по недавней свободе свербило сердце. Обхватив обеими руками лопату, предался он тогда тяжким думам. Он чувствовал себя как верблюжонок, который не ощущает больше на губах тепла материнского вымени, его мягкой податливости, нежного, с приятной горчинкой молока. Напрасно ревет верблюжонок, напрасно ищет вдали тоскующими глазами мать; все равно ему не остается ничего другого, как припасть шелковистыми губами к отвратительной, больно кусающей колючке, чтобы хоть чуть-чуть заглушить сосущий голод...

Да, голод повелевает миром, понял Енсей. Все живое на земле — от неутомимых муравьев, волокущих былин-

ки в свой муравейник, до двуногого существа, именуемого человеком, — появившись по воле бога на свет, начинает отчаянную борьбу за существование, за то, чтобы набить свое нутро, ибо невыносимо, когда оно, проклятое, пусто.

Енсеп уразумел, что ему нечего ждать чуда, что пора самому, как и всем прочим, заботиться о хлебе насущном. Ведь жить-то надо, говорил ему разум, а душа бунтовала: неужто жить — означает покориться безжалостной судьбе, что закинула тебе на шею грубую петлю? Раз и навсегда отказаться от высоких стремлений, светлой мечты и бессмысленно топтаться подобно верблюжонку на привязи вокруг железного кола, который вбил для тебя рок?

Эти новые, неожиданные, как внезапный выстрел, вопросы пронзили юное сердце Енсепа, оглушали, отравляли его существование с того самого дня, когда он впервые спустился в пугающую пасть колодца. Вздываясь на ладонях волдыри, он работал, работал, не разгибая спины, и думал, искал ответа на свои вопросы. И тогда он познал, что такое смятение.

Теперь Енсепу, почитай, перевалило за половину жизни. Но вопросы, когда-то потрясшие его, до сих пор остались без ответа. А может, жить — это и есть терзаться, и с годами все мучительнее, в поисках ответа на те хитрые вопросы? До сего дня ему так и не удалось доискаться до истины...

Енсеп очнулся от дум. Он поднял голову, заметил, что наполнил бадью лишь до середины, и принялся кидать в нее песчаник. Потом — в который раз! — дернул аркан, подавая знак наверх. Бадья, с трудом оторвавшись от дна колодца, медленно, со скрипом поползла к узкому, как ушко иголки, отверстию.

4

Сначала ладони сплошь покрываются мозолями, потом затвердевают как камень. Мышцы становятся упругими, тугими — точно натянутый из этого подземелья наверх волосяной аркан. Вместе с телом обретает силу и твердость душа.

Енсеп на удивление быстро усвоил премудрости своего ремесла. Вначале он был на подхвате, помогал старшим вынимать грунт из колодца...

Щенок, что вчера охотно терся у человеческих ног, радостно вертел хвостом, когда с ним забавлялись, сегодня, став взрослым псом на цепи, незаметно смиряется со своим новым положением. Пугая лаем людей, обнажая в злом оскале клыки, он начинает находить в этом удовольствие.

Если бы человек не обладал способностью утешаться, приспособливаться к обстоятельствам, поддаваться самообману, он вряд ли бы вынес муки и испытания, которые отпускает на его долю жизнь. Утешение, мечты — опора для души.

Когда Енsep впервые один вытянул дубовую бадью с грунтом, он почувствовал себя на седьмом небе. Постепенно привыкая к работе, которой он еще недавно чурался, он стал находить ее почти приятной и ощущал гордость оттого, что взрослые все чаще говорили ему: «Это, парень, ты сделай сам».

Раньше, когда немели руки и ныли мышцы, Енsep готов был расплакаться от боли и отчаянья; теперь он радовался, чувствуя, как его тело наливается силой...

Бугорок вокруг устья колодца сначала темнел, потом рыжел, затем отсыревал, вместо глины шла супесь, ее покрывал песчаник, потом влажный песок, наконец жидкая грязь. Постепенно она становилась все жиже и светлей. Раньше Енsep не придавал этому никакого значения, а теперь следит за этими переменами, как за чудом. Когда опорожненную бадью вновь спускали в колодец, Енsep прикладывался ухом к выступу, весь обращаясь в слух. И как только бадья касалась дна, раздавался глухой всплеск.

Вдруг аркан нервно задергался. Помощники Даржана поспешно вытянули бадью, опрокинули ее и отставили в сторону. Сразу же отрядили мальчонку за рыжим атаном, который пасся неподалеку, запрягли его в чигирь. Связав петлей свободный конец аркана, опустили его в колодец. Рыжий атан нехотя поднялся и двинулся по привычной колее. Поскрипывая, колесо чигиря медленно вращалось, и тугой аркан змеей выползал из колодца. Наконец показался сам кудукин. Он был с головы до ног измазан глиной. Джигиты помогли ему выбраться наружу.

Даржан отошел, неуклюже ступая, к месту посуше, присел, насыпал из шакши на большой палец табаку.

Его помощники между тем опустили бадью в колодец; на этот раз она тоже наполнилась наполовину. Вода в бадье была мутноватой. Все стали черпать ее ладонями, плескать в лицо, полоскать рот. Вода отдавала сырой землей. Никто не мог с уверенностью определить, соленая она или пресная.

Вечерело, становилось прохладно, и Даржан ощутил неприятный озноб, поднялся и направился к лачуге; за ним последовали его помощники. Даржан переоделся в сухую одежду. Енсеб бросился разжигать кизяк, готовить чай.

Коротконосый медный чайник, зарытый в горящие угли на большой сковороде, самозабвенно и тонюсенько высвистывал свою песню; горячий и густой чай разливал по жилам бодрость, снимал усталость. Пили чай маленькими глотками, сдувая в сторонку плававшие на поверхности поджаренные зерна пшеницы, смакуя эту круто заваренную коричневую жидкость, и вскоре вспотели. А вместе с потом выходила и невероятная тяжесть, клонившая тело к земле.

Енсеб убрал дастархан. И тогда усталые кудукши начали строить планы на завтра.

На другой день все опять собрались у колодца и, не теряя ни минуты, вновь опустили бадью в колодец. Она ударилась о дно мягко, со всплеском. Вода за ночь отстоялась и была прозрачна. Енсеб жадно припал к ней. Она оказалась пресной. И тогда, вырывая бадью друг у друга, за нее стали цепляться остальные.

В степи, изнемогающей от безводья, возник еще один спасительный источник.

Первым этому событию обрадовался маленький аул кудукши. Появилась вода — и они заработали еще энергичнее и ловчее. Ровными, обтесанными булыжниками, валявшимися тут же, у колодца, они сверху вниз выложили отвесные стены до каменистого слоя. Потом, чтобы в колодец не стекала грязная и талая вода и чтобы — не дай бог! — не провалился невзначай скот, сделали насыпь, соорудили сруб. В огромном камне выдолбили колоду, из которой можно было пить.

Воду из нового колодца теперь опробовали черная верблюдица и ее верблюжонок. В обед дойные верблюдицы из окрестных аулов, подойдя к краю котловины, удивленно уставились на лужайку, где привыкли изо дня в день видеть лишь пропыленную, в заплатах лачугу. Заме-



тив в колодце слегка колышущуюся ртуть воды, они направились к ней и долго, не отрываясь, пили.

На другое утро люди заметили у колодца следы всякого зверья — хорька, корсака, зайца. Пользуясь темнотой, они тоже отведали свежей водицы.

Все живое — люди, скот, звери, еще вчера равнодушно взиравшие на этот невзрачный, пустой клочок земли, теперь будут спешить сюда, за тридевять земель, утолить жажду.

Крошечный пятачок, этот оазис в высохшей котловине, западет отныне в сознание людей, станет для них сладостной приманкой. Через холм, не имевший еще недавно никаких особых примет, со всех сторон пролягут к колодцу бесчисленные тропки и тропинки. Хорошо просматриваемый на плоской равнине каменный сруб колодца был полон воды — этого сока, эликсира жизни; к нему, как к благодатной груди матери-земли, будут припадать отчаявшиеся, истомленные жаждой люди.

Радости Енсепа не было предела. С утра до вечера он все ходил и ходил вокруг колодца. Иногда присаживался на край и подолгу наблюдал за веселой возней воробьев, за тем, как они, воровато озираясь и подрагивая горлышком, пьют воду.

Бай Токен прибыл в аул колодцекопателей через три дня, сопровождаемый большой свитой. Все спешили, сгрудились около колодца, заглядывали в него, смотрели, как выложен сруб. Потом измерили длину тропы, которую вытоптал рыжий атан, поинтересовались, за сколько раз можно наполнить колоду водой, накапливающейся за ночь. Приказали достать бадьей свежей воды, поочередно попили, ополоснули лица.

Прихлебатели бая Токена принялись на все лады расхваливать новый колодец, поздравлять и славить богача, будто это он вырыл его.

На следующий день бай распорядился пригнать Даржану скот в уплату за работу. После обеда, нагрузив на двух верблюдов старую лачугу и немудреный свой скарб, кудукши отправились домой — к женам и детям.

Долго не отрывал Енsep глаз от оставшегося за спиной колодца, который отныне именовался «Вырытый баям Токеном».

Енsep работал три года с дядей Даржаном.

Первый «собственный» колодец Енsep вырыл по заказу бая Бекена. Молодой бай, приходившийся аулу Караш племянником по женской линии, задумал пышные поминки по отцу. Чванливому баю хотелось выбрать для этого необжитое место, за которым бы осталось название «Место поминок такого-то». Надо было найти его и выкопать колодец. С этой целью Бекен и приехал к своим родственникам. На совет собрались самые почтенные люди рода Караш; потолковав, они решили поручить дело Енseпу. «Он уже освоил наше ремесло, пусть Енsepжан засучивает рукава и берется за работу самостоятельно.

Надеемся, он принесет удачу нашему роду», — сказали старики Бекену.

Бай намеревался провести поминки в степи, которая еще не знала конских копыт, где была бы благодатная зелень, пресная вода и равнина для традиционной байги.

Все аксакалы и зрелые мужчины рода Караш взялись за приготовления с душой. Даже высохшие, древние старики, прочно обосновавшиеся в последние годы в уголках юрт, и те покинули насиженные свои углы, включились в поиски пригодного для столь ответственного случая места.

В юрте Даржана целыми днями шли споры. Наконец после долгих словопрений выбрали краешек неглубокой низменности, что раскинулась вдоль центральной водной артерии. Это место находилось на расстоянии двух кочевков от главного колодца, известного в народе под названием Кырк-астау — «Сорок водопойных колод».

Равнина шла здесь слегка под уклон, а потом снова тянулась одинаково ровно, как доска. На этой покатой полоске, почти не приметной для неискушенного глаза, старейшины рода Караш топтались, кружились дней пять. Они тщательно осматривали, придиричиво ощупывали каждую пядь земли; пробовали на вкус почву, обнюхивали корни трав. Затем распорядились доставить сюда из байского табуна несколько косяков лошадей и гоняли их взад-вперед то трусцой, то рысцой, то галопом. Когда косяки мчались во весь опор, старики прикладывали ухо к земле и замирали.

— Нет рыхлого слоя. Нет пустот. Иначе цокот копыт отдавался бы эхом.

— Да и до глины, видать, далеко. Звук доходит приглушенно.

— Отсюда до «Сорока колод» нет солончаков и затверделых почв. Сплошь черный массив.

— А посмотри-ка на траву. В середине лета, в самый зной, она свежая и сочная. Будь здесь солончаки, травы давно бы пожухли.

Енсеп жадно ловил реплики стариков; многого в их словах он не понимал.

После длительных обсуждений старики окончательно сошлись в решении: лужайка, где особенно буйно разрослась верблюжья колючка, и есть то желаемое и искомое, что сообразуется со всеми требованиями бая. Они засеменили к ней и забили там кол.

Здесь бай Бекен поставил юрту, а рядом — еще две лачуги. Аксакалы двух аулов чинно расселись вокруг кола, прочли соответствующие случаю суры из корана, благословили бая Бекена и Енсепа и, отведав ягненка раннего приплода, разъехались по аулам. Енsep остался с пятью помощниками. Иногда его навещал Даржан, интересовался, как идет работа, давал советы.

Енsep начал рыть колодец точно там, где торчал кол, над которым расположилась пятистворчатая белая юрта. Она стояла до тех пор, пока Енsep не достиг глубины, куда не проникали солнечные лучи. Богатый аул щедро снабжал кудукши мясом и кумысом. Бай Бекен, стремившийся из всех сил слыть добрым, даже расточительным, часто навещался к Енseпу. Наезжали и старики рода Караш. Взяв горсть грунта, они придирчиво разглядывали его, кивали головами — дескать, все идет правильно; затем пилили терпкий кумыс и отправлялись восвояси.

Ровно через три месяца, когда в аулах покончили с осенней стрижкой овец, Енsep вырыл колодец. Незадолго до появления воды он наткнулся на слой густой серой глины и встревожился, однако вскоре вновь пошла супесь, потом песчанник. Енsep чуть не каждую минуту облизывал языком мелкие камушки — влага была пресной.

Он стал рыть еще глубже. Показался рыхлый песок, и Енsep вновь забеспокоился, не обрушатся ли стенки. Наконец лом коснулся камня. Енsep, как одержимый, принялся долбить его и вскоре правым локтем ощутил холод. Бросив лом, Енsep ощущал камень: его покрывала холодная испарина.

«Неужели вода уже близко? Может, она где-то здесь и вот-вот прорвется», — подумал он и опять тщательно ощущал каменистые стенки. Там, где ломкая порода влажннее, по его расчету, и должен находиться источник — водоносный слой. Пока вода не хлынула, он решил углубить наиболее безопасные углы. А уж потом, подготовив побольше пространства для воды, открыть источник, или, как говорят кудукши, «глазок». Енsep врылся в землю еще на добрый аршин, и тут еще откуда-то закапала студеная-престуденая вода. Тяжелые, как свинец, капли шлепали Енсепа по плечам. Он заработал быстрее, стараясь не задевать те места, откуда сочилась вода. Вдруг раздался скрежет — это лом ударился о плоский валун, и сразу же дождем посыпались на Енсепа ледяные капли. Он понял: не прекрати он копать, он ощутит-

ся под водой. Енсеп осторожненько поковырял часть стенки, где ожидал найти «глазок». Из нее быстро-быстро закапало, появилась тонкая водяная ниточка, и почти сразу же, превратившись в упругую струю, она прорвала преграду. Один источник был освобожден. Енсеп спешно принялся за другое место, вода одолела и эту преграду.

Вода из двух источников полилась на дно, выложенное плоским черным валуном.

Ее веселый плеск, жизнерадостное бульканье отзывались в сердце Енсепа ликованием. Это он — он! — освободил закованную камнями и грунтом воду, веками томившуюся в их плену. Это он подарил ее людям. Ему казалось, что вода поет радостный гимн жизни и свободе.

За шесть дней до поминок джигиты укрепили стенки нового колодца, соорудили крепкий, надежный сруб.

Поминки провели шумно. Они всколыхнули низовья и верховья степи. Поразвеваясь, погулял и Енсеп.

В последний день тоя по зову Бекена собрались аксакалы. Бай поблагодарил Енсепа и пожаловал ему за труды коня и шестьдесят овец. Верхом на коне, погоняя собственную отару, отправился Енсеп домой. Овцы поначалу разбегались врассыпную, норовили вернуться назад, в свою отару, но уже через первый перевал пошли послушно, сбившись в тесную кучу...

Вскоре Енсеп женился на дочери сапожника Ихласа.

Снискавший славу на поминках бая Енсеп с тех пор не мог жаловаться на отсутствие заказов и работы. К нему со всех сторон устремились состоятельные заказчики. Все они, похоже, опасались, что в колодце, вырытом кем-нибудь иным, не окажется воды.

Вначале Енсеп никому не отказывал.

Ко многому может привыкнуть человек; к объятиям черной бездны привыкнуть трудно. Даже те, к кому благоволит судьба, кто постоянно находится среди близких и родных, наслаждается солнцем и чистым, на травах настоящим воздухом, — даже они порой не испытывают радости, предаются горестным мыслям и печали. Известна ведь ненасытность человеческой натуры, вечное его недовольство тем, что он имеет... Каково же человеку, который не раз и не два, а изо дня в день вынужден погружаться в мрачное, отдающее тленом

подземелье. То самое, куда он должен быть опущен однажды укутанным в белый саван!

Единственный спутник кудукши — страх. Он живет в вечном страхе — перед неумолимо обступающими его немymi стенами, перед маленькой щелью там, далеко вверху, через которую едва-едва брезжит божий свет, перед пронизывающей, хватающей за ноги, как рак клещами, сыростью. Хорошо еще, коли после всех нечеловеческих трудов и мук добираться до водоносного слоя! Желанный источник может оказаться и не здесь, а где-нибудь в версте-другой... К тому же никогда не предугадаешь заранее, какая в колодце вода — пресная или соленая?

Сколько бы колодцев ни вырыл за свою жизнь кудукши, сколько бы ни было у него удач, его неотступно преследуют сомнения, терзает неуверенность. Он досконально изучает местность и почву, прежде чем забить наконец-то кол и начать изнурительный свой труд. А едва он окажется на глубине, превышающей его рост, с каждым вершком нарастают, усугубляются муки сомнений, ожиданий, страхов. Мастер долбит и долбит землю в сырости и темноте. Эта однообразная, нудная работа изводит, изматывает даже самых сильных, выносливых и бесстрашных, как дьявол.

Долгое одиночество, когда никого нет рядом, когда не с кем словом перемолвиться; темень и кладбищенская тишина год за годом истачивают самую твердую, самую закаленную волю. Время, как острое лезвие, снимает с человеческого сердца слой за слоем лучшие его проявления и порывы. Кудукши становится все суеверней, мнительней, подозрительней.

В дни, когда он ждет, что вот-вот появится вода, он мыкается, не находит себе места, охвачен ужасом перед неведомым, совсем как женщина, впервые испытывающая родовые схватки. Он напрочь забывает, что всего месяц, нет, неделю назад — какой там! — только вчера он был способен чему-то радоваться. Радость, мечты — кажется, он утратил их навек. Ему чудится, что всю свою жизнь, вплоть до этого ужасного момента, он только и ведал, что страх, судорожное ожидание непоправимой беды. Он почти на грани невменяемости. И злится на себя, на непростительное свое легкомыслие, приведшее его к этому кошмару, к этому проклятому ремеслу. И он дает в душе зарок: господи, если только повезет

мне на этот раз, если я выберусь отсюда благополучно, пропади все пропадом, никогда, никогда, никогда я больше не подойду к колодцу...

И Енsep шептал в такой момент предсмертную молитву, а очутившись на сияющей земле, благодарил всевышнего. После каждого нового своего колодца он чувствовал себя вконец изнуренным, опустошенным. И думал, что никакие силы и соблазны не загонят его опять в эту бездну. Но проходило пять-шесть месяцев, и он ставил свою дырявую лачугу на другом месте и брался за лопату и лом.

Какая властная сила опять толкала его в чрево колодца, еще вчера пугавшее его до содрогания? Енsep об этом тогда, пожалуй, еще и не задумывался. Понял он это позже.

В мире, неумолимо разделившем людей на имущих и неимущих, хороших и плохих, в мире, где царствуют вражда, зависть и порок, идет жестокая схватка за то, чтобы выжить, уцелеть, оказаться на поверхности. Деньги, слава действуют здесь на людей, как шпоры на еще не обьеженного скакуна.

Вначале в присподнюю Енseпа отправляли льстивые речи и хвала. Он искренне верил, что весть о новом колодце отзовется радостью в сердцах всех, до кого она донесется. Со временем, однако, он горько разочаровался, ибо убедился, что это далеко не так. Выполнив очередной заказ, он гнал впереди себя скот, а за ним хвостом тянулись сплетни, наговоры, слухи. Иные обвиняли его в жадности — глаза завидующие, руки загребушие, вон как надывается, будто с собой на тот свет хочет прихватить состояньице. Другие нашептывали ему, стараясь растравить, разбередить его душу:

— Апырай, ну и жмот этот твой бай, бога не боится! За колодец глубиной в семьдесят кулаш сунул тебе всего-навсего семьдесят полугодовалых ягнят!

А через месяц-другой подстрекатель объявлялся сам:

— Енsepжан, я ведь не из таковских, как тот скряга. Я одарю тебя щедро, как никто. Соорудишь мне колодец — отвалою сотню овец.

Енsep уже не брался, как прежде, за любые заказы. Он стал выбирать заказчиков по их чапанам и убранству коней.

Дядя Даржан как-то объявил: «Сил монх больше нет долбить камни в верховье. Переберусь-ка я в низовье,

где и грунт мягче и вода не так глубока». И он покинул горные аулы. Лет пять он копал колодцы в аулах низовья, а потом случилось то, чего постоянно со страхом ждет любой кудукши: обвалилась рыхлая стенка и засыпала живьем силача Даржана.

Енsep упорствовал, оставался в верховье и рыл, рыл, рыл глубокне, как пропасть колодцы. Цены он назначал с каждым разом выше; заказчиков же у него поубавилось — лишь известные богачи, теша тщеславие, посылали гонцов к Енseпу.

Со временем заказчиков стало совсем мало. Енsep порой думал, что люди позабыли дорогу к его юрте. Те, кому он отказывал, уезжали разобиженные, грозясь вообще больше с ним не знаться. И конечно, тут же искали и находили других кудукши, может, и не таких прославленных, зато более сговорчивых.

В эту-то пору и появился на горизонте некий Калпак из Хорезма. Поговаривали, что Калпак ладит седла и конскую упряжь. Потом пошли слухи, что он и колодцы роет. Заказчики хлынули к нему. Иные специально, чтоб досадить Енseпу, подъезжали к его аулу, а потом круто сворачивали к Калпаку, хотя тот жил в другой стороне, на расстоянии примерно полдня пути.

Поначалу подобная мелочность, столь наивная месть забавляли Енseпа. Потом нарочито проезжавшие мимо путники стали его раздражать. Ну а со временем дело дошло до того, что, сжигаемый завистью, прятался он в юрте, тайком подсчитывая, сколько всадников и из каких аулов держали путь к Калпаку. К его утешению, гонцы из родовых и богатых аулов пока что к его тайному сопернику не обращались.

Люди, которые наведывались к Енseпу, будто незначай, через каждое слово упоминали имя пришельца из Хорезма. Енsep крепился, делал вид, что его это не трогает. Иногда с чувством превосходства ронял между прочим: «В Хорезме грунт мягкий, глинистый. Не то что у нас — камень да булыжник. Он небось привык к мелким колодцам. Даже и не колодцам, а просто ямам...»

Бай Сагинай, имевший зуб на Енseпа, нанял Калпака рыть колодец рядом с большой солончаковой дорогой. По ней кочевья перебиралось на Устюрт. Сагинай был жаден до невозможности. Поговаривали, что, когда к нему приезжали гости и его жена собиралась положить в

котел мясо, бай подзывал к себе внука и начинал причитать:

— Охо-хо, жеребеночек мой, носишься весь день как угорелый. Смотри-ка: похудел-то как! Кожа да кости. Ребрышки твои пересчитать можно. Ну-ка, ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять... Ай-ай-ай... А позвонки-то! Раз, два, три... Господи, а ручонки — прутья, да и только! Что люди подумают, глядя на тебя? Не иначе, скажут, голодом тебя морят. Постой! Ойбай, а это еще что за болячка на твоей лопатке?!

Выслушав эту речь, жена бая опускала в котел лопатки, пять ребер, три позвонка, мосталышки.

Этот скупердяй, чуть ли бороду не макающий в казан, дабы пересчитать каждый кусок мяса, по всему, затаил зло на Енсепа. Доброхоты разносили новость, что бай Сагиннай обещал Калпаку за работу пожаловать сто пятьдесят овец и верблюдов.

Потом по степи пронеслась весть: «Колодец, который роет Калпак, будет самым глубоким на Устюрте. Уже сейчас глубина его исчисляется в пятьдесят шагов!» Отныне все разговоры гостей, приезжающих в аул, вертелись вокруг одного и того же — колодца Калпака. При этом размеры и глубина его росли в устах людей не по дням, а по часам. Утром болтали, что глубина его равна ста двадцати шагам, а вечером трезвонили о ста тридцати шагах.

Даже почтенные белобородые старики, поддавшись всеобщему сумасшествию, до хрипоты восхваляли небывалый с сотворения мира колодец. «Оказывается, — захлебывались некоторые в экстазе, — предок Калпака был святым. Он оставил своим потомкам волшебный железный кол. Кол этот и подает знак, где имеется вода. Вот Калпак и угадывает, в каком месте копать ему колодец. Ну и чудо!»

Как-то двое проезжих сообщили: «Глубина колодца уже сто сорок шагов. Своими глазами видели!» Нашлось немало любопытных в степи, которые поскакали поглазеть на это чудо из чудес.

Аульчане Енсепа тоже не поленились, погнали гуда коней. Раньше они стеснялись вести при Енсепе беседы о Калпаке, теперь же при них смущался он. Он считал, что праздный люд, собравшись в тени чьей-нибудь юрты, возносит до небес колодец Калпака для того лишь, чтобы досадить ему, поизмываться. Он стал болезненно

мнительным, избегал людей, ему постоянно мерещились насмешливые улыбки, осуждающие взгляды. И он не выдержал: оседлал коня и отправился к Калпаку.

Калпак был уже в годах, однако, завидев Енсепа, засуетился, как мальчишка. Он принялся теребить редкие рыжие усы, потом, спохватившись, подробно расспросил, здоров ли гость и все ли благополучно в его доме и ауле. Подбородок Калпака был голый, как колено; глаза серые, нос крючком. Маленький плоский череп обмотан выгоревшим, непонятного цвета платком; его конец болтался, прикрывая ухо.

Енsep застал Калпака сидящим на каменной приступке у колодца. Он, видимо, только-только вылез наверх. Подвернутые выше колен штаны были мокрые. Полосатый чапан наброшен на голое тело. Редкие, с желтизной, острые зубы обнажены — непонятно, гримаса это или улыбка.

Енsep вежливо ответил на традиционные вопросы хозяина, потом сам начал задавать их. Его не очень интересовало здоровье и благополучие семьи и скота Калпака, интересовал колодец. Он зорким, опытным глазом глянул на белевшую тропинку, проторенную верблюдом в чигире, мысленно прикинул ее длину... Не зря люди языками чесали: глубина изрядная, пожалуй, сто пятьдесят шагов будет. Он потемнел лицом; в сердце холодной, скользкой змеей вползла зависть. Сделав над собой усилие, он расправил хмурые брови, еле-еле говорил:

— Да сопутствует тебе удача!

— Да сбудутся ваши слова! — ответил Калпак.

Тон соперника показался Енсецу резким и вызывающим. Он быстро, в упор посмотрел на Калпака, смягчая враждебное, суровое выражение лица, растянул губы в подобие улыбки, спросил:

— Как, до воды много еще осталось?

— Не сегодня-завтра надеюсь добраться.

Енsep направился к коню. Калпак предложил выпить чаю, но он отказался, сославшись на неотложные дела. Калпак почтительно помог ему сесть на коня.

Енsep попрощался, тронул поводья. Ему почудилось, что удачливый Калпак с жалостью взирает ему вслед. Даже то, что хозяин поддержал его, когда он взбирался в седло, Енsep воспринял теперь как проявление жалости. Его обдало жаркой волной стыда и возмущения.

Он больно хлестнул коня по крупу. Да, не миновать ему, Енсепу, срама — колодец Калпака будет самым глубоким на Устюрте. Недаром уже сейчас его уважительно называют в народе «Калпак-казган» — «Колодец, вырытый Калпаком».

Енсеп вернулся домой подавленным, несчастным. Его, как рой мух, окружили бередающие душу мысли. Дядя Даржан поставил в этой гладкой, как плешь, полупустыне немало колодцев. Но прославлялись при этом баи, чьи имена присваивались — за что, собственно?! — этим колодцам. А потом в одном из них Даржан нашел себе могилу. Что толку, что он мог одним ударом руки свалить верблюда? Что всю жизнь с того дня, когда он впервые ухватился за холку стригунка, и до последнего своего смертного часа работал, работал, не выпуская из рук кайло? Что это он спас от жажды множество людей — тех, у кого от нее, проклятой, мутился разум? Что он дал казахам столько вкусной, холодной воды, которая в пустыне дороже золота? Рыжий глиняный холмик понемногу осядет, ветер развеет глину, сровняет тот холмик с землей — кто будет знать, что под ним, в старой, провалившейся яме поконится безымянный кудукши?! Тот, что дарил людям жизнь? Какой же смысл в том, что Даржан неумоимо, на совесть ковырял эту бездушную черную землю?! Неужто только ради жратвы, которую добывает себе и последняя из последних собака, и жалкого тряпья?!

Так чужая удача нежданно-негаданно напомнила Енсепу о скоротечности жизни и изменчивости судьбы.

Совсем пусто стало отныне вокруг его юрты. В прежние времена, заметив всадника издали, Енсеп твердо был уверен: кто-то едет к нему. Теперь, увидя у горизонта путника, он робко надеялся: а вдруг он все же кому-то понадобился? И не находил себе места от волнения. Увы, искали не его, мастера колодцев, а пропавшую в безбрежной степи скотину или еще что-нибудь.

С годами стало заметно редеть поголовье, которое Енсеп нажил тяжким трудом.

Его охватила неизбывная тоска; радость покинула юрту Енсепа. Он вставал по стародавней своей привычке, едва забрезжит рассвет, торопил, подгонял жену, чтоб пошевеливалась, скорее готовила чай. Завтракал кое-как, наспех. Потом начинал маяться, ходить взад-вперед, испуганно озирался вокруг, лихорадочно вглядывался

вдале; наконец, измученный, будто оглушенный, опускался на кошму и застывал. Раньше, в сыром колодце, время тянулось бесконечно долго; находясь дома, сидя в прохладе, на мягкой постели, он еле-еле дожидался вечера — ему казалось, что время и вовсе остановилось.

Когда терпенье его иссякало, он седлал коня и отправлялся на охоту. В степи, где косяком паслись косули, в низинах, где обитали дикие козы, в оврагах и ущельях, где водились архары, в лощинах, по которым все они ходили на водопой, Енsep ставил капканы. Но и это не отвлекало его от невеселых дум, не снимало тяжести с сердца. Он не высматривал зверя — высматривал места, где могла бы быть вода. Он изучающе оценивал, в каком направлении тянутся хребты и перевалы, где и как перекрещиваются ручьи и овражки, каков травяной покров. Он то и дело слезал со своей неприглядной лошади, ручкой камчи разрыхлял землю, разглядывал почву на ладони. В горах его привлекали не архары, а удобные тропы для перевозки камней, необходимых, чтобы укрепить стенки колодца.

Редко Енsep возвращался домой с добычей. Но он утешал себя: уж лучше по степи и горам мотаться, чем целыми днями мозолить глаза жене и детям. Если в степи ему ненароком встречались охотники, он жадно расспрашивал их о новостях в окрестных аулах...

Богач Сагнай со всем своим родом, судя по рассказам, старался окончательно прибрать к рукам Калпака. Бай не допускал к колодцу «Калпак-казган» никого из других родов, шел на грубые ссоры с кочевьями, обвинял их, что они-де вычерпали всю его воду и истоптали его пастбище. Он приказал избить двух чабанов бая Байсала за то лишь, что они осмелились напоить своих овец из его колодца. С тех пор бан соседи стали жить как кошка с собакой.

Однажды, возвращаясь после неудачной охоты, Енsep заметил на привязи возле своей юрты чужого коня. Он не поверил своим глазам. «Не мерещится ли? Кто же это может быть?» — подумал он и погнался лошадей быстрее. Чем ближе к аулу, тем сильнее колотилось сердце Енseпа. Судя по коню и сбруе, гость был из людей состоятельных.

Через открытые решетки юрты Енsep узрел жирный вытылок бая Байсала.

Байсал приветливо поздоровался с Енсепом. К делу он перешел не сразу, а лишь поведав о новостях в аулах и поинтересовавшись житьем-бытьем енсеповского аула. Енсеп для угощения зарезал полугодовалого барашка, радушно ухаживал за гостем.

Собравшись отъезжать, Байсал произнес как бы между прочим:

— Может, проводишь меня, Енсеп, вон до того перевала?

— Охотно, — засуетился Енсеп.

Миновали аул, и тут бай повел речь о главном:

— Ты, Енсеп, наверное, уже слышан о том, что Сагинай самовольно присвоил себе широкий путь, по которому испокон веку кочевали наши предки. У нас, сам знаешь, никогда не было ни ругани, ни распрей из-за этой дороги. Теперь Сагинай грызется, прямо-таки лается с каждым, кто проезжает там. Пусть другие цапаются с ним, а мне, признаюсь откровенно, не хочется унижаться ссорой с этим вонючим ублюдком. И вот задумал я неподалеку отсюда, по конской тропе, проложить новый путь для кочевков. Сегодня я там проехал и убедился, что местность вполне подходящая, тихая. Пастбища сносные, тропа не очень узкая. Одна беда: сразу же после отрогов на расстоянии двухдневного пути вода есть, а дальше — сплошь пустыни. Где-то на полпути позарез нужен колодец, чтоб во время кочевков напоить скот...

Байсал круто оборвал речь и уставился на Енсепа. Сделав внушительную паузу, добавил:

— Весеннюю стрижку овец мне хотелось бы провести у нового колодца...

Растерявшийся от счастья Енсеп молчал.

Байсал простился. Его крупный соловый конь удалялся все дальше и дальше и постепенно слился с порыжелой осенней степью. Енсеп неотрывно, до рези в глазах, смотрел ему вслед. Байсал, исчезнувший так неожиданно и скоро, казался ему добрым привидением.

Опомнившись, Енсеп повернул лошадь в аул. Вдруг ему почудилось, будто кто-то его окликнул. Он похолодел. Его пронзила мысль: Байсал передумал, перерешил. Он медленно обернулся: бай уже поднялся на черный холм у самого горизонта. Немного погодя Енсеп еще раз глянул назад — бай спускался по косогору; еще мгновение, и он скрылся совсем...

Енсе́п уже смирился с мыслью, что к нему никто и никогда не обратится больше с заказом. Он втайне мечтал: если ему еще суждено будет заняться своим проклятым — и единственно любимым — ремеслом, он сделает колодец всем на удивление, на славу себе. Эта мечта долго — и увя! — бесплодно жила в нем. Сейчас, когда он мог осуществить ее, нахлынули сомнения: а сможет ли он, способен ли он еще потрясать людей?

Енсе́п целыми днями не слезал с коня. Обшарил каждый кустик в окрестности, что указал Байсал, объездил все лощины, холмы и низины, Енсе́п ушел в себя, замкнулся, почти не разговаривал с домашними. Иногда, сидя за дастарханом, ставил пиалу с чаем перед собой, упирался подбородком в колено и, отрешаясь от всего, что его окружало, задумывался.

Он долго прикидывал, сомневался, рассчитывал. Наконец выбрал место. Он обращался за советом к старикам, чтобы не обидеть их и избежать всяких кривотолков. Однако не прислушался к их мнению, поступил по-своему.

Над колышком, который Енсе́п вбил в землю, бай Байсал поставил юрту и прислал мастеру в помощь четырех джигитов. Ночью перед началом работ Енсе́п не сомкнул глаз.

За долгий вынужденный простой его руки отвыкли от дела. К тому же его сковывала неведомая ему ранее неуверенность в себе. Енсе́п все стоял и стоял рядом с железным колом. Уже утихли ободряющие хвалебные слова джигитов, которые в былые времена подстегивали самолюбивого Енсе́па, заставляли его работать, пренебрегая усталостью... Да, время наложило на него свою печать. И разве только на него? Его бойкий аргамак по кличке «А, была не была!» превратился ныне в заезженную, дряхлую клячу, которую, как ни подгоняй, ни подстегивай, не пустишь во весь опор.

Енсе́п понимал — чего там лукавить перед собой! — на этот раз его толкала в алчный зев земли особая сила. Он, правда, еще не решается прямо определить болезнь, которая привязалась к нему, неотступно преследует его с той поры, как он навестил Калпака. Она, эта болезнь, терзала, подтачивала, медленно изводила его, лишая сна, доводя до неистовства. Разум, совесть его отказывались назвать своим именем точившую его боль. Он ясно чувствовал — она не отпустит, не покинет его, пока его

воля не сотворит в отчаянном порыве чудо. Пусть он ее почти лишился, пусть его воля превратилась в хромоногую, ослабевшего ишака — он, Енсепп, подстегнет ее, найдет в себе силы вновь утвердить, вернуть свою славу...

Почти год миновал с того дня, когда Енсепп предавался этим раздумьям. Не ведая отдыха, с упорством фанатика долбит он бездушную, безмолвную землю. Только дважды он прерывал работу, седлал лошадь, исчезал за перевалом и возвращался через пять-шесть дней. И совсем недавно он отлучался. Куда он ездил? С какой целью? Об этом он не обмолвился ни словом. В этом он не признается и самому Байсалу на пиршестве, если, разумеется, колодец удастся.

Как же возликует тогда Енсепп! Никто, ни один человек на свете не посмеет умалить его заслуги, не оценить его несравненное мастерство! А после... После он не то что землю потрошить, вообще будет за версту объезжать любой колодец. Будет довольствоваться тем, что у него есть, и тихо-скромно коротать век.

Как бы там ни случилось, все равно его колодец будет самым глубоким на этом плоскогорье. Словно отрываясь от белых хребтов, плоскогорье не идет под уклон, а постепенно будто поднимается по ступенькам, пока не сливается окончательно с песками большой пустыни.

Все известные Енсеппу глубокие колодцы находятся ниже этого уровня. Там водоносный слой значительно ближе к поверхности. Стало быть, по его расчетам, здесь вода располагается на глубине двухсот шагов, никак не меньше. Он сильно обрадовался, когда дорожка, вытопанная вороным атаном в чигире, оказалась именно такой длины. Он почувствовал в себе уверенность, а нет, опять непредвиденная неприятность: со вчерашнего дня вдруг обнаружилась плоская мокрая галька.

Он встревожился: ее появление не случайно, значит, вода вот-вот выступит. И полетят его расчеты и мечты о небывалой глубине! О небывалой славе!.. Неужто он напрасно дважды гонял коня вдоль промоины?

Енсепп все время внимательно прислушивался, но, кроме глухого стука железного лома о сырую землю, его ухо ничего не улавливало. Копать рыхлую супесь попеременно с влажной галькой было совсем нетрудно. Дубовую бадью он наполнял моментально. Судя по всему, источник воды где-то рядом, совсем поблизости. Не иск-

лючено, что вода прорвется именно здесь, в этой точке. Он в который раз ощупал стенки, чтобы определить, какая из них плотнее, но камня так и не обнаружил. По его расчетам, пора бы уже наткнуться на серый валун. Что за дьявол, почему опять здесь сплошной рыхлый, податливый грунт?

Енсеп продолжал механически, монотонно долбить дно. И вдруг лом со скрежетом прошелся по камню. Енсеп застыл, сам себе не веря: неужто камень? Он стал осторожно подкапывать грунт, лом по-прежнему ударялся о большущий камень. Супесь с влажной галькой кончилась. Под ногами Енсепа скапливалась и хлопала вода. Видно, утром он напал на незначительный водоносный слой. Будь «глазок» крупным, уже хлынула бы мощная струя. Он, очевидно, наткнулся на песчаный слой, намытый какими-то побочными ответвлениями основного подземного течения. Да, ясно теперь: до главного русла он пока не добрался. Оно здесь, под этим твердым пластом. Когда он пробьет его — потечет, заструится желанная вода...

Приехав на это место, Енсеп перевез сюда и юрту младшего брата Тенсела и раскинул ее на откосе, где грядами громоздились белые скалы. Он поручал брату тесать камни, которыми потом они выложат сруб. Енсеп так намаялся в дороге, что, едва поставив юрту, завалился спать. За полночь он проснулся. До его слуха смутно доносилось журчанье. Он лежал и внимательно вслушивался в звуки, потом не выдержал, поднялся и вышел из юрты. Мириады звезд на летнем ночном небе хмуρο подмигивали ему. Черной линией, совсем как острое ножа, простирался у ног край откоса, а под ним — море. Тихая ночь и его сковала сном. Енсеп запахнул чапан на обнаженной груди, поежился зябко и быстро затрусил в юрту.

Едва Енсеп коснулся головой подушки, ему снова почудилось журчанье. Уснуть Енсеп так и не смог. Что это за звуки? Быть может, это в ущельях, в горах, между скал воеет-завывает ветер? Но ночь-то сегодня безветренная!

Утром, наспех попив чаю, Енсеп отправился вдоль откоса. Могучие, в мощных складках скалы то убегали от моря, то грозно нависали над ним. Кос-где сильно размытые, шербатые скалы наполовину стояли в воде. Енсеп прошел по каменистой косе, поднялся на одну из них,

насторожился. Вроде где-то здесь, в нескольких шагах, возникал странный журчащий звук, который не давал ему покоя ночью. Он глянул с обрыва вниз. Море было спокойно. Кокетливые кудрявые волны, напоминающие оборки женского атласного платья, гонялись друг за другом. Потом, будто уgomонившись, расстилались у подножия скал, целуя их шершавые выступы. Трудно было поверить, что в шторм эти же волны, но белопенные и гни- вастые, яростно обрушиваются на скалы... Однако что это за звук? Енсеп напряженно прислушивался, стараясь разгадать загадку. Похоже, поблизости течет вода. Откуда она здесь? В этой потрескавшейся от зноя, выжженной пустыне нет ни одной, даже захудалой речушки, которая впадала бы в море. Два-три ручейка обрываются, исчезают где-то в солончаках на расстоянии не менее шести кочевков от моря.

Енсеп побрел по кромке мыса назад. Обследовал крохотный, пританкующий между зубчатыми белыми скалами заливчик, и тут, у подножия одного утеса, обнаружил пещеру.

Морские волны омывали, прополаскивали ее горловину. Вода источила утес, ветер прорезал на нем желтые морщины. Журчанье, казалось, исходило оттуда.

Енсеп поспешил к пещере. Все явственней слышался знакомый звук. То не был своеобразный плеск волн, ударяющихся о скалы; это было, вне сомнения, бурное течение полноводного источника. Не исключено, что из-под земли, из пещеры бьет мощный родник и вода его несет в море, догадался Енсеп.

Он оставил у пещеры камни для ориентира и снова отправился в путь. Оказалось, что до той самой каменистой лощины, где он копал свой колодец, тянулось от пещеры песчаное руслице. Почти все колодцы на плоскогорье располагались по этой линии...

Енсепа осенило: колодцы эти питаются не главным водоносным слоем, что находится бог весть в какой глубине, а его побочными, лежащими значительно выше мелкими ответвлениями... Стало быть, до него, Енсепа, ни один кудукши еще не добрался до основного русла подземной воды, той, что стекает в море...

Вспомнив об этом сейчас, Енсеп с еще большей яростью принялся за каменный пласт. Скрежет железного лома заполнил собой еще недавно безмолвный колодец. В ушах мастера стоял звон.



Железо обжигало ладони Енсена холодом, и он решил остановиться на миг, надеть рукавицы. И тут уловил слабый, глухой гул. Гул напомнил Енсепу звуки, которые он не раз слышал, лежа под джидой где-нибудь в пустыне или в овраге. «Может, здесь есть щели, тянущиеся к верхним рыхлым слоям земли?» — подумал он.

Енсеп осторожно обшарил стенки колодца — ни одной трещины. Он снова прислушался. Да, гул был явственным, и к нему вроде бы применялось журчанье.

Енсеп опять рыл, рыл, потом остановился, напряг слух. Снова долбил, долбил, выпрямился, приложил ухо к стенке — непонятный гул сделался громче.

Енсепа охватила радость: это же не просто гул. Под ногами бежала, пела вода, ее песня становилась все звучнее и звучнее. Да, да, он добрался до бурного подземного течения. О счастье!..

Енсеп, ощутив новый прилив сил, бил по серому камню. Скрежет лома от соприкосновения с глыбой не мог уже заглушить все нарастающий гул.

Енсеп без передышки бил и бил железкой по пласту. Стояла промозглая сырость, тянуло холодом, но по лбу и груди Енсепа струился пот. Каменистый пласт крошился под ним, из-под ног летели осколки. Еще чуть-чуть, еще самая малость — и откроется главное русло! Енсеп что было силы вцепился в лом. И через секунду-другую совсем рядом отчетливо различил удары. Можно было подумать, что в узком мешке колодца еще кто-то крошит камень. Удары повторялись периодически, ритмично следовали один за другим. В душу Енсепа закралось опасение — уж не торопится ли кто-то одолеть этот камень раньше его? Но нет! Откуда здесь взяться человеку? Енсеп остервенело работал ломом, стараясь заглушить посторонние звуки. А они не исчезали. Теперь бухало уже оглушительно, почти без пауз.

Енсеп выбился из сил, задышался, сердце, казалось, вот-вот разорвется — так тесно ему стало в груди. Надо было отдохнуть, собраться с мыслями, успокоиться, но неведомый, неподвластный Енсепу звук все приближался.

Енсеп стоял, парализованный страхом, боясь шевельнуть пальцем. Все же решился, нагнулся, ощупал холодные, влажные стены и плоский, как доска, камень. Нет, кроме него, в этой могиле не было никого. А в ушах стучало набатом: бум-бум-бум!

Он поднялся. И снова и снова лом обрушивался на камень. Соленый пот заливал глаза Енсепа, катил градом, но он будто и не замечал этого, все долбил, долбил, долбил...

Вдруг кто-то железной хваткой уцепил лом и не отпускал его. Енсеп как подкошенный упал на колени, в глазах потемнело. На мгновение мелькнул перед ним плавок Калпака, сам Калпак с обнаженными в злорадном оскале редкими желтыми зубами. Вот он тянет ру-

ку к лому, хватает его... Енсеп опомнился, рванул лом на себя и легко вытащил его из щели в камне.

Енсеп окончательно овладел собой. В ноги подуло, будто сквозняком. Он постоял немного, огляделся, прислушался. Шумела вода; молотом стучало его собственное сердце...

На его губах заиграла улыбка. Сейчас нужно сработать в камне лунку. Подходящего размера, такую, чтобы объемистая — с полкорыта — бадья из жеребьячьей шкуры свободно черпала воду. Осколки не летели теперь вверх, они проваливались в пучину, в которой гремела, бурлила вода. Лунка все увеличивалась. И все ошутнее поддувало снизу.

Енсеп делал маленькие паузы, чтобы только перевести дыхание. Все его усилия, воля, желания сосредоточились на лунке в середине камня. Он потерял счет мгновениям и не знал, сколько времени бьется с этим проклятым камнем.

Работал он яростно, ожесточенно, предвкушая долгожданный миг своего величия и торжества. Когда он всему миру докажет, на что он, мастер Енсеп, способен. Страх как рукой сняло. Енсеп не обращал больше внимания на тесный свой склеп, на мглистые тени, зловеще притаившиеся по углам, на истеричные прыжки аркана, которым джигиты там, наверху, подавали ему знаки... Ничего, кроме этой лунки под ногами, сейчас для него не существовало. Он был одержим ею...

Неожиданно Енсеп промахнулся, шлепнулся ничком, больно стукнулся лбом о стенку. Однако чьи-то большие, мягкие, теплые ладони поймали его на лету, заботливо поддержали. Они провели по его телу с головы до ног, погладили его. Тот, кому принадлежали эти ладони, был весь в поту — совсем как Енсеп. Мастер остро почувствовал, как мучительно заledenели его спина и поясница. Потом кто-то наклонился к нему: в густом мраке белело худое, полное жалости и сострадания лицо Калпака.

Енсеп с трудом заморгал свинцово отяжелевшими веками, и тут гривастая, в пене, клокочущая волна подхватила его и увлекла в пучину. Он закричал отчаянным, предсмертным криком. Но сам он его уже не услышал.

Напрасно помощники, сгрудившиеся у отверстия колодца, дергали за аркан. Бадья вернулась пустая. Тогда они ловкими, спорными движениями запрягли верб-

люда в чигирь, опустили в колодец толстый волосяной аркан с петлей на конце. Но и его вытащили ни с чем.

Опустив головы в колодец, они завопили во всю силу легких:

— Енсе! Енсе-е-е-еп!

Ответом им были молчание и далекий, смягченный расстоянием гул. Джигитов обдало холодным дыханием. Они в ужасе отпрянули.

Многие годы никто не осмеливался подойти к этому страшному колодцу. Говорили, будто в нем обитает чудовище, которое-то и утащило, погубило Енсепа. Находились и такие, что «собственными глазами видели, как однажды высунулся из колодца семиглавый дракон-ай-дахар».

Ушли в небытие еще несколько лет. Объявились смельчаки — бесшабашные головы, — приблизились к колодцу и даже опустили в него бадью. Их поразила вода — чистая, вкусная, прозрачная как слеза.

Долго совещались белобородые старики: как тут постудить? Позвали муллу. Он раскрыл коран, прочитал священную молитву, очистил колодец от злых духов, чертей и разной прочей нечисти... Выложили камнями стенки, поставили сруб. Отныне все окрестные аулы не знали нужды в пресной воде. В засушливые годы мелели, а то и вовсе высыхали многие колодцы. В этом вода не переводилась никогда.

Однажды кто-то нечаянно упустил бадью, и ее вынесло к подножию утеса у самого моря. Так люди узнали, что под этим колодцем протекает подземная река.

Колодец прославился как самый глубокий и самый многоводный на плоскогорье. Однако называли его не «Енсеп-казган» — «Вырытый Енсепом», а «Енсеп-улген» — «Тот, где погиб Енсеп».

Перевод В. ПАНКИНОЙ.

Д а, верно говаривали в старину: коль подрастает дочь, готовься к напастям. Будь это не так, жил бы себе бай Балпан в свое удовольствие и в ус не дул. Богатства, слава всевышнему, он нажил считать не сосчитать: погонят его табун на водопой — передние лошади, пофыркивая, воду в Чилике уже пьют, а задние, поднимая пыль до небес, только-только спускаются к Таскайнару, что находится на расстоянии шести кочевьев. Сколько овец в отарах, бай и сам не упомянет. Знает лишь, что в период стрижки купец Шурен по десять возов шерсти возил в день на городской базар и то еле-еле за полмесяца управлялся. Акын Кушен, прославляя богатство бая в песнях своих, пел, что-де при кочевках с места на место остается в степи под каждым кустиком по верблюду, и никто даже не снюхатился — разве заметишь столь ничтожную потерю?

И с начальством, благодарение аллаху, бай Балпан ладит. Когда-то щедро подмаслил его, без труда прибрал к рукам долину между двумя полноводными реками, зимой и летом текущими наперегонки, — не задыхаться же, в самом деле, в пустыне! Междуречье длинной в пятьдесят кочевьев всецело принадлежит ему. Как сказали бы мудрецы: и на изголовье, и на изножье хватает.

Вот этой весной нагрянул улук¹ белого царя. Прикатил в сером фаэтоне, такой важный и спесивый, что от его спеси, казалось, даже оглобли фаэтона задрались. Однако нежное мяско молоденького ягненка да еще духмяный майский кумыс растопят, как солнце масло, любую черствую душу. Отбивая, этот зазнайка-улук тискал-лобызал степняка бая пуще своей белотелой бабы. Насилу оторвался. Но Балпеке человек с дальним принципом. Отрядил шесть джигитов сопровождать начальника в пути, приказал продать две сотни холоще-

¹ У л у к — чиповник.

ных двухгодовалых баранов, а деньги сунуть его превосходительству в карман. Сына заблаговременно отправил в город за покупками и набил-нагрузил две телеги всякой всячиной — на, получай, жри, хоть подавись! А когда, щедро одаренный, умасленный лестью улук, багровый от обильных возлияний и жратвы, вернулся, словно из обетованной земли, домой, там ожидала его истосковавшаяся супруга да курдюк ягненка в котле — ко времени доставленное подношение бая. Ясно, что после такого улук скорее позабудет родного батюшку, чем степного богача Балпана.

Однажды, правда, этот рыжий дьявол напугал его не на шутку. Брезгливо, словно там плавали мыши, цедил он, сдувая пену, кумыс, как вдруг вошла в юрту Ажар. Он сразу заерзал на своем месте, усы его задергались вниз-вверх, глаза замаслились. Мигом подскочило настроение улукa, он начал безудержно лопотать, сыпать словами. И хотя бай Балпан ни одного слова не понимал, однако смекнул, что этот собачий сын не благодарственную молитву произносит, а восторгается его дочерью. Ведь только что сидел, горделиво выпятив грудь, недвижимо, будто палку проглотил невзначай, а тут, увидев девку, сразу слюни распустил. Сунь, кажется, ему в руки песью голову — и то не заметит: глазами так и пожирает Ажар. Балпан подал нетерпеливый знак своей байбише: убери эту дочь сатанинскую. Жена, понимавшая его с первого взгляда, быстро увела Ажар в юрту Утегена и строго наказала, чтобы та не показывалась до самого отъезда улукa. И тот мгновенно потускнел, слинял, словно заядлый любитель нюхательного табака, потерявший нечаянно табакерку. Бай Балпан сидел как на иголках, опасаясь, что улук потребует доставить ему в юрту дочь. Но, слава аллаху, пронесло беду. Не в пример тамошним правителям, которые из-за девок теряют рассудок и бесятся, пока не получают свое, прихвостни белого царя, нажравшись до отвала и упившись до чертиков, забывают про все и вся.

В этот день бай Балпан впервые за долгую совместную жизнь разъярился на свою байбише. Впервые почувствовал печенкой, что девка в доме сущая беда. Да, отец, у которого на выданье единственная красавица дочь, чувствует себя как всадник на ворованном коне.

Что это за жизнь, будь она проклята, когда живешь в вечном страхе и ждешь какую-нибудь напасть?! Эх, если бы он взял себе в жены плодовитую, широкозадую бабу, вроде бабы Можана, которая каждый год родит ему по сыну, жил бы Балпан припеваючи, не терзаясь, что дом останется без хозяина, скот — без присмотра, богатство — без наследника. Восседал бы он тогда на пуховиках, почесывая в затылке да поплеывая на все четыре сторонки. И теща бая Можана и та тоже в свое время много сынов наплодила. Бывало, приедешь к ним — со всех щелей лезут чумазые рожницы, а в юрте никогда не выветривается запах пеленок. Вообще-то когда наши предки советовали жену выбирать по матери, а спутника — по отцу, то делали они это не потому, что их головы кружились от хмельного кумыса, а потому, что в головах этих, видать, кое-что было. Будьте благословенны, наши древние предки! Вы вроде бы и умели только что скот разводить да пословицы придумывать, а все ж, следуя мы, ваши потомки, мудрости вашей, не пришлось бы нам расканваться да шишки набивать на каждом шагу. Слушаем, но не внимаем, знаем, да забываем — вот и наказывает нас всевышний за грехи наши...

Балпану исполнилось пятнадцать лет, когда покойный отец начал мотаться из аула в аул. Однажды приискал домой, спрыгнул с седла, как угорелый ворвался в юрту. Вешая камчу на гвоздик, наступил на рыжую гончую, она, по обыкновению, лежала на отведенном ей почетном месте. Та заскулила на весь аул. Отец даже не заругался по привычке. Он как вкопанный стоял посередине юрты. Гончая скулила, поджав хвост, как заведенная металась по юрте — отец и слова не вымолвил. Потом собака выскочила, забилась в угол под навесом и успокоилась.

Отец стоял все так же молча, неподвижно. «Оу, да что это с тобой приключилось?!» — обратилась к нему мать. Он наконец обрел дар речи: «Э, жена, нам крупно повезло. Я сватался к Кадырбаю. Тебе известно: достаток и счастье прочно обосновались в его доме. Он обещал отдать нам дочь». Отец, наверное, так не радовался, когда сам женился. Тут же крикнул сына, игравшего в одиночестве у порога. Спросил грубо: «Ну, дурень, поросенок хлипкий, жениться хочешь?» Балпан прикинул, что, если женится, его не будут больше обыз-

вать «хлипким поросенком», и потому ответил, шмыгнув носом: «Хочу!» Вскоре привезли к нему Маржан, и она стала его женой.

Жаловаться, конечно, грешно: богатство и удача действительно сопутствовали ей. С тех пор как она переступила порог юрты Балпана, аул не знал беды. Правда, в тот год, когда она была последний раз на сносях, неожиданно-негаданно подохла рыжая одnogорбая верблюдица, отличавшаяся обилием молока. Может, с тех пор билась какая-нибудь посуда — за эту ерунду ручаться невозможно, но в поголовье скота потерь не было — это точно. Раньше, до Маржан, их аул при кочевках последним снимался с места, их кочевье всегда тащилось в хвосте. С приходом Маржан оно непременно становилось первым. И в юрте все блестит, стряпня вкусная. Одним словом, таких, как Маржан, не часто встретишь. Да и слава богу, есть кому владеть накопленным богатством и хранить очаг. Через несколько лет после свадьбы, развеяв сомнения и страхи мужа, Маржан родила сына, Утегена, а год спустя вновь забрюхатела и принесла красавицу Ажар. Дети здоровые, налитые, видные собой. Разве зажмешь всем рты? Особенно старухи языками щелкали, восторгались: «О аллах, каких здоровяков рождает наша сноха — диву даешься!» Вот и Ажар пошел уже восемнадцатый год, а Маржан за это время забеременела лишь однажды. Но, увидев змею, испугалась и скинула. И должно быть, высохла с той поры ее утроба.

Иной раз бай Балпан горевал: может, сглазили его жену? Обижаться, однако, на нее не имел основания. Дай бог этим двум — Утегену и Ажар — долгих лет жизни и счастья.

Теперь, когда подбородок Балпана зарос бородой и настало время заботиться о душе, он и не надеялся на перемены. Его поражала ловкость и прыть в любовных похождениях иных его знакомых. До чего у них все гладко получается! Тот пучеглазый, плосконосый Саип, будто мало ему собственной бабы, никак не уgomонится, шастает по чужим юртам и норовит забраться в чужие постели. Даже благочестивый, ангельски кроткий Зейнел и тот, рассказывают, бесом увивается за молодухами. Сенгир и тот поблудить не прочь. Такой он никудышный да тощий — страх один; ходит — костями погромыхивает, будто мешок с мослами от подохшей скотины на себя навьючил, а и он не дурак к длинно-

волосым прилепиться. В этом Балпан убедился, когда они ездили вместе на праздник в аул Алтау. Их как земляков поместили тогда в одну юрту. Балпан, развесив уши, слушал рассказы стариков. До отвалу наевшись мяса и напившись кумысу, они возлежали на мягких одеялах в богатой и прохладной юрте, поглаживали животы, почесывали грудь и вели бескончаемые разговоры о том, о сем. Сенгирю не сиделось на месте, он то отлучался, то появлялся. Он все кого-то высматривал, бегал к кипящим котлам, вступал в беседу с мясоедами, а сам исподтишка бросал быстрые взгляды на молодых, которые ставили самовары, хлопотали у очагов, снимая шумовками пену. Он то и дело, как бы желая послушать песни и игру на домбре, заходил в юрту, отведенную для молодежи. Он похваливал певцов и музыкантов и, вроде бы мимоходом, заигрывал и балагурил с лукавыми молодайками, кидал двусмысленные шуточки, не упуская, впрочем, случая уцепиться незаметно. Самое удивительное, что бабам были явно по душе заигрывания Сенгира, они одаривали его улыбками.

Однажды почтенные аксакалы, поковырявшись в бараньей голове, стали согласно обычаю передавать ее более молодым. Сенгир тут как тут — на полпути ловко перехватил блюдо, споро вырезал бараний глаз и, улыбаясь игриво, протянул его пухленькой, смазливой, разбитной молодой, которая вся вспыхнула от удовольствия и оказанной чести. Балпан заметил, что Сенгир при этом легонько погладил украшенный золотым кольцом белый палец молодой, и та томно улыбнулась. С того дня, когда бы Балпан ни просыпался среди ночи, постель Сенгира была пуста. Появлялся он на рассвете, и Балпан не уставал поражаться, откуда у его ровесников берется эта прыть, эта неумемная блудливость?! Будто они с самим шайтаном из одного блюда едят.

Как-то, подстригая ус, он внимательно посмотрел на себя в зеркало и пришел к выводу, что, пожалуй, и он не из тех, кем можно пугать детей. Не каждого встречного-поперечного бог награждает таким широким, открытым, шишковатым лбом; носом, пусть и не совсем точеным, однако для мужчины вполне подходящим; такими улыбчивыми, добрыми, кроткими даже глазами; мясистыми чувственными губами, крупным, круглым лицом, румяно-смуглой кожей, не отвислым, как у

бабы, а тугим, чуть приметным, придающим мужчине особую степенность и солидность брюшком; сильным, упитанным телом. Нет, не каждый может похвалиться такой внешностью. И, несмотря на эти достоинства, Балпан за всю свою жизнь даже к платью чужой бабы не прикоснулся. И дело тут, ясно, не в том, что женщины его не замечают, а в нем самом, в том, что он, дурак дураком, никого вокруг себя и не видит. Еще в молодости сверстники подтрунивали над ним. Когда он оставался заночевать в семье, где имелась девушка, хитрые старухи незаметно клали горсть зерна на его одеяло, чтобы проведать, не вставал ли гость среди ночи! Каждый раз удивлению их не было предела, ибо утром они находили все зернышки на месте... Таким недотепой он остался на всю жизнь.

Многие его состоятельные приятели не раз, как говорится, обновляли свою супружескую постель и детей наделали кучу. Даже его одноклассник Корахман-задира, кривобокий, нескладный, что тебе захудалый верблюд, и тот двумя бабами обзавелся... Тьфу, черт те какие мысли в голову лезут! Видно, совсем заморочили ему голову непрошенные сваты и женихи. Отбою от них нет, так и зарятся на его единственную дочь. Балпан в сердцах сплюнул. В молодости просидел размазней, тухтей, а теперь спохватился. Спасибо покойному старику отцу, вовремя накинувшему петлю на Кадырбая, а не то коротал бы теперь свой век бобылем.

Балпан уже забыл о своей злости на Маржан и злился на всех вокруг. Как тут и правда не злиться? С тех пор как подросла дочь, дом его забыл о покое. Едва ответишь одному на «Салаум-алейкум», на пороге уже другой тянет: «Ассалаум-алейкум!» Только скроется за порогом один гость, другой тут как тут. Рыжий удук белого царя — еще полбеда: набили ему карманы разноцветными кредитками, он девушку мигом выбросил из головы. Зато страху натерпелись: вдруг его превосходительство разобидится и разгневается. Пришлось-таки перед ним поюлить. Уж так угождали да ублажали его! На Маржан впервые за совместную жизнь накричал:

— Ты что, не знаешь, что девушку следует держать за сорока замками? Почему она заходит, коль в юрте гости? Что она, не может побыть у брата и невестки? Не ребенок же она малый, чтобы на привязи ее держать! Сама должна соображать — в наш зул протес-



каждый, кому не лень! Если у нее своего ума не хватает, где твой? Почему ты и невестка Жазыл не учите ее уму-разуму? Ведь не то что человека, тем более собственного ребенка, собаку и ту у порога обучают! А?!

Маржан, услышав из уст мужа такое, сникла вся, виновато опустила голову, тихонько выскользнула из юрты. То ли слова ее задели, то ли досада взяла, что родила дочь, из-за которой столько пошло хлопот в ауле, но расстроилась, бедная, на глаза навернулись слезы.

Видно, Ажар досталось тогда от нее. С тех пор, едва заметив приближающихся гостей, дочь опрометью мчалась к юрте брата.

Ушам бая Балпана, однако, отдыхать не давали. Каждый божий день наезжали сваты из двух-трех аулов. Одни затягивали волынку едва не со священного писания, другие — с обычаев предков. Из-за словоблудия гостей Балпану стало недосуг заниматься хозяйством. Многочисленные табуны пришлось доверить воле аллаха, а самому ухаживать за гостями, которые стекались к нему, как гуси на водопой. И все бы ничего, если бы они после всех хлопот и угощений отправлялись восвояси довольными. Так нет же, одни уезжали, надутые от обиды, другие всякие сплетни за синной распускают, третьи пятнают честь дочери. Одним словом, все становятся на веки вечные врагами. Есть и такие, что откровенно мстят: не заполучив байскую дочь, угоняют байские косяки. Даже малочисленной родне житья не стало: то ли делить с баем хлопоты, то ли собственный скот стеречь. Наступил момент, когда не стало отбоя и от родственников, и от аульчан. Стали Балпана советами донимать. «Не ты один дочь растишь. Дочерей рожают не для того, чтобы они до самой смерти возле родителей сидели. Недаром говорят: при рождении вместе, а при смерти врозь. Пока щеки девушки не поблекли, а имя не опозорено, надобно от нее избавляться. Ты ведь знаешь наших казахов. Те, что затанли обиду, камчами над нашими головами начнут размахивать. И хотя богатство твое — море безбрежное, удержать его трудно. Разве ты в силах устоять вдвоем с Утегенжаном перед врагами? То-то же! Поразмысли хорошенько. К дочери твоей сватаются не оборванцы и не безродные бродяги. Многие из них тебе ровня, а сыновья их Ажар твоей достойны. Избери одного, который тебе больше по душе, и отдай ему дочь. Не мешкай!»

Бай Балпан понимал, что родственники говорят святую правду. Кому охота быть все время настороже, только и следить за каждым, кто входит в юрту или покидает аул?! Даже ночью и то одним глазом спишь, другим за дочерью глядишь, чтобы, не приведи господи, какой-нибудь лихонмец из-под носа ее не уволок. Конечно, надо бы избавиться от девки. Когда рыжий царский улук оставил свои сальные гляделки на Ажар, бай решил, что нужно немедленно сплавить ее замуж. Но кому?..

Вот и зол на весь мир и на себя, как собака, бай Балпан. Ведал же, что девка рождена для чужой сторушники, ну и отдал бы за первого, кто сватался! Не нажил бы себе столько врагов, и сердце не колотилось бы ночами от страха, от сплеген-кривотолков мигом бы избавился. Ах, глупец, глупец! Бить его некому! Хотя откуда ему было знать, что все обернется именно так? Первая же у него дочь на выданье. И последняя, единственная. Не доводилось ведь раньше со сватами якшаться. Сам женился с помощью отца. Играл себе в асыки, как бешеный прискакал отец, крикнул его, заявил: «Решил породниться с таким-то. Возьмешь его дочь?» Ну он и взял. А когда свой сын подрос, обратился к родственникам жены: «Жените племянника». Те и привели Жазыл в юрту молодых. А время-то летит, не заметишь, вот и дочь созрела.

Он прозевал момент, когда это случилось. Вроде бы еще вчера она играла у него на коленях, висла на шее, шалила. И вдруг пожаловал к ним Можан. Не один. С каким-то сивобородым. Когда-то с этим лопоухим Можаном вместе в асыки играли, собак по аулу гоняли, перед муллой на корточках сидели. Обрадовался Балпан его приезду, как желанного гостя принял. Не каждый ведь день Можан порог обивает да за дастарханом с тобой сживает. Ради него и молодого барашка не жалко зарезать.

Пока, источая приятный сильный запах, в котле варилося мясо, Балпан повел за чаем шутливую, легкую беседу. Но Можан ее не поддержал, был задумчив и замкнут. Да и одет он был нарядно, с непривычной для него опрятностью. На голове, несмотря на летнюю жару, красовалась шапка из выдры. И на воротнике — выдра. Белая с вышивкой шелковая рубаха, казалось, от свежести хрустит. И хотя Можан не соблюдал поста, не молился пятикратно и вообще не отличался благочестивостью истинного мусульманина, был он в тот день и в мягких пчигах, и в кожаных галошах. Он то поглаживал жидкую с редкой проседью бороденку, то теребил, закручивал усы. Балпан не раз подшучивал над давним своим приятелем, над его неказистой внешностью и многодетностью. Может, он тоже шутки ради так принарядился сегодня? Может, он просто разыгрывает его, корча серьезную рожу?

— Моя ровесница в твоём доме, насколько мне из-

вестно, не такая уж рукодельница. Кто же это тебя так придел? Уже не женой ли молодой обзавелся, а? — решил Балпан разрядить возникшую отчего-то скованность.

Можан обычно за словом в карман не лез и кого угодно мог отбрить, но сейчас он лишь осклабился и не произнес ни слова. Балпан не унимался:

— Эй, чего же ты все-таки расфуфырился? А? Да и серьезный больно. Здорова ли жена? Может, она покинула этот свет, и ты молодку себе подыскиваешь, признавайся-ка!

Можан собрался было отхлебнуть чаю, но при этих словах опустил пиялу. Его широкие, слегка вывернутые ноздри раздулись, редкие, неухоженные, будто посыпанные золой усы побежали от улыбки в разные стороны.

— Если б умерла, я бы известил, не обошел тебя. Напрасны твои беспокойства: баба моя пока жива.

— Ну и слава аллаху, пусть себе живет на здоровье, бедняжка! Она у тебя труженица. Подумай, что бы ты делал без нее со своим выводком, дурень? — смущенно пробормотал Балпан, пытаясь скрыть свое недоумение, вызванное приездом и парадным видом старого приятеля.

Можан слегка покраснел и снова замолк. Вытер полотенцем испарину на лбу и, не торопясь, принялся за чай. Балпан счел за благо помолчать. Он покосился на жену в надежде, что, может быть, она что-то уловила в этой туманной ситуации. Но, по-видимому, и она ни о чем не догадывалась, ибо бросала изумленные взгляды то на мужа, то на гостя. Она силилась уяснить, какая же кошка и когда пробежала между ними.

Уже свернули дастархан, а Можан молчал, как в рот воды набрал. Он не спеша достал из-за пазухи выделанную из рога горного барана, украшенную кисточкой из кожи шахшу, насыпал каким-то особым, жеманным манером на широкую свою, мясистую ладонь насыбай¹, положил его в рот и откинулся на подушки. Ну что ж, решил про себя бай Балпан, молчи, коль тебе так нравится, и я тоже помолчу, подожду, что ты такое изречешь наконец. Однако почему-то на душе стало тревожно и муторно. Неспроста этот неряха сегодня так вырядился, что-то

¹ Н а с ы б а й — жевательный табак.

кроется за его непривычной повадкой. Может, он еще в обиде за тот недавний случай? Прискакал, словно с пожара, попросил на пару дней его породистого производителя-верблюда, чтобы покрыть свою верблюдицу. Ну а Балпан и ляпнул: добрые люди, дескать, держат породистого производителя не для чужих паршивых верблюдиц, этак он скоро и ноги протянуть может. И в самом деле, каждый в округе норовил получить приплод от его производителя, будто у Балпана своих верблюдиц не хватает. Можан, даром что балагур и весельчак, порой бывал чрезмерно обидчив. Из-за чепухи мог оскорбиться. Ответ Балпана задел его, и он скорчил кислую рожу. Попроси он еще раз, Балпан, ясно, согласился бы: «Ладно, не жалко, давай пригони сюда свою верблюдицу». Но Можан больше просить не стал. Надул губы, хлестнул коня и ускакал к себе в аул. «Ну и черт с тобой!» — подумал тогда Балпан. А через день или два чистюля Саип, словно благочестивый софы, сдувавший с себя каждую пылинку, пригнал свою верблюдицу для случки с прославленным производителем. Разнюхав об этом, Можан злобно шипел каждому встречному-поперечному: «Богатство, оно кому угодно голову вскружит. Даже влагу изпод своего производителя Балпан распределяет отныне по особой дружбе да по размерам мошны». Наверно, потому он решил сегодня таким способом выказать прежнюю обиду.

Чтобы сварилось мясо молодого жирного барашка, много времени не требуется. Вскоре мясо свободно отделялось от костей. Две женщины внесли в юрту казан, держа его с двух сторон. Аппетитный, душистый запах поплыл по юрте. Большие куски мяса, равномерно покрытые прозрачным жирком, весомо плюхались на плоский деревянный поднос. «Ну, эти лакомые куски развеют его хмурь, тут уж сердчишко его растает», — подумал Балпан и глянул на приятеля. Тот по-прежнему сидел хмурый, скованный — ни дать ни взять молодой зять в доме тестя.

Мясо пробудило аппетит. Гости, Балпан и Утеген оновательно расположились вокруг огромного подноса с мясом, возвышавшимся горой. Маржан и женщины из соседних юрт устроились рядом с казаном. Гости дружно поели, передали назад изрядно опустевший поднос. Сноха Жазыл поднялась и поклонилась мужчинам. Подали во вместительных красочных чашках наваристую, жирную

шурпу. Мужчины цедили ее с наслаждением, смакуя. В уютной тихой юрте только и слышно было, что довольное сопенье да кряхтенье. Кто-то тянул бульон, присвистывая. Покончили и с ним. Мужчинам полили на руки из чайника. Сивобородый гость многословно поблагодарил за угощение и принялся бубнить молитву. С момента, как он очутился в юрте, он впервые раскрыл рот, если, конечно, не считать двух-трех слов традиционного приветствия, которые он произнес вначале. Когда унесли дастархан, он вытащил из внутреннего кармана тончайшую, как иголка, костяную зубочистку и принялсяковырять в зубах.

А потом неожиданно произнес:

— Ну, Балпанжан, да воздаст тебе аллах за твое угощение, мы здесь с одним делом. Оно касается тебя и Маржан. Если разрешите, мы хотели бы потолковать наедине.

Женщины, плотным кольцом окружавшие казан, молча поднялись и направились к выходу. Утеген, Ажар, Жазыл последовали их примеру и удалились в свой отау — юрту для молодых.

В большой, главной, юрте остались вчетвером. По спине Балпана побежала дрожь, он не в силах был передвинуться на почетное место. Так и остался там, где сидел во время еды. О житье-бытье немногочисленных своих родственников он вроде был осведомлен. Тяжело больных среди них не было. Не дай бог, приказала долго жить престарелая мать Маржан? Но в таком случае к ним прискакал бы гонец и вызвал на поминки.

А сивобородый тянул, медлил, прямо тоску на всех нагнал. Наконец уставился бесцветными глазами на Балпана и заговорил. Его речь не доходила сразу до сознания — такая она была однотонная и невнятная. Маржан и Балпан пытались выискнуть в смысле его слов, понять, не случилось ли чего-нибудь страшного с их близкими. Судя по всему, нет. Сивобородый долго толковал о том, что человек, а всяк из нас грешен, стремится к семейной жизни, размножается, растит детей, а потом желает, чтобы и отпрыски его испытали те же радости — обзаводились бы семьями, растили детей; стремление это не от наших предков к нам перешло, оно старо, как мир, существует с самого сотворения мира и восемнадцати тысяч чудес на этом свете, и вся жизнь — аж с появления воды и тверди на земле — есть не что иное, как размножение существ, по воле всевыш-

него созданных. Потом сивобородый потревожил память Адама и Евы, потом — пророка Мухамеда, потом — святого отца Азрет-Али, не упустил и незабвенную Фатиму, прародительницу правоверных. Отметил, что пророк Мухамед так уважал зятя, что назначил даже военачальником. Бай Балпан имел кое-какое представление о свяшенном писании и никак не мог сообразить, зачем оно вдруг понадобилось оратору. А гость между тем так и сыпал именами святых, отшельников, фанатиков веры, медленно, но верно подбираясь к злосчастным, недостойным лучшего из миров грешникам, населяющим землю ныне. Речь сивобородого шарахалась, как шарахается пьяный, из стороны в сторону и вдруг остановилась на Можане и Балпане.

Гость заявил, что оба они благодетельствованы самим аллахом, оба богаты и удачливы. Сделав паузу, чтобы слушающие лучше прочувствовали значительность его последующих слов, сивобородый заговорил об одиночестве. «Никто не ведает, какова щедрость божьей милости. Много ли бог пошлет тебе детей, мало ли — никому не дано знать. Но необходимо усвоить раз и навсегда: коли у тебя много ребятишек — они резвятся на равнине, а единственное дитя ходит над пропастью», — глубокомысленно изрек гость.

Потом он перекинулся на Утегенжана. У него, дескать, и крылья коротки, и хвост куций: ведь, считай, почти один он. На глазах обычно сдержанной Маржан появились слезы, в недобром предчувствии сжалось ее сердце, но она покорно внимала монотонной, как жужжанье зеленой мухи, заблудившейся в темной юрте, речи гостя. Сивобородый нудно тянул-растягивал каждое слово, будто читал торжественную суру из корана. «Вспомним пословицу: сын — потомство, дочь — богатство. И хотя дочь рождается для чужой стороны, а все же жалко ей будет покинуть единоутробного брата». Господи, что же все это значит? Слезы закапали из глаз несчастной Маржан, и тщетно старалась она их скрыть, вытирая кончиком жаулыка. Теперь сивобородый стал через каждое слово упоминать имя Ажар, будто хотел забить им уши ее родителей. Он исторгал потоком хвалебные слова о Балпане и Маржан. Конечно же, дочь таких благовоспитанных, степенных родителей полностью обращает на себя внимание окружающих: «И Можан, и богом данная ему жена также весьма поч-

тенные люди. Не только их первенец Несипбай, все другие, пока еще малые, их пострелята могут быть надежной опорой Утегену...»

Теперь Маржан все поняла и, еле сдерживая слезы, взглянула на мужа. Он же в полной растерянности воззрился на Можана. Тот хмуро пощелкивал пальцем по табакерке. «Отдавать из дома кровное дитя, без сомнения, всегда тяжело. Однако подумайте над тем, что я вам тут сказал», — заключил сивобородый.

В юрте стало тихо-тихо. Бай Балпан чувствовал себя так, словно его оглушили. Маржан выразительно посмотрела на него, взглядом призывая дать достойный ответ гостям. Балпан прочистил горло, крикнул, судорожно дохнул. Казалось, ему не хватало воздуха в этой оглушающе тихой и душной юрте. Три пары напряженных глаз впились в его лицо. Заметив, что муж затрудняется с ответом, почуввав материнским сердцем, что вот сейчас без нее может совершиться непоправимое, испугавшись этого, Маржан решила первой вступить в разговор.

— Все, что вы сказали, достойно внимания. Мы благодарим за честь. Но дочь наша еще слишком молода. Ей только-только исполнилось шестнадцать. Мы желали бы годок-другой подержать ее при себе. Пусть отец скажет — судьба ребенка в руках отца.

Балпан собрался с мыслями не сразу. До него лишь сейчас дошло, чего хотели от него гости.

— Я поддерживаю слова матери. Мы ведь, сами знаете, детьми не избалованы. Всего двое у нас. И оба едва-едва оперились. Жалко с ними расставаться раньше срока. Пусть радуют пока сердца родителей.

Сивобородый, совсем, похоже, выдохшийся после долгой своей речи, лишь плечами повел да промывчал что-то невнятное. Можан был по-прежнему непроницаем, только легкий румянец пробился на его замкнутом равнодушном лице. Разговор уже не клеился. Маржан встала и направилась к самовару, но Можан холодно процедил:

— Не утруждай себя, милая. Не нужно нам чая. Мы сейчас отправимся.

И потянулся за камчой, которую засунул ранее между тюками.

Маржан метнулась к бурдюку, мутовкой помешала кумыс, поднесла гостям. Те пригубили учтиво и тут же вернули посуду. Сразу поднялись; Балпан и Маржан

вышли вслед проводить их. На коне Можана красовалось дорсгое, отделанное серебром седло. Гости нехотя разжали губы, пробубнили полагающиеся при расставании слова.

Балпан и Маржан застыли на месте — ни дать ни взять две тени в пору предвечерней молитвы, потом вяло потащились к юрте. Оба молчали. Балпан направился к почетному месту, где только что располагались гости. Маржан опустилась на баранью шкуру возле казана, закрыла лицо краешком жаулыка и горько заплакала. Балпан не мог вынести ее слез и, схватив висевшую в углу стеганую войлочную шапку, стремительно вышел из юрты.

Двое всадников между тем все удалялись и удалялись от аула. Они сгорбились, как будто на их плечи давила тяжесть, ехали мелкой рысцой, и кони их помахивали-подергивали в такт хвостами.

Балпан приблизился к коню, который нещадно нахлестывал хвостом по бокам, обороняясь от свирепых слепней. Бай решил съездить в Когендысай, где чабаны купали овец, развеяться в шумливой, бодрящей суматохе, царящей там. Однако он опоздал. Чабаны, управившись с купанием овец, согнали отары к водоему и потягивали коиртпак¹, ожидая, пока спадет жара. Бай притворился, что осматривает хозяйство, и вскоре, пустив коня трусцой, вернулся в аул.

Жара уже спала. Тени заметно удлинились. Дети, женщины — все выползли из юрт. Балпан спешился, не осмеливаясь подойти к дочери, сидевшей вместе с матерью в тени, проскользнул в юрту. До самого вечера, пока не скрылось солнце и люди не разбрелись по юртам, он провалялся там один-однешенек.

За ужином он незаметно покосился на дочь. Всегда цветущая, румяная, сейчас она выглядела померкшей и озабоченной. Мать не удержалась, рассказала ей, зачем навестили их гости. Балпан почувствовал себя не в своей тарелке. Он опустил глаза, испытывая шемящую жалость к Ажар.

Маржан всю ночь вздыхала, ворочалась в постели. Только почудится ему, что жена уснула, а она опять вздохнет и перевернется на другой бок. Так и промучилась, не сомкнула глаз всю ночь. Балпан понимал, о

¹ Коиртпак — напиток из кислого и пресного молока.

чем думала-печалилась Маржан, и хотел сказать ей что-нибудь ласковое, утешить, но слова не шли у него с языка — так было муторно на душе. Он молча пролежал до утра лицом к стене.

Вскоре от редких путников из разных аулов он узнал, как повел себя Можан после неудачного сватовства. Всю дорогу он хранил мрачное молчание, и добравшись до дома, только и искал, на ком бы сорвать зло. Влетел вихрем в юрту, отхлестал камчой своих чумазных головастиков, повыгонял всех на улицу. Своего спутника, сивобородого Себепбая, обругал последними словами, заявив, что язык его и борода не имеют ни на волосок веса. Тот разобиделся и тут же отправился домой. Наутро Можан оседлал коня, пустился в путь по аулам и всюду в красках расписывал, как он сватался к дочери Балпана. Ох и досталось же при этом Балпану! Что-де можно от него ждать, если он, Балпан, и процветает-то лишь благодаря своему покойному отцу, который покоя не знал, подыскивая для этого мямли, тюфяка длинноволосую! Живет себе — небо коптит, а ни в жизни, ни в людях ничегошеньки не смыслит! И вообще, мол, нет никакого различия между баем Балпаном и безмозглым чабаном: если до байских ноздрей доходит запах кумыса и конского помета, ему больше ничего и не нужно, он уже и счастлив и доволен, считает, что мир стоит на месте и благоденствие царит вокруг него. Швыряет, придурок, взятки разным пройдохам, хотя, конечно, чего ему монеты считать — заграбастал лучшие пастбища для своих табунов!..

На все лады честил его обиженный Можан. Эта брань задевала самолюбие Балпана, но тогда он только усмехался, надеясь, что этот остолоп, пожалуй, скоро угомонится. Однако он ошибся. Чем дальше, тем больше распоясывался Можан. Он сравнивал Балпана с тупоголовым ишаком, который даже орать не умеет самостоятельно, а орет, лишь заслышав рев ишаков в соседнем ауле. Балпан, дескать, ценит рыжую дочь Кадырбая, свою бабу, пуше золотого слитка, находится у нее под пяткой и во всем ей поддакивает.

Да, Можан превратился для бая в черную беду. Он не уставал твердить, что пустоголовый Балпан почитает лишь славу да богатство, лишь несметная казна для него свята, а потому посватайся к нему Байсал, чей сын выбился в волостные, или купец Шурен, у которого меш-

ков с деньгами больше, чем овец у бая, или прихвостень Бекес, что сопровождает разных улуков, как гончая сука охотников, вот тогда-то уж обнаглевший бай, не задумываясь, швырнет им свою дочь, даже от счастья на круп коня сам ее кинет.

Подстрекательские речи Можана сделали свое дело. Стали находиться честолобцы, что хвастливо били себя в грудь и заявляли: «Э, пожалуй, есть смысл отправить к Балпану и от нас сватов, а?!»

Теперь, увидев еще за тридевять земель случайного путника, Балпан начинал трястись от страха. И пока тот, как неотвратимый рок, приближался к аулу, он не находил себе места, без конца выходил из юрты и все приглядывался, присматривался — кто же он, новый претендент на его единственную дочь.

Однажды, возвращаясь после осмотра табунов домой, он увидел саврасую лошадь, стоящую на привязи за юртой. Сердце его екнуло, он сразу обмяк, похолодел, еле-еле спешился. На почетном месте, подложив под бок пуховую подушку, развалился Байсал. Встречались они раньше на разных сборищах, однако знали друг друга мало. Балпан сразу смекнул, с какой целью пожаловал гость, и приуныл. Овладев собой, Балпан учтиво поздоровался, поинтересовался, как подобает, здоровьем и благосостоянием аула, близких и скота. Байсал держался с достоинством, говорил веско, по-особому оттеняя, округляя каждое слово. Ответив на приветствие хозяина, задал по обычаю те же вопросы и ему. Уверенно толковал о пастбищах и водопое, об условиях для нагула скота в нынешнее лето и видах на предстоящую зиму. Был он в теле и ухожен. Его спокойные черные глаза не глядели в упор, но замечали все вокруг. Он не воротил свое круглое красное лицо от собеседника, а демонстрировал полное к нему уважение, рассуждая при этом ровно, обстоятельно и деловито, не перескакивая с предмета на предмет.

В правом углу хлопотала по хозяйству, готовила угощение Маржан и напряженно прислушивалась к разговору мужчин. Балпан был сдержан, все больше молчал и слушал гостя. Он непроизвольно взвешивал каждое слово Байсала, искал в них намеков, потайной смысл. Серьезный, умный разговор о вещах значительных и интересных не иссяк и за чаем. Отец волостного часто разъезжал по степи, постоянно бывал на людях, потому и

был осведомлен о всех новостях. Однако этим он ничуть не кичился, никак не подчеркивая своего превосходства, и беседовал с Балпаном как с равным — с приятной, располагающей к себе учтивостью. Его слова, жесты, манера держаться свидетельствовали, что перед Балпаном человек воспитанный и мягкий.

Беседа не прекращалась и после того, как убрали дастархан. Гость расхваливал байские пастбища, его джайляу и водопой. Балпан насторожился было и даже подумал, не имеет ли отец волостного вида на его земли. Однако эти подозрения вскоре развеялись.

Сварилось мясо, гость отдал должное стряпне Маржан. Казалось, теперь-то уж он обязательно приступит к самому главному. Но он молчал. Маржан подала ему большую чашку кумыса от молодой кобылицы, и Байсал, наполовину опорожнив ее, произнес благодарственную молитву. Бай Балпан прямо-таки заерзал в ожидании, когда же гость произнесет имя его дочери, — ничуть не бывало. Гость по-прежнему молчал. Балпан не верил своим ушам; прикидывал в уме — уж не прослушал ли, не упустил ли тонкий намек на этот счет. Гость, словно бы догадавшись о его терзаниях, зорко глянул ему в глаза, будто ненароком объяснил, что проезжал мимо по делам, а добравшись до здешних мест, счел неприличным не остановиться на часок-другой, не осведомившись о здоровье и житье-бытье.

Байсал поднялся. Балпан вместе с женой проводил его.

Когда отец волостного удалился на почтительное расстояние, супруги недоуменно посмотрели друг на друга, но ни один не проронил ни слова. Страшный груз свалился с их плеч, и оба, окрыленные, радостные, направились каждый по своим делам.

Балпана удивило посещение Байсала, тем более что тот ни разу раньше не переступал порог его юрты. Но, коль скоро опасения его развеялись, этот странный приезд сам собой выветрился из головы, и Балпан совершенно успокоился.

Тут-то неожиданно-негаданно и нагрянули два незнакомых гостя. Они не стали томить хозяина пустой болтовней и без излишних вступлений прямо открыли цель своего приезда. Появление Байсала оказалось отнюдь не случайным. Он надумал женить младшего сына, который учился в городе, в русской гимназии, и подыскивал

для него невесту. Байсал в былые времена знал Кадырбая, тестя Балпана, не раз сживал с ним за одним дастарханом, вот и решил, что внучка Кадырбая не должна быть дурнушкой. Вернувшись к себе домой, Байсал не скрывал, что и девушка и родители пришлись ему по душе. Не теряя напрасно времени, он послал к ним сватов. Сваты из аула волостного не сомневались, что уж кому-кому, а им-то отказа не будет, и потому не стали попусту языки трепать, воду в ступе толочь, как тот сивобородый, поминать прародителей наших Адама и Еву. Не источали они лести, не били себя в грудь, клянясь в верности и дружбе, а просто и коротко сообщили о намерениях почтенного Байсала. Бай Балпан и Маржан хотя и разволновались, однако виду не подали. Балпан в который раз недобрым словом помянул про себя баламута Можана. Если уж говорить начистоту, Балпан вовсе не против отдать дочь в такую семью. Чем плохо породниться с аулом волостного? Но Ажар, во-первых, кажется ему еще ребенком, уж очень трудно оторвать ее от себя, а во-вторых, уважь он просьбы сватов, дурень Можан завтра же пойдет скакать по аулам и злобствовать: «Ну, видите? А что я предсказывал?!» В голове Балпана лихорадочно пронеслись мысли о том, что сейчас он богат и знатен, и без того завистников у него хоть отбавляй, так зачем же давать еще повод для сплетен да наговоров? Чтоб всякий, кому не лень, трепал его доброе имя... Байсал — человек умный, дальновидный, уж он-то все поймет как надо. А не поймет, так бог с ним. Он, Балпан, тоже не лыком шит, не тощ и не хил, чтобы перед волостным робеть да расстилаться. И, порассудив так, Балпан дал гостям такой же ответ, что и другим сватам.

Гости из аула волостного в отличие от Можана распростились без обид. Балпан с трепетом ждал, какне пойдут слухи по аулам, однако Байсал молчал, словно ничего и не произошло.

Бай Балпан втайне питал надежду, что после его отказа отцу самого волостного другие поприжмут хвосты и оставят их в покое. Но в народе стали шушукаться. Одни ехидничали: «Апырау, что это за девушка такая, что ее даже за брата волостного не отдают!.. Жена Балпана вроде бы такая же баба, как все. Может, она не девку, а золото родила?!» Другие негодовали: «Ну и ну! Совсем обнаглел Балпан, раз уж так самого Байсала срамит. Ох-ох, он теперь небось и бога в грош не

ставит!» Даже те, кто и видов-то никаких не имел на дочь Балпана, разъярились и грозились проучить гордеца.

В разгар этих событий к Балпану пожаловал известный в степи задира и скандалист Даржан. Прибыл он в сопровождении огромной свиты, словно не в гости собрался, а на войну. Его большой вислый нос весь был в багровых прожилках, серые глаза хищно поблескивали. С вызывающим видом вступил он в юрту Балпана, не дожидаясь приглашения, прошествовал на почетное место и не проронил ни слова, пока рассаживалась по обе стороны его свита. Хозяева сникли, не ожидая ничего доброго от столь суровых гостей.

Маржан знала, что задира Даржану угодить нельзя, хоть на колени перед ним плюхнись или на части разорвись. Она учтиво выждала, пока гости расположились поудобнее, и сразу же покинула юрту, чтобы позаботиться об угощении. Отметив про себя, что Даржан не намерен, как подобает по обычаю, задать вопросы о здоровье, о благополучии аула, Балпан обвел всех взглядом и тихо произнес: «Здоровы ли ваши семьи и цел ли скот?» Гости принялись невнятно бормотать все разом, а позже всех едва разомкнул губы Даржан. Соблюдя приличия, Балпан вышел отдать необходимые распоряжения. В юрте поднялась веселая колготня.

Утеген приволок из отары жирненького барашка с тугим курдюком. Балпан отправил сына к гостям, а сам остался около котла, сделав вид, что помогает по хозяйству. Разговор в юрте разгорался все жарче, гости все разом галдели, шумели, байская юрта время от времени содрогалась от оглушительного хохота.

Внесли самовар, вслед за ним вошел и Балпан. Перед гостями расстелили широкий дастархан. На нем горой возвышались баурсаки, кучками лежали примчик и курт, в расписных чашках аппетитно желтело топленое масло, отливало жиром куырдак на железном подносе. Разговор угас. Гости с показным безразличием поглядывали на угощение, словно, еще не отведав его, были сыты. Потом, не выдержав, набросились на еду так, будто прибыли из голодного края. Вовсю заработали челюсти, из-за больших чашек масляно поблескивали усы, воровато, жадно зыркали по дастархану глаза.

Балпану было ясно, с чем к нему пожаловал Даржан. Есть у него сын, такой же, как отец, забияка, горлодер, пустобрех. И вот для него-то решил он вы-

торговать Ажар. «Пусть и мысли такой не держит, наглец этакий,— думал Балпан.— Я самого Байсала отверг, так Даржану и подавно дам от ворот поворот. И пусть он хоть лопнет от досады, злодей, а своего не добьется».

Управившись с барашком, крикливая свита утихла. Балпан с самого начала понимал, что все это воронье слетелось сюда не для того, чтобы полакомиться вкусной свежатиной, а чтобы поглазеть, как будет куражиться над хозяином самодур Даржан. Ему же эти прихлебатели, эти холуи нужны были в качестве восхищенных зрителей. Потому Даржан и держался столь холодно, надменно и вызывающе.

Даржан поджал под себя ноги, выпрямил грудь, подождал, когда появится Маржан. Когда она вошла в юрту, он выкатил на нее свои нахальные зенки, потом перевел их на Балпана и заговорил хриплым, противным голосом:

— Эй, Балпан, Маржан! Дастарханов за свою жизнь мы повидали немало. Нас ими не удивишь, хотя за угощение, само собой, спасибо. Родители, у которых девушка на выданье, знают небось, зачем к ним едут гости. Род мой, вам известно, не из захудалых. Дед мой, Алтай, был бесстрашен, как лев, и на всех наводил ужас. А чем хуже других я сам?! Я почтенный старейшина в своем ауле. Нельзя утверждать, что степь тесновата для моих табунов и воды для них в водоемах маловато, но кое-какое состояние, слава создателю, я наскреб. Сын мой не калека. Крепок и в здравом уме. Люди говорят: счастье — это когда подрастает сын и вовремя пристраиваешь дочь. Вот и я пожаловал просить твою дочь — как ее кличут-то? — для моего сына. Что ты на это скажешь?

Серые, с красными прожилками глаза холодно буравили Балпана, будто хотели пронзить его насквозь.

Балпан заранее приготовил нужные слова, но они вдруг вылетели из головы, испарились куда-то. Кровь бросилась ему в лицо, он помолчал немного, собрался с духом, произнес спокойно и твердо:

— Дареке! Ничего предосудительного ни в вашем приезде, ни в вашей просьбе нет. Верное есть присловье: «Кто на девушек не зарится, кто кумыс хмельной не пьет?!» То, что наша дочь выросла, люди заметили

раньше нас. И до вас к нам кое-кто сватался. Вам мы скажем то же, что и остальным. Мы никому не отдаем предпочтения, для нас все, кто сватался, одинаковы. Мы просто намерены держать нашу дочь при себе пока что.

Даржан тупо молчал, как бы ожидая еще каких-то слов. Потом снял с решетки камчу, сунул в сапог.

— Ага, значит, так, Балпан! Мы, казахи, которые и сыновей, что соколов горных, растили — не кичимся. А ты, воспитав девку, свысока на всех глядишь. Прямо скажу: удивил! Да, удивил! Может, наши с тобой бабы родились не от женщины? Или, может, они с неба свалились? Они же не торчат возле материнской юбки, а спят с нами в одной постели! Обижайся не обижайся, но я тебе, милый мой, вот что скажу: ты, видать, и на судьбу, и на волю божью, и на обычай предков вознамерился чихать. Думаешь, «десять лишних овец в отаре — для врага приманка», да? Думаешь, если богат, можно всеми пренебрегать? Ошибаешься! Ох, смотри, не просчитайся! Не одна твоя Маржан девок на свет производит. Мой сын без жены не останется. А ты заруби себе на носу: хочешь, чтобы дочь не позорила тебя при жизни, а после твоей смерти чтла отцовскую память — держи ее в руках покрепче. Ныне такие пошли времена — не то что девка, на которую с малых лет разные кобели пялят глаза, сыновья даже, опора и надежда дома, отбиваются от рук! И уж коли твоя любимая дочь осрамит тебя — пеняй на себя. На сородичей не грешь! — выпалив все это одним залпом, разгневанный Даржан поднялся.

Ему затеять скандал было, пожалуй, важнее, чем заполучить байскую дочь. За ним дружно повскакала его многочисленная свита. Оскорбись, в свою очередь, Балпан и полезь он на рожон, старый бузотер разошелся бы вовсю. Кусая от унижения и сдерживаемого гнева губы, Балпан благоразумно остался сидеть на месте.

После этого удача отвернулась от него. Он не мог отважиться рассорить между собой знатных и богатых людей. И потому и купец Шурен, и толмач Бекес, и бий Алшагир, чей род пользовался всеобщим почтением, все получили от Балпана отказ, все услышали один и тот же ответ. Всем сватам без исключения пришлось довольствоваться лишь щедрым балпановским угощением.

Два года над аулом висела густая пыль, поднятая копытами лошадей, на которых со всех концов наезжали гости.

Наконец Балпана оставили в покое. Редко кто заворачивал в их аул. Много барашков таким образом сохранили свои жизни. Утихомирились сваты, но теперь уже бай Балпан не испытывал облегчения. Не по себе становилось от непривычной тишины. Его тяготили тяжкие предчувствия. И не напрасно. Вскоре прямо-таки на глазах начали таять его несметные табуны. Заходило солнце, и под покровом ночи неведомые враги обрушивались на лошадей, угоняли их косяками. Спасения от них не стало: конокрады объявлялись то с одной, то с другой стороны; замучили и коней и табунщиков.

В отчаянии он было пожаловался знакомому царскому улуку, и тут же по аулам пополз мерзкий слухок, что-де бай Балпан хочет сплавить свою засидевшуюся в девках дочь рыжебородому чиновнику. В который раз бай убедился в том, как странно устроены люди: из-за быстрого скакуна шею себе свернут, не пожалеют, а из-за красивой юбки готовы честью поступиться. Так уж нестари повелось.

Потом и табуны оставили в покое. Начали выслеживать, подстерегать Ажар. Дерзкие джигиты, которые недавно угоняли байских лошадей, теперь повадились ночами в аул Балпана, кружили возле юрты. Уследить за девкой сложнее, чем сторожить табун. Ночи напролет Балпан сторожко прислушивается к каждому скрипу, к каждому шороху. Нередко по головам назойливых ухажеров гуляла палка или плеть, но, вернувшись домой, они похвалялись тем, что добились своего: провели бурную ночь с недотрогой Ажар.

Наступила для Балпана пора не о своем покое и табунах беспокоиться, а ломать голову — как бы оградить дочь от позора и бесчестия. Недаром, понял он, сваты, которые еще недавно, словно град, обрушивались на его голову, вдруг разом испарились. И все в округе отшатнулись, отвернулись ныне от него и ждут не дождутся, когда он споткнется, попадет в беду и вместе с дочерью униженно склонится к их ногам. Думая об этом днем, Балпан лишался улыбки, ночью лишался сна. От бесконечных дум голова его шла кругом. Балпан обратился за советом к родственникам, но те холод-

но намекнули, что если бы он прислушался к их словам вовремя...

После долгих и тягостных раздумий бай махнул на всех рукой и принял необычное решение. Он нашел тонкий выход из положения, который, как он полагал, позволит ему смягчить, а то и развеять обиду почтенных и знатных людей, растопить злобу в сердцах врагов, ниспославших на его голову всяческие кары. Слава творцу, дочь его редкая красавица. У многих, кому довелось видеть ее, слюнки потекли, а джигиты — так те готовы биться из-за нее, что тебе льдины в половодье. К тому же по всей степи не сыщешь человека богаче Балпана. Как бы ни дулись на него — стоит ему лишь пальцем поманить, каждый мигом примчится... Балпан ждал удобного случая донести до уважаемых степняков свое решение. И тут, к счастью, пожаловал к нему свататься Саутбай — да будь он благословен! Балпан радушно принял гостя, а прощаясь, высказал свою волю: «Саке, благодарю за оказанную честь. Но и до вас достойные люди сватали мою дочь. Я всем отказывал, желая, чтобы она не покидала дом раньше срока. Многие на меня в обиде и переносят свою обиду на Ажар. Дочь моя чиста и ни в чем не виновата. Мне не хочется, чтобы к ней относились с неприязнью. У меня в мыслях не было кого-либо унижить или отдать дочь самому богатому и знатному. Я решил так: пусть она достанется тому джигиту, кто победит в состязании самых сильных, ловких, искусных и удачливых. Кто победит всех в борьбе и в состязании певцов, чей скакун придет первым в скачках, тому и будет принадлежать моя дочь. Такова моя воля. И если люди примут ее, согласятся на этот спор, я от своих слов не откажусь. Ради детей не жалко богатства. Я препоручу дочь вместе с богатым приданым победителю перед всем народом. Да будет так!»

Слова Балпана мигом облетели степь. Вновь к юрте Балпана отовсюду потянулись гости. Те, кто втайне рассчитывал на удачу, спешили выказать свое уважение баю и, лакомясь отборным барашком, расхваливали на все лады решение Балпана, называли его мудрым и справедливым. Пусть, твердили все хором, красавица Ажар достанется джигиту, который одолеет всех в честном поединке.

Наконец-то мир, который померк, сузился для Балпана, как бедняцкая лачуга, опять стал светлым и про-

сторным. Бай Балпан отправил гонцов с вестью, что в споре за байскую дочь может участвовать каждый, состязания начнутся перед осенней стрижкой овец, а на них приглашаются все-все, кто пожелает быть свидетелем этого небывалого зрелища.

2

Бай Балпан вновь ощутил твердую опору под ногами. Бог даст, его зятем станет самый смелый, сильный джигит, искусный к тому же в пении и игре на домбре, обладающий быстрым, как ветер, скакуном. И породнится Балпан с родом древним и богатым, ибо лишь такой род способен воспитать лучшего из лучших джигита. Он, Балпан, устроит столь щедрый той, какого еще не видела степь, и слава о нем птицей пронесется через во-о-он те голубой дымкой окутанные перевалы, дойдет до неведомых ему родов и народов, а потом, после его смерти, еще долго будет греметь в этих краях.

За несколько дней до начала стрижки овец, сопровождаемый большой свитой, Балпан объездил окрестности в поисках места, пригодного для состязаний и торжеств. Такое место нашлось: это было широкое привольное плоскогорье — сколько угодно всадников могут скакать одновременно, не опасаясь задеть друг друга стремени. На западе течет извилистая речка. Вон там, на востоке, на южных склонах двух холмов, близкие и дальние родичи бая Балпана развернут для гостей шестьдесят просторных и белых, как яйцо, юрт. На зеленом лугу около реки будет стоянка для дойных кобылиц. Меж двух холмов в ложине выроют больше сотни жер-ошак — продолговатых ям для котлов. Над каждой из них приспособят гигантский казан. На месте тоя обычно скапливается множество разной животины, поэтому одnogорбых верблюдов лучших пород будут держать на расстоянии полднего пути и оттуда доставлять молоко в бурдюках. Вон те островерхие, как девичьи груди, холмы послужат финишем для скачек. От сторожевого холма, что в сорока верстах отсюда, скаковые лошади будут возвращаться, и в четырех местах их будут поджидать и подбадривать криками погонщики.

Все аульные мужчины четко распределили между собой обязанности. Тридцать зрелых мужей, понимающих

толк в разделывании туш и распределении мяса по подносам, будут находиться у котлов. Сорока джигитам отрядили гладких, темно-рыжей масти без единого пятнышка лошадей. Они должны доставлять блюда с мясом к юртам. Сорок джигитов, которые будут подстергать на дистанции и подбадривать скакунов, обещал выделить аул Кадырбая, тестя Балпана. За сладостями и пряностями дважды ездили в город возницы. Посуду собрали из всех близлежащих аулов. У каждой из шестидесяти юрт решено было поставить по два самовара. Разливать и подавать гостям чай будут пригожие, ловкие, шустрые молодки. Для свиты Ажар, для ее подружек и служанок, выделяются две юрты.

Такого размаху и щедрости в этих краях еще не видывали — и не то что на проводах девушки, но и на поминках знаменитых баев. Поистине имя бая Балпана будет восторженно поминаться во всех уголках степи, где обитает хотя бы один казах.

Бай Балпан с мужчинами своего аула осмотрел юрты для гостей. Тщательно проверили все: и подстилки, и ковры, и решетки, и красивую шерстяную ленту, скрепляющую стыки решеток. Каждая юрта предназначалась для определенного аула, чей представитель участвовал в состязании. Даже место для коновязи и стоянки дойных кобылиц бай выбирал лично. Мало того, он собрал старух и сам обсудил с ними, какие яства и блюда достойно украсят дастархан.

Вечером он намеревался еще раз осмотреть приданое дочери. Для него отведена отдельная юрта, из которой после тоя оно будет доставлено специальным караваном в аул счастливого победителя. Приданое — и драгоценности, и утварь, и скот — давно уже определено баем. Самым поразительным зрелищем, венчающим той, должно стать кочевье с приданым Ажар. Шею, грудь и круп каждого верблюда украсят обвески, слитки серебра, дорогие ожерелья; за исключением одного, на которого навьючат деревянный круг юрты — шанрак, все остальные верблюды будут покрыты дорогими коврами с кистями; верблюжьи поводки свиты из блестящего шелка.

Пестрый, переливающийся всеми цветами радуги караван поведет единственная жено невесты, жена брата — Жазыл. Когда верхом на белом грациозном иноходце, сама в яркой шапочке-саукеле, украшенной

перьями филина, она поведет этот не виданный никем и никогда караван, бесчисленная свита, окружающая кочевье, затянет жалобный, традиционный плач-прощание невесты с родителями и родным краем. Свита невесты будет восседать на отборных иноходцах. Акын Кушен, покрывая плач своим зычным голосом, затянет терме — утешение и печальной невесте, и горестным родителям. Джигиты из аула Балпана подведут к Кушену и привяжут к тороке его седла тугогорбую, брюхатую белую верблюдицу — дар бая акыну. Восхищенный его щедростью певец, импровизируя, начнет воспевать Балпана и этот невиданный, неслышанный доселе той. Вдохновенная песня акына навеки останется в памяти всех, кто присутствовал при ее рождении, и их потомков. Затем певцы, музыканты и борцы во главе с Кушеном отправятся в аул жениха.

И тогда-то уж, насмотревшись на все это великолепие, тайные недоброжелатели, горлопаны, придурки, вроде Можана, наконец, поймут, как далеко им до достославного бая Балпана, и заткнутся раз и навсегда. Сваты же, будущие родственники, будут на седьмом небе.

Парадный караван как будто наяву виделся баю Балпану, однако и без каравана охваченный радостной суматохой аул был чрезвычайно красочен. Далеко у горизонта — крутобокие перевалы в сиреновой дымке. Вокруг — девственно чистая, не тронутая никем степь. Воздух прозрачен и свеж. В торжественный ряд выстроились пышные юрты для гостей. Их тыльная сторона покрыта белой кошмой — издали кажется, будто на зеленый луг опустилась стая белых лебедей. Привлекают взор пунцовые решетки и синие потолочные круги юрт. Крепкие, рослые джигиты между делом заигрывают с молодайками. Те не остаются в долгу — кокетничают вовсю. То здесь, то там слышится волнующий шелест атласных и шелковых платьев, то здесь, то там потянется какая-нибудь молодайка кверху, спадут к плечам широкие рукава, мелькнут обнаженные, манящие руки. Белея высокими тюбанами, байбише и старухи зорко наблюдают за работой молодых, сыплют замечаниями и советами, следят, чтобы поднимали потолочный круг, и не слишком высоко, иначе юрта будет островерхой, неустойчивой, и не слишком низко — иначе юрта станет приземистой и расплюсченной. Когда уины закреплены и остов

юрты установлен, решетки накрепко затягиваются широкими яркими лентами, с унии опускаются пестрые кисти. А уж напоследок юрту покрывают белоснежной кошмой.

Кишмя кишит людьми и лошина между двумя холмами. Там всюду роют продолговатые ямы, устанавливают в них огромные казаны. Молодайки с коромыслами на плечах гурьбой отправляются по воду. Нежно тренькают ожерелья, монисты на их шеях и чолпы в волосах. Вдалеке, поднимая копытами мягкое облачко пыли, спускается с перевала косяк жеребят и отара превосходных трехгодовалых овец, которых забьют завтра к тою. Засиял, сказочно преобразился аул, когда из двух белых юрт вдруг высыпали разнаряженные девушки из свиты Ажар. У всех черные косы с вплетенными чолпами — до пят. От их красных, белых, желтых атласных платьев зарябило в глазах. Девушки спустились к речке на прогулку, и степь, обычно тускнеющая к вечеру, мигом ожила, расцвела красочным многоцветьем тюльпанов.

Это пышное великолепие, сотворенное его волей, эта веселая суета, толчея, суматоха вокруг по-молодому бередили сердце Балпана, наполняли его счастьем. Оживленный, в предвкушении небывалого праздника, он направился в юрту, чтобы пораньше лечь и хорошенько выспаться до прибытия гостей.

Подготовка к тою не затихала ни на час. Женщины так и не сомкнули глаз, всю ночь позвякивали чашками, пиналушками, кесушками, распределяя их по юртам. Хлопоты и беготня продолжались до самого утра.

Мужчины поднялись с зарей — и бегом к котлам. Наточили ножи, принялись резать жеребят: надо было разделать туши по утренней прохладце. Вскоре вдоль лошины появились одинаковые бугорки жеребятчих туш. Почтенные мужчины, засучив рукава, ловко управлялись с ними, женщины в летах чистили кишки и требуху. Молодые женщины и джигиты таскали с речки воду, носились, не чуя под собой ног, взад-вперед, обмениваясь шутками-прибаутками. Не меньше суеты было около юрт: как-никак каждую надо было обиходить, расстелить подстилки, развесить ковры. Перед юртами, как часовые, стояли до блеска начищенные медные самовары.

Когда выглянуло солнце, молодые женщины принялись под руководством Жазыт обряжать невесту. До са-



мого отъезда из отцовского аула Ажар будут украшать круглая шапочка из выдры, щедро расшитая драгоценными камнями; платье из золотистой парчи, пышное, широкое, аж с четырьмя оборками; поверх платья — легкий расписной чапан из голубого бархата, на шею — ожерелье из яхонта, на руках — дорогие браслеты.

Когда утро совсем вступило в свои права, между двумя холмами устремились к ясному небу тонкие и прерывистые, как нитки, струйки дыма. Казалось, это Баллап



подавал условный сигнал всем, кто желал прибыть на той. И, будто приняв этот сигнал, в ответ ему начали показываться издалека разбросанные группки всадников, а у горизонта, куда ни кинь взгляд, взметнулась пыль. И всадников, и клубящихся облачков пыли становилось все больше и больше; вскоре гости плотным кольцом окружили аул. Испепеляющий летний зной был позади, с севера налетел легкий, ласкающий прохладой ветерок, небо необъятным голубым куполом рас-

кинулось над степью. Шестьдесят белых юрт, поставленных вдоль речки, манили путников к себе.

Степное марево растаяло, улетучилось. Расстояние между всадниками и аулом сокращалось и сокращалось. Отдельных верховых уже можно было рассмотреть. Бай Балпан и самые уважаемые аксакалы поджидали гостей на холме. Те, что издали заметили Балпана и его свиту, направили коней прямо к нему, спеша приветствовать знатного бая.

Первым добрался Шурен — купец из далекого города, с ним — сорок верховых. На поводу под дорогой попоной купец вел синего аргамака. Вслед за ним, тоже в сопровождении большой свиты, прибыли Саип и Бекес. Джигитов из аула Байсала можно было отличить по саврасым лошадям. Немало понаехало гостей и из совсем незнакомых родов. Джигиты Балпана услужливо встречали гостей, помогали им спешиться, отводили лошадей к месту стоянки. Все участники состязаний должны явиться к обеду, не позже; большинство их прибыли вместе, скопом, и Балпан всех приветствовал и сам провожал до юрт. Сегодня гостей ждут пиршество и отдых. Состязания начнутся завтра.

Со всех сторон в аул стекались охотники за счастьем. На стоянке для лошадей стало тесно.

Старейшины прибывших гостей, отдавая Балпану почтительный салем, поздравляли с тоем, витневатого желали удачи и всяческих благ. Джигиты, едва спешившись, молча таращили глаза, потрясенные великолепием байского аула.

Шестьдесят просторных юрт были битком набиты людьми. От разговоров, шума, колготни над аулом стоял сплошной гул. Около красовавшихся в чинном ряду самоваров засновали, забегали взволнованные общим вниманием молодые женщины. Джигиты, что побоевей и поразбитней, толпились у входа в юрты, притворяясь, что уступают место старшим, и без зазрения совести пялили хитрые глаза на хлопотавших рядом женщин.

На краю аула кружились, принюхиваясь одна к другой, а то и отчаянно грызлись собаки.

Едва гости разместились в юртах, им поднесли кумыс в деревянных чашах. Не успели они утолить жажду, как начали расстилать широченные дастарханы и вносить самовары. Гости наперебой стали восхищаться

убранством юрт и обилием дастархана: при всем желании не к чему было придаться. Городских сладостей на дастархане, которых редко доводится отведать степняку,—есть не хочу. Румяные баурсаки навалены аппетитными горками; примчик, курт по всей скатерти раскиданы щедрой рукой, а куырдака столько, что на всю степь хватит.

Многие гости потратили на дорогу два, а то и три дня, сильно притомились и теперь блаженствовали, удобно устроившись на мягких подстилках и подушках. Не спеша, смакуя, ели, попивали умело заваренный, хорошо настоявшийся чай. После чая почувствовали себя полегче, пободрее; пожилые гости предались долгой и приятной беседе, молодые отправились на простор, на свежий воздух, поглазеть на торжественный, праздничный аул, да и себя заодно показать. Они обсуждали, строили догадки, спорили, кому же все-таки здорово подвезет — достанется красавица Ажар, ради которой расточается столько богатства и съехалось столько народу.

В полдень гостям подали мясо. Джигиты на темно-рыжих, лоснящихся конях сгрудились вокруг котлов; получив по два громадных подноса с мясом, спешили плавной рысью к юртам. Там с осторожностью вручали их подавальщикам, поджидавшим у входа, и вновь скакали к котлам. На блестящих крупах иноходцев, отражаясь, играло солнце.

Вокруг котлов многолюдно и оживленно. Настал черед распределять поровну мясо. Мужчины с длинными кривыми ножами в руках похожи на мясников в купеческих лавках. Они священнодействуют. Поставив перед собой необъятные подносы из дерева, они перво-наперво вываливают на них объемистые, тяжеленные куски; потом, молниеносно орудуя острыми в жиру ножами, плоскими кусками режут на каждый поднос курдючное сало; поверх кладут свежайшее баранье филе, ребра, позвонки; и, наконец, стругают постный огузок и хрящеватый подгривок жеребенка.

Мужчины, отряженные к котлам, поднаторели в этом искусстве: несколько мгновений — и подносы заполнены мясом. Вот пожилой мясвар, выудив из котла два увесистых куска, отошел в сторонку, собрал вокруг ватагу чумазных голоногих мальчишек и принялся потчевать их мясом: ведь их, пострелят, к парадному дастархану и

близко не подпустят. Мальчишки, получив каждый свою долю, радостные, прыгают, визжат и, сверкая голыми пятками, стремглав несутся к коновязи. Там фыркают, храпят, грызутся лошади всех мастей и со всех краев.

Полуденное тепло и обильная пища разморили всех. Улеглась суматоха у котлов. Повара и разносчики, исполнив свои обязанности, сами устроились вокруг казанов, лакомятся мясом. Ржанье лошадей, смех и гомон в белых юртах, звон чолпы в косах молодок, хлопочущих у самоваров,— все приутихло и доносится до аульчан смутно, приглушенно. Небо вышло, горизонт сузился и зыбится в сиреновом мареве.

В центральной юрте у бая Балпана собрались самые знатные, самые почетные гости. Среди них — хазрет Асанбай. Когда покончили с мясом, самый старший из находившихся в юрте, восьмидесятилетний Досбай произнес благословение: «Да будет вся жизнь бая Балпана богата и прекрасна, как этот той! Да сопутствует удача и счастье его дочери, которая станет женой джигита из джигитов!» Все молитвенно сложили ладони у лица, и дружное «аминь» огласило юрту. Старый Досбай степенно, от смуглого лба до белой бороды, провел ладонями по лицу, затем, прищепив двумя пальцами кончик бороды, учтиво склонил голову перед хазретом Асанбаем. Хазрет — серолицый, с суровыми глазами старик, сидевший по правую руку от Досбая, опустился на колени и глухим, скрипучим голосом затянул на бухарский манер суру из корана. В юрте наступила благоговейная тишина. Непонятная, волнующая музыка слов молитвы умиротворяла бая Балпана, ласкала его слух, сладкой истомой разливалась по жилам. Глухая гортанная мелодия арабских слов пробуждала в нем довольство собой, гордость. Священная молитва, казалось, плыла в воздухе, заполняя все пространство. А хазрет, распаляясь, читал нараспев, все громче и громче, а потом, будто невзначай сорвавшись вниз с высоты, зашептал еле-еле, закрыл глаза и замер. Все встали на колени, подвигали губами, провели ладонями по лицу. Маржан принялась убирать дастархан, и гости обратились к ней: «Да благословит тебя аллах!»

Опять внесли самовар. Начавши владеть властью, гости выбрались из юрты. Солнце уже перевалило зенит. Небо, которое только что было мутным, словно прокишенное молоко, теперь очистилось, заглубело. Снова

повеял прохладный северный ветерок, утихший было в полдень.

Гости расселись в тени юрт, отдуваясь и кряхтя. Аксакалы с медными вытянутыми кувшинами — кумганами в руках величаво зашагали к укромной излучине, чтобы совершить омовение. Джигиты отправились к коновязи посмотреть на лошадей.

Из двух белых юрт, шелестя шелками, выпорхнули девушки в ярких, радужных нарядах. Среди них — невеста в легком, небесного цвета чапане. Девушкам наскучило сидеть в юртах, и они решили порезвиться за аулом. Увидев девушек, джигиты напряглись, как кони перед скачками, однако спохватились, застеснявшись старших, и нехотя, вразвалку пошли к коновязи. Правда, здесь ни один из них даже не взглянул на лошадей: их глаза, казалось, сами поворачивались вслед за девушками.

Старики, совершив бесин-намаз¹ собрались в юрте Балпана, чтобы обсудить условия и детали завтрашнего состязания. Обговорив все, разошлись по отведенным им юртам, где начали кумекать с сородичами, как лучше обойти соперников.

К джигитам побежал байский слуга с вестью, что хозяин тоя пожелал лично, в сей час ознакомиться с претендентами на его дочь и их скакунами. Женихи и их слуги, ведя на поводу скакунов, направились к склону холма — месту сбора. Здесь лошадей накрыли самими изысканными попонами; женихи еще раз провели тщательную ревизию своей одежды. Решившие поймать птицу счастья, статные, как на подбор, джигиты смущались, волновались в ожидании приближающейся из аула внушительной толпы. Впереди, отдельной группкой, шествовали Балпан и аксакалы. За ними, держа приличествующую дистанцию, жадно глаза по сторонам, двигалась туча любопытных, праздных людей. Им не терпелось поскорее узреть и женихов и скакунов. Чтобы их можно было отличить от джигитов, не претендующих на байскую дочь и богатство, женихи сами держали скакунов под уздцы.

Отец невесты и почтенные аксакалы медленно поднялись на вершину холма. К ним приблизились женихи;

¹ По мусульманскому канону правоверный должен пятикратно молиться за сутки. Бесин-намаз — молитва, совершаемая после полудня.

рядом с ними встали их родители и близкие родичи. Бай, сопровождаемый двумя стариками — знатоками лошадей, подошел к жениховскому строю. Молодцы робко поздоровались — как-никак, а может, это будущий тесть. Женихов оказалась прорва.

Согласно обычаю Балпан расспросил каждого джигита: откуда он родом, как зовут его почтенного отца. Женихи были один другого краше, хоть сейчас любого зятем пазови. Рослый, стройный, рыжеватый джигит оказался сыном Байсала, которого когда-то сватали к Ажар. Хоть и учился он в городе, в русской гимназии, по всему выдать — скромненький, застенчив, как девушка. Пока Балпан беседовал с Байсалом, юноша глаз не поднял на старших. Прослышав о состязании, Байсал не поленился — съездил в Хорезм и выпросил белосивого аргмака у одного своего знакомого. Аргмак был потомком прославленной в тех краях скаковой лошади. Старик-лошадики придирчиво оглядели аргмака со всех сторон и не нашли в нем ни единого изъяна. Градом посыпались вопросы из любопытной толпы о статях скакуна, Байсал отвечал обстоятельно и с достоинством. Но Балпан старался не задерживаться сверх положенного возле Байсала, дабы не обидеть представителей других родов. Отходя, еще раз покосился на джигита, подумал про себя с некоторым сожалением: «Бледен и жидковат немного. Вряд ли выдюжит в борьбе».

А этот со звездочкой на лбу, темно-рыжий скакун принадлежит, должно быть, купцу Шурену. Он известный пройдоха, недаром судачат, что он кого угодно вокруг пальца обведет. И скакун его небось не промах. Словно боясь, что скакуна могут сглазить, хитрый Шурен почти целиком укрыл его пышной попоной: нечего заранее открывать всем его достоинства. А вот и сам купец стоит, поджидает Балпана. Выпер вперед могучее брюхо, опоясанное широким кожаным ремнем с металлическими узорами, на мясистой грубой шее застыло высокомерие. И сын весь пошел в него: такой же плечистый, хоть по джигиту сажай на плечо, мешковатый верзила. В борьбе он, пожалуй, всех положит на лопатки. Балпан на минутку представил себе, как приедет он в просторный, железом крытый купеческий дом, горделиво возвышающийся в самом центре города, а навстречу ему с услужливым поклоном выкатится са-

мый богатый и влиятельный купец. Так, глядишь, ему, степному баю, владеющему раздольным междуречьем, удастся заполнить весь городской базар жирными ба-
 нанами...

Белоголового саврасого скакуна пригнали сюда из аула, раскинувшегося неподалеку от города. Его хозяин — долговязый, темнолицый мужчина. Лихо покручивая густые усы, он рассказывает что-то веселое глазеющим людям. Его сын, рослый, миловидный, с добрыми глазами, сдержанно улыбается.

Ого, и Бекеc здесь, прибыл с племянником. Бекеc резко выделяется среди гостей своим суконным, городского покроя бешметом. Голову его плотно облегает татарская такия с кисточкой. Растопырив пальцы, решительно жестикулируя, он что-то втолковывает племяннику. Приятный черноглазый шатен, вполуха слушая дядю, внимательно смотрит на Балпана.

...Балпан уже приближался к концу ряда, когда заметил смуглого юношу, одетого обыденно, в поношенный чапан из верблюжьей шерсти. Юноша примостился на отшибе, смущенно опустив голову: стыдился то ли своей одежды, то ли тощей, кости выпирают, лошадики игренево́й масти. Балпан подошел и к нему, осведомился, кто он, из какого рода. Рядом с парнем не было никого. Он что-то пробормотал, вконец смущенный, аж взмокший весь от волнения. Балпан вгляделся в него повнимательнее и тут заметил на виске парня большой шрам. «Ну, бедняга,— проникся к нему сочувствием Балпан,— его засмеют. Скажут: башка в трещинах, а туда же метит». Бай отвернулся. Стоявшие рядом джигиты бросали на юношу кто пренебрежительные, а кто и ехидные взгляды.

Завершив церемонию знакомства, Балпан зашагал к аксакалам — они пребывали в важных позах на холме. Вдруг кто-то ухватил его за полы чапана. Он наклонил голову и увидел у своих ног слабоумного Есена, сына Сапака. Несчастный помешался еще в раннем детстве; к тому же он был уродлив. Одно ухо у него было изуродовано, глаза сильно косили. Зимой и летом пропадал Есен в степи. До него донеслась весть о состязании, и он одним из первых прискакал на той. Было ему под сорок, но ходил он в холостяках. Отец его, Сапак, обшарил все аулы окрест, сулил богатый калым, но никто не решался отдать дочь за слабоумного. Отец давно

оставил надежду женить сына, но сам Есен надежды не терял и вот решил наравне с самыми ладными джигитами испытать судьбу в состязании. «Пусть, дурачок, тешится», — подумал Балпан и распорядился, чтобы и его включили в число претендентов.

Отвязавшись таким образом от Есена, бай Балпан вошел в круг аксакалов. Те вели горячие споры о том, кто выйдет победителем. Гости уже успели налюбоваться красотой аула и ревниво изучали всех прибывших на состязание. Особенно настороженно и зорко приглядывались друг к другу женихи-соперники. Среди всеобщего волнения, среди тех, кого лихорадило от мысли о предстоящей борьбе — ради чести, славы и богатства, — один бай Балпан казался невозмутимым. «Что бы там ни было, победит сильнейший, достойнейший. А мне ничего больше и не нужно», — размышлял про себя Балпан.

3

В ауле запылали пожаром споры о преимуществах и недостатках скаковых лошадей, о том, кто завтра будет объявлен мужем Ажар. Яростная, до пены у рта, перепалка не примирила, конечно, заядлых спорщиков, и они ударяли по рукам, заключая пари.

Девушки и молодые женщины, придирчиво с ног до головы изучившие женихов, окружили Ажар и наперебой, захлебываясь от возбуждения, расхваливали ей и того, и другого, и третьего. Они никак не могли определить лучшего из лучших — так все женихи были хороши. Кое-кто из молодых втайне завидовал Ажар, другие не считали нужным скрывать свою зависть:

— Ох и счастливая же ты, девка, и повезло тебе! Кому еще привалит такое счастье — самой выбрать себе по сердцу джигита?!

Щеки Ажар загорались огнем от подобных слов. Люди толпами сновали туда-сюда. Каждый навострил уши, к любому словечку, слуху, шепотку прислушивался. Участники состязания подсылали друг к другу лазутчиков. Те шныряли по юртам, в толпе, ловили малейший звук, дознавались, кто о ком и о чем говорит. Соперники неприязненно косились друг на друга и на скакунов, которые, по мнению просвещенного большинства, должны были первыми прийти к финишу. Иные дрогнули. Даржан, не надеясь на удачу, грозился уехать,

но его со всех сторон окружили, обступили болельщики и давай до небес расхваливать и его сына, и скакуна. Самолюбивый Можан заявил: «На этом шабаше джинов нам делать нечего!» — и, обругав про себя последними словами Балпана, швыряющего на ветер, на потеху презренным крикунам состояние, убрался восвояси. Некоторые джигиты тоже стушевались, струсили. Одиноким юноша со шрамом сразу же после смотрин решил незаметно исчезнуть. Под разными предлогами уехало еще несколько человек.

Перед заходом солнца гостям вновь было подано щедрое угощение. Горы мяса источали соблазнительные запахи. Однако на этот раз за дастарханом не было оживления и шумного веселья. Гости были утомлены, да и обеспокоены завтрашним днем. Ели сосредоточенно, молча, с насупленными лицами.

Никто больше не вступал ни с кем в спор, не заключал пари. После еды в разных местах небольшими кучками собиравлись джигиты. Им было интересно послушать разные забавные байки из уст бывалых стариков, повидавших на своем веку не один грандиозный той. Если приближался посторонний, кто-то из чужого аула или рода, старики ловко поворачивали разговор на погоду, на грядущую зиму или начинали вовсе расхваливать радушие бая Балпана.

Вечером бай пригласил в свою юрту аксакалов, чтобы потолковать, посоветоваться с ними, вывести их мнение о женихах. Старики сказали: «В состязании участвуют сплошь именные аулы, именитые роды. Трудно вынести заключение о том, что этот, мол, хуже, а тот лучше. Предсказать победителя трудно. Ясно одно: и тебя, и дочь твою ожидает счастье».

Девушки из окружения Ажар, молодухи, разжигавшие самовары, тараторили без умолку, на все лады обсуждая женихов.

Аулу, как видно, не суждено сегодня уснуть. Всю ночь в каждом уголке шушукались и шептались...

4

На другой день равнину заполнили люди. На траве расстелили в ряд, один к одному, пестрые ковры. Аксакалы выбрали казы — судьями состязания — старца Досбая, хазрета Асанбая, акына Кушена.

Судьи тут же подозвали к себе старейшин аулов и обговорили правила и порядок состязания. Было решено, что сначала женихи продемонстрируют свое искусство пения и игры на домбре, потом померяются силами в борьбе, а заключит все байга — скачки лошадей.

Затем судьи пригласили на круг Балпана. Хазрет Асанбай вытащил из-за пазухи коран. Положив руку на священную книгу, бай поклялся, что не откажется от своего обещания и отдаст дочь победителю. Хазрет стал поочередно выкликать старейшин аулов, и они поклялись на коране не оспаривать решение судей. Когда Асанбай вызвал Сапака, вместо него выбежал его сумасшедший сын. Он стоял вразвалку, улыбаясь своей улыбкой умалишенного, один глаз его уставился в землю, другой — устремился в небо. В толпе раздались смешки. Хазрет Асанбай терпеливо объяснил ему порядок и условия состязания. Есен сказал, что у него тоже есть условие. И, продолжая ухмыляться, безапелляционно заявил: «Петь я не умею. И не буду. Если бай Балпан желает выдать замуж дочь за горлопана, пусть выдаст ее за шайтана. Мне же драть горло не пристало. Я родовит, именит и богат, и вообще не хуже других. Хоть мне и сорок, все равно с любой девкой справлюсь. И любую переживу. Я буду участвовать в состязании. Никто мне не запретит. А орать благим матом и по струнам хлестать нет на то моей воли. И в вертеп джиннов меня не затащите!» Люди хохотали над пидотом до коликов в животе. И только хазрет был по-прежнему строг и суров. Он посмотрел на вытиравших слезы Досбая и Кушена, головой показал на приносившегося Есена, словно советуясь, как с ним поступить. Оба сразу посерьезнели, застыли в недоумении. Угомонила в ожидании и толпа. Судьи, посовещавшись между собой, посчитали нужным обратиться к другим аксакалам. И тут раздался пронзительный голос забияки Даржана: — Эй, люди добрые! Он же единственный старый хрыч среди стольких молодых джигитов. Пусть потешится. Допустите его. Коли целая свора парней уступит девку этакому дуралею, то пусть они провалятся от позора сквозь землю.

Вокруг одобрительно загудели, и аксакалы добродушно махнули рукой: «Допустить его к состязанию. Кому он, балда, дорожку перебежит?!» Растянув губы в

блаженной улыбке, Есен произнес слова клятвы и поплелся на место. Он был рад, что отбоярился от пения и игры на домбре и тем не менее будет среди всадников в байге. Есен только никак не мог уразуметь, отчего надрывает животы, пускает от смеха слезу и щиплет себя за щеки от восторга эта многолюдная толпа. Хазрет Асанбай едва успокоил развеселившийся народ.

Джигиты между тем готовились к первому испытанию. Для него отвели большущий ковер; рядом развернули ковер для аксакалов. Зрители, кто сидя, кто стоя, расположились вокруг. Когда расфранченные парни заполнили середину ковра, волнами прокатился шум восхищения. Молодые женщины, сгорая от любопытства и волнения, что-то нашептывали друг дружке на ухо. Спокойствие и сдержанность выражали только лица аксакалов и девушек из свиты невесты, напоминавших маленькое созвездие. Акын Кушен, во исполнение дедовского обычая, предоставил почетное право начать состязание гостю, проделавшему самый длинный путь, — сыну Шурена. Тот выступил вперед, громадный и внушительный, низко поклонился, и взбудораженная толпа, не успев еще услышать его голос, стала подбадривать молодца одобрительными возгласами.

Сын Шурена взял в руки черную, инкрустированную костью домбру и бойко ударил по струнам. Он хлестал и хлестал по ним, все набирая темп, потом резким голосом, как-то неожиданно даже, взял высокую ноту и долго, на одном дыхании, тянул ее — совсем как жаворонок в заоблачной выси. После этого певец так же круто понизил голос, будто готовясь к новому взлету. Завладев вниманием зрителей, он обрушил на них стремительный речитатив. Проникновенные слова и мелодия, извергавшиеся сильным и красивым потоком, не исчезали бесследно под ясным, открытым небом, не растворялись в бескрайней степи, а желанной птицей опускались на струны души. И хотя подбородок певца едва-едва покрылся нежным пушком, пел он о жестокости и лживости этой юдоли печали, в которой обречены на неизбежную гибель самые высокие помыслы и дерзкие мечты, о ненасытности и слабости рода человеческого. Горячая кровь, взывавшая в жилах и ударившая в головы слушателей при первых звуках домбры, теперь будто застыла, побежала к сердцу, леденя его холодом. Казалось, на радостно трепещущую душу, послушно устре-

мившуюся было ввысь за голосом-властелином, набросил вдруг аркан, как на скакуна на полном скаку. Восторг сменился печалью, на глаза набегали слезы, к горлу подкатывал горький ком. Толпа поникла, оживления, легкомысленного бездумья как не бывало; озорные, игривые глаза потухли, устремились вдаль, к плотно прижавшимся один к другому, словно озябшие дети, холмам и перевалам. Певец теперь подчинил себе толпу, как хорошо обвезженную лошадь, и делал с нею все, что хотел. Сию минуту все сидели, понурившись, ни дать ни взять облитые холодной водой, и вдруг, по воле певца, вострепнулись разом. Светлый напев и задорные слова всколыхнули людей, вырвали из тяжких раздумий. Плечи распрямились, заблестели глаза, щеки зарумянились. Певец пел о том, что храброму джигиту ничто не страшно. И даже краткость жизни не пугает его, ибо смысл и радость ее — в непреклонной воле, дерзости духа, неукротимости желаний; уж коли суждено тебе было прийти в этот мир, взмывай орлом в поднебесье, промчись по земле огненпокопытым скакуном.

Толпа восторженно вопила, благодарила певца, просила его петь еще и еще. Акын Кушен подал знак: пой, если есть охота. Певец покрутил колки, перестроил домбру на другую тональность и запел тихо, проникновенно о любви к девушке. Песня была нежной и страстной одновременно, в ней были таинственный намек, ласка, очарование, противиться которому невозможно.

Покоренные слушатели восторженно причитали:

— Ойпырмау, вот молодец, вот сокол! Этот, видать, с ходу выиграет в первом соревновании. Ну и силен!

Более хладнокровные и терпеливые возражали:

— Подождите! Впереди еще и не такое увидим...

Певец почувствовал, что выступил удачно, понравился всем. Вытирая мокрый лоб, с пылающим лицом он освободил место следующему претенденту.

И в самом деле, вскоре выяснилось, что он не единственный умелец среди соперников. Слушатели и судьи сбились с толку: кто же самый голосистый и умелый певец? Они еще не раз приходили в восторг, кричали, перебивая друг друга, а особо темпераментные вскакивали с мест, бурно жестикулировали. В этом сплошном гоме ничего нельзя было расслышать и понять. Но вот выходил очередной певец, затягивал свою песню, и лю-

ди мигом успокаивались, утихали, все обращались в слух, будто ожидали нового чуда.

С севера временами налетал робкий ветерок, вдаль, у горизонта, поднималось к лазурному небосводу облачко, легкое, как пушинка. Печаль по мимолетной обманчивой молодости, которая, подобно тюльпанам, цветет ярко, но коротко, бравадные напевы о колдовских чарах красавицы, сиянии ее глаз, сводящих с ума доброго джигита; горькая жалоба на жестокую судьбину, разлучившую влюбленных; хвала светлой мечте, всю жизнь куда-то влекущей людей, пленяли, погружали в сладостную истому и людей, и холмы-близнецы, и ровную, гладкую, как доска, равнину, и ослепительный небесный свод, и реку, покрытую легкой серебряистой рябью.

Певцы не повторяли друг друга. Чем больше джигитов побывали с домброй на ковре, тем заметнее вдохновлялись, загорались остальные. Вначале многим под любопытными взглядами окружающих было не по себе; теперь они расправили плечи, им не терпелось схватить домбру и выйти поскорее на круг. Чем ждать свой черед под любопытными взглядами, волнуясь, краснея, обливаясь потом, уж лучше петь. Всем им хотелось избавиться от тягостных сомнений и сжигающих душу надежд, от опаляющей зависти к сопернику при виде его успеха. Всем хотелось обрести крылатое чувство свободы. Перед песней отступают разом все тревоги, все волнения. Чистые, сокровенные чувства благодатными родниками пробиваются из глубин души, преобразуют молодой звонкий голос, одухотворяют лицо, зажигают глаза священным огнем — огнем самого высокого, самого светлого, что заложила в человеке природа. Они вливаются вместе с песней в сердца очарованных людей, подобно сказочному, живительному бальзаму из драгоценного сосуда. Человек освобождается от повседневной мелкой суеты, очищается от житейской скверны.

В такие мгновения даже самые черствые, самые черные натуры ощущают себя заново родившимися, свободными от бремени неурядиц и мрачных воспоминаний. Даже они с упоением, восторгом открывают для себя, как прекрасен мир. Бездонная синь над головой, жемчужная полоска горизонта, блестящие крупы красавцев скакунов, юные, стыдливые девушки, чарующие

голоса певцов. Все-все буйство, половодье белых, красных, синих, зеленых красок, символизирующих непобедимость, торжество жизни...

Песни джигитов загнипотизировали всех. И все живое и неживое, весь мир видится будто в сладком сне, окутан зыбким розовым туманом, который стоит над степью ранней осенью.

Люди предались одухотворяющим мечтаниям. Даже на заросшем щетиной лице Есена появилась осмысленная улыбка.

Казалось непостижимым, что звучные, гордые эти песни, которым было тесно даже на степном просторе, что такие сокровенные и смелые мечты, такая сила духа скрывались, хранились в тайниках души безусых юнцов, почти детей, еще вчера игравших в асыки и гонявшихся за стригунками... Неужели со временем отгорят, очерстевают их сердца, беды иссушат их, волосы покроет седая пыль?.. Неужели они, такие чистые, отважные, будут перед кем-то унижаться, боязливо заглядывать в чьи-то глаза, довольствоваться крохами с чужого стола?! Жить бы им до конца дней привольно и красиво!..

Увы, мало кому это суждено. Беспощадная судьба старит молодых, укрощает строптивых, унижает гордых, скакунов превращает в кляч, острое — в тупое. Доберется она однажды и до них...

Состязание певцов закончилось после полудня. Судьи не знали, кому отдать предпочтение, и приняли решение допустить всех участников первого тура ко второму — к борьбе. Ублаженный песнями, удовлетворенный мудростью судей, народ валом повалил в аул. Захлебываясь, наперебой люди расхваливали певцов. Масса, у которой, казалось, только что были одни глаза, уши, одно единое сердце, впитывавшие в себя песню, теперь, словно брошенная горсть бобов, рассыпалась, покатилась в разные стороны, по склонам холмов. Люди сбивались в маленькие кучки: там двое-трое, тут четверо-пятеро. У всех на устах звучала хвала: «Ай да зрелище! Ай да чудо! Ай да музыканты!» И если на пути им попадался кто-нибудь из певцов, каждый считал своим долгом выразить восторг, цепляясь при этом чуть ли не за полы чапана джигита. «Ну, милый, — слышалось из разных мест, — ты всех за пояс заткнул. Нет тебе равного!» И выразительно прищелкивали языками, пожирали выбитого из колен певца опалелыми

глазами. Если тот совсем терялся и никак не реагировал на их упоение, говорили с усмешкой: «Бедняга совсем, видать, с ума спятил от успеха. Даже язык отнялся». Если же польщенный певец улыбался в ответ и благодарил за доброе слово, толпа ехидно похмыкивала, дурачилась, шептала: «Вот болван, всерьез принял наше славословие». И срочно отыскивала в певце какой-нибудь изъян, надувалась от чувства собственного превосходства над тем, кто совсем недавно так властно увлек ее в прекрасную страну чудес. Теперь, двигаясь навстречу тому привычному и низменному, что было неотъемлемой частью их жизни, люди опять превращались в крикливую толпу, которую хлебом не корми — дай позлословить, осквернить святое и светлое...

Джигиты шли почти стремя в стремя в искусстве пения. Мудрые, дальновидные мужи соперничавших родов и аулов были озадачены и лихорадочно соображали, каким образом помочь их ставленникам выиграть спор. Они отводили в укромные местечки своих джигитов, озирались по сторонам, будто передавали им что-то ворованное, торопливо и таинственно шептались. Все еще взволнованным, озаренным своим выступлением, своей песней парням опытные старики спешно втолковывали азы хитрости и коварства. Заветная, сладкая, как мед, мечта победить в открытом состязании подтачивалась на оселке честолюбия, незаметно оборачивалась жестким расчетом взять верх любой ценой. Простодушным джигитам внушали: когда все соперники будут посрамлены, а их род опозорен, когда горе сведет у других брови на переносице и остановит в жилах кровь, он, победитель, будет ликовать, праздновать победу, он познает тогда пьянящий хмель честолюбия, вкус счастья.

Неопытным юношам было псевдомек, что с этого мгновения они невольно вступают в беспощадную байгу, которая зовется жизнью. И у этой байги только один приз, а претендентов на него не счесть. Многих она увлечет, раззадорит, раздразит, однако желанного финиша удастся достичь одному-двум, остальные же — поверженные, проклинаящие белый свет — выдыхаются на полдороге к цели.

Окончание первого тура бай Балпан ознаменовал новым угощением. Опять расстелили дастархан, обильно заставленный яствами, опять долго, с наслаждением

пили чай. Правда, гости из соперничавших аулов были озабочены и ели-пили вяло, без аппетита.

Спустя час-другой народ опять подался к месту состязаний. Судьи вновь призвали к себе аксакалов, основательно посовещались. На этот раз в кругу расстелили белое полотно, и аксакалы бросили на него свои камчи. Акын Кушен старательно перемешал их и поманил к себе двух несмышленишей — мальчика и девочку лет трех-четырех. Обращаясь к народу и аксакалам, акын сказал:

— Пары борцов будут определяться по тем камчам, которые вынут эти дети. Все ли с этим согласны?

Аксакалы ответили:

— Конечно, младенцу на ухо нашептывает сам ангел, а ангел — посланец бога. Разве мы вправе противиться его воле?! Каждый из джигитов — раб божий. Судьба его во власти всевышнего. Перечить ему — грех. Решение судей неоспоримо.

Акын Кушен посмотрел на хазрета Асанбая и старца Досбая и решительно заявил: «В таком случае начнем!» Держа мальчика и девочку за руки, он подвел их к полотну, затем обратился к девочке: «Возьми, доченька, одну из этих камчей и подай мне». Люди замерли, и девочка в мертвой тишине наклонилась и подала камчу акыну. С такой же просьбой акын обратился и к мальчику. Подняв высоко над головой обе камчи, акын Кушен спросил:

— Все видели?

Толпа откликнулась разом!

— Видели! Видели!

Потом он показал камчи аксакалам, те тоже покивали головами.

— А теперь пусть владельцы этих камчей выступят вперед! — распорядился Кушен.

На круг вышли два аксакала. Акын сказал им, чтобы они вызвали своих джигитов. Рядом с аксакалами встали два джигита в легкой, удобной для борьбы одежде с кушаками. Акын Кушен вновь повернулся к толпе:

— Ну как, люди добрые, нет сомнений, вопросов?

Толпа одобрительно загудела.

Кушен попросил джигитов пока отойти в сторонку. Мальчик и девочка выбрали еще две камчи, и владельцы их выкрикнули следующую пару борцов. Разделив та-

ким образом всех соперников, судьи объявили о начале второго вида соревнования.

Боролись сразу две-три пары. Напирая друг на друга, люди двинулись поближе к кругу. Едва борцы схватились за пояса, как холм зашевелился, взревел, взвыл. В неистовом шуме нельзя было расслышать даже соседа; люди чуть ли не на плечи друг другу взбирались, чтобы хоть краешком глаза узреть, как разворачиваются события на маленьком белом пятачке. Бывалые борцы, те, что состязались когда-то на тоях и торжествах, орали до хрипоты, хлопали себя по бедрам, размахивали руками: «Эх, досада, сорвалось!»; «Так, так, за голень его подцепи!»; «Держись, держись!»; «Изнутри подсеки, недотепа!»; «Тыфу, растяпа!»; «Вай-вай, ну и ловкач!» Аксакалы старались держаться с достоинством, однако, ясное дело, всей душой болели за своих и шептали: «Ия, святой дух! Аруах! Подсобите ему, предки!»

Вот сошлись в схватке два джигита. Оба взмокли и тяжело, прерывисто дышали; все кружилось перед их налитыми кровью глазами: бесчисленные ноги, подола ярких платьев, полы разноцветных чапанов... Жадная до зрелищ, праздная толпа, казалось, прилипла взглядами к спинам борцов... Если кто-то сейчас одолеет, положит противника на лопатки, она всколыхнется, загалдит: «Э, барекельде!» А другой, тот, что проиграл, считай, покрыл на веки вечные позором и себя, и белобородого отца своего, и свой аул, и весь род. Теперь он готов сквозь землю провалиться. Рад будет выбраться из этого орущего людского муравейника и спрятаться подальше от ликорадно горящих, осуждающих, насмешливых, злорадствующих, сочувствующих взглядов.

А пока пот струится по спинам борцов, ломит напряженное тело. Цепкие, сильные руки противников сжали друг друга в тиски — вот-вот затрещат ребра, наваливаясь могучими плечами, каждый будто хотел вогнать соперника, как кол, в землю. Крякнув, оба закружились-завертелись и вдруг остановились, затоптались на месте, выжидая и зорко схватывая каждый жест, каждое движение другого. Обоих охватила минутная дрожь, будто на них брызнули ледяной водой. Долго раскачивались, маяча из стороны в сторону. Наконец один слегка оторвал правую пятку от земли, но тут же больно ударился головой о широкую спину противника. В голове зазвенело, перед глазами поплыли радужные круги; парня ослепил гнев,

злой комок подкатил к горлу, и, не успев опомниться, джигит шлепнулся боком на мягкую, как зола, землю. В диком отчаянии, изо всех сил, рванулся он, чтобы подняться на ноги, но на грудь ему с тяжестью, показавшейся непомерной, навалился соперник и накрепко припечатал к земле. Поверженный почувствовал в груди такую боль, словно чья-то жестокая рука полоснула ее ножом; сознание его помутилось, глаза закрылись, пальцы разжались, и бессильная рука упала. Он лежал в пыли — подшибленный пес, да и только.

Победитель поднялся и изящным легким рывком схватил за руки своего недавнего соперника, помог ему встать. Белый свет померк в глазах униженного джигита. Не оглядываясь, опустив посрамленную голову, бросился он вон, пробиваясь сквозь толпу. Позади шумели, горланили, ликовали, а он, не останавливаясь, бежал к коновязи. Тяжело сопя, за ним неслись земляки, крича на ходу: «Стой! Стой! погоди!» Но он не мог сейчас видеть никого. Отвязал своего скакуна, вскочил на него и галопом понесся в степь — прочь, прочь, прочь отсюда. Пока друзья нашли да отвязали своих коней, он уже был далеко. Позор поражения жег его пламенем. Мысли путались, безысходный гнев и отчаяние сдавливали грудь. Ветер развевал гриву скакуна, бил в лицо джигита, шершавым языком облизывая его воспаленный лоб. В парне что-то надломилось, он припал лицом к гриве скакуна и затрясся от рыданий. Слезы беспилня, торчавшие костью в горле, вдруг хлынули, полились бурно и неуправляемо. Задышавшись, давась ими, рыдал джигит, вместе со слезами исторгая из себя гнев, отчаянье, стыд. Он почувствовал облегчение и, подняв голову, заметил, что бурая степь мчится ему навстречу, словно темная река в половодье. В душе его были пустота и безразличие, потом внезапно и отчетливо перед глазами всплыл недавний поединок. Джигит застонал от униженной, утраченной чести, которая еще вчера позволяла ему гордо держать голову. Сегодня эта честь оказалась истерзанной в клочья — словно шерсть паршивой овцы, что остается на кустах и колючках, валялась она сегодня под ногами распаленной зрелищем праздной толпы. Победленный содрогнулся от горя, безудержно заплакал...

Он не знал, сколько прошло времени. Солнце давно уже скрылось. Бледно-розовый отблеск у горизонта затмевала, наваливаясь на него, клочковатая черная туча.

Быстро надвигалась темнота. Все вокруг погружалось во мрак, и в этом все густеющем мраке брел сын степи, одинокий и несчастный, как жеребенок, которого чьи-то жесткие руки вмиг отлучили от матери, от ее молока, тепла и ласки, от безмятежного детства.

Джигит этот был не единственным, чье унижение и горе скрыла в эту ночь равнодушная степь.

Ночь была душной. Соперники кончили борьбу уже при заходе солнца. И пока толпа спустилась с холмов в долину к юртам, землю окутали сумерки. Над аулом нависла взъерошенная, как верблюд-самец по весне, зловещая туча.

Встревожены и мрачны были многие из тех, кто остался в праздничном ауле. Радость победителей была недолгой — теперь их мучили неуверенность и сомнения перед скачками — последним и решающим туром состязания. Пронгравшие тихо, под покровом ночи отбыли в свои аулы. Они, казалось, старались теперь ступать по земле неслышно и незаметно.

Спать в ауле улеглись рано. Рано потух и огонь в ямах под котлами. Из юрт не доносилось голосов; никто не играл на домбре и кобызах. Часть гостей разъехалась, некоторые юрты опустели. И лишь глухо доносившиеся из разных углов разговоры да пофыркивание лошадей свидетельствовали, что жизнь в ауле еще не совсем угасла.

В эту душную, темную, тревожную ночь уснуть было нелегко. Джигиты, которым предстояли завтра скачки, время от времени вскакивали с постели и отправлялись проверить лошадей. У порога двух белых юрт для невесты и ее подруг устроились старухи с чутким сном. Однако эта предосторожность была напрасной: никто из джигитов и не посягал на девушек. При малейшем шорохе старухи вскидывали головы, прислушивались настороженно. Те, кому и вовсе не спалось, ходили и переговаривались возле реки и коновязи.

Во всем ауле безмятежнее всего, будто после трудов праведных, спали двое: бай Балпан и слабоумный Есен. Хлопоты последних дней и впрямь утомили бая. Сегодня он весь день проторчал на ногах — любовался женихами. Тело его притомилось, а душа была спокойна. В пении и борьбе, как по заказу, победили те, кому он втайне симпатизировал.

Не горевал и Есен. Мальчик и девочка — да благословит их аллах! — выбрали, к его счастью, ему в соперники сына скандалиста Даржана, такого же, как отец, красноглазого забияки. Уж кого-кого, а сына Даржана Есен знал как облупленного и вовсе не намеревался уступать ему победу. Как-то прошлым летом Есен напился до одури копртпака и сидел у колодца, томясь от скуки. И тут, к его удовольствию, господь пригнал к нему этого задаваку. Прискакал, значит, напоил коня и хватъ бурдючок Есена. А там булькал вчерашний кислый айран, перемешанный с густым, как расплавленный свинец, свежим овечьим молоком, охлажденным к тому же в колодце. Конечно, пить прохладный пахучий копртпак в жару — одно наслаждение, но зато после он начинает бурлить в желудке, что тебе кипяток в котле. Аж в пот бросает — места себе не находишь. А этот ублюдок от жадности и опрокинул в себя зараз три чашки. Немного погодя копртпак дал о себе знать: парень заметался, за брюхо хватался, по земле катался, вот-вот сиганет в колодец. Есен злорадно поглядывал на его мучения, посмеивался довольный, но потом пожалел: достал из колодца три бадьи студеной воды, облил с головы до ног незадачливого обжору. Тот постепенно отдышался, пришел в себя и ну приставать: «Есен-ага, давай поборемся!» Какая блажь не придет в голову от безделья?! Схватились за пояса. Дважды повалил его Есен, а один раз он Есена.

Сегодня на холме Есен начал бой с некоторой опаской: парень молодой, за год мог сил набраться, да и вообще стать половчее и поухватистее. Однако сынок Даржана был прежним — неумел и неосторожен. Перебирал ногами, пританцовывал, как кляча, которую кусают слепни. Обнаружив в сопернике слабину, Есен увереннее схватил его за пояс, рывком притянул к себе, а тот рукой потянулся к заду, наверное, опасался, что свалятся штаны. Есен сделал несложную подсечку и подцепил ногой его за щиколотку. Недотена не на шутку растерялся, со страху уцепил Есена за жидкую бородавку, в жизни еще не выдававшую бритвы. Есен поднял рев, подскочили судьи. Есен уселся на землю, по-бабьи запричитал: «Ох-хо-хо, этот бесстыжий схватил меня за бороду, оскорбил мою честь. Ох-хо-хо, стало быть, он проиграл, а я победил. И все тут!» Судьи рассудили, что хватать мусульманина за бороду — предел неучтивости и, пожалуй, даже тяжкий грех, и объявили Есена победителем. Раздвинувшись от са-

модовольства, как индюк, Есен отправился в гостевую юрту и развалился на самом почетном месте.

Вечером за едой все сидели мрачные, кислые как-то. Есен поглядел-поглядел на хмурые лица, потом решительно придвинул к себе деревянный поднос с мясом, деловито засучил рукава и пошел-пошел загребать, как лопатой, широкой своей пятерней жирные куски мяса и пихать их в рот. Давясь и урча, почти не жуя, заглатывал он душистую баранинку, и вскоре поднос перед ним опустел. Потом он с присвистом выпил здоровую чашку бульона, но и на этом не остановился — за бульоном последовал кумыс.

Есену показалось, что соседи по юрте что-то от него затаили, перебрасываются туманными намеками, а сами при этом на него глазами зыркают. «У, чертovy дети, и чего секретничают, уж не заговор ли строят какой, может, тайком хотят спалить аул бая Балпана», — подумал Есен и вышел из юрты. Он спустился к реке, посидел на берегу, опустив ноги в воду, потом вернулся в аул и завалился спать.

Лохматые черные тучи обложили небо, они все ниже и ниже нависали над аулом, сгущая духоту и темень, и к утру разразились дождем. Запрыгали, зашлепали крупные, с горошину, капли, в одно мгновение смочив подушки и одеяла тех, кто постелил себе на свежем воздухе. Все попрятались в юрты, а дождь отхлестал кошму, поскакал-поскакал вокруг юрт, попугал-попугал всех и остановился сразу. Трава, вытоптанная людьми и скотом за эти дни, ожила; дождь прибил пыль, промыл зелень, очистил, вылизал, омолодил землю.

Сегодня предстояли самые захватывающие и самые трудные состязания. Одному из двадцати джигитов, допущенных к байге, суждено стать сегодня обладателем богатой и красивой невесты. С утра на холме царило необычайное оживление. Мальчишки-наездники уже сидели верхом на скакунах, которых прогуливали взад-вперед опытные наставники. Они давали мальчишкам последние советы, наставления, в который раз твердили о разных уловках и хитростях. Двадцать джигитов, чьи судьбы теперь зависели от быстроты скакунов и умения мальчишек-наездников, волновались так, словно решался вопрос жизни или смерти. Однако на виду у зрителей они старались держаться спокойно, с достоинством. Они находились чуть в стороне и, не отрываясь, смотрели на

своих скакунов. Аксакалы и почтенные мужи аулов, участвовавших в байге, также расположились поодаль, своими компаниями. Лица их были напряженными, осунувшимися, как после бессонной ночи.

Больше всех шумели те, кто сам не принимал участия в байге. Они толпились возле скакунов, осматривали их с головы до копыт, глубокомысленно обсуждали их стати, бились об заклад, заключали пари.

Скачки решили начать по утренней прохладе. Согласно указанию судей двадцать скакунов выстроились на стартовой меже. Двадцать мальчишек-наездников, чьи головы были туго обмотаны белыми платками, неотрывно глядели на белый флажок в руках акына Кушена. Вот он взмахнул флажком, и тишина, установившаяся было на миг, взорвалась оглушительным топотом. Вслед за ним, вслед бешено мелькавшим копытам понесся ликующий вопль толпы. Крик из тысячи глоток покрыл топот и храп лошадей. Несколько дней томилась аргамачи на привязи, кусали удила, нервно перебирали ногами и теперь, когда с них сняли путы, пустились вскачь яростно, с неудержимостью падающей звезды. Их держали все это время под толстой, плотной попоной, они задыхались, обливались потом. Сейчас они с наслаждением окунались в свежий, упругий воздух, чувствовали, как встречный ветер гладил, ласкал их бока, их круп, и мчались, рвались вперед, радуясь желанной свободе и легкости собственного тела.

Когда кони показались из-за склона холма, раздался гул, исходивший, казалось, из земной утробы. Это косяк перепуганных каракуйруков и косуль устремился к голубеющей узенькой полоске горизонта. Пузатые барсуки и откормленные суслики, дремавшие в норках, выскочили из своих жилищ и в безумном страхе сиганули в кусты. Бурая степная трава, давно не выдавшая копыт, поникла, притаилась. Чистый нетронутый чуть ли не с самого сотворения земли воздух качнулся, как море от налетевшего внезапно шторма, лишился своей первозданной прозрачности, своей зеркальной ясности, взвихрился, взбаламученный пылью. Спавшие на бурых буграх одинокие могильные камни пробудились от векового сна, решив, что это враг ворвался в степь; они пристально смотрели на мчавшихся мимо скакунов, однако, не обнаружив всадников с пиками и дубинками, успокоились, подумали, что это, должно быть, какая-то детская заба-

ва, игра. И вновь склонили свои каменные головы, притаились за склонами холмов и перевалов.

Кони мчались скопом, дробя копытами жесткий солончак. Позади остались перевалы, заросли, кустарники, гладкие, как зеркало, солончаки, бугорки и пригорки. Когда скакуны сорвались со старта, притаившийся в типчаке ветер вскочил яростно, обрушился на них со всей мощностью, однако не выдержал напора, отступил и принялся заигрывать с ними, облизывая их бока, брюхо, круп. Скакунов забавляло озорство ветра, который трепал их гривы, развеивал холку и хвосты, нежно поглаживал морду и бока, вытирал, сбивал пот; ветер радовался возможности порезвиться, понграть с разгоряченными, крутобокими, ошалело мчавшимися по степи лошадьми. Но почему напряжен, как струна, человек в седле, отчего беснуется толпа — этого не знал, этого не мог понять не только легкомысленный бродяга-ветер, но и умные, обузданные скакуны. Впрочем, скакунов это и не заботило сейчас. В данный миг они были счастливы, ибо нет для них большего счастья, чем нестись вот так привольно, в едином порыве, разрезая грудью серебристые волны безбрежного простора. Потом, когда они устанут, они замедлят бег, успокоят дыхание, пощиплют травку и отправятся на водопой. С потных их спин снимут седла, и они ощутят блаженство, повалившись в густую, мягкую, как хвост ягненокка, траву. Они похрумкают нежные запашистые стебельки, почувствуют на губах кислотоватый, терпкий сок. Когда они наслаются вдоволь травкой и почувствуют в горле сушь, не торопясь отправятся к озеру. Его ровная гладь блестит на солнце, будто ртуть. Скакуны ударят раз-другой копытами, начнут упоенно цедить теплую чистую воду, бережно касаясь ее губами. Под ноздрями трепещет, мельтешит, мелко-мелко дрожит огромное белесое небо. На мелком песчаном дне стелются легкие, перистые облака, похожие на белые пушистые попоны. Лошади стараются поймать их губами, проглотить, но тщетно: облака уплывают из-под самого носа, неуловимые и дразняще прескрасные. Сомлев от сытого блаженства, скакуны вяло бредут на выпас; постоят там немного, будто в дреме, потом побегают по кругу, порезвятся, чтобы разогнать кровь, и опять готовы нестись навстречу ветру. Скакать, когда зудят копыта, хрустеть травой и пить студеную воду — в этом, и только в этом и есть счастье скакуна. Даже во сне он видит густое, сочное

разнотравье, пушистый комочек облака, отраженный в зеркальной глади озера, да блестящие крутые бока своих собратьев по косяку. Не много ему нужно для радости: он радуется, если слепень пролетит мимо него и не ужалит; он доволен, если камча чуть-чуть скользнет по крупу, а не обожжет его.

Их, скакунов, уже давно приручили эти двуногие, однако лошади никак не могли постичь их сущность. Стоило какому-нибудь коню вырваться вперед, как всадник начинал хлестать его камчой пуще прежнего, колотить пятками. Обойдет он еще одного скакуна, наездник опять его понукает, торопит: все ему мало, все хочется во что бы то ни стало быть первым. Зачем ему это?.. Видно, есть у человека какая-то своя, недоступная пониманию коня, цель, любой ценой он стремится достичь ее. Потому и колотит скакуна пятками; потому и обжигает его камчой.

А между тем они, эти двуногие, возомнившие себя владыками коней и всего сущего на земле, не догадываются о самом простом и важном: живя в вечной спешке, подстегивая себя и других, они постепенно утрачивают счастье; ведь радость доступна лишь тем, кто умеет довольствоваться немногим, а те, кто поддается ненасытной жадности, пожирающему честолюбию, превращаются в рабов...

Вдруг светлый, сияющий мир взбаламутился, затянулся серой пеленой. Откуда-то сбоку раздались топот, гиканье и вопли. По крупу скакуна пробежала дрожь, он покрылся холодной испариной, но темпа не сбавил и неся, неся, неся как ветер. Однако куда же исчез сивый аргмак, который все время трепыхался впереди белым пламенем? А где саврасый, какую-то минуту назад обогнавший его? Ах вон он, теперь отстает и при этом странно припадает на ногу. Теперь скакун неожиданно оказался первым. Гвалт, шум стали громче и слышней. Сторожевой холм уже обогнут. Теперь преодолеть бы вон тот перевал, а там уж чернеет и орущая толпа. А тут из-за зарослей, растущих возле перевала, напоминающего дромадера, внезапно выскочили пять верховых. Почему у них в руках березовые дубинки? Уж не за матерым ли волком они гонятся?.. Скорей, эх скорей бы перемахнуть через перевал, оттуда два шага до финиша. И тогда... О, тогда свобода! От истошных воплей, от нестерпимо бьющего в глаза ветра, от огненной плетки!..

Но его уже нагоняют всадники с дубинками. Один из них, страшный, как чудовище, грозно взмахнул черным своим соилом¹, однако дубинка лишь скользнула по крупу скакуна и глухо ударилась об иссохшуюся землю. Спустя мгновение скакун почувствовал страшную боль на крестце. Разгоряченный, он не сбился с бега. Верховые не отступали ни на шаг, они летели рядом, по обе стороны, стремя в стремя... Мальчишка-наездник закричал пронзительно на одной ужасающей ноте. От этого крика по спине скакуна пробежала дрожь, а потом перед его глазами, как ангел смерти, промелькнул черный соил, удар чудовищной силы пришелся в висок, и он, споткнувшись, рухнул на всем скаку. Светло-голубой мир треснул пополам, раздвоился, ослепительно вспыхнуло небо, и тут же что-то клейкое, теплое, черное залило ему глаза. Скакун не знал, что страшная неодолимая тяжесть, распластавшая его на земле, и есть смерть. Не суждено ему было узнать, что после его гибели между двумя родами вспыхнет непримиримая вражда и еще долгие-долгие годы в сердцах людей будут гнездиться ненависть и месть... Топот и крик уносились, стремительно растворялись в воздухе, наступила тягостная тишина. Скакун судорожно забил ногами, захрипел, горячая кровь его вдруг вся прихлынула к виску, в который угодил предательский соил; голову обволакивал туман — жизнь в нем угасала медленно, неохотно.

А на холме с еще большей страстью безумствовала, неистовствовала толпа. Из-за перевала, похожего на одnogорбого верблюда, показались всадники. Кони шли плотно, не отрываясь друг от друга. Одолев перевал, они стремительно спускались по склону к низине, сплошь покрытой зеленой еще травой. Конные, сопровождавшие на этом отрезке пути скакунов, начали отставать. Теперь наконец можно было разглядеть самих аргамаков. Их ряды заметно поредели. Лошадей шесть или семь безнадежно затерялись на дистанции. А передние между тем быстро приближались.

Первым в отчаянии вскрикнул Байсал. Его красавец аргамак выделялся среди всех прочих. В начале байги он вырвался вперед, и многие спорщики, заключая пари, ставили на него. Сейчас его вообще не было в головной колонне скакунов. Не видно было и саврасого со звездоч-

¹ Соил — березовая дубинка.

кой на лбу, который почти весь путь шел с ним рядом. Пока возглавлял байгу темно-рыжий скакун купца Шурена, остальные кони мчались бок о бок, стремя в стремя. Вдруг, весь распластавшись, из общей массы вырвался невзрачный чалый. Чем сильнее вопила, шалея от собственного крика, толпа, тем легче, стремительнее бежал чалый. Вот уже два скакуна идут голова в голову, не в силах оторваться друг от друга, вот чалый вырывается вперед на длину курука¹. Бан, чьи кони участвовали в байге, ошарашенно переглядывались, шептались: никто не знал, кому принадлежит чалый. Старики лошадики, чинившие смотр скакунам, не обратили на него внимания. А чалый, опередив всех, во весь опор неся к финишной меже.

За спиной толпы раздался захлебывающийся от нетерпения голос Есена: «Что? Уже видно? Уже близко?!» С утра он вместе со всеми смотрел-смотрел на перевал, ждал, когда же выскочат из-за него скакуны. Потом это ему наскучило, и он, махнув рукой: «А ну вас к богу! Когда-нибудь прискачете!», отправился к юртам побаловаться кумысом. Услышав рев на холме, он решил, что теперь пора возвращаться. Запыхавшись, обливаясь потом, Есен поднялся на холм и глазам своим не поверил: к финишу приближался его чалый. Слабоумный запрыгал от радости, подбросил над головой засаленный треух, издал ликующий вопль...

Толпа хлынула потоком к призеру. Вторым прискакал к желанной меже темно-рыжий аргмак с белой отметиной, прискакал и тут же рухнул замертво. Купец Шурен бросился к скакуну и, к своему ужасу, обнаружил, что подпруга из сыромятины врезалась в живот скакуна на четыре пальца. Видно, кто-то перед скачками приложил руку, сделал черное дело. Конь, должно быть, задыхался, мучился всю дистанцию, ронял, бедняга, в пыль кровавые хлопья пены. Теперь многие гости смекнули, почему среди скакунов не оказалось их коней.

И такое вдруг началось на холме! Все перемешалось: восторженные крики, плач, проклятья, ругань, угрозы.

Бай Балпан, важно восседавший на сивом иноходце, в первые минуты ничего не понял. Только недоброе предчувствие сжало его сердце, и он растерянно поискал гла-

¹ Курук — длинный шест с петлей на конце, приспособление для ловли неприрученных и строптивых лошадей.

зами судей, но их поглотила бурлящая толпа. Он хотел было направить к ней иноходца, но в это время толпа сама расступилась. Из нее вышли судьи, держа под уздцы чалого, за ними шествовал слабоумный Есен. Одной рукой он вытирал потное лицо помятым треухом, другой хватал жидкий хвост своего скакуна и звонко целовал его.

Бай Балпан видел чалого еще до скачек. Покрытый грубой старой попоной из верблюжьей шерсти, он все эти дни стоял одиноко на краю аула... Судьи обратились к Балпану, что-то сказали. Разрази его гром, если он хоть что-нибудь понимал! Ничего нельзя было расслышать, кругом кричали так, словно все свихнулись. Какие-то люди, грозя кулаками и ругаясь, стремглав поскакали к перевалу. Хазрет Асанбай подошел к Балпану, вытащил из-за пазухи коран и потряс им. У Балпана вдруг захолоуло сердце, кровь кинулась в голову, перед глазами поплыли красные круги. Как подстреленный, припал он к гриве иноходца.

Балпан очнулся от плача, горестно витавшего над аулом. Плакали, раздирая душу, женщины в белой юрте Ажар. На холме было безлюдно. В ложине между двумя холмами, будто вырытые могилы, зияли черные пасти ям для котлов. На ковре у его изголовья нахохлившейся стаей сидели перепуганные старики. Неподалеку, рядом с чалым, укрытым рваной попоной, стоял Есен. Мокрые губы его расплзлись в блаженной улыбке идиота.

Перевод В. ПАНКИНОЙ.

ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ

Талантливый казахский писатель, поэт, критик, переводчик Абиш Кекильбаев родился на Мангышлаке, там, где пересекал его знаменитый «Шелковый путь» древности. Край этот породил много преданий, легенд, своеобразных поэтических и философских заветов далеких предков. Чаше всего основой для них служили действительные события или поступки людей.

Абиш Кекильбаев начинал как поэт. Еще студентом Казахского государственного университета он печатал стихи, а в 1963 году опубликовал поэтический сборник «Золотые лучи». Кроме традиционной для восточной поэзии красочности и образности, стихи Кекильбаева отмечены глубокими философскими раздумьями. Ритм, лаконичность, сосредоточенность поэтического мышления он перенес и в свою прозу.

На казахском языке вышли четыре книги его рассказов и повестей: «Клочок тучи» (1966), «Степные баллады» (1968), «Горсть земли» (1974), «Последний снег» (1978).

«Клочок тучи» — это повесть о войне, в которой автор через судьбы героев пытается проследить социальные, психологические и нравственные предпосылки победы советского народа.

Следующая прозаическая книга писателя уводит нас в глубокую историю его народа. Обратившись к историческому материалу, Абиш Кекильбаев ставит «вечные» проблемы, размышляет над сущностью человека, выявляет движущие мотивы его поступков. Впитав предания своего народа, писатель открывает нам их суровую поэтичность, ясность и глубокую мудрость. Но, обращаясь к историческим фактам, событиям, он осматривает их с точки зрения современного человека, резко разграничивая добро и зло, справедливость и несправедливость; заставляет и своих героев задумываться о сущности бытия.

Из старинных преданий писатель стремится извлечь нравственный урок — и для себя, и для читателя. В его «Балладах степей» (вышли в переводе на русский язык в 1975 году) сюжет часто отступает на второй план, помогая крупным планом — вблизи — показать потерявшего привычные точки опоры человека.

Так, в повести «Баллада забытых лет» старый туркмен Жонеут вершит суд и расправу, потому что того требует закон степи, так повелевает дух предков. Любимого младшего сына Даулета, единственного, оставшегося в живых, посылает он на смерть, движимый жаждой мщения. Из века в век, не прекращаясь, тянулась цепочка междоусобиц. Пленный казах кюйши (композитор и исполнитель) совсем не выглядит батыром и не может стать платой за смерть Даулета. Жонеут приказывает закопать его живым в землю, оставив снаружи только голову. Но последняя песня кюйши перезораживает душу не только мирным жителям, но и «степному волку» Жонеуту. Начинается единоборство силы и красоты, добра и зла, жестокости и великодушия. Этот поединок передан с помощью внутреннего монолога. Жонеут — не злодей в привычном смысле этого слова. Он честен, суров, беззаветно любит свой народ и свою степь, но ум его опутан предрассудками и темными страстями, подчинен власти древних родовых законов. То, что Жонеут тщательно гнал от себя, считая проявлением слабости, на самом деле было движением человечности в его сердце. И он умирает, усомнившись в своей правоте, в правильности своих деяний, принимает смерть как избавление от невыносимых душевных мук.

Повесть воспринимается как произведение вполне современное. Умирают герои, но живет великое искусство народа — кюй. Он говорит о любви к родной степи, о бессмертии человека, творящего добро. И выпавшую из рук музыканта домбру подхватывает другой музыкант, совсем еще мальчик.

Величие человека — это величие его души, отраженное в делах добрых и правых. А злодейство, малое или огромное, остается преступлением против человека. Тема ценности человеческой личности развивается в повести «Хатынгольская баллада». На склоне лет Чингисхан упивается чувством безграничной власти. Пальцы его рук унизаны перстнями, напоминающими о побежденных, но не склонивших головы. Неограниченная власть разрушительно действует на личность человека. Только безвольных и покорных рабов хочет видеть вокруг себя постаревший владыка. И не понять ему, что даст силы закованному в кандалы хану тапгутов Шидурге, на краю гибели пророчащему ему, властелину, возмездие. Не может он понять и красавицу Гурбельжин, ранившую его и нашедшую смерть в волнах реки. Но потомки оценят по достоинству мужество и свободолобие женщины, отомстившей за унижения своего народа.

.. Баллады Абиша Кскильбаева — это попытка найти особую синтетическую форму, соединяющую в себе художественность и публицистичность. В творчестве этого автора взаимодействие старых и складывающихся новых традиций народной жизни сочетается с постановкой острых нравственных проблем, анализом внутреннего мира героев, бытописанием.

В повести «Колодец» главный герой Енсеф, известный кудукши (копатель колодцев), забывает, что важен не только результат труда. Всю жизнь он мечтал построить самый глубокий колодец, который бы прославил его, Енсефа. Он уже не думал о людях, которых напоит водой: обогнать соперников — вот что стало для него главным. Непомерное честолюбие приводит его к печальному концу — он гибнет в водах подземной реки.

Бай Балпан — герой повести «Состязание» — не обижен судьбой: и богат, и уважаем, и умом не обделен. И хочет отдать свою красавицу дочь в семью, равную ему по богатству и положению. Отказав одному жениху, он вынужден отказать и другим, не желая портить ни с кем отношений, в конце концов доверяет судьбу дочери шальному случаю и тем губит ее.

Проблемы добра и зла, губительного действия неограниченной власти на личность человека на первый план выступили в романе «Конец легенды». Характер Повелителя исследуется многосторонне и полно. Это собирательный образ властелина вообще, хотя при написании романа использованы конкретные факты биографии Тимура. Умный человек и хитрый политик, Повелитель прошел через изгнание и страдания, во всех испытаниях были с ним рядом любящая и любимая жена, маленький сын. Позже хитростью и коварством удалось Повелителю добиться высшей власти. Всю жизнь свою он проводит в седле — почти весь мир покорил, держава его огромна, богатства его несметны. Казалось бы, за все муки судьба должна воздать ему счастьем. Но где оно, это счастье? Умирает любимая жена. Следуя обычаю, он женится на женщине из высокого рода, властной, алчной и мстительной. От нее и ее сыновей бежит, ищя себе в правление южные провинции, первенец-сын. На склоне лет Повелитель женится на девушке из невысокого рода, мечтая об утешении, о том, что она разделит его одиночество. Юная ханша готова полюбить Повелителя. Но оказывается, что облеченный неограниченной властью человек не может быть счастлив сам и не может принести счастье другому. Презирающий живых и подлых трусов, именно их выбирает он себе в помощники; ненавидящий вздорную и крикливую толпу, он не свободен от ее мнения. Подчиняясь ей, он ослепляет молодого талантливого зодчего, губит его за любовь к Младшей Ханше. И под конец жизни он остается один в огромном пустом дворце наедине со своими тяжелыми думами. Его

непрестанно гложет мысль: как покарать жену, осмелившуюся полюбить другого, как смыть «пятно бесчестия». Он понимает, что ее любовь — это жажда обыкновенного счастья, и жалеет ее. Но как простить? Ведь наемшная толпа разценит его сострадание как слабость! И бьется Повелитель в тенетах своей неограниченной власти, задыхается, как птичка в тени его кареты в безжалостной, выжженной солнцем пустыне. Когда-то повелев постронть подземелье — зиндан, он приказал высечь слова: «Рано или поздно все равно очутишься под землей!» И показалося ему в его последний час, что мрачные своды подземелья нависли над ним, что именно к нему обращены высеченные там слова.

Так история помогает А. Кекильбаеву решать сложные насущные проблемы современности, развенчать культ антинародной по своей сущности власти. Эта тема всегда актуальна — тема трагического исхода антинародного правителя, тема ценности человеческой личности.

Как всякий талантливый писатель, заинтересованный в успехах родной литературы, Абиш Кекильбаев понимает, что она не может жить в отрыве от мирового литературного процесса. По мнению писателя, казахская литература благодаря переводу лучших произведений других литератур «углубила социальный и психологический анализ, усилила гибкость художественного мышления». Он убежден «в извечном стремлении народов к общению друг с другом». Этому общению и старается содействовать А. Кекильбаев. В его переводах на казахском языке появились произведения Л. Толстого и Шекспира, Г. Ибсена и М. Фриша, Ч. Айтматова и Ги де Мопассана.

Новая книга, над которой работает сейчас писатель, тематически связана с присоединением Казахстана к России. Будем надеяться, что в ней мы встретимся с яркими, самобытными характерами и с своеобразием разработки этой сложной темы.

И. ЮШКОВА

● СОДЕРЖАНИЕ

КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ. Роман	5
ПОВЕСТИ	
Баллада забытых лет	229
Хатынгольская баллада	295
Колодец	342
Состязание	386
ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ	442

АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ

БАЛЛАДЫ ЗАБЫТЫХ ЛЕТ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1979, 448 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**
Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **И. Юшкова**
Художественный редактор **И. Смирнов**
Технический редактор **А. Гинзбург**
Корректор **В. Волк**

●

А10013. Сдано в набор 13/II-79 г. Подписано в печать 7/VI-79 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага печ. № 1. Печ. л. 14,0. Усл. печ. л. 23,52.
Уч.-изд. л. 24,61. Зак. 3643. Тираж 218 500 экз.
Цена 1 руб. 90 коп.

●

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано в ордена Ленина типографии
«Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии
«Известий Советов народных депутатов СССР»
имени Н. И. Свердлова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.
Зак. 2229.

**В 1979 году
издается 15 книг
библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

А. Адамович, Я. Брыль, В. Колесник — Я из огненной деревни... Перевод с белорусского.

Ч. Айтматов — Ранние журавли. Повести.

Ч. Амирэджиби — Дата Туташива. Роман. Перевод с грузинского.

Ю. Бондарев — Берег. Роман. Повесть.

В. Быков — Дожить до рассвета. Повести.

А. Бэл — Голос зовущего. Романы. Перевод с латышского.

С. Дангулов — Кузнецкий мост. Роман. Книга 2-я.

Р. Иванычук — Возвращение. Роман. Новеллы. Перевод с украинского.

А. Кекильбаев — Баллады забытых лет. Роман. Повести. Перевод с казахского.

Ю. Нагибин — Царскосельское утро. Повести. Рассказы.

Б. Окуджава — Избранная проза.

М. Симашко — Маздак. Повести Черных и Красных Песков.

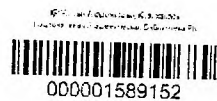
Ю. Трифонов — Другая жизнь. Повести. Рассказы.

Б. Шинкуба — Последний из ушедших. Роман. Перевод с абхазского.

Л. Якименко — И вечная, как мир. Роман. Повесть.

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

Сурен Агабабян
Ануар Алимжанов
Лев Аннинский
Сергей Баруздин
Альгимантас Бучис
Валерий Гейдеко
Игорь Захорошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Алим Кешоков
Григорий Корабельников
Георгий Ломидзе
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафаэль Мустафин
Леонид Новиченко
Александр Овчаренко
Борис Панкин
Александр Руденко-Десняк
Инна Сергеева
Петр Серебряков
Константин Симонов
Юрий Суровцев
Леонид Теракопян
Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Людмила Шиловцева
Камиль Яшен



1 руб. 90 коп.